

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Издаётся с 1994 г.

Выпуск 13/14

*К 300-летию решения Петра I о создании университета
в Санкт-Петербурге*



Санкт-Петербург
2024

УДК 316

ББК 60.5

П78

Редакционная коллегия серии:

проф. А. О. Боронеев (отв. ред.), проф. Д. В. Иванов (отв. ред.),
проф. Е. А. Головин, доц. Ю. В. Асочаков, проф. Ю. Фельдхойф (ФРГ),
мл. науч. сотр. К. П. Гулькина (отв. секретарь)

Рецензенты:

д-р соц. наук, проф. В. И. Дудина (СПбГУ),
канд. соц. наук, доц. Ю. П. Байер (СЗИУ РАНХиГС)

*Печатается по решению Ученого совета факультета социологии
С.-Петербургского государственного университета*

Проблемы теоретической социологии. Вып. 13/14: межвуз. сб.
П78 / отв. ред. А.О.Боронеев, Д.В.Иванов. — СПб.: Скифия-Принт,
2024. — 432 с.
ISBN 978-5-98620-753-7

Сборник статей продолжает серию, начатую коллективом факультета социологии СПбГУ в 1994 г. Сдвоенный выпуск (13/14) представляет эволюцию взглядов ведущих российских и зарубежных теоретиков на развитие социологии за последние три десятилетия, а также актуальные теоретические разработки по наиболее перспективным направлениям социологических исследований. Сборник предназначен для социологов и для всех, кто интересуется изучением современного общества и теоретико-методологическими проблемами социального знания.

The collection of articles continues the series started at the Faculty of Sociology of St. Petersburg State University in 1994. The double issue (13/14) presents the evolution of the views of leading Russian and foreign theorists on the development of sociology over the past three decades, as well as current theoretical developments in the most promising areas of sociological research. The collection is addressed to sociologists and for anyone interested in the study of modern society and theoretical and methodological problems of social knowledge.

УДК 316

ББК 60.5

ISBN 978-5-98620-753-7

© С.-Петербургский
государственный
университет, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (А. О. Бореноев, Д. В. Иванов)	5
--	---

Раздел I (Выпуск 13) ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ ХХ–XXI ВЕКОВ

Бореноев А. О., Головин Н. А., Иванов Д. В. Движение теории через границы и сквозь эпохи (к 30-летию основания серии сборников «Проблемы теоретической социологии»)	11
Луман Н. Понятие общества	27
Социологические размышления: интервью с проф. Н. Луманом	46
Шпакова Р. П. Макс Вебер о проблеме ценностей в социальном знании.	60
Ядов В. А. Символические и примордиальные солидарности (социальные идентификации личности) в условиях быстрых социальных перемен	69
Ватье П. Метод понимания, социальность и проблема устройства общества	86
Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, глобализация и политика	110
Иванов Д. В. Эволюция концепции глобализации	124
Вивьорка М. Мутация социальных наук: введение	157
Романовский Н. В. Современная социология — тенденции и потенциал роста	174
Зборовский Г. Е. Проблема знания в социологии и социологическом образовании	191
Кравченко С. А. Развитие социологического знания: востребованность интегрализма	216
Тоиценко Ж. Т. Смысл жизни: новое в теории и методологии социологического знания	238

Раздел II (Выпуск 14)
АКТУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

<i>Иванов Д. В., Асочаков Ю. В., Гулькина К. П.</i> Теоретическая социология в XXI веке: тенденции фрагментации и потенциал интеграции	255
<i>Титаренко Л. Г.</i> Проблемы теоретической социологии в России и мире	287
Теоретическая социология и вызовы глобальных трендов: интервью с проф. Н. Геновым	300
<i>Подвойский Д. Г., Спиркина А. К.</i> Цветок на лугу, или как коллективное прорастает в индивидуальном (к социологическому портрету общества модерна)	320
<i>Ломоносова М. В., Быков А. С.</i> Война как объект социологического анализа в научных трудах Питирима Сорокина и Николая Головина: от истории к современности	335
<i>Головин Н. А.</i> Амитология против онтологии вражды: этика Питирима Сорокина и теория политического Карла Шmitta как картины мира	351
<i>Федорова С. А.</i> Эмпирические онтологии А. Н. Уайтхеда и Б. Латура: сравнительный анализ	362
<i>Дерюгин П. П., Лебединцева Л. А., Камышина Е. А., Куражев С. Д.</i> Концептуальные ориентации исследований мобильности в российской социальной науке	388
<i>Орех Е. А.</i> Ещё раз о предмете визуальной социологии	402
<i>Богомягкова Е. С.</i> На пути к новой теории социальных проблем	413

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нам чрезвычайно приятно представить читателям новый сборник научных статей в серии «Проблемы теоретической социологии». В представляющем сборнике продолжается начатое 30 лет назад (в 1994 году) обсуждение актуальных тем теории и методологии социологии ведущими российскими и зарубежными учеными. Как известно, решения вопросов теории и методологии скрепляют, собирают воедино любую науку, закладывают ее фундамент, задают перспективы развития, определяют место среди других областей знания. Ставить и решать такие вопросы на страницах сборников нашей серии стало традицией для социологов, принадлежащих к разным региональным и национальным школам, к разным поколениям.

Этот выпуск сборника необычный, он сдвоенный. Такая форма была выбрана, чтобы отметить сразу три знаменательные даты для социологического сообщества Санкт-Петербургского университета. И первая среди знаменательных дат, безусловно, **300-летие** судьбоносного указа Петра Великого, повелевшего в 1724 году создать в Санкт-Петербурге академию наук, академический университет и академическую гимназию. Тем самым было предначертано будущее развитие отечественной университетской науки, ставшей со временем значимой частью науки мировой. Юбилею славного события в нашей истории мы посвящаем Выпуск 13 нашего сборника, представляющего многолетний вклад социологов в развитие науки в нашем университете, в развитие его в качестве всемирно признанного научно-образовательного центра.

В этом выпуске, составившем первый раздел книги, объединены анализ содержания и достижений серии «Проблемы теоретической социологии» за 30 лет (1994–2024) в статье А. Боронова, Н. Головина, Д. Иванова и «мозаичная» картина эволюции социологического

теоретизирования, включающая 12 избранных текстов из прошлых выпусков. В избранные 12 статей вошли работы «звезд» европейской социологии Н. Лумана, У. Бека (Германия), М. Вивьорки, П. Ватье (Франция), а также ведущих отечественных теоретиков и историков социологии — В. Ядова, Р. Шпаковой, Г. Зборовского, Н. Романовского, С. Кравченко, Ж. Тощенко, Д. Иванова. Из более чем 200 статей, опубликованных в предыдущих 12 выпусках сборника, отобраны были те, что могут рассматриваться как характерные, репрезентирующие развитие теоретизирования в социологии на переломе эпох. Этой подборкой мы постарались на страницах сборника не столько дать ретроспективу, сколько обозначить перспективу в развитии социологии. Тексты рубежа XX–XXI вв. показывают, как эволюционировали взгляды на настоящее и будущее социологии. Авторские точки зрения на судьбы социологии теперь предстают как точки и векторы на той траектории развития, которую научное сообщество продолжает выстраивать в новых условиях. Оглянувшись на достигнутое за десятилетия, чтобы лучше понять сегодняшние проблемы и найти для них лучшие решения — главная задача представляемого выпуска сборника.

Вторая знаменательная дата, к которой приурочен выход нового сборника «Проблемы теоретической социологии», — это **35-летие** Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Этому событию мы посвящаем Выпуск 14 нашего сборника, который составляет второй раздел книги и в который включены 10 текстов ведущих отечественных и зарубежных социологов. Среди статей есть работы российских теоретиков, нацеленные на глубокий анализ общих оснований, проблем и перспектив развития современной мировой социологии — текст о периодах фрагментации и интеграции в нашей науке, написанный петербуржцами Д. Ивановым, Ю. Асочаковым, К. Гулькиной, текст о соотношении коллективного и индивидуального в современном обществе, присланный москвичами Д. Подвойским и А. Спиркиной. Интересно и полезно сопоставить эти тексты с подходами к тем же проблемам, нашедшими отражение в работах зарубежных коллег — Л. Титаренко (Беларусь) и Н. Генова (Германия). Оригинальное прочтение классических работ и неожиданное сближение разных классиков из разных эпох и исследовательских областей можно найти в текстах Н. Головина, М. Ломоносовой

и А. Быкова, С. Федоровой, достойно продолжающих традиции историко-социологической школы, созданной за годы существования Факультета социологии СПбГУ. Другой ряд статей петербургских исследователей демонстрирует прикладные возможности современных социологических теорий, успешно применяемых в различных направлениях научного поиска — в изучении социальной мобильности (статья П. Дерюгина и Л. Лебединцевой с соавторами), визуального опыта в современном обществе (статья Е. Орех), социальных проблем (статья Е. Богомягковой).

Третья значимая дата, которой посвящен новый сдвоенный выпуск сборника «Проблемы теоретической социологии» — это **30-летие** самого издания. К юбилею серии сборников, первый из которых вышел в далеком уже 1994 году, подготовлена представляемая читателям книга. Юбилейный сборник задуман как веха, знаковое издание, в котором отчетливо показаны и эволюция теоретической социологии, и концептуальные инновации, и смена поколений в науке, и поддержание ее традиций. От имени редакционной коллегии мы выражаем благодарность всем авторам, внесшим вклад в создание серии на протяжении всей ее истории. Надеемся, что представляемый сборник будет интересен и полезен профессиональному сообществу социологов и внесет свой вклад в теоретические дебаты, задающие высокие научные стандарты и создающие атмосферу живого человеческого общения.

А. О. Бороноев, Д. В. Иванов
Санкт-Петербург, ноябрь 2024 г.

Раздел I
(Выпуск 13)

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ

А. О. Боронеев, Н. А. Головин, Д. В. Иванов¹

**ДВИЖЕНИЕ ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ
И СКВОЗЬ ЭПОХИ
(к 30-летию основания серии сборников
«Проблемы теоретической социологии»)²**

В 2024 году исполнилось 30 лет со времени публикации сборника «Проблемы теоретической социологии» [4], ставшего первым выпуском в серии, продолжающейся и поныне. Знаменательная дата в истории этого по-своему уникального в сегодняшней отечественной социологии периодического издания (а на сегодня вышло уже 14 выпусков сборника) дает повод проанализировать его вклад в развитие теоретической социологии.

В сегодняшней ситуации, когда доминирующим каналом научной коммуникации становятся журналы, включенные в национальные и международные научометрические системы, серии сборников статей могут представляться анахронизмом. Однако для объяснения феномена «Проблем теоретической социологии» следует понимать, что в Санкт-Петербургском госуниверситете существует давняя традиция подобного рода периодических изданий — сборников статей по гуманитарным и социальным наукам.

В социологии она восходит к сборникам «Новые идеи в социологии» (1913–1914), издававшемся М. Ковалевским и Е. де Роберти и послужившим становлению поколения социологов начала XX в. [3] В те годы такие сборники представляли собой движение в России к более тесной интеграции с европейской наукой. В советский период в условиях идеологического противостояния и научной конкуренции со странами Запада издание сборников по социальным и гуманитарным

¹ Боронеев Асалхан Ользонович — д-р филос. наук, почетный профессор Санкт-Петербургского университета (СПбГУ); Головин Николай Александрович — д-р социол. наук, профессор факультета социологии СПбГУ; Иванов Дмитрий Владиславович — д-р социол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории социологии СПбГУ.

² Статья представляет собой расширенную версию текста, опубликованного к 25-летнему юбилею сборника: Боронеев А. О., Головин Н. А., Иванов Д. В. Актуальное звучание социологической теории (25 лет серии «Проблемы теоретической социологии») // Социологические исследования. 2020. № 1. С. 115–124.

дисциплинам в Ленинградском государственно университете (ЛГУ) было возобновлено. Так, на философском факультете ЛГУ выходил в свет сборник статей «Актуальные проблемы критики современной буржуазной философии и социологии» (1977–1987), сыгравший значительную роль в профессиональной подготовке многих будущих сотрудников факультета социологии, созданного в университете в 1989 г. [1].

Творческий замысел сборника «Проблемы теоретической социологии» был связан с указанной научно-исторической традицией и стал в новых условиях постсоветской социологии востребованным средством научной коммуникации, дающим возможность знакомства российских ученых с новыми достижениями в мировой социологии, с одной стороны, и предоставляющим дискуссионную площадку для теоретического обсуждения проблем современного общества, с другой стороны.

В период интенсивной институционализации социологии в нашей стране в конце 1980-х — середине 1990-х гг. резко выросшее численно сообщество исследователей, преподавателей и студентов столкнулось со многими проблемами, но с научной точки зрения на первом месте стояли вопросы теоретической подготовки, освоения теоретического наследия мировой и отечественной социологии, приобретения навыков применения и развития социологических теорий в новой ситуации концептуального и методологического плюрализма, сменившего прежний идеиный монополизм советского марксизма.

В университетах особенно, даже острее, чем в научно-исследовательских организациях, чувствовались дефицит актуальных источников по теоретической социологии и нехватка квалифицированных социологов, знакомых с теоретическими основаниями современной социологии и умеющих вести теоретико-методологические изыскания и обеспечить методологическую базу для эмпирических исследований в ситуации мультипарадигмальности. Далеко не всеми университетскими социологами вполне осознавалась в тот момент необходимость в преподавании и в исследовательской работе теоретического плюрализма, мультипарадигмального подхода.

Факультет социологии Санкт-Петербургского университета для решения этих проблем пошел по пути расширения и интенсификации академических обменов на международном уровне. Факультет

установил в 1992 г. договорные отношения с факультетом социологии Билефельдского университета (Германия). Эти отношения при финансовой поддержке со стороны Германской службы академических обменов (DAAD) оформились в систематическое сотрудничество, ускорившее освоение имеющегося опыта в подготовке социологов и на этой основе составление и реализацию учебного плана и учебных программ, соответствующих мировым стандартам. Затем в 1995–1997 гг. вместе с коллегами из Билефельда, а также при участии социологов Университета гуманитарных наук Страсбурга и Нового университета Лиссабона, Факультет социологии СПбГУ реализовал проект «Обновление преподавания социальных наук в Санкт-Петербургском университете» по программе “Tempus-Tacis”.

В рамках реализации программ сотрудничества особо чувствовалась необходимость специального теоретического издания, где представлялись бы идеи и традиции европейской социологии и активно участвовали бы отечественные учёные и особенно молодые. Понимая эту потребность, декан Факультета социологии проф. А. Боронеев выступил с идеей подготовки сборника статей ведущих социологов России и Германии. Эта идея, поддержанная координатором программ сотрудничества с германской стороны проф. Ю. Фельдхофом, была реализована в опубликованном в 1994 г. сборнике «Проблемы теоретический социологии» [4].

Выход сборника стал заметным событием для российского социологического сообщества и внес существенный вклад в институционализацию социологии и в развитие международной научной коммуникации. Сборник вызвал интерес и оказался особенно востребован в подготовке социологов на только что созданных в стране факультетах и кафедрах. Например, по свидетельству С. Григорьева, в то время декана факультета социологии Алтайского университета, «Проблемы теоретической социологии» оказали «заметное влияние на развитие социологических исследований в Алтайском университете, особенно тех из них, что касались теоретико-методологические вопросов» [2].

Успех сборника был обусловлен объединением в нем текстов ведущих социологов России и Германии и разнообразием, вплоть до полярного расхождения, теоретических подходов. Так на страницах сборника конструкционистский подход в статье В. Ядова о символических и примордиальных солидарностях [4: 169–183] встречается

с критикой такого рода подхода с позиций ортодоксального материализма в статье В. Ельмееева [4: 102–109]; новейшая версия теории социальных систем Н. Лумана [4: 25–42, 43–54] соседствует с более традиционными моделями общества как системы в статьях М. Комарова и И. Яковлева [4: 9–22, 142–151]; обзор современного состояния социальной теории в исполнении Р. Гратхоффа [4: 126–141] дополняет новое прочтение классиков — К. Маркса в статье Д. Иванова [4: 73–86] и М. Вебера в статье Р. Шпаковой [4: 118–125]. Главному редактору сборника А. Бороноеву удалось организовать по сути первый диалог социологов России и Германии и наметить и поныне актуальный путь интеграции мультипарадигмальной социологии.

Публикация работ Н. Лумана в «Проблемах теоретической социологии» сыграла важнейшую роль в распространении его идей в российском социологическом сообществе. Луман, с которым членов редколлегии «Проблем теоретической социологии» познакомил его коллега по Билефельдскому университету Ю. Фельдхофф, к тому времени был профессором в статусе «emeritus», то есть уже не преподавал, а только занимался теорией. Он живо откликнулся на предложение о сотрудничестве, дал интервью для сборника и отобрал для публикации самые важные для первого знакомства с его теорией небольшие работы — статьи «Понятие общества» и «Почему необходима системная теория?». В те годы Луман был известен в России лишь узкому кругу специалистов и в основном по реферативным изложениям его работ. Кроме пары статей, переведенных на русский язык А. Филипповым, при разработке лумановского понятийного аппарата на русском языке не на что было опереться. Переводческая работа, порученная тогда доценту, а ныне профессору Факультета социологии СПбГУ Н. Головину, оказалась трудной, но результат публикации этих текстов оправдал все усилия.

На страницах «Проблем теоретической социологии» произошло первое знакомство широкой читательской аудитории в России с ядром теории Лумана и с его взглядами на современную социологию. Именно на статьи, опубликованные в «Проблемах теоретической социологии», больше всего ссылаются при анализе теории Лумана российские социологи. В этом легко убедиться, обратившись к информационной системе РИНЦ. Библиографический анализ показывает, что публикации работ Лумана в первом и последующих вы-

пусках «Проблем теоретической социологии» и сегодня остаются значимыми и востребованными: вся библиография Лумана на русском языке насчитывает 33 наименования его работ, 6 из которых вошли в выпуски сборника — это заметная доля.

Представленный на страницах «Проблем теоретической социологии» диалог российских и германских социологов вызвал отклик не только в отечественном научном сообществе. При обсуждении в 1997 г. с алтайскими социологами идеи выпустить международный сборник, представляющий новые теоретические направления и концепции, известный французский социолог Р. Будон упомянул опыт «Проблем теоретической социологии», правда, указав на «зацикленность» издания на немецкой социологии, особенно на Лумане [2]. Критику со стороны Будона следует признать обоснованной, хотя и несколько запоздалой. К этому моменту уже вышел в свет второй выпуск «Проблем теоретической социологии» [5], в котором, наряду с германскими социологами, были представлены французские исследователи из Страсбурга Р. Пфефекорн и Ф. Рафаэль. В дальнейшем авторами сборника становились также французы П. Ватье [6: 70–90] и М. Вивьорка [10: 44–58], бывший президентом Международной социологической ассоциации (ISA) в 2006–2010 гг.

Осознавая необходимость широкого представления зарубежной социологии в сборнике, его редакция стремится поддерживать международный характер издания с первого выпуска и по настоящее время. Одновременно серия сборников стала и дискуссионной площадкой для отечественных социологов, представляющих не только традиционно многочисленные и сильные в теоретическом отношении профессиональные сообщества Санкт-Петербурга и Москвы, но также и другие региональные исследовательские группы и школы. С 1994 г. по 2024 г. вышло в свет 14 выпусков «Проблем теоретической социологии», содержащих 261 статью (без учета 12 статей в Вып. 13, которые были отобраны из прежних выпусков для юбилейного сборника), и можно видеть, как с годами менялось на страницах сборника представительство различных стран и регионов (табл. 1).

Как можно видеть, в среднем выпуск сборника представляет собой книжное издание объемом около 300 страниц, содержащих порядка 20–25 авторских статей, среди которых доминируют тексты санкт-петербургских социологов, однако обязательно представлены

Таблица 1. Количество статей и представленность различных стран и регионов в сборнике «Проблемы теоретической социологии»

	Вып. 1 (1994)	Вып. 2 (1996)	Вып. 3 (2000)	Вып. 4 (2003)	Вып. 5 (2005)	Вып. 6 (2007)	Вып. 7 (2009)	Вып. 8 (2011)	Вып. 9 (2012)	Вып. 10 (2014)	Вып. 11 (2016)	Вып. 12 (2019)	Вып. 13/14 (2024)
Количество статей	19	24	21	20	25	30	17	18	19	19	20	18	23 (11)*
Количество авторов статей	19	29	21	21	28	33	18	19	21	20	23	26	27 (18)*
Количество авторов, представляющих различные страны и регионы													
Россия	13	22	17	15	27	30	15	19	21	20	23	20	21 (16)*
Санкт-Петербург	8	14	15	11	18	25	14	14	15	14	20	16	15 (14)*
Москва	3	5	–	1	1	3	–	2	1	2	2	1	6 (2)*
Другие регионы РФ	2	3	2	4	7	3	1	2	4	4	1	3	1 (–)*
Западная Европа	6	7	3	3	1	1	3	–	–	–	–	–	5 (1)*
Страны СНГ	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	1 (1)*
Страны Азии	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	

* В скобках указано число впервые публикуемых в сборнике статей / их авторов. Общее число статей и авторов в Вып. 13/14 учитывает и те тексты (и их авторов), которые вошли в юбилейный выпуск из выпусков прежних лет.

социологи из других регионов России и из других стран. Структура представленности различных национальных и региональных социологических школ заметно менялась на протяжении четверти века, и можно выделить разные периоды в истории «Проблем теоретической социологии», отражающие специфику направленности поисков на глобальной карте социологии тех источников для теоретизирования и концептуального обмена, которые в данный момент считаются перспективными.

В первый период истории издания (1994–2009, всего 7 выпусков) в условиях дефицита актуального содержания теоретической социологии на постсоветском пространстве сборник обеспечивал, прежде всего, непосредственную связь российского социологического сообщества с западноевропейской социологией. В выпусках с 1-го по 7-й германские и французские авторы были обязательно представлены наряду с петербуржцами и москвичами, а также исследователями из некоторых российских регионов и стран СНГ.

Второй период (2011–2016, всего 4 выпуска) характеризуется тем, что, начиная с 8-го выпуска (2011), сборник становится в основном российской площадкой для теоретического исследования проблем современного общества и анализа путей развития социологии. Авторская география «Проблем теоретической социологии» теперь ограничивается российским социологическим сообществом и некоторыми странами СНГ. При этом на страницах сборника численно доминируют санкт-петербургские социологи, Москва и другие регионы России представлены меньше.

Третий период начался с выходом 12-го выпуска (2019), в котором после долгого перерыва вновь были представлены социологи из дальнего зарубежья. Сборник снова приобретает отчетливо международный характер, однако, в отличие от выпусков первого периода, поиск зарубежных теоретико-социологических работ теперь направлен не только на Запад, но и на Восток. В 2019 году в «Проблемах теоретической социологии» рядом с текстами российских исследователей представлены работы социологов из Китая и Турции [15]. В юбилейном сдвоенном выпуске 13/14 (2024), вышедшем в непростое для международных связей российской науки время, возобновлен теоретический диалог западно- и восточноевропейских социологов.

Метатеоретический анализ тематики статей, вошедших во все выпуски «Проблем теоретической социологии», показывает, что публикации распадаются на три главных направления в проблематизации социологического теоретизирования.

Первое направление теоретизирования представлено работами по общей теории, по фундаментальным теоретико-методологическим проблемам социологии как науки в целом, а также работы, содержащие концептуальный анализ различных парадигм и подходов и опыта их развития в современной социологии. В качестве наиболее

показательных примеров такого рода общетеоретических и парадигмальных текстов можно назвать статьи Н. Лумана с изложением основ его теории социальных систем [4: 25–42, 43–54; 5: 112–127; 6: 29–42, 43–54], У. Бека о соотношении индивидуализации и глобализации в посттрадиционном обществе [7: 211–221], М. Вивьорки о «мутации» социальных наук в направлении мультипарадигмальности [10: 44–58], П. Ватье о социальности в контексте понимающей социологии [6: 70–90], Ж. Тощенко о парадигмах, уровнях и структуре социологического знания [9: 49–63], В. Култыгина о проблемах социального познания и трендах мировой социологической методологии [7: 11–23; 9: 28–38], О. Иванова о современном состоянии социологической методологии [9: 9–27], С. Кравченко о развитии социологии на базе интегралистского подхода [13: 33–50], Н. Романовского о тенденциях развития современной социологии [11: 10–25]. В новом, 14-м выпуске серии это общетеоретическое направление о настоящем и будущем социологии развивают статьи Д. Иванова (в соавторстве с Ю. Асачковым и К. Гулькиной), Л. Титаренко, Д. Подвойского (в соавторстве с А. Спиркиной), интервью с Н. Геновым.

Второе направление теоретизирования образуют тексты, в которых ставятся и решаются теоретико-методологические проблемы отраслевых социологий, их предмета, рассматриваются формы адаптации различных теорий в исследовании отдельных областей социальной жизни. Примерами статей, направленных на создание теорий среднего уровня для отраслевых социологий, могут служить статьи Г. Зборовского [4: 110–117; 11: 39–60] и И. Ковалева [12: 123–132], развивающие социологию образования; статьи М. Смирнова [8: 160–164] и Е. Островской [9: 278–300; 10: 191–206], анализирующие традиционные и инновационные подходы в социологии религии; статьи Ю. Фельдхоффа [4: 224–235; 5: 263–276] и Л. Лебединцевой [12: 66–76], определяющие в контексте сдвига к постиндустриализму предмет социологии труда; а также статьи Х. Абельса [7: 264–283] и О. Иванова [6: 239–247], представляющие различные подходы в предметном поле социологии молодежи. В новом сборнике эту «отраслевую» линию теоретизирования удачно продолжена в статьях Е. Орех о визуальной социологии, Е. Богомягковой о новых подходах к анализу социальных проблем, П. Дерюгина и Л. Лебединцевой с соавторами об исследованиях мобильности.

Третье направление теоретизирования представлено в статьях, посвященных историко-теоретическим проблемам мировой и отечественной социологии, дающих современную интерпретацию содержанию и теоретико-методологическому значению работ классиков и позволяющих сквозь призму классических подходов ставить и решать актуальные проблемы теоретической социологии. Здесь примерами являются работы Р. Шпаковой [4: 118–125; 8: 345–358] и Р. Лепсиуса [10: 59–68] о наследии М. Вебера, П. Ватье с интерпретацией идей Г. Зиммеля, [70–90], а также статьи В. Бочкиревой [10: 295–308; 13: 272–285], М. Ломоносовой [15: 232–242], М. Синютина [16: 230–249], проблематизирующие изучение наследия отечественных социологов прошлого, и статья Н. Осиповой [13: 239–271], по-новому ставящая проблему освоения истории зарубежной социологии. В новом сборнике историко-социологическое направление представлено статьями Н. Головина и М. Ломоносовой (в соавторстве с А. Быковым), дающими оригинальные трактовки разным аспектам богатого теоретического наследия Питирима Сорокина.

Характерное для структуры сборника «Проблемы теоретической социологии» тематическое разделение на направления теоретизирования отражает давнюю и фундаментальную проблему теоретической социологии. К этой проблеме авторы сборника обращаются постоянно с момента основания серии. Так, в первом выпуске сборника Г. Зборовским эта проблема обозначена как «ров» между общей теорией и отраслевым знанием [4: 110]. Заполнение такого рода «рвов» исследовательским материалом, предоставляемым авторами статей по разным направлениям и на разных уровнях теоретизирования, является пока единственным возможным способом если не решить окончательно эту проблему, то сделать ее менее драматичной.

На первом уровне теоретизирования, уровне социологических парадигм, в «Проблемах теоретической социологии» представлены разнообразные адаптации существующих и попытки развития новых парадигм и одновременно дано место попыткам актуализировать старые парадигмы.

В заслугу авторам сборника можно поставить, в первую очередь, то, что их статьи существенно обогатили отечественную теоретическую социологию концептуальным материалом, созданным в рамках

трех имеющих огромное влияние в мировой социологии парадигм. Этими тремя парадигмами являются:

- *системная теория 3-го поколения*, разработанная Н. Луманом и представляющая социальность как эффект коммуникаций [4: 25–42, 43–54; 6: 29–42, 43–54; 7: 24–35];
- *глобализационная парадигма*, представленная в статьях У. Бека [7: 211–221], Д. Иванова [7: 174–198], Ч. Кирвеля [7: 222–241], К. Абрамовой [8: 129–142], Г. Леманна [8: 143–159] как дискурс, релятивизировавший «методологический национализм» и утвердивший транснациональные структуры, организации и движения в качестве нового предмета социологии;
- *конструкционизм*, эволюционировавший на страницах сборника от альтернативного подхода, позволяющего изучать создание и поддержание идентичностей и символических солидарностей, в статье В. Ядова [4: 169–183] до мощного методологического аппарата, раскрывающего широкий спектр механизмов идентификации и даже создания социальных проблем и девиаций, в статьях Я. Гилянского [12: 161–167], Е. Богомягковой [11: 177–192; 12: 150–160], Ю. Верминенко [11: 193–204; 14: 152–159].

Развивая теоретическую социологию в русле мировой социологии, все больше фокусирующей внимание на коммуникациях, проникающих через структурные и локальные границы, на символических конструктах и на подвижности и условности социальной реальности, отечественные авторы представили на страницах «Проблем теоретической социологии» собственные поиски новых парадигм. Так, именно в этом сборнике впервые была сформулирована Д. Ивановым *теория виртуализации общества* [5: 93–111; 7: 273–284], а затем как продолжение этой линии концептуализации им был представлен предварительный набросок *теории потоковых структур* [11: 101–113]. Анализируя те же тенденции социокультурных изменений и опираясь во многом на те же теоретические источники, С. Кравченко предложил оригинальную *теорию играизации общества* [8: 33–46] и *концепцию текущей морали* [11: 78–100]. Еще одним примером творческих поисков новой парадигмы можно считать работы Ж. Тощенко, представившего концепцию социального настроения как объекта социологического анализа [5: 35–46] и позднее развившего *концепцию социологии жизни* [14: 134–147]. Судя по высоким уровням цитируе-

мости в РИНЦ, названные теоретические идеи вправе претендовать на статус парадигмальных, так как у них есть свои последователи и интерпретаторы.

Наряду с тенденцией адаптации существующих и создания новых парадигм в русле общего развития современной социологии, в «Проблемах теоретической социологии» можно обнаружить и тенденцию модернизации теоретической архаики. В стремлении описывать и объяснять современные явления и процессы многие отечественные социологи предпочитают черпать вдохновение не в нынешнем социологическом мейнстриме и авангарде, а в философских по преимуществу концепциях прошлого и даже позапрошлого века.

Ярким примером такого подхода к решению проблем теоретической социологии является потребительно-стоимостная теория, представленная в работах В. Ельмееева [4: 102–109; 6: 117–125] и Е. Тарандо [7: 326–341; 8: 331–344], которые приспосабливают ортодоксальный диалектический и исторический материализм к условиям постиндустриального общества. Чуть более современно выглядят структурно-динамические модели социальных систем в работах И. Яковлева [4, 142–151; 5: 72–80], М. Комарова [4: 9–22], В. Плахова [6: 9–28], однако развивающие в них версии системной теории 1-го и 2-го поколений после лумановского поворота требуют уже радикального пересмотра.

Также любопытными попытками модернизации теоретической архаики следует признать концепцию (нео)витализма, развивающую С. Григорьевым и Ю. Растворым [8: 108–116, 117–128], универсумную парадигму, представленную В. Немировским [7: 99–114], ценностно-деятельностный подход и теорию служебно-домашней цивилизации П. Смирнова [6: 132–143]. И совершенной экзотикой в контексте актуальных трендов социологического теоретизирования предстают работы В. Фетисова и Д. Мутагирова [15: 24–35, 36–54], нацеленные на реанимацию идеи социализма как альтернативной капитализму общественной системы.

Совмещение продвинутых форм теоретизирования и тех, что в перспективе сегодняшних трендов в социологии выглядят архаичными, отражает позицию редакции сборника, придерживающейся мультипарадигмального подхода и установки на интеграцию теоретической социологии на основе признания плюрализма, открытой дискуссии и отказа от догматизма.

Среди работ, не претендующих на разработку общесоциологической парадигмы, а нацеленных на создание теорий среднего уровня, следует выделить фундаментальные по глубине анализа и масштабные по охвату разных подходов концепции интегральных теорий специфических социальных феноменов. Внимания заслуживают концепция построения теории политической социализации, разработанная Н. Головиным [8: 47–69], концепция теории традиционных и транснациональных религиозных идеологий, созданная Е. Островской [9: 278–300; 10: 191–206], концепция теоретических оснований социологии питания, предложенная Ю. Веселовым [13: 168–198].

За 30 лет существования сборника «Проблемы теоретической социологии» в нем представлено так много столь разных тематик, подходов, концепций и теорий, что краткий обзор и анализ их всех становится практически невозможным. Нарастающей проблеме отсутствия единой логики в том многообразии уровней и парадигм, которые существуют в современной теоретической социологии, был в значительной степени посвящен 6-й выпуск сборника (2007). Представленные в нем идеи О. Иванова и А. Дайкселя найти единое онтологическое и эпистемологическое основания и таким образом преодолеть методологическую фрагментацию современной социологии [9: 9–27, 207–238] выглядят идеалистическими и потому не дают того решения проблемы, которому бы последовало научное сообщество. Прагматические решения, лежащие в русле метатеоретизирования, предложенного Дж. Ритцером [19], предполагают не интеграцию социологических теорий в одну, а интеграцию теоретической социологии как установление межтеоретических отношений, задающих общую перспективу «поверх» различий и противоречий среди отдельных теорий. Поворотом на путь прагматических решений проблемы мультипарадигмальности предстает 10-й выпуск «Проблем теоретической социологии» (2014), в котором идеи «арочного» метатеоретизирования и нового интегрализма были представлены в статьях В. Дудиной и С. Кравченко [13: 94–102, 33–50]. В 14-м выпуске эту прагматическую линию метатеоретизирования продолжает статья Ю. Асочакова, К. Гулькиной и Д. Иванова об интегральных решениях в теории и методологии на базе концепции дополненной социальной реальности.

Вышедший в 2019 г. 12-й выпуск «Проблем теоретической социологии» также во многом стал поворотным. В нем впервые в отече-

ственной социологии поставлена в качестве теоретической проблемы задача изучения *постглобализации* [15: 9–23]. Глобализация, обещавшая структурную гомогенность и культурную унификацию, осталась в прошлом. Происходит не планетарное распространение институтов современного общества, а локализованное замещение привычных для современности структур интенсивными потоками. Так что предмет изучения сегодняшней так называемой глобальной социологии — это не тотальность обществ и отношений между ними, а сети и потоки, генерируемые суперурбанизированными анклавами дополненной современности, с одной стороны, и возникновение институциональных и локальных барьеров на путях социального развития.

Процессы постглобализации и развития дополненной социальной реальности являются вызовом привычным социологическим подходам и связанным с ними моделям социального развития, сфокусированным на институтах и сообществах, укорененных в индустриальном обществе западного типа.

В сегодняшней социологии постглобализационные тенденции можно видеть в критике «европоцентризма» [17] и проектах «южной теории» [18], развивающих ценный потенциал «аборигенных» социологий, сложившихся за пределами глобального Севера и Запада. На этом фоне симптоматичным выглядит и изменение ориентиров «Проблем теоретической социологии» в поисках авторов и идей. В 12-м выпуске сборника впервые были представлены работы китайских социологов и анализ китайской социологии и китайской модели социального развития российскими исследователями [15: 94–101, 153–164, 165–187, 194–211, 212–229]. После движения в направлении западной социологии в 1990-х, отчетливо выразившегося в подборе тем и авторов в первых трех выпусках, во втором десятилетии нового века наметился поворот «внутрь / вглубь» российской социологии и «на Восток» — к неевропейским и неамериканским социологическим сообществам.

В третье десятилетие, в середину нового века «Проблемы теоретической социологии» входят сдвоенным юбилейным выпуском 13/14, в котором редакционная политика нацелена на достижение баланса национальных и международных, западных и восточных источников и направлений теоретизирования. Подборка статей, презентирующих эволюцию теоретической социологии на рубеже

ХХ–XXI вв. и включающая как работы мировых «звезд» Н. Лумана, У. Бека, М. Вивьорки, так и работы лидеров отечественного научного сообщества В. Ядова, Ж. Тощенко, С. Кравченко, Г. Зборовского и др., составляет Вып. 13 и представляет историю самого сборника с 1994 до 2019 г. А в Вып. 14 проблемы теоретической социологии на современном этапе ее развития обсуждают социологи с восточноевропейским бэкграундом, но давно и успешно включенными в международное научное сообщество — Н. Генов (Болгария — Германия), Л. Титаренко (Беларусь), Н. Головин (Россия), Д. Иванов (Россия) и др.

Подводя итог обзору 30-летнего развития серии «Проблемы теоретической социологии», можно сформулировать ряд выводов.

Во-первых, сборник сыграл важную роль в поддержании научной коммуникации в сложный период становления постсоветской социологии, преодолевавшей теоретический догматизм прежней эпохи и оторванность от теоретического дискурса мировой социологии.

Во-вторых, сборник и сейчас выполняет интеграционную функцию в теоретической социологии, и хотя полная теоретическая интеграция в социологии не достигнута, научное сообщество стало более интегрированным, благодаря теоретическим коммуникациям на основе признания мультипарадигмального подхода. Решения проблем теоретической социологии выводятся на метатеоретический уровень одними авторами и погружаются в толщу теорий среднего уровня другими. Сборник объединил отечественных социологов на поприще обсуждения теоретических проблем, вокруг издания круг постоянных авторов разных поколений и из различных регионов страны.

В-третьих, теоретические поиски и изменение круга авторов, чьи публикации вошли в сборники серии, указывают на общий концептуальный и методологический поворот в развитии современной социологии: от столкновения парадигм к утверждению мультипарадигмального подхода и от прозападной модели глобализации социальных структур и социального знания в конце ХХ в. к концепциям в русле постглобализации во втором десятилетии ХХI в. В текстах, составивших 14 выпусков теоретического сборника, наглядно отразились главные тенденции социального развития последних десятилетий и стремления социологов понять и объяснить себе и общественности эти тенденции.

Успешное существование серии «Проблем теоретической социологии» релятивизирует знаменитый некогда тезис об отсутствии в России теоретической социологии. В условиях постсоветского кризиса дисциплинарной коммуникации А. Филиппов отмечал, что теоретической социологии в стране практически нет: нет обширных и постоянных коммуникаций по тематике фундаментальной теории; нет обширных концептуальных построений; нет достаточно самостоятельных последователей какой-либо западной школы [16]. Столь критичный взгляд на ситуацию в российской социологии мог восприниматься всерьез в середине 1990-х гг., однако уже к концу того кризисного десятилетия на страницах «Проблем теоретической социологии» можно было найти все три отмеченных признака развития теоретической социологии в России. За 30 лет работы заинтересованных в теории авторов и ориентированной на творческий поиск редколлегии одной проблемой стало меньше — теоретическая социология у нас теперь есть, правда сейчас она сталкивается с множеством новых проблем собственного развития и социального развития в быстро меняющемся мире. В стремлении внести вклад в решение этих проблем, ответить на вызовы «турбулентной» современности создавался и издается сборник «Проблемы теоретической социологии», ставший уникальной творческой лабораторией и коммуникационной платформой для российских и зарубежных социологов.

Литература

1. Актуальные проблемы критики современной буржуазной философии и социологии / ЛГУ им. А. А. Жданова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977–1987.
2. Мой, твой, наш, Ваш социологический… / под ред. С. И. Григорьева. Барнаул, 2000.
3. Новые идеи в социологии. Сб. статей под. ред. М. М. Ковалевского и Е. В. Де Роберти. Вып. 1–4. СПб., 1913–1914.
4. Проблемы теоретической социологии: сб. науч. ст. / под ред. А. О. Боронеева. СПб.: Петрополис, 1994.
5. Проблемы теоретической социологии Вып. 2. Сб. статей / под. ред. А. О. Боронеева. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996.
6. Проблемы теоретической социологии. Вып. 3: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Боронеев. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000.
7. Проблемы теоретической социологии. Вып. 4: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Боронеев. СПб.: НИИХ СПбГУ, 2003.

8. Проблемы теоретической социологии. Вып. 5: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Астерион, 2005.
9. Проблемы теоретической социологии. Вып. 6: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.
10. Проблемы теоретической социологии. Вып. 7: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009.
11. Проблемы теоретической социологии. Вып. 8: Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Скифия-Принт, 2011.
12. Проблемы теоретической социологии. Вып. 9. Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Скифия-Принт, 2012.
13. Проблемы теоретической социологии. Вып. 10. Межвуз. сб. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Издат. центр эконом. ф-та СПбГУ, 2014.
14. Проблемы теоретической социологии: Межвуз. сб. Вып. 11 / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Астерион, 2016.
15. Проблемы теоретической социологии: Межвуз. сб. Вып. 12. / отв. ред. А. О. Бороноеv. СПб.: Астерион, 2019.
16. Филиппов А. Ф. Теоретическая социология // Теория общества: Фундаментальные проблемы / под. ред. А. Ф. Филиппова. М., 1999.
17. Alatas S. Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism. New Dehli: Sage, 2006.
18. Connell R. Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Cambridge: Polity Press, 2007.
19. Ritzer G. Metatheorizing in Sociology // Sociological Forum. 1990. Vol. 5. No. 1.

Н. Луман

ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА¹

I

Если такие науки, как биология, психология или социология рассматривать с дистанции безучастного наблюдателя, то можно прийти к мысли о том, что биология имеет дело с жизнью, психология — с душой или с сознанием, а социология — с обществом. Однако при ближайшем рассмотрении замечают, что эти дисциплины имеют характерные трудности с понятиями, которые должны обозначить единство их предмета. Понятие аутопойесиса нацелено непосредственно на эту проблему. Впервые оно было введено Умберто Матураной применительно к феномену жизни [1], но его применение возможно также и к сознанию, и к обществу, Речь идёт о таком понятии, которое фактически не играет какой-либо роли в этих дисциплинах, так что наш вопрос о том, почему имеется проблема обозначения единства предмета этих дисциплин с помощью научного понятия, остается.

В принципе не следует удивляться тому, что социология тоже имеет трудности в обозначении единства своего предмета. Можно ли использовать для этого понятие «социальное»? Но ведь это понятие слишком приятно, слишком приветливо, слишком добросердечно. Где были бы тогда асоциальное, преступность, аномия Дюркгейма? Можно было бы воспользоваться понятием общества, ведь в других дисциплинах и в публичной дискуссии привыкли причислять социологию к общественным наукам. Однако, когда пытаются определить понятие общества, то сталкиваются с трудностями: на передний план выходит слово, однако напрасно ищут понятие, которое обозначало бы подразумеваемый предмет с точностью, достаточной для теоретических целей.

¹ Статья выдающегося немецкого социолога-теоретика Никласа Лумана (1927–1998) была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 1994 г. (Вып. 1, с. 25–42). Впервые статья появилась в словенском журнале «Teorija in Praksa» в 1991 г. (Vol. 28, p. 1175–1185) под названием «Pogem družbe». Перевод для «Проблем теоретической социологии» был осуществлен Н. А. Головиным по немецкому оригиналу рукописи под названием «Der Begriff der Gesellschaft», предоставленному лично Н. Луманом. — Примечание отв. ред.

Для отказа от использования понятия общества хотелось бы сначала получить исторические основания. Когда в конце прошлого столетия социология начала создаваться как академическая дисциплина, понятие общества уже имелось в наличии и имело собственную историю, было проблематичным, и некоторые даже считали его непригодным к употреблению в новой дисциплине. Отчасти это понятие было компонентой различия, которое вело к исчезновению того, что нужно было обозначить им: государство и общество или общество и сообщество (исчезновению среди деталей, или лучше выразиться, среди фалд?). Им часто злоупотребляли в идейно-политическом отношении, вследствие чего оно было предметом идеологических споров. Если не желали полностью отказаться от него вслед за «формальной социологией», то следовало бы уточнить его по отношению к собственной истории. Однако этого все-таки никогда не удавалось сделать в действительности.

Итак, то были проблемы наших уважаемых классиков. Это не наши проблемы. Если социология и сегодня остается в нерешительности перед этими препятствиями, то здесь должны играть роль другие причины. Я полагаю, что можно говорить об «*obstacles epistemologiques*²» как о предубеждениях именно и том смысле, который связал с этим понятием Гастон Башляр [2: 13]. У традиционных ожиданий по отношению к понятию, которые не могут быть устранины или заменены (или это может быть сделано лишь с трудом, лишь в контексте совершенно новой парадигмы) имеются известные преимущества. Я хотел бы привести три таких *obstacles*, которые мне кажутся наиболее важными:

1) Первое касается допущения о том, что общество состоит из людей или из отношений между людьми. Я называю его гуманистическим предубеждением. Как следует это понимать? Что оно состоит из рук и ног, мыслей и энзимов? Что парикмахер стрижет волосы общества? Нужно ли при случае вводить ему немного инсулина? Какого рода операции характеризуют общество, если химия клетки относится к нему в такой же степени, как и алхимия бессознательных вытеснений? Очевидно, что гуманистическое предубеждение наме-

² Эпистемологических препятствиях (франц.). — Примечание отв. ред.

ренно основывается на нестрогости понятий, но тогда следует задать вопрос: почему? И теоретик сам нуждается в помощи.

2) Второе предубеждение, которое блокирует развитие понятий, заключается в допущении территориального многообразия обществ. Китай — это одно общество, Бразилия — другое; Парагвай одно, следовательно, Уругвай — другое. Однако все усилия, направленные на строгое ограничение обществ, не удаются, безразлично, ориентируются ли они на государственную организацию или на язык, культуру, традиции. Хотя на этих территориях имеются необозримые различия в жизненных условиях, но они должны быть объяснены в качестве различий внутри общества, а не допускаться в качестве различий между обществами. Иначе получается, что социология пытается решить свою центральную проблему посредством географии?

3) Третье предубеждение носит теоретико-познавательный характер. Оно следует из различия субъекта и объекта. Согласно теории познания, господствовавшей вплоть до нашего столетия, субъект и объект (так же как мышление и бытие, познание и предмет познания) следуют полагать разделенными и считать наблюдение и описание мира возможными *ab extra*³; признавать познание как таковое только тогда, когда удалось избежать всякого переплетения со своим предметом. Лишь субъекты обладают привилегией самореференции, а объекты являются такими, каковы они есть.

Однако совершенно очевидно, что общество является самоописывающимся объектом. Общественные теории являются теориями общества в обществе. Если это было бы недопустимо в теоретико-познавательном отношении, то невозможно было бы дать понятие общества соответствующей строгости. Иначе говоря: понятие общества должно быть образовано автологично. Оно должно содержать и само себя. Вне социологии такое положение дел является совершенно привычным. Впрочем, понятие автологии, само являющееся автологичным понятием, возникло в лингвистике. О распространенности этого воззрения свидетельствуют такие имена, как Витгенштейн или Хайнц фон Фёрстер, Георг Спенсер Браун или Готхард Гюнтер. Лингвистический поворот в философии делает его неизбежным, точно так же, как и требование Квинеса о натуралистической эпистемологии. По-

³ Извне (лат.). — Примечание отв. ред.

чему же тогда социология должна противиться себе как раз там, где ее предмет особенно близок ей? Наверно, именно поэтому! Наверно, она знает общество слишком хорошо, а также слишком критически для того, чтобы чувствовать себя в нем уютно. Тогда следовало бы считать ее смелой. Но ведь тогда не требовалось бы сводить дело к утвердительным суждениям, консенсусу, конформизму. Совсем наоборот: теологическим прототипом наблюдателя системы в самой системе является дьявол! Или Персей, который обезглавливал Медузу окольным путем и с такой легкостью, которую прекрасно изобразил Итalo Кальвино в своей «Lezioni Americane» [3: 6].

Во всяком случае ничего не происходит оттого, что одни держатся на плаву с помощью мелкой эмпирии, а другие, как во Франкфурте⁴, культивируют страх перед изменениями, закоснели в упорном отказе от них или настраиваютя враждебно по отношению к каждому, кто не разделяет веру в утопию нормативно требуемой рациональности. Проблема является скорее проблемой выдвижения теории, однако развитие в междисциплинарных или трансдисциплинарных науках, таких как: cognitive sciences⁵ или кибернетика, системная теория, теория эволюции, теория информации, дает достаточно стимулов для ее решения.

II

При осуществлении такой попытки я предлагаю исходить из понятия системы. Конечно, это еще не обещает многого, так как это понятие употребляется в совершенно разных смыслах. Первое уточнение, немедленно приводящее в необычную область, состоит в том, чтобы понимать под системой не определенные сорта **объектов**, а определенное **различение**, а именно: различение системы и окружающей среды. Это следует уяснить точно. Для этого я заимствую понятия, с помощью которых Георг Спенсер Браун осуществляет введение в свое произведение «Laws of Form» [4]. Система является формой различия, то есть имеет две стороны: систему (как внутреннюю сторону формы) и окружающую среду (как внешнюю сторону формы). Лишь **обе** стороны производят различение, производят форму, производят понятие. Таким образом, окружающая среда является для

⁴ Речь идет о Франкфуртской школе. — Примечание отв. ред.

⁵ Когнитивные науки (англ.). — Примечание отв. ред.

этой формы столь же важной, столь же необходимой, как и сама система. Форма в качестве различия является закрытой. У Спенсера Брауна это называется: «*Distinction is perfect continence*»⁶ [4: 1]. Это означает, что все, что можно описать и наблюдать с помощью этого различия, относится либо к системе, либо к окружающей среде. Уже здесь обращает на себя внимание нечто необычное. Относится ли единство системы к системе или к окружающей среде? Где находится граница формы? То, что разделяет обе стороны формы — граница между системой и окружающей средой, — обозначает единство формы и именно поэтому не может быть отнесена ни к одной, ни к другой стороне. Граница существует лишь как указание пересечь ее — будь то изнутри вовне, будь то извне вовнутрь.

Пока оставим в стороне трудные вопросы такого рода. Их невозможно обсуждать на уровне развития теории такой малой сложности.

Вместо этого мы должны выяснить вопрос о том, каким образом производится различие системы и окружающей среды, так как понятие исчисления форм у Спенсера Брауна предполагает время, работает со временем, истолковывается посредством времени, подобно логике Гегеля.

При этом понятие производства (или понятие «*poiesis*» в отличие от понятия «*praxis*»⁷) выбрано сознательно, так как оно предполагает различие в качестве формы и допускает, что произведение может быть изготовлено также и тогда, когда производитель не может сам создать все необходимые для этого причины. Как легко можно заметить, это подходит для различия системы и окружающей среды. Система располагает внутренними и внешними причинами производства своего продукта, а внутренние причины можно задать таким образом, что возникнут достаточные возможности для комбинации внешних и внутренних причин.

Однако сама система является производимым произведением, или точнее, формой системы, различием системы и окружающей среды. Именно это обозначается понятием **аутопойесиса**. Оно введено эксплицитно в противоположность возможному понятию ау-

⁶ Различие является совершенно самодостаточным (англ.). — Примечание отв. ред.

⁷ Понятия производство и опыт (греч.). — Примечание отв. ред.

топраксиса. При этом не идет речь о действиях, направленных на самоудовлетворение: курении, плавании, болтовне, *raisonner*⁸ (это невозможно выразить по-немецки). Тогда понятие аутопойесиса с необходимостью ведет к трудному, часто неправильно понимаемому понятию **оперативной закрытости системы**. Это понятие, конечно, еще ничего не означает в отношении производства. Оппоненты часто усматривают в нем причинную изолированность, автаркию, когнитивный солипсизм. В большей степени оно является необходимым следствием того тривиального факта (а в понятийном отношении тавтологичного), что никакая система не может оперировать за своими границами. Это приводит нас к заключению о том, что речь должна идти об **оперативно закрытой аутопойетической системе** (если вообще есть желание применять понятие формы системы), образующему первый этап прояснения понятия общества.

На таком уровне абстракции не сразу замечают, что это означает. А мы ведь уже находимся по ту сторону всяческих *obstacles epistemologiques*, казавшихся нам сомнительными, так как оперативная закрытость исключает из общественной системы как людей, так и страны. Вместо этого она включает операции самонаблюдения и самоописания. Однако гуманисты и географы могут быть спокойны, так как окружающая среда является неизбежным компонентом различия, она относится к форме системы. Когда мы исключаем из общества людей в качестве живых и сознательных систем и страны с их географическими и демографическими особенностями, они не утрачиваются для теории. Они лишь находятся не там, где их предполагали с фатальными следствиями для развития теории. Они находятся не в обществе, а в его окружающей среде.

III

Нам еще только предстоит наиболее важная часть работы над понятием общества. Она вызвана вопросом о том, какие именно операции производят общественную систему, причем из собственных продуктов, т. е. воспроизводят ее.

Речь должна идти о точно указанном способе оперирования. Если, как это часто бывает, называют для надежности много операций, та-

⁸ Размышления (франц.). — Примечание отв. ред.

кие как мышление и действие, образование структуры и протекание процессов, то искомое единство исчезает в блекести и безвкусице «И» (следовало бы запретить всякие «И» при построении теории). Мы должны несколько рискнуть при определении способа оперирования, при помощи которого общество производит и воспроизводит себя. Иначе понятие теряет всякие очертания.

Мое предложение: положить в основу понятие коммуникации и тем самым переформулировать социологическую теорию на базе понятия системы вместо понятия действия. Это позволяет представить социальную систему как оперативно закрытую систему, состоящую из собственных операций, производящую коммуникации из коммуникаций. В случае понятия действия едва ли возможно избежать внешних референций. Действие, поскольку оно должно быть отнесено, требует отнесения к несоциально конституированным обстоятельствам: к субъекту, к индивидууму, а исходя из всех практических целей — даже и к живому телу; то есть, к месту в пространстве. Лишь с помощью понятия коммуникации социальную систему можно мыслить как аутопоietическую систему, которая состоит из элементов, а именно: из коммуникаций, производящих и воспроизводящих себя посредством сети именно этих элементов, посредством сети коммуникаций.

Таким образом, теоретическое решение в пользу воззрения на общество как на аутопоietическую систему и в пользу характеристики операций, воспроизводящих систему, как коммуникаций, должно быть принято изначально. Они взаимно обуславливают друг друга. Это означает также, что понятие коммуникации становится решающим фактором для определения понятия общества. В зависимости от того, как определяют коммуникацию, определяют и общество, а определение понимается здесь в точном смысле этого термина как определение границ. Иными словами, построение теории должно осуществляться с двух точек зрения: с одной, направленной на понятие системы, и с другой, направленной на понятие коммуникации. Лишь таким образом оно приобретает требуемую строгость.

В этой ситуации изменяется уже само понятие коммуникации. Его невозможно свести ни к понятию коммуникативного действия и констатировать участие другого, будь то в качестве простого эффекта этого действия, будь то в качестве нормативного вывода в смысле

Хабермаса, ни к пониманию коммуникации как переносу информации от одного места к другому. В случае подобных воззрений тем или иным образом предполагались бы носители происходящего, которые не были бы сами конституированы посредством коммуникации. Напротив, комбинация системной теории и теории коммуникации требует понятия коммуникации, позволяющего сказать, что все коммуникации производятся только коммуникацией — само собой разумеется, что в окружающей среде, допускающей и выдерживающей это.

Для этого можно воспользоваться различием, ставшим обычным со времен Карла Бюлера и восходящим к античным традициям. Я переформулирую его как различие информации, сообщения и понимания. Коммуникация осуществляется лишь тогда, когда можно синтезировать эти три аспекта. В отличие от простых восприятий поведения, в основу понимания должно быть положено различие акта сообщения и самой информации. Именно из него и следует исходить. Без такого «primary distinction»⁹ коммуникация вообще не осуществляется. Если эта предпосылка удовлетворяется, а в случае языка это всегда имеет место, то дальнейшая коммуникация может заниматься сама собой. Тогда и только тогда она достаточна и достаточно сложна для этого. Тогда она может заниматься информацией или основаниями того, почему нечто высказывается непосредственно здесь и теперь; или трудностями понимания смысла коммуникации, или, наконец, следующим шагом: должен ли предложенный смысл быть принят или отклонен. Таким образом, различие информации, сообщения и понимания является тем различием, которое производит различия и которое, будучи однажды совершенным, поддерживает деятельность системы. Как легко можно заметить, это корреспондирует с понятием информации Бетсона как различия, производящего различие. Коммуникация есть не что иное как та операция, которая осуществляет такую трансформацию различий в различия.

При этом важно учитывать, что отдельное событие коммуникации завершается вместе с пониманием. Тем самым еще не решено, будет ли понятое положено в основу дальнейшей коммуникации или нет. Это может быть, но также может и не быть. Коммуникации могут быть

⁹ Первичного различия (англ.). — Примечание отв. ред.

восприняты или отклонены. Всякое иное воззрение имело бы абсурдное следствие о том, что отклоненные коммуникации вообще не являлись коммуникациями. Отсюда следует, что неверно приписывать коммуникации имманентную, квази-телеологическую тенденцию к консенсусу. Иначе все давно бы уже кончилось и мир был бы безмолвен, как вначале. Однако коммуникация не исчерпывает себя, как раз на пути провоцирования самой себя она производит больше, создавая на каждом шагу бифуркацию восприятия и отклонения. Каждое коммуникативное событие закрывает и открывает систему. И только вследствие этой бифуркации может иметь место история, ход которой зависит от того, какое направление будет избрано: «да» или «нет».

IV

Если принято это понятие коммуникации, то сразу снимаются все обычные obstacles epistemologiques обычной теории общества; на их место заступают проблемы, которые лучше подходят для теоретически обоснованного научного исследования.

Исходя из этого становится ясно, что конкретные люди являются не частью общества, а частью его окружающей среды. Нет большого смысла утверждать, что общество состоит из «отношений» между людьми. Понятие коммуникации содержит в себе гораздо более точное предположение (но и реконструирует то, что полагают обычные социологи, когда говорят об «отношениях»). Например, недостаточно того, что один человек видит или слышит другого, даже если он наблюдает его поведение с помощью различения сообщения и информации. Если о ком-то говорят или пишут, этого также еще недостаточно для того, чтобы отношение к нему считалось социальным отношением. Социальной операцией является лишь сама коммуникация.

Понятие территориальных границ также становится излишним, и тем самым излишне предположение о многообразии региональных обществ. То, какое значение имеет пространство и пространственные границы, следует из их коммуникативного использования, но сама коммуникация не имеет пространственного места. Вследствие своего материального субстрата она, конечно, может быть зависима от пространственных условий. В мире животных пространственные отношения являются одним из важнейших, если не единственным способом выражения социального порядка, но эволюция социокультурно-

го мира благодаря языку, письменности, телекоммуникации настолько уменьшает значение пространственных отношений, что сегодня следует исходить из того, что коммуникация определяет оставшееся значение пространства, а не наоборот, не пространство допускает и ограничивает коммуникацию.

Наконец, с помощью понятия коммуникации можно хорошо пояснить, что общество является самоописывающей и самонаблюдающей системой. Уже простая коммуникация возможна лишь в рекурсивной сети предшествующей и последующей коммуникации. Такая сеть может сама себя тематизировать, может информировать себя о собственных коммуникациях, может подвергать информацию сомнению, не принимать ее, нормировать коммуникации как допустимые или не допустимые и т. д. — так как все это происходит лишь с ее стороны в оперативной форме коммуникации. Тем самым становится ясным двойное положение вещей: что общество является самоописывающей и самонаблюдающей системой и что оно не только может использовать свой способ операций, но и должно это делать, чтобы осуществить такие самореферентные операции. Это также относится к науке, в том числе и к социологии. Все коммуникации об обществе связаны с их стандартизацией обществом. Какой-либо внешний наблюдатель со сколько-нибудь достаточной компетенцией отсутствует, хотя каждое отдельное сознание может размышлять о том, чем оно считает общество; а каждая иммунная система может наблюдать себя, принимая во внимание болезни, возникшие лишь за счет совместной общественной жизни людей и т. д.

Теперь мы можем определить понятие общества в качестве промежуточного результата. Общество является всеобъемлющей системой всех коммуникаций, воспроизводящих себя аутопойетически, в то время как она производит все новые (и все время другие) коммуникации в рекурсивной сети коммуникаций. Эмерджентность такой системы включает коммуникации, так как они способны к подключению лишь внутренним образом. Все другое она исключает. Таким образом, воспроизведение одной из таких систем требует способности различения системы и окружающей среды. Коммуникации могут опознавать коммуникации, отличать их от других обстоятельств, относящихся к окружающей среде в том смысле, что хотя и можно совершать коммуникацию через них, но не с ними.

Это приводит к вопросу том, что меняется, когда мы используем это понятие? Что станет видимым и невидимым, если мы наблюдаем с помощью заданной тем самым формы? Открывает ли нам это понятие доступ к «alla totalita del dicibile e del non dicibile»¹⁰?, если использовать формулировку Итalo Кальвино из «Lezioni Americane» [3: 72].¹¹

Мы теряем возможность делать высказывания о «человеке» (в единственном числе) для того, чтобы начать с этого. Многими это воспринимается болезненно. Но если верно, что «человек» вообще появляется лишь с конца XVIII века, то можно с достаточным основанием сказать: *forget it!*¹² Он относится к переходному времени, когда еще было невозможно адекватно описать современное общество, вместо этого нужно было пускаться в иллюзии будущего для того, чтобы за счет семантической ассоциации «общество-будущее-человек» сохранить надежду на целостность, способную к улучшению. Эта проекция мнимого человека (или еще хуже: образа человека) должна была отказаться от того, чтобы определить человека через его отличие от минералов, растений и животных.¹³ Поэтому она предложила себя в форме понятия без противоположного понятия, что означает посредством различия плохих и хороших людей с большой вероятностью оказаться в сфере морали.

Пожертвуем этим, с легким или тяжелым сердцем, как угодно. Что же мы выигрываем, если вместо этого предлагаем дифференциальное понятие, а именно: понятие общества в форме, которая требует разделить все на систему и окружающую среду и избегать высказываний о единстве различия?

Этот вопрос следует обсудить на трех примерах: применительно к языку, применительно к отношению индивидуума и общества и применительно к понятию рациональности.

¹⁰ К тотальности высказанного и невысказанного (итал.). — Примечание отв. ред.

¹¹ Сравните также с работой «Речь и молчание» [5]. — Примечание автора.

¹² Забудьте об этом! (англ.). — Примечание отв. ред.

¹³ Термин XVIII века «human kind» еще повсюду имел такой смысл, в то время как термин «humankind», согласно указаниям американских издателей, служит сегодня для того, чтобы избежать выражения «mankind» (мужское существо), дискриминирующего женщин. — Примечание автора.

V

Что касается языка, то системно-теоретическое понятие общества близко к отказу от представления о том, что язык является системой. Лингвисты вслед за де Соссюром хотели бы придерживаться этого представления, так как им кажется, что оно защищает академическую самостоятельность их дисциплины: однако невозможно понять язык и общество одновременно как системы. Общая область была бы слишком велика, но не вела бы к полному совпадению понятий, так как имеется еще и невербальная коммуникация. Отношение двух этих систем друг к другу было бы неясным. Лингвисты, конечно, могут симпатизировать такому представлению, не будучи социологами, однако дифференциация дисциплины не является достаточным ответом на содержательные вопросы.

Если понятие системы не следует более применять к языку, то это, само собой разумеется, не означает, что феномен языка теряет значение. Имеет место как раз обратное. Освободившееся место в теории можно заполнить иначе, а именно: с помощью понятия структурного соединения. Это понятие было введено Умберто Матураной [1: 14, 243] для обозначения того, как оперативно закрытая аутопойстическая система может существовать в окружающей среде, которая, с одной стороны, является предпосылкой аутопойесиса системы, но с другой стороны, не вмешивается в этот аутопойссис. Проблема, которую решает это понятие, состоит в том, что система может определить себя лишь через собственные структуры, а именно: через структуры, которые можно построить и изменить посредством собственных операций; но, конечно, не может быть оспорено то, что такой вид оперативной автономии предполагает содействие окружающей среды, ее пригодность для этого. Жизнь существует лишь в определенных физических или химических условиях окружающей среды, даже тогда, когда мир не может определить, к чему идет дело. Или, как выражает это Матурана, структурные соединения расположены ортогонально к аутопойесису системы. Они не содействуют операциям, способным воспроизвести саму систему — т. е. в данном случае — коммуникациям. Но они некоторым образом нарушают систему, приводят ее к возбуждению, которое затем внутренним образом приводится в форму, с которой система может работать. В этой

связи можно напомнить о паре понятий Пиаже «ассимиляция» и «аккомодация» или о трактовке функционалистской психологией генерализованных ожиданий и разочарований.

Применительно к коммуникации это понятие позволяет сказать, что язык, благодаря своему очевидному своеобразию, служит структурному соединению языка и сознания. Язык обеспечивает отдельное существование коммуникации и сознания, а также общества и индивидуума. Мысль никогда не может **быть** коммуникацией, но и коммуникация — мыслью. В рекурсивной сети своих собственных операций коммуникация всегда имеет другие предшествующие и другие последующие события, протекающие в поле зрения индивидуального сознания. На оперативном уровне какие-либо пересечения отсутствуют, речь идет о двух оперативно закрытых системах. Решающее значение имеет то, что языку удается соединять системы несмотря на это и при их различных способах оперирования. Язык достигает этого за счет своей искусственной необычности в акустической среде звуков и, затем, в оптической среде письменности, Он может очаровывать сознание, центрировать его и одновременно воспроизводить коммуникацию. Таким образом, его функция состоит не в опосредовании референции и в отношении внешней среды, а исключительно в структурном соединении.

Однако это все-таки одна сторона его вклада. Как и все структурные соединения, язык обладает эффектом включения и исключения. Он повышает возбудимость сознания посредством коммуникации и возбудимость общества посредством сознания, так что собственные состояния превращаются в язык и в понимание или, соответственно, в непонимание. Но одновременно для общественной системы **исключаются другие** источники возбуждения. Это значит: язык изолирует общество почти от всех событий окружающей среды физического, химического рода или событий, формирующих образ жизни, за исключением единственного возбуждения импульсами сознания. Подобно мозгу, который за счет исключительно малой способности глаз и ушей к резонансу почти полностью изолирован по отношению ко всему, что происходит в окружающей среде, общественная система почти полностью изолирована от всего, что происходит в мире, с помощью узких путей для раздражения, которые канализируются сознанием. Также, как в случае мозга, эта почти полная изоляция об-

щества является условием оперативной закрытости и возможностью построения высокой собственной сложности.

VI

Эти размышления уже приблизили нас к тому, что следует сказать об отношениях индивидуума и общества. Сначала следовало бы еще раз напомнить о соответствующих *obstacle epistemologiques*: социология больше не может с успехом понимать индивидуума как часть общества, но она не может и отстраниться от этого представления. С тех пор, как она существует в качестве академической дисциплины, она занимается этой проблемой. В противоположность этому представленное нами понятие общества исходит из полного разделения индивидуума и общества. Согласно моему тезису, лишь на этой основе возможна программа теории, которая серьезно рассматривает индивидуума.

Со всей категоричностью говоря: «участие» индивидуума в обществе исключается. Между индивидуумом и обществом нет никакой коммуникации, так как коммуникация всегда является внутренней операцией общественной системы. Общество никогда не может выйти за свои пределы с помощью собственных операций и охватить индивидуума, с помощью собственных операций оно может воспроизводить лишь собственные операции, так как оно не может оперировать за пределами своих собственных границ. Это, собственно говоря, должно было бы быть легко понято (но почему же это не воспринимают?). То же самое справедливо в отношении жизни и сознания индивидуума. Операции, воспроизводящие систему, также и здесь остаются в системе. Ни одна мысль не может покинуть сознание, которое она воспроизводит. Не следует ли сказать: к счастью? Иначе что случилось бы со мной и как можно было бы мне развивать индивидуальность, если другие своими мыслями могли бы управлять моими мыслями? Как можно было бы представить себе общество в виде гипноза всех и всеми?

Конечно, остается возможность того, что индивидуум представляет общество, и что коммуникация в первую очередь использует личностей в качестве адресатов и в качестве тем. Но тогда следовало бы говорить не об индивидуумах (людях, сознании, субъектах и т. д.), о личностях в точном античном смысле слова. Имена и местоимения.

которые употребляются в коммуникации, не имеют ни малейшего сходства с тем, что они обозначают. Каждый не есть «я» точно такие, как слово «яблоко» не является яблоком.

Говорить всерьез об индивидуальности — значит понимать индивидуумов как продукт их собственной деятельности, как самореферентные исторические механизмы, которые каждой своей операцией определяют исходное состояние для дальнейших операций и могут делать это **лишь** посредством **собственных** операций.

Отсюда следует, что не существует нормативной интеграции людей в обществе. Иначе говоря, не существует норм, от которых невозможно было бы отклонение, если это кому-нибудь нравится. Не существует и консенсуса, если он должен означать, что эмпирические состояния, в которых находятся индивидуумы, каким-либо образом согласуются. Имеется лишь соответствующая схема наблюдения, в которой наблюдатель сам себя детерминирует к установлению того, что поведение согласуется с нормой или отклоняется от нее. Этим наблюдателем может быть также система, осуществляющая коммуникацию, — суд, средства массовой информации и т. д. Если спрашивают о реальной основе норм или консенсуса, то нужно наблюдать наблюдателя; а если отказаться считать божеством наблюдателем мира, то остается множество других возможностей определения наблюдатель.

Лишь когда впервые воспринимают теорию в такой ее радикальности, можно видеть, что дает дополнительное понятие структурного соединения. Оно поясняет, что несмотря на эту оперативную закрытость в мире не происходит все, что угодно. Структурные соединения обеспечивают накопление определенных возбуждений и исключают другие. Тем самым возникают тенденции в развитии самодетерминации структур, которые зависят от того, с какими возбуждениями они имеют дело. Так, организмы настроены на силу тяготения Земли, причем часто очень специфическим образом. (Кит будет раздавлен весом своих собственных внутренних органов, если будет выброшен на берег). Человек, находящийся в особых шумах, которые функционируют в качестве языка, учится говорить. Каждое общество социализирует индивидуумов по ту сторону их структурных соединений и предназначено именно для этого. Язык является бинарно кодированным и может ответить на каждое сообщение утвердительно или отрицательно. Каждая норма будет направлена против возможности

отклоняющегося поведения. Тем самым общество размещает (полностью бесконтрольных) индивидуумов в опциональную схему. Оно считает свободой то, что не может изменить, и делает это в настолько сильно схематизированной форме, что коммуникация может быть продолжена через «да» или «нет», через конформное или отклоняющееся поведение, в зависимости от того, как решит индивидуум. В этом мы видим эволюционно крайне невероятные, очень высоко селективные устройства разделения и соединения систем, систем свободы и порядка.

VII

Свобода и порядок были проблемными терминами (или «переменными величинами») последнего убедительного понятия рациональности, которое создала Европа: как можно больше свободы при такой степени порядка, которая необходима, — так можно выразить кredo либерализма в форме, восходящей к Лейбницу. С тех пор имеются лишь продукты распада, будь то в виде различия нескольких понятий рациональности без определения рациональности *per se*¹⁴ (Вебер, Хабермас), будь то в форме различия рациональности и иррациональности, причем обе стороны различия являются справедливыми — и опять же: без указания того, в чем же именно состоят формулировки такого различия; или, иначе говоря, что обозначено в его форме. Этому соответствует элиминация понятия разума: из свойства человеческого существа он стал лишь аппроксимативно достижимым, в буквальном смысле слова утопическим идеалом.

Нелегко усмотреть, каким образом системно-теоретическое понятие общества вообще могло бы помочь в этой дилемме. В любом случае нет обратного пути к староевропейскому континууму рациональности бытия и мышления или природы и действия, при котором рациональность была бы непосредственно заложена в конвергенции этих различных понятий, то есть в том, что мышление присущим ему образом соответствовало бы бытию или действие присущим ему образом соответствовало бы природе. Все же при различении бытия и мышления, природы и действия всегда обращает на себя внимание своеобразная асимметрия, в которой, смотря с сегодняшней точки

¹⁴ Самой по себе (лат.). — Примечание отв. ред.

зрения, кажется скрытой структура рациональности. Если принято, что мышление в **собственном смысле** соответствует бытию и что действие **по своей натурае** — природе, то различение, очевидно, еще раз производится на одной из обеих его сторон, на мышлении, или, соответственно, на действии. Георг Спенсер Браун называет операцию, которая реализует такую структуру «re-entry»¹⁵ формы в форму или различием в различенном посредством самого себя [4: 56, 69]. Контекст различения формы, в которой это происходит, близок к тому, чтобы при этом подумать о разрешении парадокса, а именно: парадокса применения различия, которое не может различить самого себя. Как всегда, при помощи этой активной (если не насильтвенной) интерпретации староевропейского понятия рациональности мы можем спросить о том, должно ли оно оставаться связанным с такими антропологическими (или гуманистическими) понятиями, как мышление и действие, или, как минимум, можно ли отделить от этого фигуру re-entry. Именно этот шаг с легкостью удается системной теории, так как она и так уже определяет форму системы посредством (асимметричного) различения системы и окружающей среды.

Для общественной системы, точно так же, как и для системы сознания, такое ге-entry является неизбежным. Оперативно осуществленная дифференциация системы и окружающей среды возвращается в систему в качестве различения самореференции и внешней референции. Коммуникация может быть осуществлена лишь таким образом, что система избегает совпадения своих операций с тем, о чем будут коммуницировать. Сообщение и информация должны быть различены и оставаться различенными, иначе вообще не состоится никакой коммуникации. Система оперирует в постоянном воспроизведстве различения самореференции и внешней референции. Это есть ее аутопойесис. Это впервые дает возможность осуществить ее оперативную закрытость. Точно так же сознание постоянно экстернализирует в каждой операции то, что ему внушает мозг, — орган для самонаблюдения состояния своего организма. Сознание также должно различать самореференцию и внешнюю референцию и посредством этого различения наблюдать себя самого в различении с окружающей средой. Именно потому, что оперативные вмешательства в окружа-

¹⁵ Повторное вхождение (англ.). — Примечание отв. ред.

ющую среду являются невозможными, самонаблюдение с помощью этого различия является принудительным условием аутопойесиса системы, а именно: как в случае общества, так и в случае сознания.

Если желают найти понятие для космологической рациональности старого мира, то следовало бы исходить отсюда. Однако тогда это была бы оперативно вынужденная, «само собой разумеющаяся» рациональность, совершенно не идеальная и без возможности для нерациональных операций. Была бы только постоянно воспроизведенная внутренним образом двойная ориентация на то, что система идентифицирует как саму себя и что — как окружающую среду. Эта рациональность была бы рациональностью наблюдателя первого порядка. Лишь на уровне наблюдателя второго порядка приходят к понятиям с притязаниями. Это предполагает, что система наблюдает себя при осуществлении *re-entry*. Тогда нужно положить в основу различие самореференции и внешней референции и ввести это различие в самореференцию. Следует получить ясность относительно того, что не только дифференциация системы по отношению к остальному миру, который становится тогда окружающей средой, будет осуществляться с помощью собственных операций и без них не состоялось бы мюнхаузеновское собственное участие. Кроме того, следует заметить, что возможное тем самым различие самореференции и внешней референции само является различием и требует для этого собственных операций. Также и различие самореференции и внешней референции вновь входит в различенное посредством него. Оно становится тем различием, с помощью которого система обеспечивает собственное единство. Согласно такому воззрению, мир, различие которого постоянно формирует его, становится конструкцией. Мир тогда становится бесспорной реальностью, так как в конечном итоге будут фактически осуществлены различающие и конструирующие операции; и, бесспорно, конструкцией, так как без разделения посредством различия, которое может быть выполнено очень различным образом (посредством каждой системы по-разному), совсем ничего не будет видно. Тем самым мы оказываемся перед фактом, перед лицом которого такие философы, как Фихте или Деррида, повергли философию в отчаяние. Если мы желаем хоть как-нибудь оставаться в наследии европейских понятий, то рациональность может быть понята только отсюда. Но как?

Наиболее известным выходом является настаивание на внешней референции. Или, что сводится к тому же: перейти на метауровень. В подтверждение этого можно указать на Рассела, Тарского, Геделя. Это мыслится еще милосердно-теологически. Насколько я могу проследить, не будучи философом, еще не существует какой-либо более точный анализ так называемой проблемы референции, который решил бы ее. Достаточно лишь вспомнить критику логического эмпиризма Квинесом и его допущение о том, что референция, истина и смысл (*ens et verum et bonum?*¹⁶) сходятся. Мы уже извлекли следствие: **проблема референции** должна быть заменена различием самореференции и внешней референции — различием, которое, как энзимы в клетках, является одновременно продуктом и кодом соответствующих системных операций. Однако, если общество понимают как такую систему, которой свойственна рациональность, всякий выход в экстернализацию, соответственно, на метауровень (геделизацию) и так уже неприемлем, так как где был бы здесь более высокий уровень или внешний мир, который мог бы влиять освобождающим или даже устанавливающим образом?¹⁷

Ведет ли именно это к заключению о том, что общество в конечном итоге является той системой, в которой всякая рациональность показала себя рациональной?

Нам достаточно поставить этот вопрос и, как на аукционе, ждать других предложений.

Литература

1. *Maturana H., Erkennen R. Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit*
Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie. Braunschweig, 1942.
2. *Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique: Contribution à une Psychanalyse de la connaissance objective.* Paris, 1947.
3. *Calvino I. Lezioni Americane.* Milano, 1988.
4. *Spencer Brown G. Laws of Form.* New York, 1979.
5. *Luhmann N., Fuchs P. Reden und Schweigen.* Frankfurt, 1989.

¹⁶ Сущее и истина и благо (лат.). — Примечание отв. ред.

¹⁷ Жан-Франсуа Лиотар однажды (устно) высказал предположение о том, что для системной теории в конце концов больше вообще не будет окружающей среды. Не спорю, что это предположение подходит для того пункта, которого мы достигли в тексте. Однако точно также должно быть очевидно, что это не ведет к солипсистской позиции, а следует как раз из того, что реальное различие системы и окружающей среды остается бесспорным исходным пунктом. — Примечание автора.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Интервью с проф. Н. ЛУМАНОМ¹

В. В. Козловский: Уважаемый господин профессор Луман! Вы являетесь социологом, известным во всем научном мире. Ваша социологическая теория, ваша оценка положения в социологии интересны и важны для наших читателей. К сожалению, Ваше имя в России знакомо больше, чем то направление в социологии, которое Вы разрабатываете. Именно поэтому мы позволили себе обратиться к Вам за интервью. Разрешите прежде всего попросить Вас рассказать немногого о себе, в частности, о том, как Вы стали социологом и как пришли к системной теории?

Н. Луман: По образованию я юрист, сразу после войны изучал юриспруденцию и затем в 1954–1962 годах работал в органах управления, в министерстве, затем изменил профессию. Внешний мотив состоял в том, что сделать карьеру работника управления я мог, только будучи связанным с политической партией, но мне этого не хотелось. Поэтому я перешел в исследовательский институт наук об управлении, затем после получения доцентуры и защиты докторской диссертации по социологии — в университет. Это было в 1966 г. В 1968 году, когда был основан Билефельдский университет, я получил здесь профессуру. Таковы мои биографические данные.

Таким образом, я не являюсь обычным социологом, знающим лишь университет, который сначала изучал социологию, затем стал ассистентом. Я много работал вне университета. Это, конечно, отклонение от обычного пути социолога в Германии. После того, как я получил кафедру, преобладавшие ранее занятия социологией организации, права и политики сменились разработкой общей теории общества. Я работаю над общей теорией современного общества с конца 60-х годов, и лишь часть моих размышлений на эту тему уже опубликована. Наилучшим исходным пунктом для этого мне каза-

¹ Интервью с Никласом Луманом было опубликовано в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 1994 г. (Вып. 1, с. 236–248). Беседовали с классиком мировой социологии преподаватели Факультета социологии СПбГУ В. В. Козловский и Н. А. Головин. Интервью состоялось в г. Билефельд 19 февраля 1994 г. — Примечание отв. ред.

лась системная теория, причем, следует отметить, системная теория сегодня выглядит в общем совершенно иначе, чем в 60-е годы. В рамках системной теории происходит развитие, характеризующееся отказом от только лишь биологических, организменных или машинных моделей, либо математических расчетов, и ее построением в форме, реализующей самореферентные отношения в самой системе, т. е. идет поиск более абстрактных основ системной теории. Благодаря этому повороту, мне кажется, у социологии возникают совершенно иные возможности действительно работать с системной теорией, не превращая се в биологическую метафору, или лишь в технический аппарат, машину или способ расчетов.

В. В. Козловский: *Могли бы Вы выделить важнейшие положения Вашего системно-теоретического подхода в социологии?*

Н. Луман: На абстрактном уровне общей теории социальных систем решающим является, во-первых, то, что система выглядит не как отдельные объекты, т. е. как вещи или живые существа, а как различие между системой и окружающей средой, так что всегда имеет место двойное рассмотрение. Системы существуют лишь в окружающей среде. Однако говорить об окружающей среде имеет смысл, когда имеются системы, так как иначе откуда возьмется окружающая среда, как не через выделение систем? Таким образом, исходным пунктом концепции является различие, а не принцип разума или принцип морали, солидарности или что-нибудь еще. Это первое.

Во-вторых, то, как воспроизводится это различие. Как получается, что различие всегда является тем же самым? Тезис состоит в том, что необходима асимметрия, а именно: следует исходить из системы, а не из окружающей среды. Система производит различие системы и окружающей среды. В различии имеется асимметрия, которая воспроизводит лишь одну сторону и стабилизирует различие. Тогда дальнейшие размышления приводят к вопросу о том, благодаря каким операциям это происходит. Здесь подключается социологическая теория, в которой утверждается, что это должна быть коммуникация. Это означает, что общество состоит из коммуникаций, а не из конкретных людей и не из социальных ролей, также и не из действий, что включило бы в общество слишком много организмов. Таким образом, общество состоит из коммуникаций. Системная теория, понимаемая таким образом, является теорией оперативно

закрытых социальных систем, построенных на коммуникациях, при чем общество является всеобъемлющей системой.

В. В. Козловский: В Вашем построении теории общества имеется целый ряд новых для социологии понятий, одним из которых является понятие аутопойесиса. Не могли бы Вы охарактеризовать его теоретическую роль?

Н. Луман: Понятие аутопойесиса первоначально было найдено в биологии и опиралось на эмпирическую основу биохимии, т. е. применялось к клеткам, затем к нейрофизиологической системе, компонентам клетки или мозга, которые сами производят компоненты этих целостностей. Химические условия жизни постоянно обновляются в самой клетке, а не вносятся извне. Электрические сигналы мозга создаются самим мозгом, а не вносятся из окружающей среды через органы зрения или слуха. Внешние контакты находятся на другом уровне реальности. Такова была биологическая концепция. Я лишь полагаю, что то же самое можно сказать и о коммуникации, т. е. что коммуникация всегда предполагает, что была предшествующая коммуникация и что всегда возможна дальнейшая коммуникация, иначе говоря, коммуникативная система сама воспроизводит себя при помощи слов, языка, постоянной активности, постоянной коммуникации. Конечно, в причинном отношении это всегда зависит от окружающей среды, потому что если бы не было людей, то не было бы и коммуникации; если не было бы мозга, то коммуникации тоже бы не было. Однако и тогда, когда температура либо слишком низка, либо слишком высока, коммуникация прекращается, причем может прекратиться не только у человека, ведь вся экология земной жизни является окружающей средой коммуникации. Это не является выражением против аутопойесиса. В коммуникации всегда предполагается, что ставится какой-либо вопрос, что предлагается какая-либо тема, предполагается, что владеют языком, что при разговоре не нужно заучивать слова, ведь они заранее известны. Мне кажется, что аутопойесис коммуникации мог бы быть иной основой реальности, нежели аутопойесис жизни, но иметь ту же самую форму, которая является причинно зависимой и, несмотря на это, самовоспроизводящейся. Таким образом, идея состоит в том, что работают не с биологической метафорой или аналогией, а с теорией, которая является достаточно

абстрактной для того, чтобы быть применимой как к жизни, так и к коммуникации.

В. В. Козловский: Вы используете в разработке своей теории *тео*логический принцип. Как Вы его понимаете?

Н. Луман: В случае понятия телеологии я имею в виду прежде всего Аристотеля, т. е. старую телеологию, в которой будущее, т. е. конец процесса, уже имеется в настоящем и функционирует в качестве возбудителя, причем как в обычном смысле, так и в качестве нормы. Например, можно вести хорошую жизнь дворянина: это требуется, но обычно дворянин уже так и живет; однако если ее рассматривать как норму, то можно распознать и дурное поведение. Лишь в Новое время телеология ментализировалась, а именно: она стала пониматься как предстоящая цель, т. е. не только как феномен природы, но и как представление сознания. Это означает, что природа стала пониматься в форме естественных законов, а не в форме телеологических движений. Представление о том, что будущее является настоящим, является справедливым, когда представляют себе цель. Такова типично современная точка зрения. Узкому пониманию телеологии постоянно сопутствовала критика: в чем состоят мотивы постановки целей? Это, якобы, бессознательное или мотивы, которые невозможно легитимировать. Затем следует идеологическая критика мотивов капиталиста за то, что он что-то скрывает или не знает. Таким образом, современная телеология одновременно является и поверхностным феноменом, это касается психоаналитической, идеологической, марксистской или иной критики. Поэтому производится замена **единства на различие**, будь то конец, хороший конец, принцип, телос или предстоящая цель, искусство или промышленность. Например, в коммуникации концом является не консенсус, а возможность сказать «да» или «нет» в ответ на новые предложения, новое высказывание.

Н. А. Головин: Господин проф. Луман, Ваши работы в области социологической теории являются трудными для понимания, так как основаны на оригинальном, высокоабстрактном понятийном аппарате. Существует ли возможность уменьшить эту трудность, сделать изложение более наглядным, может быть, даже образным?

Н. Луман: Думаю, так дело не пойдет. Ответ заложен в самих понятиях. Можно сделать следующее: взять интересующую проблему, например, экологическую, и на ней показать, что могла бы сказать

теория. Например, книга «Экологическая коммуникация» [1] является одновременно и теорией общества, но таким ее применением, которое учитывает наш особый интерес к проблемам окружающей среды, к тому, каким образом общество создает эти проблемы и почему так сложно их решить. Это означает, что речь идет не о наглядном изображении, а об изображении определенных проблем. Тогда и будет достигнуто нечто более конкретное. Дальнейших возможностей прощения я просто не вижу.

Н. А. Головин: Ответ очень важен для понимания Вашей теории и напоминает ответ Гегеля одному французу, который попросил изложить философию просто, популярно и по-французски. Оказалось, что философию нельзя изложить ни просто, ни популярно, ни по-французски.

Исходные положения Вашей социологической теории основываются на теоретических достижениях биологии, в частности нейрофизиолога Умберто Матураны и поэтому хотелось бы уточнить, каким образом можно избежать в социологии аналогии с естественными науками? Или, заостряя вопрос: Как Вы относитесь к современному позитивизму?

Н. Луман: Для меня это два различных вопроса. Первый состоит в том, что биологи, говоря об аутопойесисе, просто предположили биохимическую репродукцию клетки. Поэтому для биологии понятие аутопойесиса не очень важно. Это теоретическая абстракция, без которой можно обойтись при химическом исследовании клетки. Прогресс состоит в химии, а не в теории. Если теперь абстрагировать результаты этих исследований в понятии оперативной закрытости, означающем, что репродукция системы осуществляется посредством операций самой системы, то возникает вопрос о том, что это за операции, пригодные для осуществления такой аутопойетической репродукции. Биология является их отдельным случаем, с тем же успехом можно было бы назвать и сознание. Сознание воспроизводит сознание, внимание стимулируется последующим актом внимания, а не чем-либо внешним, будь это внешним — то на нем бы и сосредоточилось внимание. Точно также можно сказать, что коммуникация является операцией, которая воспроизводит систему, которая коммуницирует. Таким образом, процесс абстрагирования происходит на двух уровнях. Первым уровнем является, так сказать, материальная

основа операций, биохимия, сознание (то, что там является материальным) и коммуникация, а вторым — абстрактный уровень операций, которые вообще подходят для того, чтобы создавать системы, воспроизводить их, обеспечивать им сложность и т. п. Второй уровень и есть общая теория, которая имеет много областей применения. Развитие социологической системной теории как раз зависит от понятийного определения операций. В наших беседах Матурана всегда говорил мне, что он согласился бы с другим видом аутопойесиса, сформулированным в сфере коммуникации, однако это следовало бы показать, показать эмпирически, что это так, но так как он не является социологом, то воздерживается от суждений по этому поводу. Тем не менее, высказывание: «Поскольку все в конечном итоге основано на жизни, то и общество должно быть аутопойетическим», — в принципе не является аргументом, так как с помощью такого аргумента мы приходим к индивидуумам, которые участвуют в обществе, а не к самой общественной системе.

Н. А. Головин: В Вашей первой лекции на факультете государства и права в Вестфальском университете им. Вильгельма в Мюнстере 25 января 1967 г. Вы поставили цель — отразить в теории сложность социального мира. Как Вы думаете, насколько удалось Вам выполнить эту задачу?

Н. Луман: Мне уже тогда было совершенно ясно, что общество и теория не имеют одинаковой сложности, т. е. что невозможно охватить в теории мир во всех деталях. Речь всегда идет о редукции, вопрос лишь в том, какая редукция является уместной. В системной теории проблемой является требуемая сложность или, говоря языком кибернетика Эшби: *requisite variety*², требуемое в смысле способности сформулировать всю информацию об окружающей среде в самой системе. Мне кажется также, что на пути абстрагирования можно достичь прогресса в направлении к адекватной сложности, во всяком случае, при сегодняшнем состоянии социологии. Мне кажется также, что я нахожусь на этом пути, что, однако, не означает, что этого невозможно достичь с помощью других теорий. Моя попытка осуществляется путем анализа всех функциональных систем, например, экономики, политики, права, здравоохранения, воспитания, религии,

² Необходимое разнообразие (англ.) — Примечание отв. ред.

семьи — это совершенно различные области. Если удастся описать такие различные системы одними и теми же понятиями, например, понятием «оперативная закрытость», «функция» или «бинарное кодирование» и пр., то мы получим описание, которое является более сложным, нежели предлагаемое социологической традицией (Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, Карл Маркс или кого бы мы ни взяли). Тогда получится настолько сложное описание, что теорию невозможно проверить непосредственно эмпирически. Таким образом, не существует эмпирических экспериментов или эмпирических исследований, которые позволили бы установить истинность или ложность теории в целом. Конечно, имеются эмпирические знания, которые зачастую являются важными, а теория не может противоречить известным знаниям. Однако эта теория не допускает верификации или фальсификации с помощью только эмпирического аппарата. Одним из недостатков убежденных эмпириков является то, что они верят в эмпирические методы, но, как правило, сами их не применяют.

С другой стороны, способ рассмотрения, исходящий из теории, является адекватным для определенных явлений, а именно: тогда, когда явления сами по себе известны, когда с самого начала не требуется никакой проверки, а просто известно, что, например, лишь 2–3 % повседневного денежного обращения используется для платежей по счетам, т. е. на инвестиции или потребление, а остальное — это денежные вложения или спекулятивные сделки. Это тревожные данные. Спросите банки — они подтвердят это. Вопрос состоит в том, что делать с подобными знаниями, которые уже имеются, которые не нужно добывать эмпирически, которые известны? Имеется так много фактов, которые не рассматривались в предшествующей социологии ни теоретически, ни эмпирически. Если имеется теория высокого уровня сложности, то с ее помощью можно одновременно понимать и научно интерпретировать факты, которые в качестве фактов являются несомненными. У нас имеется совершенно иная возможность описания общества с точки зрения вопроса о том, «в чем состоят проблемы международных финансов или развивающихся стран», если, например, исходить из того, что имеется огромное число полностью изолированных людей, которые день изо дня влекут лишь физическое существование. Это тоже факты, но что с ними делать? Итак, я счи-

таю, что повышение сложности теории достигается путем абстрагирования и за счет способности теоретически упорядочить известные факты, не выдавая при этом рецептов о том, как их можно избежать. Например, если удается объяснить, почему деньги, готовые к вложению, тем не менее не инвестируются, это еще не означает, что тем самым указано, как этого можно достичь. Однако, мы касаемся известных захватывающих проблем нашего общества, таких как исключение людей из всей социальной жизни в Южной Америке или в Черной Африке, или проблем денег, ищущих вложения и прибыли. Мне кажется, что отчетливо видно, что системно-теоретический подход просто может предложить здесь больше, а это означает, что он является более абстрактным, более сложным.

Н. А. Головин: Сегодня Вы уже касались центральной роли понятия коммуникации для теории современного общества. Получается, что коммуникация является основой современного общества. Каким образом с помощью этого понятия можно определить, является ли данное общество, например, российское, современным или нет? К каким обществам в первую очередь применима Ваша социологическая теория?

Н. Луман: Я прежде всего исхожу из того, что имеется всего одно единственное общество, которое является всемирным. Это следует из понятия коммуникации. Мы можем связаться по телефону со всем миром, у нас одни и те же или похожие телепередачи. Программы новостей ежедневно выпускаются для всего мира. Научные открытия, экономические отношения, кредитные отношения, туризм, путешествия и т. д., — т. е. с точки зрения коммуникации региональных обществ не существует. Что значит, например, Россия? С точки зрения финансовых связей относится к ней Белоруссия или нет? Вопрос о региональных обществах сводится к вопросу об особых региональных условиях всемирного общества, современного общества. Тогда будет видно, что региональные особенности заключаются отчасти в менталитете населения, отчасти в культурных традициях, отчасти в сырьевой базе, а также в вопросе о том, насколько можно полагаться на трудовую дисциплину, или насколько распространено пьянство, или насколько далеко простирается господство верхнего слоя, могущественных семейств в стране: в Мексике, Бразилии, Таиланде в форме соединения разного рода промышленных предприятий в семейные

тресты, т. е. не путем финансового участия. Таких региональных различий имеется очень много, и если исходить из теории современного всемирного общества, то можно спросить, в чем состоят недостатки современного развития, в чем заключаются проблемы высокоразвитых стран. Например, в том, что вся жизнь привязана к карьере, никто не имеет прочного места, того места, где живут и умирают, где живут друзья, родители и родственники. Человек вынужден делать карьеру, удачную или неудачную. Такие структуры могут породить проблемы для идентичности, чувства стабильности, надежности, ценностной ориентации. Таким образом, не только неразвитые страны, но и развитые имеют проблемы с современностью. Однако имеются существенные различия в том, какова вообще роль школы, школьного образования, рабочих мест, перспектив карьеры, или насколько еще доминируют религия или традиционные формы жизни. Таким образом, исходным пунктом является всемирное общество. Если известны его типичные структуры, то можно видеть, что они реализуются весьма различным образом и вызывают различные проблемы. Это может иметь преимущества в долгосрочной, эволюционной перспективе, так как основы для дальнейшего развития разнообразны. Если же все идет лишь на одной основе и происходит ее крушение, то наступает конец или катастрофа. Если мы все в равной степени зависим от энергии, техники, а энергия однажды иссякнет (я имею в виду энергию, производимую технически), то отдельные регионы могут переживать различные формы регресса. Эти вопросы показывают, что для единой всемирной общественной системы полезно сохранение различий в традициях, культуре, в установках населения, в степени индустриализации или аграризации. Они — резервуар, variety pool³ внутри этого общества.

Я недостаточно хорошо знаю Россию для того, чтобы сказать о ней что-нибудь особенное, однако очевидно, что в настоящее время имеется проблема перехода, временной горизонт еще слишком узок. Счет идет не на годы, а на десятилетия, когда думаешь о том, что валовый национальный продукт, или хотя бы государственный бюджет в промышленности, в частности, в военной промышленности, прямо или косвенно уменьшился на 50 %. Если эти данные соответствуют дей-

³ Запас разнообразия (англ.) — Примечание отв. ред.

ствительности, то ясно, что приватизация не может работать, во всяком случае, сразу же. Однако проблемы, которые возникают в России, имеются и у нас в бывшей Германской Демократической Республике, но это не проблемы Бразилии или Мексики, Тайваня или Таиланда.

В. В. Козловский: *Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете положение в современной социологии, особенно в США, Франции, Германии?*

Н. Луман: Это очень трудно сделать. В общем и целом, у меня создалось впечатление, что авторитет социологии падает. Проверкой тому является степень интереса других дисциплин к социологии: лингвистики, исторической науки, философии, литературоведения. По моим наблюдениям, социология повсюду утратила значимость. Это, безусловно, не означает, что она стала хуже, но ожидания со стороны экономики, теологии, предприятий и пр., которые были направлены к социологии в 50–70-е годы, следует уменьшить. Впечатление истощения или уныния в социологии отчасти связано с тем, что теория общества вызвала разочарование, поскольку она опиралась на марксистские и едва ли на какие-либо другие основы. Парсонс — это особый случай. Далее, исследования модернизации в развивающихся странах вызвали разочарование, консультирование политики также вызвало разочарование, так как политикам невозможно было прямо сказать, какого рода реформы, например, в государственных должностях, следовало бы оценивать положительно или отрицательно. В настоящий момент мы находимся в той фазе, когда социология должна понизить уровень своих притязаний.

Это, во-первых. Во-вторых, в теоретической дискуссии мы до сих пор слишком сильно ориентируемся на классиков, которые сто лет назад видели совсем другое общество. Это было общество, существовавшее до мировой войны, не имевшее проблем, связанных с применением техники, экологических проблем и пр., которые имеем мы. Далее, применение эмпирических методов стало неизбежным, ведь они являются основой предмета, но не дают ответа на большие общественные вопросы, отчасти потому что нет соответствующей теории. Следовало бы уяснить, какие вопросы вообще оправдывают себя при эмпирических исследованиях. Например, в финансовом секторе я уже назвал финансовые потоки. В целом как теоретическая, так и методологическая дискуссии стагнируют и, очевидно, не соответствуют времени. В таких вещах национальные различия проявляются мало,

это относится и к США, и к Германии, и к Франции. Я не думаю, что национальные различия в социологии имеют большое значение.

Во Франции идет своего рода дискуссия среди замкнутого круга парижских интеллектуалов. Можно назвать некоторые интересные направления, например, работы П. Бурдье, однако их аппарат очень ограничен для создания теории, в данном случае речь идет о символическом капитале. Что это означает на более абстрактном понятийном языке? Имеются новые мысли по поводу институционализма, Люк Болтански — автор, который уточнил некоторые классические представления теории институтов. Можно назвать отдельные явления, где французы предлагают больше, чем американцы, или немцы больше, чем англичане. Но это, по-моему, второстепенные явления, которые сегодня все быстрее сглаживаются, так как в конце концов можно прочитать то, что выпустили другие, и достаточно вояжёров, которые хорошо знают обе стороны: Францию и Германию, или США и Германию.

Это, в сущности, и есть мое впечатление о современном положении в социологии. Больше не существует явного американского центра тяжести. В американской социологии множество социологов занимаются эмпирическими исследованиями по типу проектов, которые финансируются два-три года, а затем следует финансирование нового проекта. Вся техника проектного финансирования и исследования образует кластеры, т. е. области, в которых исследования следуют одно за другим, и затем из них делают 10 или 15 разных статей. Так образуются основные направления исследования, например, экология популяций в теории организаций, возможности которых не-которое время разыгрывают, а затем забывают их. В теории никакой действительной координации нет. Социология Парсонса по вполне ясным причинам не могла этого осуществить и поэтому сдала позиции. Ей нет никакой замены. Однако в Германии у студентов и среди молодых ученых имеется более сильный интерес к общей теории, причем связанный с надеждой, что он будет сопряжен с карьерой, так как мы имеем государственную систему университетов, не так сильно связанную с частным финансированием. Однако, как сказано, это небольшие различия. Узкое место находится там, где я пытаюсь работать: в общей теории современного общества.

В. В. Козловский: В последние годы социология обрела значительную однородность. Тем не менее, насколько уместно говорить сейчас о социологических школах, например, в Германии?

Н. Луман: Да, я представляю собой одну из позиций. Имеются другие позиции, представители которых пытаются работать на основе других идей. Мне хотелось бы назвать, например, Юргена Хабермаса, который исходит из нормативного понятия рациональности. Хабермас пытается сформулировать его для современного общества таким образом, чтобы рациональность выглядела осуществимой. Однако это весьма ограниченное направление. Почему следует придерживаться нормативного понятия рациональности, если имеются явные признаки того, что ее невозможно отнести ни к экономике, ни к праву? Теория рационального выбора также является теорией, которая формулирует рациональную модель действия для того, чтобы, с одной стороны, уйти от индивидуального действия к социальным проблемам и, с другой стороны, чтобы показать отклонения от рациональности. Действующий рационально должен, собственно говоря, делать вероятностные расчеты, но люди их не делают. Руководитель фирмы должен ориентироваться на расчет своих затрат, но он этого не делает, он смотрит в баланс, лишь когда должен подписать заявку на кредит. Здесь в качестве исходного пункта интересен вопрос: что такое требование рациональности при переходе от индивидуума к социальным общностям, т. е. к коллективным действиям, где реальность является девиантной? Но тогда следует интересоваться, собственно, девиантностью, а не рациональностью. Почему люди действуют нерационально?

У меня есть ощущение, будто что-то отсутствовало бы, не будь этих альтернативных попыток, так как оценить их возможности можно лишь когда они разработаны. Это справедливо и в отношении системной теории. Если она была бы разработана, можно было бы видеть, чего она не может, но в настоящий момент это слишком рано, так как она находится еще в начале своей разработки.

В. В. Козловский: Можно ли назвать Вашу позицию в социологии школой?

Н. Луман: В сущности, нет, это трудно пояснить. У меня много читателей. Многие в Германии, в Италии увлекаются системной теорией, есть интересующиеся и в Мексике, Бразилии, Японии, США,

Чили. Далее, везде имеются группы, которые знают мои труды и пытаются с ними работать, однако уже само международное распространение влечет за собой очень неоднородное восприятие. Совершенно разные картины возникают от того, кем являются интересующиеся: скорее социологами или философами, или консультантами предприятий и экономистами, юристами или теологами. К тому же, влияние наблюдается не только в пределах одного предмета, как, например, в США — скорее среди юристов и в сравнительном литературоведении, нежели у социологов. При таком неоднородном международном и междисциплинарном влиянии очень трудно говорить о школе. Влияние не скординировано. Я как раз беседовал об этом с одним итальянцем. В Испании, Чили, Мексике имеются группы, которые занимаются системной теорией, но совсем не знают друг друга. У нас будет встреча весной в Испании, в Памплоне, куда приедут люди из Сантьяго (Чили), из Мексики. Мы проведем конференцию, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить переводы и опыт изданий. Однако характерно, что все теряется в деталях и влияние является полностью нескоординированным.

*Н. А. Головин: Тем не менее интерес к Вашему творчеству рас-
тет, в том числе и в России. Что бы Вы хотели пожелать молодым
российским социологам, социологам-теоретикам?*

Н. Луман: Мне кажется, что главной проблемой является доступ к литературе, затем работа в университетах. И в Германии проблема часто заключается в том, что многие коллеги моего возраста или несколько моложе просто отказываются принимать диссертации по системной теории по причинам, которых я просто не понимаю. Кроме того, существует поколение 1968 года, которое теперь уже непродуктивно, но мешает распространению системной теории, в том числе и в социологии. Что хотелось бы пожелать — это доступа к литературе, восприятия среди преподавателей, в учебных программах, в вопросах для экзаменов, так, чтобы с самого начала была поддержка, а не отсюда сук. Далее, мне кажется, что существует проблема, с которой я всегда сталкивался и которая относится не только к России, но и к другим странам. Она состоит в том, что системная теория является настолько дифференцированной, что при желании порекомендовать литературу или дать совет всегда необходимо знать, кто чем особенно интересуется. Например, кто-то интересуется средствами массовой

информации, кто-то — политическими партиями, кто-то — финансовой системой экономики, или семьей, или религиозным фундаментализмом. Мне кажется, что везде можно исходить из системной теории, хотя практически это можно сделать только в связи со мной, так как среди молодого поколения имеется специализация. Например, на нашем факультете г-н Тюрель интересуется социологией семьи и религии, Дирк Бекер — экономикой, Хельмут Вильке — проблемами управления, специализация продолжается и в студенческой среде. Студенты не должны обязательно интересоваться всей широтой теории, а найти сначала более узкие области применения, исходя из которых можно включиться в работу. Надеюсь, что с помощью моих последователей удастся сохранить здесь, в Билефельде, центр системной теории и оснастить его ресурсами, секретариатом, так что у нас будут гости из-за рубежа, смогут приезжать студенты. Тогда все было бы относительно просто. Удастся ли это и в какой мере, пока полной уверенности нет. Постепенно мне придет замена и все зависит от того, будет ли существовать группа сотрудников и коллег, которые смогут продолжить контакты на международном уровне. У нас всегда было много итальянцев, докторантов из Южной Америки и коллег из Японии. Если удастся сохранить в Билефельде центр системной теории, то это, конечно, существенная предпосылка для дифференцированных консультаций по конкретным темам.

В. В. Козловский: Большое спасибо. Надеюсь, что наши читатели значительно расширят свои представления о Вас как социологе и о Вашем научном творчестве. Благодарим за подробные ответы и внимание, которое Вы нам уделили.

Литература

1. Luhmann N. Ökologische Kommunikation. 3. Aufl. Opladen, 1992.

Р.П. Шпакова

МАКС ВЕБЕР О ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ ЗНАНИИ¹

Именно Маркс Вебер ясно и твердо указал на опасность превращения науки в арену политической борьбы. И по сей день актуальна его мысль о том, что истины, найденные даже на другом конце земли, являются таковыми везде и в совокупности образуют незыблемые основания культуры. Наука умирает в национальных, идеологических и иных границах.

Эти бесспорные положения, однако, не снимают вопроса о соответствии науки и мировоззренческих установок в социальном знании. Сам Вебер представил теоретическое обоснование тезиса о мировоззренческой нейтральности науки, сформулировав его как «принцип свободы науки от ценностей». И по сей день широко дискутируется в социологии и философии Запада его содержание, получающее нередко многозначную, противоречивую трактовку. Фокусом дискуссий и полемики является сам тезис, допускающий различное истолкование. Действительно, принцип Вебера касается не только методологии социального знания, но и вопросов собственно научоведения, социологии науки, а также мировоззренческих проблем. Для адекватного понимания этого принципа необходим обстоятельный анализ каждого из его аспектов. Это сложная задача, тем более что Вебер не проводит четкого водораздела между ними.

I

В теоретико-методологическом аспекте исходным пунктом принципа свободы науки от ценностей является традиционная для немецкой философии дилемма должного и сущего, переосмыщенная неокантианством как дуализм реальности и сферы ценностей. Понятие «отнесение к ценности» было (и остается) ведущим в методологии неокантианства. Вебер, заимствовав, по его собственному признанию, у Рикктера [1: 473] идею об отнесении определенных явлений к сфе-

¹ Статья профессора Риммы Павловны Шпаковой (1939–2009), выдающегося знатока работ М. Вебера, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 1994 г. (Вып. 1, с. 118–125). — Примечание отв. ред.

ре ценностей, принял и неокантианское деление наук по их методу: «Эмпирическая действительность будет для нас “культурой”, если мы поставим ее в отношение к идее о ценности; она (культура. — Р.Ш.) охватывает те составные части действительности и только те, которые имеют значение для нас именно из-за этого отношения» [1: 175].

Но было бы ошибкой отождествлять подходы Вебера и Риккерта, поскольку лишь отдельные положения теории ценностей были для них общими. Например, Вебер, как и Риккерт, признает абсолютное значение ценностей для социального знания и поведения людей, но в его трактовке это касается лишь признания заложенного в них принципа долженствования. Иерархия ценностей таким абсолютным значением не обладает. Она зависит от конкретных условий и поэтому не может характеризоваться вневременной определенностью. Логично, что Вебер отказывается от риккертовской «абсолютной иерархии ценностей». «Без всякого сомнения эти идеи о ценности субъективны, — писал Вебер в статье «Объективность социально-научного и социально-политического знания», — и точно так же они естественно исторически изменяются с изменением характера культуры и самих идей, господствующих над людьми» [1: 183].

Обратимся к понятию «ценность» у Вебера в ее теоретико-методологическом аспекте. Стого следуя гносеологии Канта, он убежден, что действительность в целом непознаваема и что концепция социальной детерминированности — опасное заблуждение. Исследователь может представить эту действительность лишь в виде конечных фрагментов, поддающихся сравнительно точному описанию. Решение вопроса о том, как «сформировать» эти фрагменты и какому из них отдать предпочтение, зависит от интересов и мировоззренческих установок самого исследователя. Оно основано «на молчаливой предпосылке, что только одна конечная часть ее (действительности. — Р.Ш.) образует предмет научного исследования, что только он должен быть “существенен”, т. е. “ценен” для познания» [1: 171]. Беспрепосысловочный анализ действительности привел бы «к хаосу экзистенциальных суждений... и даже этот результат едва ли был бы возможен... В этот хаос привносит порядок только то обстоятельство, что в каждом случае для нас интересна и значима только одна часть индивидуальной действительности, потому что только она имеет отношение к ценностным идеям о культуре, с которыми мы приступаем к изучению

действительности» [1: 178]. Ценности являются основой теоретического осмысления фрагментов реальности, их связи и иерархии.

Предмет социальных наук — «воплощение ценностей», говоря словами Вебера. Для него правомерно сосуществование разных, даже взаимоисключающих, моделей одного и того же явления. Так, для него приемлемы в одно и то же время модели капитализма В. Зомбартса, А. Вагнера, Л. фон Брентано и К. Маркса, но лишь при одном условии: все они должны быть только идеально-типическими конструкциями. Здесь вполне уместно напомнить, что идеальные типы, как ведущие познавательные инструменты социологии и всего социального знания, создаются на основе ценностного выбора исследователя.

В своих теоретико-методологических работах Вебер не ставит вопроса о причине и смысле выбора исследователем именно данного объекта, отнесенного им к сфере ценностей. Но в своем социологическом труде «Протестантская этика и дух капитализма» [2] Вебер анализирует становление норм и ценностей капиталистического общества. В целом же будет справедливой мысль о том, что Вебера не занимает абстрактный вопрос о том, как возникают и развиваются ценности.

Пожалуй, было бы не совсем верно говорить о полном субъективном произволе исследователя в выборе явлений, относимых им к сфере ценностей. Вебер перечисляет барьеры объективной природы, препятствующие произволу исследователя. Во-первых, «имеющий для нас значение объект со своей стороны как бы идет нам навстречу» [1: 123], хотя в конечном счете решающее право выбора ценностей остается за исследователем. Во-вторых, в процессе научного анализа этот произвол существенно сдерживается причинным причислением, подробный анализ которого Вебер дает, например, в «Основных понятиях» [3] социологии и в анализе ее предмета — социального действия.

Отнесение к ценности, т. е. условие включения явления в сферу «наук о культуре», — единственно дозволенное Вебером «соприкосновение» ученого с ценностями и допустимая возможность выразить свои ценностные установки. В глубинах самой науки исследователь должен полностью отказаться от оценки изучаемых объектов. Этот отказ, считает Вебер, служит прочным гарантом достоверности и объективности социального знания.

Подлинная научность социального знания — та максима, которую страстно отстаивал Вебер, открыто выражавший неудовлетворенность состоянием методологии социального знания. С одной стороны, веберовская теория ценностей и принцип свободы от ценностей стоит в оппозиции к попыткам смещения объективного знания и оценки, проявившимся в методологии исторических школ, например, школы Шмидлера. С другой стороны, Вебер ведет борьбу против «пассивного эмпиризма, согласно которому научное познание является простым отражением действительности мира» [4: 47]. Кроме того, принцип Вебера был направлен против различных течений неоидеализма.

В системе Дильтея вопрос об отношении познающего индивида к предмету познания трактовался так, что оба они оказывались втянутыми в одну замкнутую систему. Последовательное проведение веберовского принципа было попыткой ослабить возникающую здесь угрозу солипсизма. Но сам Вебер хотел избежать и другой крайности — отнесения ценностей к трансцендентальной сфере, как это делали неокантианцы, маститый Готтль и множество его последователей. Лишь значимость явления для субъекта делает его ценностью и позволяет выявить «некоронованного короля», как говорил Вебер, хотя он нигде не указывает критерия этой значимости.

II

По мнению ряда исследователей, для самого Вебера высшей ценностью является рациональность. Однако такое утверждение едва ли верно, хотя бы потому что рациональность — неотвратимая данность, и оценка ее бессмысленна. Все теоретико-социологические труды Вебера, его страстные политические речи в печати и в самых разных аудиториях говорят о другом: высшей ценностью Вебер считает человека. Сегодня это «парцеллированная личность», далекая от идеалов человека, которым поклонялся сам Вебер — гетевский Фауст, просветители и великие деятели эпохи Ренессанса. Современные люди неотвратимо подчинены безличным образованиям — бюрократии, партиям, государству и т. п. Капитализм навязывает индивиду «...нормы его хозяйственной деятельности. Фабрикант, долгое время сопротивляющийся им, экономически будет уничтожен так же, как и рабочий, который не может или не хочет им подчиняться, выбрасы-

вается на улицу» [5: 37]. К силам, воплощающим рациональность — технике и бюрократии, Вебер относит и науку. «Расколдовывание мира» с помощью науки, ее активное вторжение в этот мир не является для Вебера частными проблемами, которыми призвано заниматься только науковедение. Напротив, современная наука, убежден Вебер, определяющим образом влияет на все западноевропейское общество, его культуру, на судьбу личности.

Рационализированная наука развенчала старые, прочно устоявшиеся ценности, не дав взамен других. Человек сам должен искать, и их выбор — дело его личной свободы и, подчеркивает Вебер, ответственности. «Каждый умирает в одиночку», — цитирует он кусок из лютеровского перевода Евангелия. Его собственные размышления о судьбе современного человека можно выразить невольно напрашивающейся фразой: «каждый и живет в одиночку».

Рациональность создала для нас «футляр покорности и послушания», а потому ограниченный в своих возможностях и действиях человек может выбрать лишь узкие, сугубо частные ценности и на них ориентировать свои действия. Обращение к общим, «последним» ценностям лишь придает этим ценностям ущербный характер. Вебер показывает это на примере современного искусства, лишенного античной глубины и монументальности, человеческой многосторонности и духовной мощи. «Последние» ценности в их абсолютном смысле сегодня утрачены, едва ли имеет смысл и ценность научного поиска. Вебер предвидит невостребованность в ближайшем будущем фундаментальных научных идей.

Для самого человека наука дает лишь знание средств действия, но не целей [1: 150, 549]. Она позволяет построить теории и проверить их последовательность и непротиворечивость, но никогда не дает указаний на цель исследования. Эту цель (или цели) человек должен выбрать в сфере ценностей, отыскать там «своего демона», по выражению Вебера. И в этом смысле человек выступает как действующий индивид. Познание и действие — две стороны личности, и между ними пролегает глубокая пропасть. В другой плоскости это противоречие выступает у Вебера как антитеза науки и политики. В этом раздвоении личности Вебер видит «судьбу всего нашего времени, вкусившего от древа познания» [1: 547]. Рассуждения Вебера о «расколдованном» с помощью рациональности мира поясняют

его принцип свободы науки от ценностей: этот принцип касается не только методологии социального знания, но вовлекает в свою орбиту проблему личности, ее судьбы в рационализированном мире, в условиях западноевропейского капиталистического общества.

III

Вебер рассматривает два основных аспекта науки — науку как элемент широкой социальной структуры и науку как относительно автономную систему. В первом случае Вебер анализирует историческое своеобразие западноевропейской науки. Ее освобождение от иррациональных элементов — длительный исторический процесс. «Вера в ценность научной истины является продуктом определенных культур, а не дается от природы» [1: 60], поэтому ответить на вопрос о смысле науки можно только в плане широкой социальной перспективы, а не исходя из самой науки, не оставаясь в ее границах, потому что ни одна наука не способна ответить на вопрос о собственной ценности и ценности процесса познания. Это относится прежде всего к области «чистых» наук, фундаментального знания, не имеющего непосредственного практического выхода [1: 60–61].

Вплетенная в современную жизнь, наука строится по принципам крупного индустриального производства и нередко ставится ей на службу. «То обстоятельство, что наука сегодня — специализированная производственная профессия, служащая... познанию реальных взаимосвязей, а не составная часть рассуждений мудрецов и философов о смысле мира, — это и есть неотделимая данность нашей исторической ситуации, из которой мы не можем никуда выскочить» [1: 593], — писал Вебер. Идеи Реформации, Просвещения совпадавших со временем становления раннего капитализма, идея о призвании, а не о профессии, сопряженная с иррациональными мотивами и духовными порывами, умерли. Их место заняла идея об узком одномерном профессионализме, о специализации, став ответом на требование сегодняшнего дня. Специализация в науке тоже неизбежна и необходима, ибо «ныне по-настоящему завершенное и имеющее большое значение достижение — это специализированное достижение» [1: 572].

Современные научные знания частичны и преходящи более, чем во всех предыдущих эпохах, хотя они и становятся более достоверны-

ми. Поэтому наука не должна искать ответа на глобальные вопросы, не имеющие pragматического значения, например, претендовать на поиски конечного смысла мироздания [1: 579]. Специализированный, ограниченный частными областями рационализм сегодняшнего научного знания неприложим к сфере «последних» ценностей, между которыми, считает Вебер, происходит бесконечная борьба. Отчасти этим Вебер пытается объяснить неспособность науки ответить на вопрос Л. Толстого, взятый из названия его статьи: «так что же нам делать?» [6: 166].

Но не существует и научно допускаемых идеалов [7]. Смешение сферы рационального с царством ценностей означало бы нечто бесмысленное, как бессмысленно по сути, например, понятие «христианская наука». Применительно к деятельности ученого это смешение означало бы «проповедь с научной кафедры».

Отвечая коллегам на разноречивые толкования принципа свободы науки от ценностей, Вебер разъяснял: «Дело сводится к крайне тривиальному требованию: исследователь должен безусловно разделять эмпирические факты и свою позицию, практически оценивающую эти факты, ...потому что здесь речь идет о различных проблемах» [1: 461–462]. Вебер критикует распространенное представление, согласно которому путь к научной объективности можно проложить, сравнивая различные оценки и заключая «джентльменское соглашение» о компромиссе между ними. «Эта “золотая середина” так же мало доказуема средствами эмпирических дисциплин, как и “экстремальными” оценками... Она скорее принадлежит политической программе, бюро или парламенту, нежели научной кафедре» [1: 462].

Было бы ошибкой считать, что требование свободы науки от ценностей означает полный отказ ученого от собственных позиций и оценок. Речь идет только о полном отделении их друг от друга. Беспринципность и научная объективность, по Веберу, не имеют между собой ничего общего.

Рассмотренный в историко-социальном аспекте принцип свободы науки от ценностей своеобразно отразил социально-политическую ситуацию в Германии на рубеже XIX–XX веков и состояние обществоведения страны. «Акцентируя трагичность исторического процесса, Вебер пытался спасти, по крайней мере, автономию царства ценностей, ее непричастность ко всем жизненным катастрофам,

перекладывая принципиальные решения на совесть единичного действующего индивида... Здесь четко выступает разрыв, отдаленность практики от научной теории, что было характерно для немецкой социологии», — резюмирует К. Антони, глубокий знаток творчества Вебера и его времени [8: 192].

Бурное развитие отдельных областей социального знания в начале XX века было сопряжено с кризисом, кардинальной ломкой устоявшихся понятий и методологических принципов. Отказ от ряда позитивистских установок был вызван и их научной непригодностью, и тем, что позитивистская надежда на то, что наука принесет людям порядок и счастье, оказалась несостоятельной. Но можно увидеть здесь молчаливое признание в том, что наука больше не может, вслед за Гегелем, доказывать правомерность и рациональность существующей общественно-политической системы, и потому отказывается от непосредственного участия в идеальных столкновениях. Применительно к ученому это означало отказ от разрешения противоречия между его субъективными симпатиями и объективным значением результатов его исследований.

Но сам Вебер не смог сохранить верность выдвинутому принципу. Более того, все его академические труды, не говоря уж о публицистических выступлениях в печати и в самых разных аудиториях, стали протестом против разрыва науки и ценностей. Социология Вебера — реакция на кризис гуманизма, начало которого совпало с эпохой взлета технической мощи, началом мировых войн и революций, с появлением на исторической арене больших масс людей и «массового человека». В докладе «Наука как призвание» [1: 524–555] Вебер сделал попытку осмыслить кризисные процессы с позиции трагического стоицизма: ренессансный человек, человек-личность и созданная им культура завершили свой исторический путь. Культура выродилась и омертвела, из динамичного, творящего организма она превратилась в жесткий панцирь цивилизации, и от нее берет начало новая культура, идущая по пути рационального конструирования не только идеологических мифов, но и новых людей — «парцеллированных личностей», узких «спецов». Вебер не скрывает своего глубокого скепсиса в оценке творческих потенций этой культуры, но, бесспорно, утверждает Вебер, что бунт против нее бессмысленен.

И все-таки Вебер мучительно ищет в хаосе современного мира зерно, способное дать жизнь побегам культуры старого, ренессансно-бюргерского образца, в котором не было противостояния должного и сущего. Такая идеализация прошлого, как и молчаливый, но вполне ощутимый призыв вернуть старые ценности и обратиться к ним, дал основание М. Шелеру называть Вебера «пророком, обращенным назад». Скепсис и надежда — вот два полюса искания классика немецкой социологии, объединенные в его принципе свободы науки от ценностей.

Литература

1. *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.* Tübingen, 1922.
2. *Weber M. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik,* 1904. Bd. 20 (1). S. 1–54.
3. *Weber M. Soziologische Grundbegriffe.* 2. Aufl. Tübingen, 1966.
4. *Parsons T. Wertfreiheit und Objektivität. // Stammer O. (hrsg.). Max Weber und Soziologie heute.* Stuttgart, 1965.
5. *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie.* Tübingen, Bd. 1, 1920.
6. *Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 16.*
7. *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.* Tübingen, 1924.
8. *Antoni C. Vom Historismus zur Soziologie.* Stuttgart, 1992.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ И ПРИМОРДИАЛЬНЫЕ СОЛИДАРНОСТИ (СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ) В УСЛОВИЯХ БЫСТРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН¹

1. Введение

Кризисная ситуация в современном российском обществе и быстрые перемены в экономике, политической жизни, в повседневной деятельности людей — все это создает уникальные возможности исследования механизмов формирования солидарностей и новых социогрупповых идентификаций личности. То, что социальный теоретик реконструирует в культурно-историческом масштабе, а социальный психолог моделирует в лабораторной ситуации, мы имеем возможность изучать как бы в условиях натурного эксперимента социального масштаба и притом во вполне обозримом временном пространстве.

В связи с этим перед исследователями встают следующие вопросы:

1. В какой мере современные общетеоретические представления о переходе к современному (модерному) и далее — постмодерному обществу (или обществу, которое Э. Гидденс называет обществом позднего модерна [1]) адекватны при анализе фактических данных относительно динамики социогрупповых идентификаций личности и формирования новых солидарностей применительно к российским условиям.

2. В какой мере возможна монотеоретическая интерпретация происходящих изменений в рассматриваемой области и, напротив, каковы преимущества политеоретических подходов [2: 17–60].

¹ Статья Владимира Александровича Ядова (1929–2015), основателя ленинградской социологической школы в 1960-х гг. и одного из лидеров российского социологического сообщества в постсоветский период, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 1994 г. (Вып. 1, с. 169–183). — Примечание отв. ред.

2. Насколько теории современного и постмодерного общества помогают интерпретировать социальную ситуацию в России?

Стремление индивида идентифицировать себя с тем или иным сообществом возникает при разрушении традиционного уклада, где потребность самоопределения в системе социальных взаимосвязей не актуализирована. Групповой (социальный) статус индивида задан здесь жесткими критериями его принадлежности к общине, сословию, а также половозрастными функциями [3].

Развитие современных индустриальных обществ принципиально изменяет объективные условия жизнедеятельности людей, формирует потребность в самоопределении относительно многообразных групп и общинностей, а динамизм и многослойность социальных взаимосвязей так или иначе вызывают необходимость упорядочения и доминирующих и периферийных «солидарностей». Ответ на вопрос, какие группы и общности человек признает «своими», а какие — частично близкими или враждебными, становится принципиально важным для понимания социальных отношений [4].

Советское общество в его классической фазе тоталитаризма напоминало традиционное в главном своем качестве — *бессубъектности* индивида. Социальная идентичность отождествлялась преимущественно с государственно-гражданской. Это находило свое выражение в безусловном требовании принимать официальную идеологию и систему ценностей «советского человека» [5; 6], безоговорочном признании и демонстрировании государственно одобряемых верований и суждений, оценок; в ритуализованных схемах всенародного энтузиазма, в совокупности символов признания *индивидуального успеха* со стороны государства и иных бюрократических структур; наконец, в идеологии осуждения «врагов народа» и инакомыслящих, т. е. тех, кто отвергал свою идентичность с тоталитарно-государственной системой, не говоря уже о людях, опасных для правящей элиты и только поэтому получивших клеймо чуждого элемента.

Сегодня Россия переживает становление новой социальной субъектности. Особенность этого драматического процесса осознания личностью своего особого интереса состоит в неопределенности представлений об общности интересов. Поскольку гражданское общество еще не сформировано, а механизм защиты прав различных групп населения был прерогативой исключительно бюрократических

структур, всякий действительно общий интерес воспринимается ныне с величайшим подозрением как еще одна версия происков плутократии, либо иной группы, преследующей своекорыстные цели.

Наблюдается конфронтационный плюрализм многообразных элит в сфере политики, экономики, культуры, религии, этнонациональных отношений, каждая из которых стремится расширить свой «символический капитал» и влияние на конструирование социального пространства [7]. Концепции солидарного будущего не только противоречивы и двусмысленны, но, можно сказать, «приватизируются» различными общественно-политическими группировками, партиями, движениями.

Социальная идентификация личности в нестабильном, кризисном обществе испытывает неожиданные, непривычные воздействия. В их числе: изменчивость социальных взаимосвязей, функций основных социальных институтов, плюрализм культур и идеологий, противоборство корпоративных (групповых) интересов. Е. Евтушенко выразил это состояние в словах: «Мы рождаемся снова, а снова рождаются еще тяжелей».²

Каким бы парадоксальным это ни казалось, ломка устоявшихся социальных идентификаций в российском обществе напоминает процессы, аналогичные культурно-историческому переходу от застойного, традиционного общества к современному, т. е. динамичному. Происходит сдвиг от прозрачной ясности социальных идентификаций советского типа («мы — это народ, открывающий миру новые перспективы братства и солидарности всех трудящихся») к групповым солидарностям, где решительно все амбивалентно, неустойчиво, лишено какого бы то ни было определенного вектора.

Рассматривая проблему формирования личностной идентичности в позднемодерном обществе, А. Гидденс выделяет четыре дилеммы самоопределения «Я» [1].

- (1) Унификация или же, наоборот, фрагментация — подчеркивается рефлексивность проецирования «Я» в многообразии контекстуальных событий и формах опосредованного индивидуального жизненного опыта личности.

² Стrophe из стихотворения Евгения Евтушенко «Потеря», написанного в 1991 году (<https://stihii.ru/2007/11/17/1229>). — Примечание отв. ред.

- (2) Беспомощность или, как противоположность, многообразие возможностей в определении своего жизненного стиля: многообразие возможностей освоения собственного стиля жизни порождает чувство бессилия, беспомощности, растерянности.
- (3) Устойчивые авторитеты или же неопределенность, т. е. в условиях отсутствия несомненных авторитетов самоопределение личности происходит в пространстве между принятием тех или иных авторитетов и неопределенностью, растерянностью в отношении собственной причастности к данным авторитетам.
- (4) Индивидуальный опыт или же, напротив, стандартизованный товарным производством как фактор, влияющий на самоопределение личности.

В современном российском обществе мы наблюдаем лишь поверхностное сходство с постмодернными условиями неопределенности в процессах самоидентификации личности. По существу, пространство для самоопределения сужается или даже навязывается внешними условиями. Так, фрагментация социальных условий в социальном пространстве совмещается с высокой унификацией тех же условий по регионам, социальным стратам, этнонациональным сообществам и т. д. Это порождает повышенную агрессивность в отношении «не своих». Одновременно имеет место то, что Х. Малевска-Пейр [8] и Ж. Винсоно [9] называют «негативной идентичностью». Негативная идентичность определяется указанными авторами как навязанная предписаниями других социальных групп и общностей, занимающих более благоприятную позицию. В российских условиях ранее это было свойственно многим рабочим, которые вопреки официальной пропаганде о доминирующей роли рабочего класса в социалистическом обществе сами называли себя «работягами» (уничижительное от слова «рабочий»). Сегодня негативная идентичность широко распространена среди бедных слоев, пенсионеров, людей, находящихся на нижних ступенях социальной стратификации. Эти лица сами относят себя к «неимущим», «обездоленным».

Социальные перемены, формирование рыночных отношений объективно создают достаточно широкие и ранее отсутствовавшие возможности самоопределения, формирования новых солидарностей. Вместе с тем нестабильность в экономике и политической жизни существенно деформирует представления о взаимосвязях про-

шлого, настоящего и будущего. Прошлое нередко выступает прямой детерминантой социальной идентификации в настоящем. Например, восстановление традиций и образа жизни казачества. Во многом это чисто символическая категоризация своей солидарности (идентичности). Например, существуют казачьи объединения в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), тогда как исторически казаки селились на окраинах Российской империи и выполняли функции защитников ее границ.

Будущее неопределенно, и потому сужается перспектива жизненного планирования. У предпринимателей («новые русские») это выражается в стремлении максимально использовать данную конъюнктуру, «поймать свой шанс», препятствует формированию рациональной модели продуктивного рыночного хозяйства, стимулирует развитие спекулятивного рынка. Социальные идентификации в этой стране амбивалентны. С одной стороны, предприниматели ощущают себя продвинутой группой, но с другой испытывают растерянность и неуверенность в своей идентичности, т. к. в общественном мнении предпринимателей обычно рассматривают в качестве представителей «теневой экономики», людей, живущих не своим трудом, нечестных и даже криминальных по образу жизни.

Смещения по временной оси затрудняют дефиниции общества в понятиях (традиционного или модерного). Это — общество в состоянии трансформации и, возможно, рецидивирующей с постоянной угрозой возврата назад [10: 8–15]. Как будет показано ниже, мы наблюдаем две модели самоидентификации: одна прямо тяготеет к советскому прошлому, другая — к обществу рыночной экономики.

Высокий уровень аномии, неопределенность в системах ценностей и авторитетов не имеют ничего общего с дилеммой «Authority versus uncertainty»³ (т. е. отсутствие авторитетов и отсюда большая свобода в самоопределении, порождающая неуверенность).

Неопределенность в пространстве авторитетов и ценностей в российских условиях ослабляет рациональную компоненту социальной идентификации и усиливает иррациональную.

Дилемма опосредования индивидуального опыта массовым товарным производством в основном приводит к тому, что массы лю-

³ Власть против неопределенности (англ.). — Примечание отв. ред.

дей заимствуют упрощенные стандарты культуры. Одновременно наблюдается усиление роли средств массовой коммуникации в деформировании образов социального пространства, конструирование такого пространства в немногих стереотипных моделях. Это то, что П. Штомпка называет «империализмом средств массовой информации» [11: 92].

Итак, весьма сомнительно, что концепции постмодерного общества могут сравнительно адекватно помочь в интерпретации социальных изменений, происходящих в России. Нужны какие-то иные теоретические подходы.

Прежде чем обсуждать эту проблему, рассмотрим некоторые фактуальные свидетельства формирования солидарности или социальных идентификаций в современном российском обществе.

3. Эмпирические данные, свидетельствующие о процессах кризиса социальных идентификаций (солидарностей)

Эмпирические данные были получены с использованием различных методик, в ряду которых:

— Массовые опросы на представительных общероссийских выборках (200 чел.) в режиме мониторинга (май 1992, декабрь 1992, март 1993, июнь 1993 и ноябрь 1993).⁴ Использован закрытый вопрос «Как часто Вы ощущаете близость с разными группами людей, с теми, о ком Вы могли бы сказать: «Это — мы»?». Шкала для ответов: часто — иногда — практически никогда — уклонение от ответа. Предложено 18 наименований групп и общностей по критериям: малые / крупные общности (напр., семья, друзья или люди моей национальности), гражданство (российское, СНГ, СССР), социальный статус (профессия, люди с аналогичным доходом...), возрастная когорта (люди моего поколения), ценностно-идеологические объекты идентификации (люди тех же взглядов, политических убеждений и т. п.), поведенческие стратегии («чувство близости с теми, кто не любит высовываться, и предпочитает жить, как большинство людей», «...с теми, кто не утратил веры в будущее»).

— Тест семантического дифференциала, использованный на малых целевых выборках (30–50 чел. в каждой), состоящих из мужчин

⁴ Авторы этого исследования Е. Данилова и В. Ядов. — Примечание автора.

в возрасте 30–45 лет, взятых из следующих социальных групп: рабочие (госпредприятия и отдельно частные), инженеры (на тех же предприятиях), брокеры на бирже. Все исследования на малых выборках выполнены в 1994 г. в Москве (Т. Баранова, ИС РАН).

— Тест Макпартлена «Кто я?» с предложением дать не более 20 самоопределений себя самого в свободной форме, но в ограниченное время (20 минут) на тех же подвыборках (Т. Козлова, ИС РАН).

— Проективный тест «неоконченные предложения»: (1) «Люди в нашем городе делятся на...»; (2) «Сегодня отношения между людьми...»; «Чтобы понравиться другому человеку, надо...»; (4) «Люди добры ко мне до тех пор, пока...». Это исследование (С. Климова, ИС РАН) было сравнительно-повторным с аналогичным исследованием В. Ольшанского, проведенным в 1980–1983 гг.

Приведем основные выводы, базирующиеся на обобщениях эмпирических данных.

Иерархия социальных идентификаций. Многими исследователями установлено, что жесткая иерархия самоидентификаций личности в современном обществе (кризисном тем более) весьма сомнительна. Как правило, социальные, ролевые идентификации субъекта ситуативны, контекстуальны. Вместе с тем повторяющиеся социальные ситуации допускают утверждение о формировании более или менее устойчивой иерархии идентификаций [12].

По данным мониторинга (май 1992 — ноябрь 1993), а также в исследованиях другими методами, можно уверенно утверждать, что доминирующие объекты социальных идентификаций — это семья, ближайшее социальное окружение (друзья, товарищи по работе, люди того же поколения). В массовых опросах до 90% респондентов утверждают, что «часто» испытывают близость со своей семьей и до 80% с названными далее группами. Эти же объекты идентификаций имеют наиболее высокие показатели по тексту семантической дифференциации в семантическом пространстве «Я сам — моя семья», «Я — мои друзья», «Я — люди моего поколения». Следовательно, эмоциональная компонента таких солидарностей вполне согласуется с вербализованной и осознанной (мониторинг).

Следующий по иерархии комплекс солидарностей — люди той же профессии, разделяющие те же верования, живущие в том же городе или поселке, — 70–80 % позитивных утверждений. Социаль-

но-статусные идентификации относительно более явно выражены по критерию материального благосостояния (бедные и богатые — 65–68 % в массовых опросах). Это подтверждается проективным вопросом «Люди в нашем городе делятся на...». Указывают на разделение по признаку благосостояния 39 % респондентов из рабочих и 37 % из инженеров, аналогично и в негативных солидарностях по тексту «Кто я?» («Я нищий», «Я — люмпен», «Я еле свожу концы с концами» и т. п.). Люди с малым достатком начинают идентифицировать себя с нижними стратами в социальной иерархии. Более состоятельные и преуспевающие (предприниматели, в частности) также близки к формированию своей новой социостатусной идентичности. Вместе с тем исследования, проведенные моими коллегами Ю. Качановым и Н. Шматко (жизнеописания респондентов), указывают на использование разных стратегий в формировании социальной идентичности [13]. В терминологии П. Бурдье Качанов и Шматко выделяют три типа таких стратегий: ориентация на максимизацию своего социального капитала, социальные взаимосвязи (преимущественно бизнесмены); ориентация на максимизацию культурного капитала (преимущественно в среде интеллектуалов) и диффузный тип, т. е. те, кто испытывает кризис социально-статусной идентичности. По данным Е. Игитханян, наибольший кризис социально-статусной идентичности переживают служащие и частично рабочие [14]. Последние, как уже говорилось, принуждаются обстоятельствами отказаться от советской самоидентификации «лидирующего класса».

Профессиональные идентичности неустойчивы, амбивалентны в большинстве исследованных групп. В целом же имеет место формирование новой социально-стратификационной конфигурации российского общества (Е. Игитханян). Причем поляризация особенно четко фиксируется при сопоставлении оценок занимаемого и желаемого статуса. Имеются две явные тенденции: ориентации на восходящую социальную мобильность («новые русские» в особенности) и на нисходящую (рабочие, служащие, крестьяне).

Специального рассмотрения заслуживают данные относительно этнонациональной солидарности и солидарности гражданской (россияне). При этом надо иметь в виду, что мы имеем дело в основном с русскими (более 90% во всех исследованиях). Во-первых, этнонациональная идентичность русских или людей иной национальности

доминирует над гражданской («мы — россияне»). Во-вторых, динамика опросов за 1,5 года указывает на увеличение этого разрыва (см. ниже). Вполне очевидно, что в зонах межнациональных напряжений этническая идентичность обостряется. По данным Р. Симоняна (ИС РАН), этническая идентичность остра в республиках Балтии и на Кавказе, равно среди лиц господствующей этнонациональной группы и среди тех, кто составляет русскоязычное меньшинство. Аналогичные данные получены В. Шапиро (ИС РАН) в опросах евреев (Россия, Украина).

Наиболее низкие ранги в иерархии социальных солидарностей занимают идентификации политico-идеологического комплекса (40–50 % позитивных идентификаций в мониторинге) и в самом низу иерархии — общечеловеческая солидарность — ощущение близости со всеми людьми на планете (30–35 %). Процессы глобализации слабо рефлексируются россиянами, которые намного больше озабочены собственными, российскими проблемами.

Анализ семантического пространства в разных группах испытуемых указывает на высокие корреляции между идентификацией по шкале времени (прошлое — настоящее — будущее, выступающие здесь в качестве объектов личностных ассоциаций) и социальным самочувствием (возможности самореализации, хорошая работа, знание правил игры): чем более положительно оценивается нынешнее социальное положение, отмечают О. Дудченко и А. Мытиль, тем более насыщенным представляется будущее [15]. И наоборот, низкие оценки своего положения попадают в семантическое пространство «прошлое».

Семантический дифференциал, т. е. эмоциональная близость в восприятии двух объектов идентификаций — «Я сам» и шкала времени представлен в табл. 1. Низкие значения тождественны большей близости в семантическом пространстве.

Таблица 1. Семантический дифференциал «Я сам» — «Время»

	Рабочие госпредприятия	Брокеры
Прошлое	1,52	1,97
Настоящее	2,73	2,99
Будущее	2,54	2,51

Люди вообще ощущают себя скорее в прошлом, чем в настоящем и будущем, но продвинутые в социальной иерархии несколько менее ассоциируют себя с прошлым и несколько более с настоящим. Семантический дифференциал хорошо иллюстрирует также уже отмеченные выше различия социально-статусных идентичностей (табл. 2).

Таблица 2. Семантический дифференциал «Я сам» — «Благополучие»

Рабочие госпредприятия	Инженеры госпредприятия	Брокеры
2,54	2,51	1,15

В целом же пропорция индивидуально-личностных идентификаций в сравнении с социально-групповыми (ролевыми) в разных социальных группах устойчиво составляет 1:2 в пользу социогрупповых. Индивидуальная субъектность заметно уступает субъектности социальной.

Динамика социальных идентификаций. Здесь подчеркнем следующие наблюдаемые нами тенденции.

В исследовании С. Климовой с использованием метода неоконченных предложений установлено, что за 11 лет (1983–1994), а точнее, между советской и постсоветской эпохой не произошло заметных изменений в примордиальных солидарностях (семья, ближайшее социальное окружение). Они столь же актуализированы, как и до начала реформ [16].

Наибольшие изменения в постсоветское время — ломка социо-статусных солидарностей, особенно по критерию благосостояния, но также и в отношении профессиональной идентичности и солидарности с коллективом своего предприятия (одна из важнейших в советское время). Семья и близкие по-прежнему выполняют защитную функцию, тогда как коллектив ее утрачивает.

В период май 1992 — ноябрь 1993 (мониторинг) отчетливо фиксируется кризис социальных идентификаций, расшатывание всех идентификаций в марте — июне 1993 г. Доля указывающих, что они никогда не чувствовали близости с названными группами и общностями или уклонившиеся от ответа резко возрастает по всем объектам идентификаций (табл. 3).

Таблица 3. Доля респондентов, не чувствовавших идентификации, %

	1992 (май)	1993 (июнь)
С семьей и близкими друзьями	5,3	8,0
С людьми своего поколения	12,0	18,7
С людьми той же национальности	17,8	28,4
С теми, кто живет в том же городе (поселке)	20,5	24,3
С гражданами России	22,2	32,9
С людьми того же достатка	26,8	33,9
С теми, кто не утратил веры в будущее	26,8	37,0
С близкими по политическим взглядам	38,0	50,8
С гражданами СНГ	43,7	64,3
С теми, кто не интересуется политикой	45,7	50,8
С общностью «советский народ»	47,3	60,7
Со всеми людьми на планете	59,7	70,8

К ноябрю 1993 г. происходит «реставрация» социальных идентичностей, возврат к тому состоянию, которое мы фиксировали в мае 1992 г. Кризис солидарностей летом 1993 г. объясняется резким углублением общенационального кризиса: введение свободных цен, падение уровня жизни, открытый конфликт Президента с парламентом (март 1993) и последующий референдум, недоверие ко всем институтам власти, небывалый рост преступности. Реставрация социальных идентичностей к ноябрю 1993 г. скорее всего есть результат адаптации к изменившимся условиям. При этом факторный анализ данных мониторинга⁵ указывает на две доминирующие стратегии поиска своей социальной идентичности: в рамках ближайшего социального окружения или же в сфере ценностно-идеологической и политической солидарности (в основном среди представляющих относительно продвинутые в социальной структуре группы).

Наибольшие изменения наблюдаются в солидарностях, которые можно назвать символически-конструируемыми, навязываемыми

⁵ Второй, bipolarный, фактор с информативностью около 60% исчерпываемой вариации (1-й, общий, фактор — 40 % информативности). — Примечание автора.

средствами массовой информации (гражданство, политические солидарности, этнонациональные, ценностно-ориентационные). Немалую роль здесь играют стереотипы массового сознания, репродуцируемые средствами массовой информации, равно проправительственными и оппозиционными.

Наконец, нельзя не обратить внимание на пока еще слабую тенденцию размежевания этнонациональной идентичности и гражданской («мы — россияне»). Напомним, что в основном речь идет о русских, т. к. они составляют более 90 % в опросах мониторинга.

Приведем фрагмент факторной матрицы (табл. 4) после вращения методом «Direct oblimin» (данные М. Черныша, ИС РАН).

Таблица 4. Этнонациональная и гражданская идентификации

	Май 1992		Ноябрь 1993	
	F1 (43 %)	F2 (8 %)	F1 (44 %)	F2 (9 %)
Чувствуют близость с людьми своей национальности	0,001	0,723	0,158	0,106
Чувствуют себя «россиянами», т. е. гражданами России	0,483	0,287	0,229	-0,558

Второй фактор майского 1992 г. опроса заметно акцентирует этнонациональную идентичность и намного слабее гражданскую. В ноябре 1993 г. картина изменяется: различия факторными нагрузками указанных объектов солидарностей увеличились, это говорит о тенденции к формированию иного типа национального сознания, в котором этничность уступает чувству гражданской принадлежности.

4. Попытка объяснить наблюдаемые тенденции с точки зрения различных теоретических подходов

Мы уже говорили о том, что концепции постмодернизма не адекватны в приложении к российским реалиям.

Определенную ценность сохраняет марксистская интерпретация социальных изменений в понятиях классового расслоения. Наши данные указывают на возрастающее противостояние «бедных» и «богатых», которые пока еще четко не идентифицируются как работни-

ки наемного труда и предприниматели. Вместе с тем вполне очевидно усиление корпоративных солидарностей. Этот процесс, на наш взгляд, хорошо интерпретируется в теоретическом подходе П. Бурдье [17], поскольку различные социальные группы и корпорации интенсифицируют свой символический капитал. Они используют разные стратегии, но с одной целью — расширить пространство своего социального влияния (достижение более высокого социального статуса или же усиление давления на власти в отстаивании своих интересов).

Классические теории, утверждающие изменения в социальной структуре через стадию маргинализации ранее устойчивых и относительно гомогенных социальных групп (М. Вебер, П. Сорокин) также помогают в объяснении социостатусных перемен и феномена кризисного состояния социопрофессиональных и статусных идентичностей (особенно служащие и рабочие). Нельзя не обратить внимания на социально-временную компоненту, как она проявляется в наших данных. Отношение к прошлому, настоящему и будущему, которое характеризует классические типы традиционного и современного (постсовременного) общества, в российском случае не вполне объясняется классическими теориями или же современными подходами социологов-теоретиков, например, Э. Гидденса и П. Штомпки [1; 11].

Я полагаю, что здесь уместно воспользоваться теоретическим походом И. Пригожина. Согласно Пригожину [18], сложная и притом развивающаяся система приходит в состояние динамического хаоса. При этом все отдельные элементы (в нашем случае индивиды, группы, общности) приобретают существенно большее значение с точки зрения воздействия на состояние системы. Пригожин выделяет параметр времени как максимально актуализированный в состоянии динамического хаоса и не имеющий определенной направленности в будущее. Более того, согласно теории, именно прошлое приобретает особое значение. Если индивид как личность есть итог его жизненного опыта, нетрудно заключить, что стремление удержать прежние идентичности и привычные солидарности не только естественно, но и достаточно значимо для понимания социальных процессов в изменяющемся обществе. «Рецидивирующая модернизация» (Н. Наумова [10]) — вполне адекватное определение для современного состояния российского общества.

Социопсихологические теоретические подходы также полезны при истолковании описанных данных. Когнитивистский подход [19] хорошо объясняет динамику символических категоризаций идентичностей. По преимуществу социальная идентичность такого рода навязывается средствами массовой информации. Бихевиористский подход акцентирует контекстуальность социальных идентификаций и помогает объяснить их кризис летом 1993 г. Крайняя неопределенность экономического и политического состояния в стране — решающий фактор наблюдаемого кризиса. В психоаналитической терминологии формирование групповой идентичности провоцирует агрессию, направленную против «чужих», «не своих», что вполне соответствует российской действительности.

Наряду с упомянутыми хорошо известными концептуализациями нашего предмета можно указать и менее распространенные или, скажем, теории среднего уровня. В их ряду объяснения южноафриканского социопсихолога М. Шерифа [20], который отмечает различные формы агрессии в условиях радикальных социальных перемен и в том числе направленную на себя самого. Уже говорилось о феномене «негативной идентификации», свойственной группам нисходящей социальной мобильности. Можно также ввести понятие «идентификации вопреки», т. е. самоопределения в социуме по критерию «я — это не они».

Конструктивной солидарности здесь еще нет. Деструктивная, провоцирующая социальное напряжение, имеет место. Идентифицирован противник или те группы и общности, которые представляют опасность для самосохранения данной группы или общности.

В рамках нашей теории диспозиционной регуляции социального поведения [21] высшие уровни личностных диспозиций (система ценностей, мировоззрения) регулируют долгосрочную стратегию социального поведения. Амбивалентность, неустойчивость на этом уровне обнаруживает себя в отсутствии долгосрочных жизненных планов и акцентуированном «настоящем» (не будущем) или «прошлом».

Следующий уровень диспозиционной иерархии — обобщенные социальные установки на типичные социальные ситуации и объекты. Диспозиции этого уровня также характеризуются неустойчивостью, наблюдается стремление восстановить (удержать) привычные обоб-

щенные аттитюды к объектам социальных идентификаций дареформенного времени. Отсюда — поляризация тенденций в формировании солидарностей. Одни характеризуют идентификации, типичные для прежнего, авторитарного социального строя и государственной плановой экономики, а другие, т. е. новые солидарности, есть эффект адаптации к рыночной экономике и открытому обществу. На данном диспозиционном уровне, согласно теории, осуществляется регуляция социального поведения в различных сферах деятельности (повседневная жизнь, культура и т. д.). Во всех сферах деятельности мы наблюдаем разлом социально-контекстуальных солидарностей, их неустойчивость: в области политического поведения, в отношении к членству в профсоюзе (в каком именно? или ни в одном из имеющихся), в отношении к культуре (противоречия между ориентациями на мировую или западную и, напротив, отечественную, национальную культуру), в отношении к религиозным сообществам и церкви и т. д.

Активными социальными установками (нижний уровень диспозиционной иерархии), которые, согласно теории, обеспечивают относительную гармонию «Я» (и именно поэтому нестабильны, высоко динамичны, адаптивны) в отличие от диспозиций более высокого уровня, максимально актуализированы и регулируют социальные поступки в различных социальных ситуациях по контексту ситуации при относительном сохранении самоуважения и должной самооценки «Я».

5. Заключение

Примордиальные солидарности в период перемен сохраняют свои защитные и, возможно, иные функции — самореализации, самооценки, оценки достигнутого успеха и др. Они формируются на основе повседневного межличностного общения и поэтому сохраняют устойчивость.

Наибольшие сдвиги наблюдаются в символических солидарностях (конструируемых социальных идентификациях), которые проявляются средствами массовой информации и пропаганды. Социальные институты в российском обществе не пользуются авторитетом и потому утратили свои основные функции, включая функцию обеспечения и поддержания социальной солидарности.

Политеоретический подход к объяснению социальных перемен (в России) более информативен и продуктивен в сравнении с каким-либо монотеоретическим.

Литература

1. *Giddens A. Modernity and Self. Identity, Self and Society in the Late Modern Age.* Cambridge, 1991.
2. *Albrow M., King E. Globalization, Knowledge and Society.* London, 1990.
3. *Baumeister L. Identity, Cultural Change and the Struggle for Self.* New York, 1986.
4. *Кон И. С. В поисках себя.* М.: Политиздат, 1984.
5. Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / под ред. Ю. А. Левады. М., 1993.
6. *Lewada Ju. A. Die Sowjetmenschen, 1989–1991. Soziogramm eines Zerfalls.* München, 1992.
7. *Здравомыслов А. Г. Власть и общество // Социологический журнал.* 1994. № 2. С. 4–16.
8. *Malewska-Peyere H. L'image de soi des jeunes immigrés // Bulletin de psychologie.* 1986, Т. XXXVI. № 359. P. 363–370.
9. *Vinsonneau G. Appartenance groupale et expression de l'identité chez des jeunes en situation des rapports intergroupes asymétriques. Communication au colloque // Changements psychologiques: models d'apprentissage et de transformation.* Montpellier, 1986.
10. *Наумова Н. Ф. Влияние переходных социальных структур на социальные качества человека.* М., 1990.
11. *Sztompka P. The Sociology of Social Change.* Oxford, 1993.
12. *Willey M. G., Alexander C. N. Jr. From Situated Activity to Self-Attribution: The Impact of Social Structural Schemata // Self and Identity: Psychosocial perspectives.* Ed. by K. Yardley and T. Honess. New York, 1987.
13. *Шматко Н. А., Кочанов Ю. Л. Социальная идентичность и перестройка ценностного сознания различных групп населения: Научный отчет.* ИС РАН. М., 1991.
14. *Игитханян Е. Г. Самоопределение в стратифицированной системе общества // Социальная идентификация личности.* Годичный отчет за 1992 год по разделу подпрограммы «Человек в кризисном обществе» общеинститутской программы «Альтернативы социальных преобразований в российском обществе» / под ред. В. А. Ядова. ИС РАН. М., 1993.
15. *Дудченко О. Н., Мытиль А. В. Социальная идентификация и адаптация личности // Социальная идентификация личности.* Годичный отчет за

- 1992 год по разделу подпрограммы «Человек в кризисном обществе» общеинститутской программы «Альтернативы социальных преобразований в российском обществе» / под ред. В. А. Ядова. ИС РАН. М., 1993.
16. Климова С. Г. Стратегия успеха в меняющемся мире // Социальная идентификация личности. Годичный отчет за 1992 год по разделу подпрограммы «Человек в кризисном обществе» общеинститутской программы «Альтернативы социальных преобразований в российском обществе» / под ред. В. А. Ядова. ИС РАН. М., 1993.
 17. Bourdieu P. Espace sociale et genese des «classes» // Actes la recherche in de sciences sociales. 1984. № 52/53. P. 3–12.
 18. Prigogine I. From Being to Becoming. San Francisco, 1979.
 19. Tajfel H. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge, 1982.
 20. Sherif M., et. al. Intergroup Conflict and Cooperation: The Robber's Cave Experiment. Norman (Oklahoma), 1961.
 21. Yadov V.A. The Concept of Dispositional Regulation of Individual Social Behavior // Soviet psychology. Toronto. 1986. № 4. P. 32–48.

МЕТОД ПОНИМАНИЯ, СОЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА¹

На первых же страницах книги «Построение смыслов социального мира» А. Шюц, обосновывая необходимость создания методологических концепций для описания социальной реальности, отмечает, что подобные концепции, с момента появления различных взглядов на значение социальных ценностей, требуют создания единой теории общественного устройства. Эту проблему, замечает он далее, пытался охватить и решить Г. Зиммель, хотя его метод подчас страдал несистематичностью и непоследовательностью. При этом А. Шюц выделяет идею Зиммеля о том, что любое социальное явление следует изучать с точки зрения индивидуального действия и что социальный порядок, в рамках которого действуют индивиды, можно понять только через подробное, детализированное описание отношений между ними. Такое понимание социального явления берет начало у Гуссерля и Вебера. И в то время, когда идеи Шюца получили достаточно широкое распространение, теория социального устройства Зиммеля, на наш взгляд, осталась в тени.

Данная статья опирается на две работы Зиммеля — «Отступление от проблемы: Как возможно общество?»², где рассматривается вопрос об общественном устройстве и подчеркивается значение априорности и типификации, и «Сущность исторического понимания», в которой автор вновь возвращается к анализу соотношения обыденного и исторического понимания с точки зрения отношений я / ты в различных типах социального устройства. В данной статье предпринимается попытка проанализировать метод понимания, который используют историки, учитывая его тесную связь с методоло-

¹ Статья французского социолога Патрика Ватье, профессора Страсбургского университета и одного из ведущих специалистов по наследию Георга Зиммеля, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2000 г. (Вып. 3, с. 70–90). Перевод текста выполнила Е. Е. Тарандо. — Примечание отв. ред.

² Здесь дан буквальный перевод названия работы Зиммеля «Digression sur le problème: comment la société est-elle possible?». В недавно вышедшем двухтомнике Зиммеля данная работа опубликована под названием «Как возможно общество?». — Прим. переводчика.

гией понимания самой возможности социализации. Теория и метод понимания неразрывно связаны с теорией общественного устройства, так как социологическое понимание является не просто научным методом, оно посредством анализа социализации подводит нас к проблеме социальных связей между индивидами.

Априорные предпосылки социализации

В отступлении, сделанном в первой главе книги Зиммеля «Отступление от проблемы: Как возможно общество?», определяются исходные положения, на которых основано изучение форм социализации. Это изучение исходит из социологического обоснования соотношения формы и содержания социализации. Но прежде необходимо выполнить онтологическое и эпистемологическое требование — проанализировать частные отношения между условиями функционирования общества и условиями их познания. Цель работы Зиммеля и состоит в том, чтобы показать, что ответ на подобный вопрос требует принципиально иного подхода, нежели ответ на вопрос: «Как возможна природа?». Действительно, во втором случае ответ содержит «формы познания, основанные на синтезе элементов, данных в “природе”, в то время как в первом случае ответ определяется условиями, содержащимися априорно в самих элементах, — условиями, посредством которых данные элементы соединены и образуют общество». Для того чтобы общество могло существовать, в нем необходимо наличие определенных структурных элементов, что дает возможность познания данного общества. Однако познание самих этих элементов осуществляется не «снаружи», как если бы исследователь мог наблюдать явления, происходящие в физическом мире, а «изнутри», в качестве члена социальной общности. Зиммель замечает, что было бы точнее говорить о знании, нежели о познании, поскольку существование в обществе предполагает наличие по крайней мере практических знаний, которыми люди пользуются для создания отношений между собой.

Анализ структуры любого общества строится одновременно и на типах познания, и на типе функционирования обществ. Рассматриваемые предпосылки определяются не только возможностью познания общества, они также касаются самой возможности его существования, а если быть более точными — типа формирования социальных

связей. Общество формируется из тех, кто в нем живет, его составляет. С одной стороны, в расчет берутся возможности или круг обязанностей, мнения, восприятие взаимоотношений, короче говоря, знания, даваемые социализацией. С другой стороны, необходимо учитывать то частное положение, которое в социализации занимает каждый индивид, однако включение индивидов в социальные связи никогда не бывает ни полным, ни совершенным. Установление социальных отношений включает в себя герменевтику в самом широком смысле; по крайней мере, подразумевается некое знание, позволяющее интерпретировать действие и реакции других индивидов. Необходимо обратить особое внимание на установление этого типа интерпретаций и его оснований. Если общество возможно как сумма подразумеваемых действий, то эта возможность осуществляется не иначе как через непрерывную социализирующую деятельность индивидов. Интерпретируя Зиммеля и пытаясь рассмотреть его концепцию в русле этнometодологии, можно сказать, что общество возможно лишь благодаря деятельности индивидов, — деятельности, требующей понимания и практических знаний, посредством которых индивиды познают и воспроизводят общество. Для определения условий возможности общества Зиммель вводит разделение между объектами физическими, или объектами, расположенными в пространстве, и социальными элементами, что перекликается с априорными категориями Канта.

При познании истории и ее возможности также необходимо обратиться к априорным категориям, поскольку их можно использовать и при изучении общества, — такую задачу ставит перед собой Зиммель в «Проблемах философии истории». Познание природы базируется на синтезе понятий о целостности, когда же мы имеем дело с обществом, то целостность здесь представлена различными элементами, для которых в данном случае вовсе не обязательно наблюдение извне, т. е. целостность осуществляется посредством элементов — «индивидуальных душ». Любая социальная связь как взаимная деятельность состоит из процесса влияния одного индивида на другого, его ориентации по отношению к другому (что является предметом социальной психологии, и Зиммель с этой точки зрения может рассматриваться в качестве одного из основателей этой дисциплины), и в то же время устанавливается сознанием существующей целостности,

пониманием социализации как процесса. В самом деле, целостность реализуется посредством бесчисленных единичных отношений, которые вынуждают понимать и знать, что одно определяет другое и в то же время определяется другим.

Каждый индивид занимает свое место, которое не может быть занято другим: «Целостности, существующей у людей, нет аналога, она состоит в понимании, любви, совместной работе» [1: 44].³ В содержании книги «Социология», говорит Зиммель в работе «Отступление от проблемы: как возможно общество?», есть ответ на вопрос о способах социализации и ее протекании: «Таким образом исследуется процесс, который в конце концов совершают индивиды и который обуславливает их социальное бытие — но не по принципу причины, порождающей результат, а как часть процесса синтеза, который мы в итоге называем обществом» [1: 45; 2: 26]. Формы социализации являются одновременно и действом и результатом социализирующей деятельности индивидов; социализация обновляет социальную энергию. Именно поэтому Зиммель определяет общество как становление, а не просто как состояние, рассматривает его в динамике, а не в статике. В этом смысле общество производится и воспроизводится. Человек — существо социальное, и поэтому его следует понимать и изучать в процессе совместной деятельности, но в то же время участие в такой деятельности есть собственно ориентация на социализацию, реализуемую обществом. Дело в том, что мы привыкли определять общество как неустойчивый результат вечного уравновешивания и постоянных изменений во всех формах социализации.

В перспективе социология, согласно Зиммелю, сосредоточится на анализе процессов деятельности в формировании общества, анализе социальных связей, совокупность которых абстрактно обозначена нами как общество. Их важность становится очевидной, если представить, что их не существует. Путем подобной логической операции можно обнаружить, что исчезновение всех форм социализации повлекло бы за собой гибель общества в самом широком смысле слова. Тем не менее, анализ любых процессов формирования и функциониро-

³ Перевод на французский см. в [2: 23–24]. По вопросу анализа места социальности в современных социальных формах см. [3]. Н. Луман подчеркнул, что эту точку зрения можно применять для изучения как самоимпликативных, так и рефлективных систем [4: 194–195]. — Примечание автора.

нирования социальных связей требует предварительного установления самых общих условий возможности социализации. Связи между индивидами предполагают выяснение априорных условий, которые, с одной стороны, не препятствуют возникновению таких процессов, а с другой поддерживают их существование. Данный вопрос составляет центральную онтологическую и методологическую проблему любой теории социализации, и Зиммель возвращается к ней снова и снова.

Определение общества страдает расплывчатостью, поскольку рассматривается безотносительно к его содержанию, т. е. представляется как некая данность в виде взаимной деятельности, через дифференциацию которой оно и возникает. Зиммель, как и Вебер, очень осторожно относится к холистическим концепциям, в которых наблюдается тенденция персонифицировать структурные компоненты, не вдаваясь в подробности процессов, обуславливающих наличие этих компонентов. Среди таких процессов особое место занимают психические. Именно поэтому социология исследует механизм функционирования таких процессов, как типификация межличностных отношений, или же смысл и значение институтов, т. е. любая социология предполагает использование психологических знаний, но при этом вовсе не становится психологией. Термин «психология» используется Зиммелем применительно к психологическим конструкциям, но не к психологическим знаниям. Задача чистой социологии заключается в представлении каждого наблюдения «в форме соотношения между индивидами и социологическими категориями, хотя единичное или типичное описание самих процессов будет всякий раз психологическим» [1: 38; 5: 38]. Определение социализации как психологического процесса стало объектом многочисленной критики, Почему Зиммель считает, что описание взаимодействия должно быть психологическим? А если так, то где же здесь социология?

Прекрасно понимая, что подобный поворот в анализе может привести социологию в область психологии или социальной психологии, Зиммель определяет статус психологии по отношению к социологическому познанию и ее место в социализации. Определение социализации как психического явления означает не только то, что ее содержание, мотивация цели являются психологическими, но и то, что отношения между людьми основаны на экстраполяции психи-

ческого характера. Различение формы и содержания социализации обеспечивает социологии свою собственную область исследований, которая при том же психическом содержании может быть рассмотрена с совершенно иной, социологической, точки зрения, но материал социализации в самом широком смысле является психологическим. В «Философии денег» Зиммель говорит о психофизиологическом устройстве человеческой природы. Процессы взаимовлияния и взаимодействия, происходящие из ассоциаций, предполагают интерпретацию участниками действий и намерений друг друга.

Содержание социализации там, где оно выражено индивидуальным сознанием, является, с одной стороны, психическим представлением, а с другой способом построения индивидами из этих психических представлений отношений со своими близкими. Данные интерпретации являются психологическими тогда, когда они обуславливаются индивидуальной психикой. Следовательно, принципиальное значение имеет отбор тех представлений, которые формируют ориентацию индивидов относительно друг друга. Можно сказать, что Зиммель ставит своей целью описание латентных, подразумеваемых категорий, функционирующих в процессе взаимного понимания «естественных отношений», поскольку без такого понимания социальное взаимодействие было бы невозможно. Он указывает, что нам приходится создавать друг в друге личность, психическую целостность и что в процессе этого мы пользуемся априорными представлениями, которые состоят в приписывании другому какой-либо совокупности чувств. Подобный метод мы называем методом понимания. Понимание связано с приписыванием, поскольку личность, которую мы понимаем и которой приписываем те или иные намерения, является типовой конструкцией.

Понимание *другого* через типификацию является априорной предпосылкой социализации, ценность которой заключается в том, что она дает возможность познания деятельности в социальном окружении в повседневной жизни. Любая форма социализации предполагает взаимные ожидания и закрепление какой-либо линии поведения. Процессы воздействия и взаимодействия неизбежно проходят под влиянием психологизма их участников. Социализация есть, следовательно, психическая целостность, и эта целостность проявляется таким образом, что разделенные в пространстве элементы образуют

новую совокупность, создание которой осуществляется сознательно. Этим всякая социальная общность отличается от явлений природы, поскольку для последних пространственное сосуществование не сопровождается осознанием этого сосуществования, или, по крайней мере, его возможности. Установленное таким образом различие приводит нас к заключению, что интерпретация общества требует психологических знаний, которые в то же время не являются психологией. Если мы абстрагируемся от психического характера социализации, то общество предстанет перед нами как «не что иное, как театр марионеток, понятный и осмысленный не более чем смешанные друг с другом облака или растительность, запутавшаяся в ветках дерева, если только нам не удастся распознать, что такая психическая мотивация — чувства, мысли, потребности, не столько в качестве основания социализации, сколько как ее сущность, то есть то, что единственно нас интересует» [5: 35]. Особенный интерес здесь составляет тот момент, который характеризует взаимодействие в повседневной жизни, а именно: причины и мотивы действия. Любая социализация предполагает психологические знания, построенные на принципе взаимодействия, обмена между мной и тобой («чередующийся обмен между мною и тобою»), и поскольку взаимодействие — неотъемлемая характеристика социализации, то она, в свою очередь, может быть установлена лишь на основе системы психологических знаний. Социальная жизнь не была бы такой, какой мы ее знаем, если бы индивиды не действовали в соответствии с ожиданиями, предположениями, предвидениями, типификациями, которые и составляют мыслительное представление об их взаимных поступках.

Приступив к социологической разработке данной сферы, Зиммель столкнулся с проблемой социализации. Любая социальная целостность есть некая связь между индивидами, осуществление которой начинается с полного незнания того, что из себя представляет другой, но которая в то же время предполагает и определенную автономию данных индивидов. Иными словами, лишь часть личности соотносится с социальной общностью, эта часть и подвергается социализации. Она предполагает совпадающие интерпретации, основанием которых является типификация. Но еще более глубокое основание эти интересы получают в психосоциальных чувствах, таких, например, как доверие, которое слаживает отсутствие необходимых зна-

ний. Другой по своей природе не познаем и не сводим к какой-либо целостности. В свою очередь, и его представления о нас неполно, но такое фрагментарное представление в конечном счете ведет к более полному пониманию самого себя.

Важность вопроса о том, каким образом возможны социальная жизнь и общество, объясняет, почему рассмотрение его занимает у Зиммеля центральное место. Зиммель подчеркивает, что чужая душа для нас тоже реальность, но принципиально отличная от реальности вещественной: «...чувство я-живущего, имеет полное самосогласие и закрытость, недоступные ничьему представлению каком-либо материальном аспекте. Однако **Твои** действия имеют для нас точную достоверность в том смысле, что совершены они или нет; и как причина или как следствие этой достоверности, мы ощущаем **Тебя** как нечто независимое от нашего представления, как нечто существующее для себя точно так же, как мы существуем для себя. И хотя это и не мешает нам создавать свои представления, тем не менее, существует нечто такое, что не может быть решено посредством представлений, но, которое, между тем, является содержанием и результатом таких представлений — вот самая подробная схема и проблема теоретико-психологического познания социализации» [5: 45].

Вклад Зиммеля состоит в том, что он выделил двойную категорию я / ты, показав, что взаимодействие элементов, входящих в нее, является условием возможности общества. «Ты» в этом случае является такой же фундаментальной категорией в области гуманитарных наук, какими в области естественных выступают категории причины и действия. «Я не могу описать “Ты”, как описываю другие объекты, как простой результат моего представления. Я должен ему приписать собственное существование, которое будет совсем иным, нежели существование других объектов, с которыми я сталкиваюсь. Этим объясняется, что мы проверяем других людей. “Ты” существует как самый далекий и непроницаемый и одновременно как самый близкий и самый знакомый. “Ты” и понимание суть одно и то же, и выражаются они то как субстанция, то как действие — это первопричина человеческого духа, как зрение и слух, мышление и чувственное восприятие или как самая общая объективность, как пространство и время, как “Я”: это есть трансцендентальное основание, так как человек — животное политическое» [6: 67–68].

Ссылка на полис (polis) подразумевает наличие отношений с *другими*, но эти межличностные отношения выступают как вторичные. Отправным пунктом рассуждения у Зиммеля остается индивидуальная монада, он опирается на философию сознания, а если быть более точными, он описывает точку зрения индивидуального сознания и общие условия его отношения к другим таким же сознаниям, не затрагивая при этом проблематики, связанной с ролью речи или социализации в классическом смысле этого понятия в социологии. Однако Зиммель конечно же касается отношений индивидов в контексте их социокультурного опыта, когда переходит к описанию изменений, вызванных интеллектуализацией мира. Совокупные знания человечества посредством отдельных носителей через обезличивание объективизируются и в этом смысле формально, через такую обезличенность доступны всем. Но хотя Зиммель и не касается отношений между речью, языком и социализацией, или становления субъекта посредством внутри социализирующей языковой среды, не рассматривая эту проблему как центральную тему своих рассуждений, он все же прекрасно понимает, что вопрос межличностных отношений является центральным как в познании социализации, так и в познании общества. Это положение он выводит из философии сознания, поскольку связь с «тобой» фактически неразрывна. Ведь очевидно, что общество не выводимо из одного индивида, оно существует лишь в виде отношений, связей между индивидами. «Горизонтальный срез» социализации предполагает двойственное отношение индивида и общества, которые противостоят друг другу и в то же время образуют единство, и индивид при этом познает общество совершенно иначе, чем природу. Объективности природы безразличен вопрос, включен в нее познающий субъект или нет, представляет он ее или не представляет, а если и представляет, то как. Ее бытие существует, а ее законы действуют независимо от того, считается с ними субъект или нет. Конечно, общество тоже стоит над индивидом и живет относительно независимо, противостоит ему своими предписаниями и историей. Но индивид одновременно является и внутренним содержанием общества; безразличие общества к индивиду есть одновременно и заинтересованность в нем, поскольку объективность общества нуждается, если не требует, индивидуальной субъективности.

Общество не может существовать без совокупности всех индивидуальных субъективностей, оно не имеет иного существования, кроме психических связей, непрерывно протекающих взаимовлияний и взаимодействий. Безусловно, для исследователя общество существует как целостность, и в этом его сходство с природой, но общество есть также целостность для индивидов, которые его составляют. Фундаментальная характеристика общества как «объективной формы субъективных сознаний» заставляет исследовать условия реализации такой формы, т. е. результат ассоциаций. Цель этого отступления, таким образом, в выяснении условий, при которых индивиды могут соединиться в общество, в обращении к изучению теории познания и онтологии общества, поскольку последнее у Зиммеля изучается с точки зрения априорных условий социализации, когда ставятся следующие вопросы: Как и через какие предпосылки у индивидов появляется возможность вступать во взаимодействие друг с другом? Наличие каких факторов необходимо для того, чтобы индивиды имели возможность социализироваться? Что превращает индивида в социального индивида? По этому поводу Зиммель замечает, что «априорность, через которую возможно общество, будет иметь такое же двойственное значение, как и априорность, через которую возможна природа; она, с одной стороны, является концептуальным допущением, с другой — детерминирует более или менее точно реальные процессы социализации» [2: 32]. В данном случае проблема имеет познавательный характер, когда при определенном типе общественного устройства осуществляется определенная форма социализации, реализуется объективная целостность через ассоциацию субъективных сознаний.

Предпосылки социализации предполагают наличие психосоциальных чувств, таких, как доверие, верность другому. Общество нуждается в определенном минимуме доверия, искренности в представлении себя другому, особенно тогда, когда современные условия существования ставят в ситуацию неопределенности. В «Философии денег» Зиммель прекрасно определяет место, занимаемое доверием при осуществлении обмена, и его влияние на личность и денежную систему.

Общественное устройство как объект познания и, прежде всего, как практическая деятельность рассматривается также с точки

зрения наличия в нем трех основных, фундаментальных априорных предпосылок. Первая из них касается составления представления о *другом* во время взаимодействия. Эта же предпосылка входит и в историческое познание. Подобный интерес к проблеме познания *другого* связан в немецкой философии с обоснованием учения о Духе, хотя такое обоснование предполагает обращение к истокам данного учения. Согласно Зиммелью, обоснование, исходящее из возможности взаимных интерпретаций, опирается на индивидуальное сознание и психологические знания. Каким же образом и в какой форме необходимые знания применяются при социальном взаимодействии? Зиммель отвечает, что это происходит через обобщение прямо воспринимаемых фрагментарных элементов, которые затем пополняют уже имеющуюся систему, состоящую из подобных элементов, собранных ранее. Иными словами, происходит процесс приписывания, при котором другой подводится под какую-либо общую категорию, или же типификации, основанием которой являются социальные категории. Поэтому социальная жизнь становится возможной лишь посредством конструктивных процессов, представляющих собой «перемещения, добавления, изъятия». Они «мешают идеальному познанию отдельного человека и являются именно теми условиями, при которых становится возможным тип отношений, называемый нами социальными» [2: 32].

Индивидуальность как таковая недоступна познанию. Таким образом, понимание, как в повседневной жизни, так и в качестве научного метода, обречено на использование процедуры типификации в самом общем виде именно в силу того, что оно пытается реконструировать ментальность деятелей. Какими бы ни были требования жизни или социологической интерпретации, люди в своей деятельности не в состоянии выйти за ее пределы. Это и составляет первую априорную предпосылку, благодаря которой возможно общество. Первая предпосылка перерастает во вторую, основанную на том, что у индивида есть возможность ускользнуть от социализирующего взаимодействия. Иначе говоря, социализация касается лишь той части его сознания, которая обращена и направлена к обществу. Но на социализацию также влияет и та часть сознания, которая ей неподвластна. В индивидуальном существовании реализуется синтез между этими двумя антагонистическими определенностями, и, таким образом, оно

представляет собой противоречивую целостность, которую можно объяснить двумя путями: через интерпретацию индивида, обращенного к себе самому, или же через исследование отношений между индивидами в виде форм социализации. Но какого бы подхода мы ни придерживались, второй стороной данных отношений пренебрегать нельзя, поскольку человек суть целостность, представленная двумя определенностями: принципом индивидуализации и принципом социализации.

Исходя из психического характера составляющих общество элементов, мы вновь подходим к классической проблеме размежевания гуманитарных наук и наук об обществе. Социализация обладает психической природой, поскольку существующие в одном пространстве индивиды представляют собой не просто сумму: они создают между собой связи, включающие в себя взаимные ориентации, ожидания, предполагающие взаимное построение психической модели. Любая социализация содержит механизмы ситуативной интерпретации *другого*, которые связаны с функционированием сознания и выстраиваются над индивидуальными сознаниями в некую форму, являющуюся образцом для индивидуальных ориентаций. Социализация, таким образом, состоит в выработке линии разделяемого с *другими* поведения, более или менее однообразного, более или менее нового, но требующего внимания и взаимности. Социализация между чужими друг другу людьми требует, без сомнения, приспособления, внимания и практической гибкости в большей мере, нежели между прожившими долгое время вместе супругами, у которых общее прошлое служит основой для текущей типификации. Любое отношение между незнакомыми людьми методом проб и ошибок ведет к накоплению их совместного опыта, т. е. к отношению между знакомыми и даже близко знакомыми людьми. Типификация развивается из необходимости совместной деятельности или познания. Она использует знания из накопленного опыта, или то, что Макс Вебер называет номологическим знанием об обычных способах действия в типичных ситуациях.

Понимание занимает центральное место в социальной жизни. Для Зиммеля, однако, в этом смысле интересно не столько понимание как метод социальных наук, сколько тема, которую впоследствии Шюц разовьет в социальную феноменологию. Но поскольку мы гово-

рим о понимании, то следует предположить существование знания, основанного на типификации. И понимание, таким образом, фактически как синтез различных типификаций является прежде всего способом мышления, который индивиды используют для познания как своих отношений, так и социальной реальности. И только после этого оно выступает методом социальных наук.

Историческое понимание

Когда мы имеем в виду понимание как научный метод, то нельзя забывать, что прежде всего оно касается социальных отношений, и Зиммель в «Сущности исторического понимания» решительно настаивает на построении исторического понимания на основе форм обычного понимания, служащего фундаментом первому. «Отношение одного сознания к другому, которое мы описываем как понимание, представляет собой фундаментальное явление человеческого существования, и опыт, накопленный в сознании, нельзя рассматривать просто как пережитое. Историческое понимание как таковое включено в понимание вообще. И как мы в нашем опыте находим идеи, которые затем наше сознание развивает для потребностей практики и воспроизведения жизни, так и история как наука предопределена конструкциями и методами, посредством которых действие соединяется с представлениями о прошлом как условием продолжения существования» [6: 64]. Таким образом, можно приписать социализации психологический характер и тем самым утверждать, что любая ее форма как тип взаимной ориентации развертывается при участии психических процессов, требующих мысленного представления определенного взаимодействия. Как повседневное и историческое познание предполагают исторические, временные рамки процесса понимания, так и категория научного познания являются ни чем иным, как рафинированием категорий познания повседневного. Следовательно, между обычным пониманием и пониманием научным большого разрыва не существует, поскольку оба вида понимания предполагают типификацию отношений. Для повседневного понимания — это деятельность *других*, для понимания научного, исторического — деятельность людей прошлого. Соответственно оно осуществляется на двух уровнях: уровне социализирующихся индивидов и уровне анализа или наблюдения.

Здесь необходимо повести различие между пониманием и интерпретацией и определить, что представляют собой знания, делающие возможным понимание. Разумеется, это не столько описание характеров и использование психологических примеров, в изобилии приводимых Зиммельем, сколько сам подход, позволяющий интегрировать конвенциональную психологию в более широкую категорию, чем веберовские номологические знания об обычных способах действия. Завершая анализ, Зиммель предлагает различать три вида понимания.

Первый вид является собой несколько модифицированную точку зрения, предложенную еще в «Проблемах философии истории». Она состоит в интерпретации впечатлений или наблюдаемых проявлений чувств, эмоций и в их приписывании определенным мыслительным процессам, которые могли бы лежать в их основе. Это чисто психологическая интерпретация, поскольку считается, что эти процессы являются мотивированными психологически или мыслительно. Таким образом, мы наталкиваемся на определение психологических предпосылок. *Другой* не является марионеткой, но его можно понять, исходя из мотивов, лежащих в основе его поведения. Но эти мотивы невозможно наблюдать непосредственно, и, следовательно, они остаются необходимым для понимания предположением. То, что мы наблюдаем, «есть лишь символ и связь», благодаря которым мы создаем сюжет. Из этого можно заключить, что прежде, чем иметь возможность приписать *другому* определенное настроение, мотив, чувство, необходимо располагать знанием этих элементов, чтобы можно было связать, например, определенное выражение лица с определенным настроением так, как их обычно связывают. Здесь Зиммель замечает, что такое познание может иметь лишь один источник — «Я» сам, а это выводит на фундаментальную проблему любого исторического познания. В самом деле, с одной стороны, в каком смысле надо понимать, что познающий субъект предполагает данное познание, а с другой, — как установить связь между интерпретируемым и интерпретирующим, как преодолеть разрыв между одним и другим? Этот разрыв кажется значительным, пока берется в расчет разница во времени. И эту проблему можно разрешить, лишь предположив необходимую идентичность между исторической личностью и интерпретирующим. Эта идентичность, в сущности, будет очень общей, она

касается принадлежности к человеческому роду, сосуществования, хотя и с определенной дистанцией, в рамках одной онтологической субстанции.

Зиммель описывает ситуации установления общих связей на основе близости и дистанции в процессе понимания. Дистанция может быть социальной и культурной. Так обычатель или мелкий буржуа может с трудом понимать выражения Гете, Ницше или Наполеона. С другой стороны, востоковеды, например, сталкиваются со специфическими проблемами культурной дистанции между Востоком и Западом. Здесь ставится под сомнение возможность понимания кем-либо чувств, реакций на стимулы *другого*. Затем Зиммель задается вопросом о том, может ли сама жизнь дать соответствующее решение этой проблемы.

С этой точки зрения понимание представляет собой определенный тип знания о том, что будут означать для нас определенные внешние проявления эмоций другого человека. Зиммель выводит это из того, что определенные внешние проявления с необходимостью соответствуют определенному внутреннему состоянию, которое нельзя наблюдать непосредственно, — таким же образом ребенок, плачущий из-за того, что у него что-то болит, впоследствии на основании этого думает, что кто-то другой плачет по той же самой причине. Короче говоря, интерпретация основывается на генерализации знания, подтвердившего себя и в других ситуациях. Конечно, нет абсолютной гарантии верности такой трактовки, но анализ обширной информации позволяет сделать вывод о том, что без подобной возможности генерализации жизнь затерялась бы в нескончаемом множестве различных догадок. Более тщательно контролировать этот процесс будет лишь тот, в чьи задачи входит проверка точности сконструированных и спроектированных на исторического деятеля представлений.

Безусловно, приписывание индивидуальным познанием испытываемого чувства чувству выражаемому будет адекватным во множестве случаев. Тем не менее, предположение о том, что понимание основывается лишь на самонаблюдении было бы ошибочным, поскольку нам приходиться интерпретировать и понимать в том числе такие чувства, которые мы сами со стороны не могли за собой наблюдать. Мы сами не можем прочитать страх в наших глазах, когда боимся, но, несмотря на это, взгляд считается исключительным средством

для понимания других. Из этого следует, что, как и в случае с личным опытом, самонаблюдение не может быть тем средством, которое позволит проложить путь от внешне-внутреннего индивидуального опыта одного к опыту другого человека. Речь идет об осознании того факта, что понимание основано на соотношении различий и сходств, но в определенных пределах, а именно в пределах принадлежности к одному миру культуры, что делает возможным реконструкцию действий других индивидов на основании наличия совокупности общих схем, позволяющих взаимопонимание.

Если понимание состоит в приписывании сконструированных и спроецированных намерений, желаний и мотивов, то на какой основе происходит этот процесс? Таким образом, встает вопрос о восприятии *другого*, когда речь идет о создании модели, показывающей, почему *другой* поддается восприятию и наблюдению. В обыденной жизни мы не подходим аналитически к восприятию *других*, более того, мы воспринимаем некоторую совокупность, «которую называем всеми людьми», мы ощущаем другого лишь нашими собственными глазами. «Такое восприятие всеобъемлющего существования может быть неясным и фрагментарным, опосредованным личным опытом и своими соображениями. Оно может быть разным в зависимости от настроения или круга обязанностей и может не локализоваться в каком-либо определенном органе. Оно представляет собой фундаментальный уникальный прием, который позволяет одному воздействовать на другого, тотальное, недоступное анализу ощущение, первый и основной способ познания другого, независимо от того, требует он усовершенствования или нет» [6: 64].⁴ Историческое понимание «работает» по той же схеме, только оттачивая, усовершенствуя обыденное понимание. На его пути возникают препятствия и проблемы, но в результате, если такая процедура проведена правильно, «историческая личность и ее поведение предстают перед нами так же, как будто мы сами узнали этого человека». Суть исторического понимания в том, что историк устанавливает с объектом своего исследования такую же связь, какую актеры устанавливают со своим персонажем. Речь идет о целостном восприятии, создании и воссоздании об-

⁴ Эта точка зрения затем получит развитие в формальной психологии и у М. Мерло, взгляды которого явно близки воззрениям Зиммеля. — Примечание автора.

раза посредством приписывания объекту каких-либо мыслительных представлений. Таким образом, и в обыденной жизни, и в процессе исторического исследования пониманию доступны лишь внешние выражения внутреннего состояния: *другой* сам по себе непознаваем, хотя представления о *других* возможны в форме типизации, а она есть продукт социализации.

В заключение к рассуждениям об историческом понимании Зиммель пишет, что можно говорить также собственно об интуитивном историческом понимании как соответствующем описании данного процесса. Это есть не что иное, как форма интуиции, неизбежно используемой в повседневной жизни. Этим положением концепция Зиммеля освобождается от некоторой доли мистицизма, который, как может показаться, ее окутывает. Длинные рассуждения, посвященные пониманию, находят свое полное завершение в «Проблемах философии истории», но основная тематика остается той же: о нахождении истоков исторического понимания в обыденном, а также о взаимопонимании, основанном на социальной организации и политическом устройстве человеческих отношений.

Интерпретация и умственные процессы

Вторая форма понимания обладает более сложной структурой. Речь идет о форме интерпретации, предполагающей, что существует некий заранее заданный ментальный процесс и что практическое изучение принимает особую форму и проходит в русле этого общего ментального процесса. Если, например, один ганноверский легитимист нам говорит, что ненавидел Бисмарка еще до 1866 г.⁵, то как это следует понимать? В первую очередь, мы непосредственно понимаем его чувство. Мы знаем, что значит ненавидеть, мы понимаем ненависть просто как выражение чувства, и оно не требует дополнительного анализа. Наше знание не зависит ни от конкретных обстоятельств, ни от конкретного человека, заявившего о своем чувстве. Таким образом, можно говорить о трансисторическом или вневременном, понимании, которое Зиммель рассматривал как нечто объ-

⁵ В ходе австро-пруссской войны 1866 года королевство Ганновер и ряд других небольших германских государств выступали на стороне Австрии, после поражения которой Пруссия, чьим канцлером был Отто фон Бисмарк, стала доминировать в Северогерманском союзе. — Примечание отв. ред.

ективное. Оно занимает часть объективного духа, благодаря ему мы можем приписывать другим чувства, подобные этому.

Мы говорим, что ненависть как таковая составляет часть культурного опыта любого социализированного индивида, что такой индивид сам переживал ее или же знает опосредованно (например, через книги), что такое чувство существует. В данном случае интерпретатор знаком с этим чувством, у него нет необходимости переживать его снова, и он интерпретирует такой частный случай, исходя из более общей концепции, более общего процесса. Однако исторически ненависть легитимиста нужно понимать с учетом причастности к Ганноверу, так сказать, переместившись в частный контекст. Когда нам нужно интерпретировать частную ситуацию, мы заново обращаемся к общим концепциям, а именно к лояльности и законности в отношениях между государством и личностью. Мы уже заранее знаем эти концепции, и, таким образом, они проникают в частные интерпретации, поскольку обладают вневременной природой и служат для осознания многомерной структуры процессов, подобных данному. Именно такое вневременное знание является для Зиммеля условием исторического понимания.

Историческая интерпретация раскрывает и устанавливает связи и функциональные отношения между элементами на основе познавательной деятельности, направленной на изучение содержания прошлого. Связи, соединяющие наши умозаключения, не вытекают из содержания объекта, а зависят от логических законов нашего мышления. Любое понимание основано на использовании общего знания, и такое знание Зиммель называет конвенциональной психологией. Историческое понимание включает понимание какого-либо события из жизни, которая его окружает и вызывает, но историческим оно будет лишь в том смысле, что в расчет берутся элементы истории. Мы приходим, следовательно, к использованию в процедуре понимания знания, которое не дано в объекте, и в этом смысле объект демонстрирует наличие этого феномена. Историки интерпретируют события, исходя из познания, завещанного им традицией. Они, соответственно, располагают «запасом знаний», позволяющим им представить прошлое и интерпретировать его. Если допустить все то, о чём говорилось выше, то мы придем к признанию двух форм по-

нимания, смещающихся историзмом при игнорировании неисторических предпосылок любого исторического понимания.

Зиммель настойчиво отстаивает право на существование априорных познавательных возможностей, особенно при рассмотрении их гибкости и эластичности. Другими словами, следует различать эмпирику и трансцендентность. Для объяснения этого различия Зиммель приводит пример понимания стихотворения Гете «Сердцу мил зовущий взгляд подруги» («Pourquoи nous jetas-tu de profonds regards»). Сначала понимание этого стихотворения является полностью неисторическим: мы понимаем слова, фразы, мы любуемся или не любуемся его красотой, нас волнует звучание фраз или же мы можем остаться безразличными и равнодушными. Если же мы связываем это стихотворение с отношениями Гете и мадам фон Штайн, на что наводит соотносимость времени их отношений и даты стихотворения, то мы уже переходим к историческому пониманию. Произведение понимается как этап этих отношений и связан с их развитием. Иначе говоря, Зиммель различает имманентные факторы в понимании произведения искусства, факторы, зависящие от возможностей познания, и факторы исторические.

Понять и интерпретировать произведение искусства — это не обязательно понять его как продукт истории, зависящий от условий своего времени. Мы можем приобщиться к нему, не соотнося его с условиями, в которых оно создавалось. Более того, чтобы связать произведение с соответствующим историческим периодом, его сначала нужно просто понять. Таким образом, понимание не может быть чисто историческим. Там, где Вебер произвел аналитический разбор совокупности элементов, которые могут иметь историческое значение, Зиммель, пользуясь тем же примером, наоборот, провел границу между имманентным и историческим пониманием, и такое разграничение можно применять к любым объективным построениям мышления. Более того, в пределах интерпретации или понимания не существует частных связей с намерениями автора. Мы можем оценивать собор в Страсбурге или «Лунную сонату», совсем не интересуясь при этом намерениями Эрвина фон Штайнбаха или Бетховена. Вызванные чувства и понимание этих произведений нельзя расценивать как верные или неверные, поскольку они не соотносятся с ценностями или чувствами их создателей. В этом смысле интерпретация сво-

дится лишь к восприятию указанных результатов творчества, и это есть не столько знакомство с автором, его жизнью, сколько с самостоятельной культурной формой, данной для интерпретации отдельно.

Герменевтика прекрасно может определить соотношение явных и скрытых намерений авторов, но Зиммель вводит по отношению к пониманию обыденной деятельности другой уровень, состоящий в интерпретации смысла или значения какого-либо произведения или социального института. С этой точки зрения, при рассмотрении стиля жизни современного человека в «Философии денег», его не интересуют намерения участников этих отношений, он сосредоточивается на основной проблеме значения и интерпретации форм социальных отношений в их связи с денежным хозяйством. Можно сказать, что такая интерпретация относится к уровню социальной философии области, находящейся над «чистой» социологией по классификации Зиммеля. Он различает три уровня: эпистемологию социальных наук, «чистую» социологию и философию, которой в своих статьях отводит место над социологией. Здесь можно поставить вопрос: не находится ли на этом уровне проблема разочарования в мире? И мы думаем, что она находится именно здесь, поскольку речь идет не об анализе какой-либо единичной причины или мотива действия, а о попытке выявить сущностную характеристику общества.

Разочарование в мире не является концептуальным результатом анализа индивидуальной деятельности в терминах «средства / цели», что вытекает из рассуждений Зиммеля. Поэтому следует различать то, что относится к пониманию деятельности в указанном смысле, и культурную герменевтику. Заслуга Зиммеля, без сомнения, состоит в том, что он не свел понимающую социологию к установлению связей «средства/цели».

Интерпретация и познавательная способность

Третий тип понимания основан на отношениях между умственным, ментальным содержанием и более общими концептуальными схемами. Он формирует новое поле для критики историцизма, трактующего понимание как объяснение содержания, всецело зависящего лишь от исторических условий своего времени. Зиммель предостерегает от смешения исторического релятивизма с собственно законом познания. Исторические или социальные условия формирования

того или иного ментального содержания — вот тот принцип, при помощи которого историцизм предлагает исследовать это содержание.

Зиммель определяет проблемное поле, которое в самом общем виде можно исследовать подобным образом на основании положения о невозможности проникновения в сущность, т. е. речь идет о нахождении причины какого-либо явления, исходя из его развития, но без предварительного представления о его сущности. Здесь фактически и сталкивается с трудностями герменевтика. Анализ, целью которого выступает интерпретация, предполагает наличие двустороннего отношения между двумя элементами. С одной стороны, выступает объективное или вневременное понимание, соотносящееся с определенными обстоятельствами, упорядоченными в систему анализом исторического развития. С другой стороны, имманентное понимание, основанное на априори (*a priori*), хотя и конкретизирующейся каждый раз по-разному, но все же являющейся несомненной и необходимой. Таким образом, эти два типа интерпретации находятся в отношениях тотальной взаимосвязи.

Приведя в качестве примера кантовскую философию на предмет истории познавательной деятельности или познавательной деятельности в истории искусства, рассмотренную в «Проблемах философии истории» [7: 85–86], Зиммель говорит, что для историциста понимание Канта и его философии означает лишь определенный, например, заключительный этап в рамках истории философии. В этом смысле содержание и преходящее существование кантовской философии получают историческую понятность, но все же речь идет о том, что, прежде чем появилась возможность установить такого рода связь, необходимо понять логическое содержание любой философии вообще и философии Канта, в частности, и все это независимо от исторического генезиса. Таким образом, исторические условия не являются единственным фактором, позволяющим понять какое-либо произведение, поскольку также необходимо наличие имманентного понимания, предшествующего установлению исторической преемственности.

Исходя из этого, Зиммель предлагает методологический прием, посредством которого он выявляет предпосылку, связывающую историческую интерпретацию с интерпретацией объективной. Если мы говорим, что критицизм есть критическое развитие скептиче-

ского сенсуализма, основанного на критике рационализма, то в чем смысл этого развития? Каждая теория представляет собой цельную и в определенном смысле завершенную конструкцию, и, следовательно, утверждения о том, что одну концепцию можно свести к другой, не имеют под собой основания. Концепции не рождаются сами, и ни один человек за всю свою жизнь не может быть приверженцем по очереди каждой из них в их исторической последовательности. Установление такой последовательности предполагает использование условного, идеального основания, проходящего ряд этапов и служащего техническим средством для понимания подобного развития. Мы обычно пользуемся этим средством, даже не осознавая этого. И именно относительно развития данного вневременного основания мы понимаем и устанавливаем связь во времени между событиями, называя ее затем вневременной. Это абстрактное построение является лишь схемой установления хронологии посредством разработанных категорий, поскольку все интерпретации одного основания, одной темы нельзя уложить в единую, стройную целостность. Из этого следует, что, как только мы попытаемся помыслить преемственность между произведениями искусства как развитие, мы вынуждены обратиться к «тому, что можно было бы назвать методологическим основанием, идеальным построением», организующим эти творения в линию их духовной эволюции. Такое же идеальное основание можно применить и для понимания в самом общем виде любви и ненависти безотносительно к конкретному субъекту. Понимание этого факта, что месть следует за несправедливостью, приводит к предположению об однородной живой связи между этими двумя событиями.

Зиммель утверждает, что ритмическое и постоянное развитие жизни является формальным средством понимания. Условное, идеальное основание представляет собой трансформацию или объективизацию ощущаемого нами разнообразия жизни, примерами которого мы являемся, но такая трансформация оказывается вынесенной на сверхиндивидуальный уровень. «Понимание представляет собой фундаментальное явление, благодаря которому выражается связь человека с миром. Элементы, посредством которых оно реализуется, или механизмы, через которые осуществляется и распределяется рефлексия, смешиваются между собой, но, будучи проанализированными и заново представленными, выстраиваются в соотнесенности

друг с другом» [6: 83]. Понимание и интерпретация перемещаются, таким образом, в сферу философии жизни, и Зиммель приходит к выводу о том, что «жизнь можно понять только жизнью». Он говорит, что понимание — это тоже жизнь и что только живое существо может быть ею правильно понято [8: 15].

Мышление зависит от жизни в том смысле, что форма жизни в конечном счете определяет способ, которым жизнь может понять саму себя. Можно было бы говорить и об антропном принципе, к которому обращаются в наши дни некоторые ученые, но не включая его в предпосылки философии жизни. Вопрос: как нужно понимать антропный принцип? Ответ: именно потому, что мы существуем, мы видим вселенную такой, какая она есть. Эта, с первого взгляда, банальность, тем не менее, дает преимущество для того, чтобы вновь вписать наблюдателя в то, что он наблюдает, чтобы сделать когнитивные связи и структуру объекта познаваемыми, а его описание возможным. Такое рассмотрение вовсе не следует модели идеологической критики, развенчивающей описание с позиции наблюдения, но определяет место отношений, неизбежно возникающих между наблюдателем, условиями описания и описанием. Эти элементы взаимно определяются, и, таким образом, нет возможности их точного разграничения.

Связывая понимание с сознанием социального бытия и знанием, полученным посредством социализирующей практической деятельности, Зиммель вносит решительный вклад в основы понимающей социологии. Конечно, применение категорий, называемых Зиммелем психологическими, вызывает обвинения в психологизме, но, по-видимому, их все-таки нужно использовать и интегрировать конвенциональную психологию в систему общего знания, одним из компонентов которого она является. Конвенциональная психология вновь отсылает нас к тому, что в наши дни принято рассматривать в терминах второго плана, среды, благодаря которым устанавливается связь с реальностью. В самом деле, поскольку любая социальная деятельность происходит в среде, то и понимание существует для того, чтобы осознавать действительность и механизмы ее функционирования. Эту среду и знания второго плана нельзя распределить по психологическим категориям, даже несмотря на то, что большую роль там играют процессы приписывания. Второй план основан на знании соци-

альной деятельности, социализированного бытия и знания, которое Зиммель отличает от познания, поскольку первое в большей степени нацелено на практическую деятельность, нежели научная познавательная деятельность. Общее знание о социализированном бытии, связанное с другими формами социализации, составляет фундамент, на котором поконится познание общества. Таком образом, опираясь на данную концепцию социализации можно, на наш взгляд, разрабатывать определение роли интуиции в процессе понимания, а также применять метод анализа Зиммеля в целях исследования генезиса социализации как на уровне повседневности, так и на историческом, научном, уровне. Кроме того, можно определять и уточнять отношения между общественными чувствами, такими, как предрассудки, и общественными знаниями в виде набора типичных знаний и их пониманием [9].

Литература

1. *Simmel G. Sociologie.* Frankfurt a. M., 1992.
2. *Simmel G. Digression sur le probleme: comment la societe est-elle possible?* // *Simmel G. La sociologie et l'experience du monde moderne / Watier P. (Ed.).* Paris, 1986.
3. *Maffesoli M. Au creux des apparences.* Paris, 1992.
4. *Luhmann N. Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie* // *Soziologische Aufklärung 2.* Opladen, 1975.
5. *Rammstedt O., Watier P. (Ed.) G. Simmel et les sciences humaines.* Paris, 1992.
6. *Simmel G. Vom Wesen des historischen Verstehens.* Stuttgart, 1958.
7. *Simmel G. Les problemes de la philosophie de l'histoie.* Paris, 1985.
8. *Simmel G. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch.* Leipzig, 1919.
9. *Watier P. Le savoir commun, la typification et la sociologie* // *Sociologia Internationalis.* Berlin. 1995. No. 2. P. 147–164.

СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В РАЗВЯЗАННОМ МИРЕ: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТИКА¹

На Западе нашего мира вряд ли найдется более распространенное стремление, чем желание вести собственную жизнь. Тот, кто сегодня объедет Францию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Англию, Германию, Венгрию, США и Канаду и спросит, что на самом деле движет людьми, чего они добиваются, за что борются, когда, по их мнению, им не до шуток, тот столкнется с деньгами, работой, властью, любовью, Богом и т.д., но все больше и больше — с привлекательностью собственной жизни. Деньги подразумевают собственные деньги, помещение подразумевает собственное помещение, именно в смысле элементарных условий для собственной жизни. Даже любовь, брак, родительство, желанны на фоне неясного будущего больше, чем когда бы то ни было, но при условии соединения и поддержания собственных, центробежных жизненных путей. С небольшим преувеличением можно утверждать, что повседневные баталии по поводу собственной жизни сделались коллективным опытом западного мира, в котором выражается последнее единство всех его представителей.

Что все-таки влечет людей к тому, чтобы хватать звезды «собственной жизни» помимо всего прочего в мире? Для многих ответ очевиден: причиной являются сами люди. Однако подобные поспешные объяснения вызывают новые вопросы: как тогда объяснить масштабный одновременный порыв людей во многих странах взять свою жизнь в свои руки? Есть ли это своего рода эпидемия эгоизма, одержимость собственным Я, с которой можно справиться с помощью этических капель, горячих припарок «Мы» и ежедневных внушений о всеобщем благе?

Или, может быть, одиночки являются, носителями, реализаторами более глубоких изменений? Является ли это предзнаменованием

¹ Статья выдающегося немецкого социолога Ульриха Бека (1944–2015) была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2003 г. (Вып. 4, с. 211–221). В основе статьи лежит доклад, сделанный У.Беком 26 сентября 2002 года в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. Перевод текста выполнил Н. А. Головин. — Примечание отв. ред.

прорыва, борьбы за новые отношения человека и общества, которые еще только предстоит найти? Эта точку зрения хотелось бы прокомментировать в настоящем докладе. Теорию общества собственной жизни можно набросать в 15 тезисах.

(1)

Необходимость и возможность вести собственную жизнь возникает в *высокодифференциированном* обществе. В той мере, в которой общество распадается на отдельные функциональные части, не отражающиеся друг в друге и взаимно не заменимые, люди будут связаны с ним лишь частичными аспектами: в качестве налогоплательщика, водителя автомобиля, студентки, потребителя, избирателя, пациентки, производителя, отца, матери, сестры, пешехода и т. д., то есть в процессе постоянной смены разнородных, частично несовместимых логик поведения они будут вынуждены встать на собственные ноги, взять в свои руки собственную жизнь, грозящую рассыпаться на части. Современное общество интегрирует человека в свои функциональные системы не как целостную личность, наоборот, оно в гораздо большей степени вынуждено строиться так, чтобы индивиды были как раз не *интегрированы*, а принимали бы в нем участие лишь частично и эпизодически в качестве перманентных странников среди функциональных миров.

(2)

Собственная жизнь вовсе не является собственной жизнью, наоборот, возникает некая стандартизированная жизнь, в которой должны быть скоординированы и сплавлены друг с другом принципы вклада и справедливости, интересы индивидуума и рационализированного общества. Существует национальное государство, которое создает и усиливает индивидуализацию. Это есть то, что я называю парадоксом «институционализированного индивидуализма».

Центральные институты, такие как основные права (гражданские, политические и социальные) адресованы индивидууму, а не коллективам или группам. Система образования, динамика рынка рабочей силы, модель карьеры, в общем и целом, даже рынки являются индивидуализирующими структурами и институтами, то есть «двигателями» индивидуализации. Гибкая занятость означает инди-

видуализацию рисков и жизненных связей. Институт тайного голосования освобождает индивидуума от группового давления и т.д. Таким образом, индивидуализация не является делом «надстройки», идеологии, от которой следует отличать «базис», объективное положение как «собственно» реальность, которую можно сохранить. Индивидуализация является, так сказать, парадоксом «социальной структуры» Второго Модерна. Это означает, что условия жизни индивидуумов принадлежат им самим; и это в таком мире, который почти полностью независим от индивидуумов. Таким образом «собственная жизнь» становится *биографическим решением систематических противоречий*.

Однако это имеет далеко идущие последствия: век собственной жизни предполагает и открывает ролевую анти-охваченность социального. Разумеется, при этом, речь идет не только об обычной «ролевой дистанции», которая присуща самой социальной роли, но и о том, что ролевая природа социального действия отменяется в целом.

Сама по себе индивидуализация, понимаемая как массовый индивидуализм, к которому якобы есть склонность, представляет собой бессмыслицу. Индивидуализация подчиняется нормативному требованию со-индивидуализации, что означает индивидуализацию вместе или наряду друг с другом. Однако индивидуализация одного (одних) часто оказывается границей индивидуализации другого (других). Так вместе с растущей индивидуализацией создаются ее негативные границы. Иначе говоря, индивидуализация существует посредством и через общественное положение вещей, либо она есть ничто. Представление об *автаркичном «Я»* является чистой идеологией.

(3)

Тем самым собственная жизнь полностью зависит от институтов. Для того, чтобы организовывать собственную жизнь, на место обязывающих традиций заступают институциональные предписания. Качественное различие между традиционной и современной биографией состоит не в том, как считают многие, что в прежних сословных и сельских обществах различные виды контроля и предписаний сводили к минимуму индивидуальное распоряжение его или ее жизнью, в то время как сегодня едва ли еще есть такие ограничения. В бю-

рополитической и институциональной гуще Модерна жизнь гораздо сильнее оплетена сетью правил и предписаний. Решающее отличие заключается в том, что современные предписания как раз вынуждают к самоорганизации собственной жизни и самотематизации биографии. Например, раньше в Европе существовали весьма четкие правила заключения брака, в результате чего в определенных местах и в определенное время почти половина населения брачного возраста оставалась безбрачной. Сегодня наоборот, многочисленные предписания в системе образования, на рынке труда, в государстве всеобщего благоденствия под угрозой экономических санкций требуют от человека вести собственную жизнь.

(4)

Индивидуализация выдвигает в центр потенциал самооформления, индивидуального поведения. Сводя к единой формуле, можно утверждать: формирование *определенной* биографии становится задачей индивидуума, его проектом по меньшей мере де-юре, в меньшей степени де-факто. Иначе говоря, собственная жизнь означает, что стандартные биографии становятся биографиями по выбору, «биографиями, которые мастерят», биографиями риска. За фасадами гарантий и благосостояния постоянно подстерегает возможность соскользнуть в изоляцию и бедность. Рефлексы замкнутости и страх касаются даже внешне состоятельного среднего слоя общества. Поэтому следует четко различать *индивидуализацию*, где институциональные ресурсы, такие как права человека, воспитание, государство всеобщего благоденствия, помогают справиться с противоречиями современных биографий, и *«атомизацию»*, где таких ресурсов нет.

Неолиберальная идеология рынка усиливает атомизацию со всеми ее политическими последствиями. Она основывается на картине человека как автарической личности и ошибочно полагает, что индивидуумы овладевают собственной жизнью в одиночку, что они даже могут приобрести и возобновить свои способности из самих себя. Об этом свидетельствуют речи о «себе как предпринимателе». Однако эта идеология находится в явном противоречии с базовым повседневным и социологическим опытом как в мире труда, так и в совместной жизни в семье и в сообществе, а именно: одиночка не является «монахом» (Лейбниц), а как раз наоборот, все больше и больше зависим от

других людей и даже от всемирных институтов. Идея «самостоятельного» рыночного человека является чистой идеологией и в конечном итоге приводит к утрате смысла взаимных обязательств. В этом отношении социологическое понимание индивидуализации теснейшим образом связано с вопросом о том, как можно демистифицировать ошибочное представление об автаркичном индивидууме. Не свобода выбора, а понимание фундаментальной неполноты самой личности является ядром индивидуальной и политической свободы во Втором Модерне.

(5)

Несмотря на, либо как раз, из-за этой институциональной зависимости, предписаний и ненадежности, которую часто невозможно оценить, собственная жизнь осуждена на активность. В крахе структуры своих запросов человек все еще остается в активной жизни. Оборотная сторона обязанности быть активным лежит в индивидуальном модусе отнесения: фиаско становится личным фиаско и больше не снимается в «культуре бедности» как опыте класса. В то время как раньше болезнь, мания, безработица и другие отклонения от нормы считались ударами судьбы, сегодня акцент делается на личную вину и ответственность. Поэтому жить собственной жизнью означает взвалить на себя ответственность за личное несчастье и непредвиденные события, в том числе и там, где миллиарды людей во всем мире испытывают ту же «участь». Показательно, что это есть не личное воззрение, а культурно-обязывающий модус отнесения. Он соответствует картине общества, в котором индивидуумы не пассивно сталкиваются с обстоятельствами, а активно формируют собственную жизнь в пределах различных границ.

Сведение к единой формуле «собственная жизнь — собственные фиаско» следствием своим имеет то, что явления общественного кризиса (например, структурная безработица) можно превратить в риск одиночки. Социальные проблемы можно свести прямо к психическим особенностям: комплексу вины, страху, конфликтам и неврозам. Как ни парадоксально это может показаться, дело идет к новой непосредственности отношений индивидуума и общества, к непосредственности кризиса и конфликта, так что социальные кризисы проявляются как индивидуальные и больше не воспринимаются в их

социальном измерении или воспринимаются так лишь косвенно. Это относится и к неприглядной стороне еще интегрированных обществ: к новому социальному положению низших классов и социально исключенных. Мировые кризисы и риски (обвалы финансовых рынков, безработица) выступают в качестве явлений не как таковые, а подвергаются коллективной индивидуализации. Можно с уверенностью сказать, что в этом заложен один из источников современных и будущих вспышек насилия по собственной воле, направленных на меняющихся жертв («иностранные», инвалиды, гомосексуалисты, евреи).

(6)

Институционализированный индивидуализм (который, впрочем, может весьма по-разному проявляться в разных странах всеобщего благоденствия на Западе, (например, в Швеции, США, Германии) ни в коем случае не означает, что все становятся индивидуальнее, все более ярким «Я». Противоположное возможно в не меньшей степени: добровольный уход личности в бытие не-личностью, сознательное высвобождение от необходимости вести собственную, оригинальную жизнь. Фридрих Ницше рано подметил разные сцены и костюмы индивидуализации «собственной жизни»: «Настоящий ли ты? Или только актер? Заместитель или само замещенное? — В конце концов ты, может быть, просто поддельный актер...» [1: 242].

Теория собственной жизни не дает никакого ответа на этот вопрос об аутентичности, ни культурно-пессимистического, ни культурно-оптимистического.

(7)

Люди борются за собственную жизнь в мире, который все сильнее и явственнее ускользает от них, который необратимо пронизан глобальными связями. Даже самое естественное из всех действий — вдыхать чистый воздух, в конечном счете подразумевает переворот в мировом промышленном порядке. Это вызывает вопрос: что такое глобализация биографии? В век глобализации собственная жизнь больше не является оседлой и связанной с определенным местом. Это жизнь в разъездах, как в буквальном смысле слова, так и в переносном, это жизнь, кочевников, жизнь, проводимая в автомобилях, самолетах и поездах, у телефона или в Интернете, и при содействии

средств массовой информации это транснациональная жизнь, текущая поверх барьеров. Мультилокальная транснациональность собственной жизни является дальнейшей причиной выхолащивания национального суверенитета и выхода из употребления социологии, пребывающей в методологическом национализме и мыслящей общество территориально.

Подчиненная, по-видимому, априорная связь места и общности, общества постепенно исчезает. Теперь либо по доброй воле, либо по принуждению, либо и то, и другое, жизнь людей включает несколько отдельных миров. Глобализация биографии означает полигамию места; люди любят сразу несколько мест, несколько культур.

(8)

Итак, там, где пересекаются индивидуализация и глобализация, это означает: понимать мир как антагонизм и жить! Необходимость выбирать и посредничать между несовместимыми культурами, очевидностями, стилями жизни требует публичного обмена, и коммуникации по поводу имеющихся противоречий выбираемых форм жизни, их последствий для другого человека, для всех. Каждый ежедневно оказывается в поливалентной ситуации жизни и деятельности, в которой он вынужден странствовать, «выполнять переводы» различных горизонтов значений. Но это означает, что наступает конец ролевой модели социальной жизни, согласно которой собственная жизнь может быть прожита в качестве *копии* по предписаниям *традиционных синек*.² Индивидуализация заменяет существование под копирку *диалоговым* существованием, диалоговым воображением, в котором противоречия мира нужно вытерпеть, преодолеть в собственной жизни. Теперь каждый должен на пути к самому себе, срифмовать преимущества и недостатки, которые должны быть и которые есть у него.

Индивидуализация, как и глобализация, обостряет вопрос о качестве социального. Социальное разнообразнее, чем его проектирует

² Синькой называлась распространенный в прошлом веке вид копировальной бумаги (копирки) с нанесенным на одну из сторон синим красящим слоем. Для получения копии документа при письме или рисовании карандашом, шариковой ручкой, печати на пишущей машинке копиркой прокладывали листы бумаги. — Примечание отв. ред.

и устанавливает национальное государство. Миф об однородности, империализм интеграции и ассимиляции заслонили картину разнообразие и творчества множества людей, и одновременно, отделив чужого, оборвали живую полемику с ним и даже запретили ее. Солидарность всегда разучивалась и осуществлялась лишь как солидарность с «национально однородным». В периоды исключения чужих как более или менее негласной предпосылки, национальная солидарность практиковалась и практикуется многообразными способами.

Следовательно, обратной стороной глобализации является де-традиционализация. Собственная жизнь также является нетрадиционной жизнью. Это не означает, что традиция больше не играет никакой роли, часто имеет место обратное. Однако традиции должны быть избраны, а часто и изобретены, и они приобретают значение лишь вследствие индивидуальных решений и опыта. Тот, кто живет в этом постнациональном, глобальном обществе, постоянно снимает старые классификации и формулирует новые. Возникающие отсюда гибридные идентичности и «социальные круги» (Зиммель) образуют как раз те «идентичности в точках пересечения». Таким образом, идентичность и интеграция возникают посредством пересечения и комбинации, а значит и посредством конфликта другими идентичностями.

(9)

Если рассматривать глобализацию, де-традиционизацию и индивидуализацию вместе, то станет ясно, что собственная жизнь также является экспериментальной жизнью. Частная (совместная) жизнь превращается, по доброй воле или нет, в экспериментальную ситуацию с открытым исходом. Что, собственно говоря, значит, если отношения с партнером, стало быть, разделение труда, сексуальность, женственность и мужественность не могут больше основываться на установлениях природы или традиции, а должны быть вновь приобретены, определены на основе взаимности и равенства, сделаны понятными друг другу? Что это значит, если детей нельзя больше воспринимать и обращаться с ними как с собственностью родителей, даром Божиим или национальной проблемой, объектом воспитания и социализации, а нужно обращаться с ними как с индивидуумами на пути к собственной жизни?

Что это значит, когда повседневная совместная жизнь, основанная на идеалах партнерства и «эмоциональной демократии», сталкивается с такой динамикой рынка труда, когда, прежде всего женщины попадают в вихрь сомнительной занятости, гибкого графика, диктуемого производственной необходимостью, и радикального неравенства, вытекающего отсюда? Что это значит, когда с одной стороны открыто присягают *ценностям* семьи, материнства и отцовства, а с другой требуют и объявляют священным постоянное целостное распоряжение над всеми рынка труда, имеющего все меньше защитных зон и гарантий? Что значит для пары в своей повседневности постоянно наводить мосты и связи из-за различий и противоречий, вытекающих из национального происхождения и этнической принадлежности? Является ли общество без прочных традиций теологии без Бога? Итак, могут ли вообще существовать отношения между одним и другим «Я» без осознанной, желаемой трансценденции «Я»? На чем они основаны, если они основаны *лишь* на самих себе?

(10)

Собственная жизнь подразумевает *рефлексивную* жизнь. Социальная восприимчивость и рефлексия, переработка противоречивой информации, диалог, переговоры, компромисс, являются почти синонимами собственной жизни. Своего рода «активный менеджмент» и «мониторинг» (пожалуй, это подходящие термины) необходимы для того, чтобы в контексте конфигурированных требований и в сфере глобальной неопределенности не то, чтобы управлять собственной жизнью, а хотя бы сбалансировать ее. Следовательно, век собственной жизни больше не может быть определен и интегрирован посредством заданных норм, ценностей, иерархий.

Он должен быть определен скорее через *свободу*, то есть через не-интеграцию. Следует задаться вопросом о правовых, политических и экономических *основоположениях* свободы.

Однако это больше не связано с каким-либо нормативным образом, сущностным определением человека, мужчины, женщины, христианина, еврея, чернокожего, мусульманина, немца, китайца. Тем самым культура становится, как отмечает Ален Турен, экспериментом с целью выяснить, «как мы можем жить вместе в качестве одинаковых и все-таки разных» [2].

Таким образом, с имманентной точки зрения, веку собственной жизни ни в коем случае не грозят призраки, вырисовывающиеся на фоне общественных дискуссий: разрушение ценностей и мания собственного «Я». Ему скорее грозит, во-первых, то, что не удается перевести творческие импульсы экспериментальной нормативности собственных жизней в публично-политические темы, приоритеты и формы; и, во-вторых, то, что поиск основ собственной жизни теряется и пропадает в бесконечности частной жизни (психологического, эзотерического).

(11)

В этом смысле собственная жизнь является формой жизни позднего Модерна, пользующейся большим уважением. Так было не всегда. В традиционных, национально ограниченных обществах индивидуум остается родовым понятием: мельчайшей единицей воображаемого целого. Только де-традиционизация, глобальная открытость и новое многообразие функциональных логик обеспечивают одиночке особое внимания и значение в обществе. Положительная оценка индивидуума является тем самым поистине современным феноменом, с которым до сих ведут жестокую борьбу (на что указывают речи об «обществе острых локтей»).

(12)

Можно так сформулировать историю социологии, чтобы показать, как Дюркгейм, Вебер, Зиммель, Маркс, Фуко, Элиас, Гидденс, Бауман и т. д. использовали и интерпретировали идею индивидуализации. Таким образом, речь ни в коем случае не идет о феномене, характерном для второй половины 20 столетия. Ранние исторические фазы индивидуализации можно проследить в придворном обществе Средневековья, в эпохе Возрождения, во внутримирском аскетизме протестантизма, в освобождении крестьян от феодальной зависимости, а также в исчезновении, ослаблении межпоколенческих связей в XIX и начале XX века. Не только идеяная история индивидуализма, но и реальная история индивидуализации показывает, что европейский Модерн освободил индивидуумов от исторически заданных и предопределенных ролей. Традиционные опоры (например, религиозные общности, культура классов) оказываются подорванными,

но одновременно создаются новые формы социальных связей (нация, гражданское общество, гражданские права).

В чем тогда состоит историческая специфика тяги к индивидуализации, возникшей с 1960-х годов и дебатов об индивидуализации в социальных науках, идущих с начала 1980-х? Сводя к единой формуле, можно утверждать: индивидуализация во Втором Модерне подразумевает «disembedding without reembedding» — «ис-ключение без в-ключения», освобождение без последующего заключения. Впервые в истории индивид становится единицей социального воспроизводства. Люди будут выпущены из самоочевидностей национального промышленного капитализма в турбулентность мирового общества риска.

(13)

Все это имеет коренные политические последствия. С одной стороны, ставится под вопрос общее доверие к тому, что партии способны мобилизовать граждан и своих членов в связи с определенными вопросами, стоящими на политической повестке дня. С другой стороны, количество коллективных действующих лиц множится и диверсифицируется. Сегодня не следует исходить ни из того, что граждане являются членами партии, а члены партии солдатами партии, ни из того, что партии и профсоюзы в принципе способны создать консенсус, так как большие организации также стали по содержанию более плюралистическими. В шествии индивидуализации и глобализации сами коллективные акторы будут «лишены ядра» и вынуждены прибегать к программным революциям за старым фасадом (как, например Новые Лейбористы в Великобритании). Наоборот, в политической игре за власть невозможно постоянно задействовать все большее число участников, что увеличило бы количество конфликтов, а не потенциал консенсуса.

Здесь также обнаруживается подлинная политическая дилемма Второго Модерна. С одной стороны, именно сила политического воображения и политическое действие ощущают вызовы доселе невиданного масштаба. Надо думать лишь об основополагающих реформах, необходимых для создания нового фундамента социального государства перед лицом ненадежных форм занятости и «бедности труда»; либо о том, что необходимо, для такой реорганизации ключе-

вых институтов парламентской демократии, ориентированных национально, чтобы они стали более открытыми для транснациональных идентичностей, жизненных ситуаций и глобальных экономических связей; не говоря уже об экологической реформе промышленности, действующей во всем мире автономно — вопросе, которым раньше и вовсе пренебрегали. С другой стороны, процессы индивидуализации подрывают социально-структурные предпосылки политического консенсуса, до сих пор обеспечивавшие коллективное политическое действие. Причиной является парадокс *того, что* на микросоциальном, микрополитическом уровне формы активности расширяются, и общество меняется снизу суб-политическим образом по все большему количеству вопросов и сфер деятельности. Больше не существует замкнутого пространства национальной политики. Общество и общественность состоят из противоречивых пространств, которые одновременно является как индивидуализированными, транснационально открытыми и находящимися в оппозиции друг к другу. Различные культурные группы живут в этих пространствах и пробуют там собственный коктейль.

(14)

Итак, какие политические следствия вытекают из века собственной жизни? Снимает ли он социально-структурные предпосылки общеобязательных решений? Или возникает иная форма политического, основанная на правах человека и нравственном, альтруистическом индивидуализме, для которой пока нет адекватных категорий для описания и понимания? Обосновывает ли идея прав человека, понимаемая как базис и идентичность собственной жизни, идею космополитического социума, защищающего основы собственной жизни в основах чужой жизни?

Итак, требует ли век собственной жизни трансформации демократической идеи, заступает ли на место ее представительной формы индивидуалистический республиканизм, познающий культурную и политическую диверсификацию собственной жизни, признающий ее и делающий ее руководящим принципом политического? Возможно ли, чтобы этот космополитический индивидуализм эффективно выступал бы против двух доминирующих политических стремлений, которые ставят под вопрос ценностные и экзистенциальные основы

собственной жизни: с одной стороны, дикого капитализма, а с другой — контр-индивидуалистического коммунитаризма, стремящегося назад к авторитарным коллективным ценностям?

Иными словами, возникают вопросы: может ли и каким образом может социально-креативный и политический индивидуализм найти в *самом себе* опору и основу? Что в процессе индивидуализации поддерживает направленность сознания на то, что основы «собственной жизни» можно завоевать и защитить лишь в публичном политическом взаимодействии? Как будет возможно, что мужчины и женщины, черные и белые, израильтяне и арабы, христиане и мусульмане все-таки разделят неиндивидуалистическое и неэссенциалистское определение *conditio humana* — человеческих условий? Поэтому здесь так важен исторический пример религии. Религия больше всего про-клинала индивидуализм, но тем самым как раз определила его смысл, интегрировала в образ человека, позволяющий признавать другого, чужого в качестве «собратьев и сестер» (поверх этнических и национальных границ), и, таким образом, создать возможность общего политического действия.

(15)

Где заложен источник имманентной трансцендентности и самоограничения индивидуализации в пострелигиозном и постнациональном мире, наверное, в осовременивании конечной достоверности собственной жизни: неизбежности смерти? В опыте любви, снимающей пределы собственной жизни и допускающей соблазнительный рассказ о *разделенной* жизни (которая затем терпит крах своих надежд)? В опыте болезни, упадка сил, депрессии, в которых выступает сомнительность «социальных сетей», так прочных по видимости? В опыте изоляции, опустошенности и одиночества, в котором желание другого становится жгучим в своей невыполнимости? Или все это, видимо, лишь отговорки и увертки, а в модной близости индивидуализации и эзотеризма все-таки выражается лишь постоянство суммы религиозных энергий, неотъемлемости трансцендентных рамок знаний? Является ли век индивидуализации веком самодельных религий? Или на место еретиков заступают атеисты, нигилисты и равнодушные?

Литература

1. Ницше Ф. Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов. М., 2019.
2. Турен А. Способны ли мы жить вместе? // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999.

Д. В. Иванов

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ¹

Концепция глобализации является в современной социологии наиболее популярным инструментом анализа социальных процессов. Понятием «глобализация» в социологии обозначается широкий спектр событий и тенденций: развитие мировых идеологий, интенсивная борьба за установление мирового порядка; скачкообразный рост числа и влияния международных организаций, ослабление суверенитета национальных государств; появление и развитие транснациональных корпораций, рост международной торговли; интенсивные массовые миграции и формирование мультикультурных сообществ; создание планетарных СМИ и экспансия западной культуры во все регионы мира и т. д. Анализ этих релевантных теориям глобализации тенденций показывает, что они приобрели характер синхронных общественных изменений в начале — середине XX в., и произошло это превращение таким образом, что его можно характеризовать как социокультурный сдвиг.

Первая по значимости релевантная теориям глобализации тенденция — это, безусловно, интенсификация товарных и финансовых потоков, идущих через границы национальных государств. Статистические данные указывают на то, что качественный рост, уникальная по своим масштабам и влиянию на экономику «революция» международной торговли произошла в XX в. (рис. 1). Динамика объема экспорта из развитых стран на протяжении XIX–XX вв. и в абсолютных, и в относительных величинах (рис. 2) очевидно носит характер сдвига: относительно медленный рост, затем спад и сразу вслед за спадом беспрецедентный рост. Значительная доля этого роста обеспечена развитием транснациональных корпораций (ТНК), поскольку по разным оценкам от 33 % [1: 96] до 40 % [2: 377] международной торговли — это внутрифирменная торговля, то есть передача необходимых для производственных процессов комплектующих из одного подразделения ТНК в другое.

¹ Статья профессора Дмитрия Владиславовича Иванова, ведущего исследователя социальных изменений — глобализации и виртуализации общества, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2003 г. (Вып. 4, с. 174–198). — Примечание отв. ред.



Рис. 1. «Революция» международной торговли и транснациональная экономика

* Среднее невзвешенное значение по шести странам: Великобритании, Германии (до 1875 г. суммарные оценки по государствам и землям, вошедшим в 1871 г. в Германскую империю; с 1950 г. данные по ФРГ), Франции, Италии (до 1875 г. суммарные оценки по территориям, вошедшим в 1860 г. в королевство Италия), США, Японии.

Составлено по: Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996; The Economist. 1999, Nov. 27 — Dec. 3; 2000, Apr. 15–21.

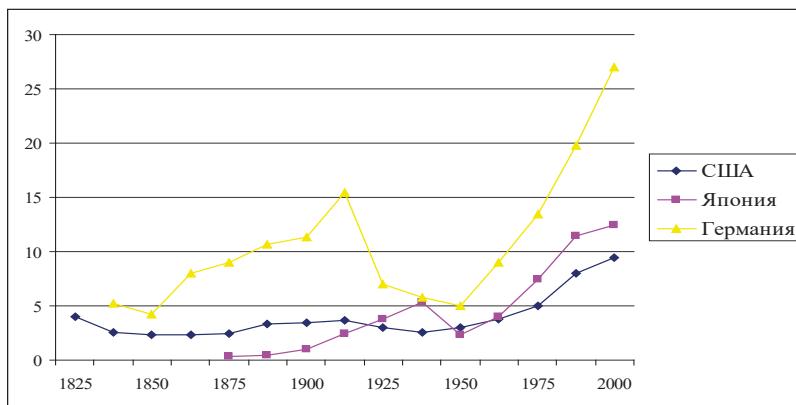


Рис. 2. Динамика отношения объема экспорта к объему ВВП, % от ВВП (постоянные цены)

Составлено по: Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996; Bairoch P. The constituent economic principles of globalization in historical perspective: myths and realities // International Sociology. 2000. No. 2.

Возникновение интенсивной и устойчивой тенденции формирования транснациональной экономики — углубления международного разделения труда, бурного роста числа и размеров ТНК, возникновения мировых рынков сырья, капитала, рабочей силы и т. д., то есть всего того, что теперь принято именовать экономической глобализацией, приходится на 1950-е гг. «Революция» международной торговли произошла после болезненного перелома, вызванного двумя мировыми войнами и межвоенной депрессией, когда в экономиках развитых стран преобладали автаркические тенденции. Таким образом, статистические и исторические данные указывают на резкий контраст, наметившийся в середине XX в. между старым и новым типами экономики. Это — контраст между «замкнутой» и «открытой» экономиками.

Вторая релевантная теориям глобализации тенденция — это формирование сферы транснациональной политики. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что в начале — середине XX в. параллельно «революции» международной торговли и возрастанию роли ТНК происходила «революция» международной бюрократии, выразившаяся в беспрецедентном росте числа как межправительственных, так и неправительственных международных организаций (рис. 3). Динамика количества международных организаций воспроизводит общую модель социокультурного сдвига: вялый рост, затем — падение темпов роста и даже абсолютное уменьшение и после спада — резкий подъем.

Помимо роста числа международных организаций, характер сдвига носила и переориентация их на новые цели деятельности. В отличие от ориентации в XIX — начала XX в. на решение государственных проблем (право наций на самоопределение, защита национально-государственного суверенитета, предотвращение межгосударственных конфликтов и т. п.), преимущественная ориентация с середины XX в. — это решение гуманитарных проблем (права человека, защита этнокультурных меньшинств, предотвращение геноцида, глобальных катастроф и т. п.). Решение гуманитарных проблем силами международных организаций предполагает отчуждение части национально-государственного суверенитета в пользу созданных межправительственными соглашениями организаций, действующих на сувериранциональном уровне, как например, ООН, ЮНЕСКО, Мировой



Рис. 3. «Революция» международной бюрократии и транснациональная политика

* Число неправительственных международных организаций дано в десятках.
Составлено по: Waters M. Globalizaõ. Lisboa, 1999.

банк и т. д., и неправительственных транснациональных организаций, действующих на субнациональном уровне, но на территории многих государств, как, например, Greenpeace, Amnesty International, Human Rights Watch, ныне печально знаменитая Аль-Каида и т. д.

Как и в случае экономики, «рождение» тенденции оформления транснациональной политики, то есть политики, не связанной границами и интересами правительств национальных государств, происходит вслед за кризисом — всплеском ксенофобии, крушением установленной версальскими (1919) и вавингтонскими соглашениями (1921–1922) системы международных отношений, второй мировой войной (1939–1945) и «холодной войной» — противоборством идеологически консолидированных военно-политических блоков в конце 1940-х — начале 1960-х гг.

Таким образом, в середине XX в. обозначился контраст между старым и новым типами политики, характеризуемыми, соответственно, «закрытостью», основанной на принципе национально-государственного суверенитета, и «открытостью», основанной на принципе супра- и субнациональной взаимозависимости.

Еще одна релевантная теориям глобализации тенденция — коммуникационная «революция». С середины 1920-х гг. начинается систематическое радиовещание на коротких волнах, с начала 1960-х гг. развиваются телевизионное вещание через ретрансляционные спутники, а с начала 1970-х гг. — компьютерные сети. Массовые коммуникации перестают быть пространственно ограниченными. Эта тенденция возникновения планетарных СМИ коррелирует с возникновением тенденции формирования транснациональной массовой культуры. Специфику этого типа культуры хорошо зафиксировал Ж.-Ф. Лиотар, назвавший эклектизм отправным пунктом современной культуры [3: 76]. Транснациональную массовую культуру характеризуют распространение стандартных символов, эстетических и поведенческих образцов глобальными сетями СМИ (например, CNN и MTV) и ТНК (например, Coca-Cola и General Motors) и включение в повседневную жизнь элементов инонациональных, «экзотических» локальных культур (примерами могут служить, проникновение в быт миллионов жителей западных мегаполисов календарной символики буддизма, моды на латиноамериканские танцы, а также китайской, японской, индийской гастрономии).

«Рождение» тенденции к консолидации транснациональной культуры произошло практически одновременно со сдвигами трендов в экономике и политике. Эта консолидация набрала силу после характерной для первой половины XX в. эскалации идеологической конфронтации и национализма. Именно столкновение идеологий, отторгающих ценности, символы и поведенческие образцы иных культур стимулировало «революцию» планетарных СМИ. Столкновение идеологий вовлекло изолированные культуры в процесс конфронтационного, но интенсивного взаимодействия и тем самым расчистило путь для масштабной экспансии ценностей, символов и поведенческих образцов возобладавшей культуры, какой к концу «холодной войны» явно оказалась культура Северной Америки и Западной Европы. И уже как следствие этой экспансии, возникли культурные гибриды — парадоксальные соединения ценностей, символов и поведенческих образцов западной массовой культуры и этнических и региональных традиционных культур. Эти культурные гибриды распространяются за пределы ареала их возникновения сообществами мигрантов.

В результате экспансии транснациональной массовой культуры и распространения культурных гибридов возникает феномен мультикультурализма — сосуществования на территории национального государства различных культур. В отличие от характерного для XIX — начала XX в. монокультурализма, когда культура этнического большинства доминировала, и этнокультурные меньшинства ассимилировались или абсорбировались в качестве субкультурного сообщества, мультикультурализм предполагает не поглощение, не иерархию, а плюрализм культурных традиций.

Таким образом, очевиден контраст между старым (до середины XX в.) и новым (со второй половины XX в.) типами культуры, характеризуемыми, соответственно, «закрытостью», основанной на принципе монокультурализма, и «открытостью», основанной на принципе мультикультурализма.

В совокупности рассмотренные тенденции, проявляющиеся в различных сферах, предстают как общественные изменения. Тенденции изоморфны и синхронны и выглядят как контрастный переход от старой — пространственно / территориально «закрытой» социальной организации к новой — «открытой» социальной организации. Эти изменения обусловлены серией экстраординарных событий, произошедших в начале — середине XX в. Две мировые войны, последовавшие за ними революции и гражданские войны, тяжелейший в истории экономический кризис (1929–1933) нарушили тенденцию медленной интернационализации в экономической, политической, культурной сферах. Но эти кризисы подорвали и привычный уклад жизни, основанный на ценностях экономической самодостаточности, политического суверенитета, культурной однородности национальных государств. Серия экстраординарных и даже уникальных событий вызвала такой сдвиг в деятельности индивидов, в организации ими общественной жизни, после которого ни национализм, ни идеологическая конфронтация, ни даже ужасы войн, организованной ксенофобии и геноцида не смогли «похоронить» транснациональный капитализм, транснациональную политику «общечеловеческих ценностей», транснациональную массовую культуру. Во второй половине XX в. они стали доминантами трансформации общества.

Социокультурный сдвиг проявился и в концептуализации общественных изменений. Возникновение дискурса, то есть практики

концептуализации различий между старой социальной организацией, замкнутой в пределах национального государства, и новой, распространяющейся на группы стран или даже весь мир, можно считать еще одной тенденцией сдвига начала — середины XX в.

Пожалуй, самой первой формой дискурса о контрасте между этими двумя типами общества стала концепция мировой капиталистической системы в марксизме. Начало такого рода концептуализации положили в 1915–1916 гг. К. Каутский и В. Ульянов (Ленин), сформулировав свои теории империализма [4; 5]. Среди современных социологических версий данной концепции наиболее авторитетной является развивающаяся И. Валлерстайном и его последователями с середины 1970-х гг. теория мир-системы или мир-экономики. [6; 7; 8; 9] В середине 1960-х — 1970-х гг. на стыке политологической теории международных отношений и социологической системной теории активно разрабатывалась концепция мировой системы / мирового общества. Наиболее показательны в этом отношении работы В. Мура [10], Дж. Неттла и Р. Робертсона [11] и Бартона [12]. Первоначально новый дискурс общественных изменений строился вокруг понятий «мировое», «международное», «интернационализация». Термин «глобальное» включается в этот дискурс лишь в середине 1960-х гг., когда В. Мур ввел в оборот термин «глобальная социология» [10], а М. Маклюэн — термин «глобальная деревня» [13].

Собственно дискурс глобализации в социологии возникает в середине 1980-х гг., когда это понятие стал разрабатывать и популяризировать Р. Робертсон. [14; 15] С конца 1980-х гг. большинство поисков в области теории изменений сосредоточено на новом генеральном направлении — разработке теорий глобализации. В 1990 г. выходит программный сборник статей «Глобальная культура» [16], в котором опубликованы работы ведущих теоретиков И. Валлерстайна, М. Арчер, Р. Робертсона, М. Фезерстоуна, А. Аппадураи, Б. Тернера и др. С этого времени одна за другой появляются фундаментальные монографии о глобализации, написанные Л. Склэром [17], Р. Робертсоном [18], О. Ианни [19], Уотерсом [20], А. Аппадураи [21], У. Беком [22] и т. д. Суть произошедшего в социологии концептуального поворота отчетливо сформулирована во введении М. Фезерстоуна и С. Лаша к сборнику статей «Глобальные современности» (Global Modernities): дискурс глобализации возник как «преемник дебатов о современно-

сти (modernity) и постсовременности (postmodernity) в понимании социокультурных изменений» [23: 1].

Тот факт, что развертывание дискурса мировой системы, интернационализации, глобальности, глобализации происходило вслед за сдвигом начала — середины XX в., указывает на то, что именно этот сдвиг превратил в восприятии исследователей предшествующие сдвигу и последовавшие за ним события в фазы единого исторического процесса перехода от старой социальной организации — локальной к новой — глобальной. Например, Р. Робертсон и М. Уотерс полагают, что глобализация — длительный исторический процесс, и начало глобализации или формирование ее предпосылок относят к рубежу XV и XVI вв. [20; 24], а Й. Терборн обнаруживает в истории, по крайней мере, шесть «волн» глобализации, самой ранней из которых он считает экспансию мировых религий в III—VII вв. н. э. [25]. Все это — явные анахронизмы, которые объясняются тем, что контингентный сдвиг породил не только следствия, но и, как ни странно, собственные предпосылки. Перемещение фокуса внимания исследователей на рост международной торговли и ТНК, международных организаций, планетарных коммуникационных сетей и мультикультурализма конституировало новый предмет. Интенсивность тенденций после контингентного сдвига вызвала внимание к ним и побудила исследователей тщательно реконструировать (а на самом деле сконструировать по аналогии) их в прошлом, обнаружить фазы и предпосылки глобализации, соединяя в логическую последовательность разнородные события и тенденции прошлого, разделенные десятилетиями и даже столетиями и зачастую малозначимые для жизни современников.

В силу своей интенсивности и развертывания как на макросоциальном, так и на микросоциальном уровнях, глобализация явно контрастирует с предшествующими процессами. Поэтому создаваемые теоретиками глобализации модели непригодны для анализа тенденций отдаленного прошлого. Определение этих тенденций как глобализационных анти-исторично, поскольку приписывает им то, чего в них явно не было — интенсивность и всеохватность, а заодно делает бессодержательным само понятие глобализации.

Для такого вывода существует простое основание — логическое правило, гласящее: «чем больше объем понятия, тем ничтожней его содержание». Если следовать Робертсону, Уотерсу и тем более Тер-

борну и считать глобализацией любые международные, межкультурные контакты и географические открытия европейцев, начиная с XV, а тем более с III века, то тогда понятием «глобализация» определяется все что угодно и одновременно ничего конкретного. Отождествление разномасштабных и разнокачественных явлений превращает «глобализацию» из конкретного научного понятия, раскрывающего специфичность современных процессов, в абстрактное указание на тривиальный факт перемещения людей и результатов их деятельности по планете.

Помимо ранних стадий или «волн» глобализации, многие социологи в отдаленном прошлом обнаруживают и основоположников теорий глобализации. Например, О. Ианни [19] и М. Уотерс [20] начали дискурса глобализации связывают с работами О. Конта, К. Маркса и других классиков социологии. Это также анахронизм.

Рассматривая социокультурный сдвиг в XX в., можно развести предметные области теоретических изысканий классиков и современных исследователей, обозначив их, соответственно, понятиями «интернационализация» и «глобализация». Интернационализацией логично называть тот рост системы экономических и политических связей на уровне национальных институтов (государств, межправительственных организаций, неправительственных, но национального масштаба организаций), а также распространение во все большем числе стран институтов промышленного / буржуазного общества, которые были замечены еще в XIX в. и стали предметом интереса классических теорий развития. Так, уже в «Манифесте коммунистической партии», написанном в 1848 г. совместно К. Марксом и Ф. Энгельсом, развитие международных экономических связей и территориальная экспансия капиталистических отношений описываются как сущностная характеристика перехода человечества в новую историческую эпоху [26].

Однако, эта характеристика все-таки не достаточна для описания современных процессов, качественно отличных от интернационализации. Из приведенной выше статистики (Рис. 1–3) видно, что в первой половине XX в. обозначился резкий контраст между плавностью предшествующих тенденций и скачкообразной динамикой последующих тенденций. Этот контраст количественных параметров указывает на переход от интернационализации к собственно глобализации.

В понятие глобализации логично включать как беспрецедентную интенсификацию процессов интернационализации до такой степени, что эти процессы становятся непосредственными факторами изменения социальной организации на субнациональном уровне, так и интенсификацию транснациональных межиндивидуальных и межгрупповых взаимодействий.

Таким образом, уже в силу различия предмета, такие классики социологии, как Маркс или Конт, являются предшественниками, но не основоположниками теории глобализации. Кроме того, классические теории общественного развития принципиально отличаются от теорий глобализации по логической структуре.

В основе всех теорий глобализации лежит дихотомическая типология социальной организации: локальная *versus* глобальная. В рамках этой типологии общественными изменениями могут быть лишь процессы, связанные со сменой пространственных характеристик социальной организации / социальных взаимодействий. Поэтому появление дискурса глобализации часто трактуется как «пространствизация» теории изменений [23; 27]. Фиксирующая возникший «разрыв» между прежними и новыми пространственными характеристиками социальных процессов дихотомия «локальное / глобальное» моделирует сдвиг начала — середины XX в. Таким образом, логическая структура теорий глобализации в общем определяется характером событий и тенденций этого периода. Но в теориях глобализации это дихотомическое различие становится парадигмой описания / объяснения любых тенденций и используется для создания теоретических моделей изменений за историческими и географическими пределами сдвига.

Однако, при общности логической структуры, задаваемой дихотомическим различием «локальное / глобальное», дискурс глобализации весьма разнообразен. Особенности логической структуры основных, наиболее характерных социологических теорий глобализации, а также степень их адекватности тенденциям, наблюдаемым после сдвига начала — середины XX в., требуют детального рассмотрения.

Первые детально разработанные теоретические модели глобализации были созданы на рубеже 1980-х — 1990-х гг. и на концептуальной границе между конкурирующими формами дискурса: дискурсом

мировой системы и собственно дискурсом глобализации. Концептуализация общественных изменений на основе понятия мировой системы как системы экономических и политических отношений между национальными государствами к моменту появления дискурса глобализации имела уже богатую традицию. Характерным примером этой традиции являются работы И. Валлерстайна.

И. Валлерстайн проводит различие между традиционным типом интеграции локальных обществ — империями и современным, возникшим в XV–XVI вв. типом — капиталистической мир-экономикой [6: 15]. В рамках мир-экономики выделяются группы обществ, образующих центр, периферию и полупериферию системы. Группируются они не по географической близости, а по характеру связей. Внутри центра капиталистической мир-экономики устанавливаются отношения кооперации и конкуренции. Между центром и периферией — отношения эксплуатации и зависимости. Полупериферия, как явствует из названия, находится с центром и периферией в отношениях смешанного типа.

В теории Валлерстайна тенденции сдвига к транснациональной экономике и транснациональной политике трактуются на основе ди-хотомического различия совокупности автономных единиц и системы связей между единицами. Общественные изменения рассматриваются преимущественно как процессы на супранациональном уровне (возникновение сети интернациональных связей), на уровне национальном изменения не носят радикального характера (постоянство национально-государственной определенности социальной организации единиц в системе), на субнациональном уровне (внутри единиц) процессы вообще не рассматриваются как системные изменения.

Таким образом, логическая структура модели мировой системы сводит наблюдаемые изменения к схеме «международное разделение труда + межгосударственный баланс сил / интересов». Наиболее релевантными теории Валлерстайна оказываются тенденции роста международной торговли и числа межправительственных организаций, но остальные тенденции контингентного сдвига начала — середины XX в. практически не моделируются этой схемой. Данная логическая структура не требует в добавление к термину «интернациональное» использовать термин «глобальное». Поскольку между процессами вне

национально-государственных границ и внутри этих границ предполагается принципиальная разница, парадигмой изменений служит дихотомия «национальное / интернациональное», а не дихотомия «локальное / глобальное», игнорирующая роль национальных границ.

Последовательные сторонники парадигмы мировой системы отрицают использование термина «глобализация», рассматривая его как всего лишь дань конъюнктуре [9; 28]. Лидер критиков дискурса глобализации Валлерстайн полагает, что «этот дискурс является в действительности гигантской лжеинтерпретацией (*misreading*) современной реальности — обманом, навязанным нам властными группами и, даже хуже, обманом, который мы навязали сами себе, зачастую от отчаяния» [28: 250]. Валлерстайн предлагает интерпретировать эмпирически фиксируемые общественные изменения как переход (*transition*) капиталистической мир-системы в фазу кризиса, начало которой приходится на 1967–1973 гг. Данная фаза представлена как неизбежная часть жизненного цикла (зарождение — расцвет — кризис) мир-экономики, возникшей около 1450 г.

Менее последовательные сторонники парадигмы мировой системы, ориентированные на господствующий в современной социологии дискурс, адаптировали понятие глобализации и создали первые теоретические модели глобализации. Примерами здесь могут служить работа Э. Гидденса «Последствия современности» (1990) и работы Л. Склэра «Социология глобальной системы» (1991).

Глобализация Гидденсом определяется как «интенсификация распространяющихся на весь мир (*worldwide*) социальных отношений, которые связывают удаленные места (*localities*) таким образом, что локальные события формируются событиями, происходящими за много миль от них, и наоборот» [29: 64]. Гидденс рассматривает глобализацию как прямое продолжение модернизации, считая, что современности (*Modernity*) внутренне присуща глобализация [29: 63]. Поскольку модернизация, согласно Гидденсу, заключается в автономизации социальных отношений от локальных условий взаимодействий, то распространение действия де-контекстуализирующих институтов на весь мир логично считать продолжением модернизации в форме глобализации. Современная социальная система формируется в четырех институциональных измерениях, и, соответственно, глобализация также рассматривается в четырех измерениях. Эти

измерения суть мировая капиталистическая экономика, система национальных государств, мировой военный порядок, международное разделение труда [29: 71]. Можно заметить, что на самом деле в модели Гидденса не четыре, а только два институциональных измерения системы: мировая экономика и мировая политика. В этом пункте теория Гидденса близка теории мир-системы Валлерстайна. Отличие заключается в том, что в модели Гидденса трансформация системы происходит не только на уровне системных связей (глобальном), но и на уровне связываемых элементов системы — «местных событий» (локальном). Поэтому для теории Гидденса термин «глобализация», имеющий, помимо прочих, смысл всеохватности, тотальности, более адекватен, чем термин «интернационализация», связанный по смыслу скорее лишь с межгосударственными отношениями.

Лесли Склэр так же, как и Гидденс, предпочитает термину «интернационализация» термин «глобализация», поскольку считает, что наиболее актуальный процесс — это формирование системы транснациональных практик, автономизирующихся от условий внутри национальных государств и национально-государственных интересов в международных отношениях. Транснациональные практики, согласно Склэру, существуют на трех аналитически различаемых уровнях: экономическом, политическом, идеологико-культурном [17: 7]. На каждом из уровней транснациональные практики образуют базовый институт, стимулирующий глобализацию. На уровне экономики это — ТНК, на уровне политики — транснациональный класс капиталистов, на уровне идеологии и культуры — консьюмеризм. При такой специфической интерпретации содержания понятия «институт» можно определить глобализацию как серию процессов формирования системы транснационального капитализма, релятивизирующую национально-государственные границы.

Таким образом, глобальная система Склэра возникает как структура, параллельная и аналогичная мир-системе Валлерстайна. Несмотря на то, что Склэр пишет о трех институциональных уровнях транснациональных практик, фактически в его модели, как и в модели Валлерстайна, рассматриваются лишь два уровня — экономика и политика. Место заявленного третьего уровня — культуры занимает консьюмеризм, трактуемый как идеологизированная экономическая практика или коммерциализированная идеологическая практика.

Логическая структура теорий Гидденса и Склэра в общем едина: глобализация представлена как серия аналогичных, однопорядковых тенденций в различных институциональных сферах, в совокупности предстающих как формирование глобальной системы взаимосвязей и взаимозависимостей между локальными социальными процессами. Эта система и формирует характерную для современной эпохи глобальность социальной организации. Термин «глобальное» соединяет в себе понятия «интернациональное» и «транснациональное», а термин «локальное» — понятия «национально-государственное» и «субнациональное». Теории Гидденса и Склэра представляют собой две разновидности одного типа моделей глобализации — моделей глобальной системы, которые сформировались как результат продолжения линии теоретизирования, заданной работами Валлерстайна, но уже в рамках дискурса глобализации.

Альтернативой моделям глобальной системы стали модели глобализации, разработанные на базе критики теории мир-системы и теорий глобальной системы. Использование системного подхода, основанного на представлении о мире как социальной системе, проблематично. Это наглядно продемонстрировала еще работа Дж. Неттла и Р. Робертсона «Международные системы и модернизация обществ» (1968). Авторы применяют разработанную Парсонсом схему AGIL и приходят к выводу, что к 1960-м гг. не сформировалась мировая социальная система в полном смысле слова [11: 150–152]. Налицо процесс «систематизации», давний и интенсивный в подсистеме G, об разуемой межгосударственными политическими соглашениями и супранациональными организациями, и идущий с отставанием в подсистемах A, I и, особенно, L. Создание в XX в. межправительственных организаций, специализирующихся на экономических (Мировой банк, Международная организация труда и т. п.), коммуникационных (Международный почтовый союз, Международная организация воздушного транспорта и т. п.), социокультурных (ЮНЕСКО и пр.) проблемах, является скорее частью развития подсистемы G, чем трех остальных. Различие между идеологиями, правовыми и культурными нормами, существующими внутри различных стран, препятствует превращению мира в единую социальную систему.

Придя еще в 1968 г. в совместной с Неттлом работе к выводу о том, что сфера культуры имеет решающее значение для «системати-

зации» мира, позже, в середине 1980-х гг. Робертсон выдвинул тезис о том, что глобальная взаимозависимость национальных экономик и государств, концептуализированная, например, в модели «системы обществ» Валлерстайна, является лишь одним из аспектов глобализации, тогда как второй аспект — глобальное сознание индивидов столь же важен для превращения мира в «единое социокультурное место» [14; 15; 24].

Определение глобализации как серии эмпирически фиксируемых изменений, разнородных, но объединенных логикой превращения мира в «единое место» (a single place), позволило Робертсону концептуализировать более широкий спектр тенденций, чем теоретикам глобальной системы. Единство места в данном случае означает то, что условия и характер социальных взаимодействий в любой точке мира одни и те же и что события в весьма удаленных точках мира могут быть условиями или даже элементами одного процесса социального взаимодействия. Мир «сжимается», становится единым, лишенным существенных барьеров и дробления на специфические зоны социальным пространством.

Включение сознания и деятельности индивидов в предмет теории глобализации привело Робертсона к переосмыслению соотношения глобальности и локальности. В глобализации Робертсоном выявляются две направленности: глобальная институционализация жизненного мира и локализация глобальности [24: 15–17].

Глобальная институционализация жизненного мира явно толкуется как организация повседневных локальных взаимодействий и социализации непосредственным (минущим национально-государственный уровень) воздействием макроструктур мирового порядка. Макроструктурирование мирового порядка (системы взаимозависимости обществ, существующих в рамках национальных государств) происходит, по мысли Робертсона, под действием трех факторов: экспансия капитализма, западный империализм, развитие глобальной системы масс-медиа. Для жизненного мира индивидов и локальных сообществ совокупное действие трех факторов оборачивается экспансией «общечеловеческих ценностей», распространением стандартных символов, эстетических и поведенческих образцов глобальными сетями СМИ (например, CNN и MTV) и ТНК (например, Coca-Cola и General Motors).

Вторая направленность глобализации в модели Робертсона — локализация глобальности призвана отразить тенденцию становления глобального не «сверху», а «снизу», то есть через локальное — через превращение взаимодействия с представителями иных стран и культур в рутинную практику, через включение в повседневную жизнь элементов инонациональных, «экзотических» локальных культур. В мультикультуральных локальных сообществах категории «международные отношения», «столкновение цивилизаций», «транснациональная корпорация» оказываются практическими категориями взаимодействия. В этом случае термин «глобальное» означает не только «интернациональное», но и «субнациональное», и даже «локальное» в той степени, в какой последнее глобализует — превращает повседневную жизнь людей в переживание глобального. Чтобы подчеркнуть двухуровневость глобализации, соотносительность и взаимопроникновение глобального и локального, сочетание тенденций к гомогенности и к гетерогенности, Робертсон даже вводит специальный термин: «глокализация» [30].

То, что Робертсон выделяет в глобализации два аспекта (глобальная взаимозависимость и глобальное сознание) и две направленности (глобальная институционализация жизненного мира и локализация глобальности), указывает на стремление рассматривать общественные изменения и с точки зрения макросоциологической (система / структура), и с точки зрения микросоциологической (социальное действие / актор). Поэтому модель глобализации, представленная в теории Робертсона, нами может быть сведена к формуле «структурная гомогенность + социальная гетерогенность». Это — та парадигма изменений, которая задает единство разнородным эмпирически фиксируемым тенденциям.

Одним из важнейших следствий, выводимых из теоретической модели Робертсона, является возможность дать собственно социологическую интерпретацию всем тем тенденциям, которые под названием «глобализация» фиксируются и анализируются экономистами, историками, политологами, культурологами.

Экономическая глобализация — процесс не только интенсификации международных товарных / финансовых потоков и роста ТНК, но также институционализации (то есть превращения в рутинную практику) мировой системы разделения труда в форме интер-

национальности (по составу и эффекту) локальных хозяйственных процессов / организаций.

Политическая глобализация — это процесс не только роста числа и влияния международных организаций, но также институционализации мировой системы международных отношений в форме интернациональности локальных политических акций / движений.

Культурная глобализация — это процесс не только мировой экспансии стандартных символов, эстетических и поведенческих образцов, продуцируемых западными СМИ и ТНК, но также институционализации мировой культуры в форме мультикультуральности локальных общин / стилей жизни.

Схема «структурная гомогенность + социальная гетерогенность» предполагает в качестве критерия глобальности общества наличие транснационального капитализма — рынка, образуемого ТНК и мультикультурными общностями потребителей, а также наличие транснациональной демократии — системы международных организаций и планетарных СМИ, призванных выражать и отстаивать «общечеловеческие ценности», включая право на культурное разнообразие. Таким образом, логическая структура теории Робертсона со всей очевидностью обнаруживает ее зависимость от тенденций, вызванных социокультурным сдвигом начала — середине ХХ в.

Однако, сам Робертсон стремится использовать свою теоретическую модель для описания и объяснения гораздо более ранних событий и тенденций. В различных своих работах он относит начало глобализации то к середине XVIII в. [24: 15], то к XVI в. [18: 175]. Правда, он постоянно оговаривается, заявляя, что длившийся столетиями процесс глобализации был прерывистым [18: 8], или что большую часть мировой истории следует рассматривать не как собственно глобализацию, а как «миниглобализацию» [15: 21]. Логическую завершенность этим идеям Робертсон придал, представив глобализацию как процесс, в котором выделяются пять фаз: 1) зародышевая фаза (начало XV — середина XVIII в.), 2) начальная фаза (середина XVIII — 1870-е гг.), 3) фаза подъема (1870-е — середина 1920-х гг.), 4) фаза борьбы за гегемонию (1920-е — середина 1960-х гг.), 5) фаза неопределенности (середина 1960-х — 1990-е гг.) [18; 24].

Эта концепция позволяет Робертсону учесть очевидную значимость ключевого периода (начало — середина ХХ в.). Но в целом, кон-

цепция пяти фаз ведет к представлению о длительном, перманентном и кумулятивном процессе, что явно противоречит историческим фактам. Так, фазами роста глобальной взаимозависимости оказываются в равной мере и тенденция релятивизации суверенитета национальных государств во второй половине XX в. и тенденция суверенизации в XVI–XIX вв.; фазами роста глобального сознания оказываются и развитие с середины XX в. дискурса общности человечества и развитие в XVI — начале XX в. доктрин религиозной, расовой, национальной дискриминации и сегрегации. Подведение таких тенденций XV–XIX вв., как становление национальных государств, колониальная экспансия европейских стран и т. п., под модель «структурная гомогенность + социальная гетерогенность» не корректно. К тому же процесс глобализации в отдаленном прошлом реконструируется Робертсоном из единичных, разделенных иногда многими десятилетиями событий. В логическую структуру теории глобализации Робертсона концепция пяти фаз не встраивается и остается избыточным элементом.

Теория Робертсона предлагает модель глобализации, существенно отличающуюся от моделей глобальной системы по степени адекватности наблюдаемым тенденциям. Модель Робертсона позволяет концептуализировать глобализацию не только как структурные изменения, но и как изменения в умонастроениях и межиндивидуальных взаимодействиях. Кроме того, в понятие глобализации Робертсона интегрирована возможность существования оппозиции, действующей глобально и, таким образом, одновременно использующей и отрицающей глобализацию. Термин «глобальное» у Робертсона означает не только «интернациональное» и «транснациональное», но и «транскультурное» и «транслокальное». Понятие глобального охватывает все пространство социального, глобальное и локальное соотносительны и не разделимы. Поэтому эту модель глобализации можно назвать моделью глобальной социальности.

С другой стороны, в модели глобальной социальности произошло «размывание» базовой дилеммы «локальное / глобальное». Введение категорий «культура», «жизненный мир», «сознание» нарушают исходную референцию концепции глобализации к пространственной экспансии и гомогенности целого. Однако, именно эта модификация исходной метафоры и глобализационной парадигмы позволи-

ла Робертсону концептуализировать тенденции, которые не концептуализируются теориями глобальной системы.

Подход Робертсона к рассмотрению глобализации был воспринят в 1990-х гг. многими исследователями. Например, собственные модели глобальной социальности разработали такие теоретики, как У. Бек и Й. Терборн, известные своими исследованиями модернизации [31; 32].

В работе «Что такое глобализация?» (1997) Бек вводит категорию транснационального социального пространства [22: 55], которая по своему теоретическому смыслу является полным аналогом «единого места» Робертсона. Глобализация, согласно Беку, означает «не связанные границами повседневные действия в различных измерениях экономики, информации, экологии, техники, транскультурных конфликтов и гражданского общества...» [22: 44]. Налицо та же схема, что у Робертсона: макроструктурирование жизненного мира в форме универсальных институциональных «измерений» и локализация глобальности в форме «повседневных действий».

Понятие транснационального социального пространства позволяет Беку объединить под общим названием «глобализация» процессы в сферах политики, экономики, культуры, экологии и др., которые, по его мысли, обладают собственной внутренней логикой и которые не редуцируемы один к другому [22: 29]. В политической сфере глобализация означает «размывание» суверенитета национального государства в результате действий транснациональных акторов и создания ими организационных сетей. [22: 28] В экономике глобализация означает наступление денационализированного, дезорганизованного капитализма, ключевыми элементами которого являются выходящие из-под национально-государственного контроля ТНК и спекуляции на транснациональных финансовых потоках [22: 40]. В культуре глобализация означает глокализацию, то есть взаимопроникновение локальных культур в транснациональных пространствах, каковыми являются западные мегаполисы — Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлин и т. п. [22: 42, 131]

Тезис о наличии собственной логики глобализации в каждой из сфер общества оправдывает использование Беком при описании / объяснении тенденций в них моделей, разработанных другими теоретиками: З. Бауманом («слабое государство») [33], С. Лашем

и Дж. Урри («дезорганизованный капитализм») [34], Р. Робертсоном («глобализация») [30]. Этот же тезис позволяет Беку предложить собственную модель глобализации, исходя из процессов в сфере экологии. Бек приспосабливает разработанную прежде теорию общества риска [31] к анализу процессов глобализации. В результате была создана модель мирового общества риска (*Weltrisikogesellschaft*).

Базовая идея теории общества риска «опасности создают общество» переформулирована: «глобальные опасности создают глобальное общество» [22: 74]. Новые риски, не ограниченные местом их появления, уравнивают и объединяют людей, даже помимо их воли и независимо от географического и социального положения. Бек выделяет три вида глобальных опасностей [22: 76–77]: 1) экологические катастрофы, обусловленные высоким уровнем технико-экономического развития (парниковый эффект, промышленное загрязнение, озоновая «дыра» и т. п.); 2) экологические катастрофы, обусловленные низким уровнем развития (дефицит питьевой воды, истребление лесов и т. д.); 3) катастрофы, обусловленные существованием оружия массового поражения.

Проблематизация этих рисков транснациональными социальными движениями и институционализация рисков в форме международных конвенций и организаций формируют мировое общество как единое, хотя и многомерное, поликентричное, контингентное, политизированное (но не организованное в форме государства) транснациональное социальное пространство. Превращение общества риска в глобальное Бек считает наступлением качественно нового состояния той эпохи, которую он именует «второй современностью» (*zweite Moderne*) [22: 30].

Йоран Терборн в работе «Глобализации» (2000) исходит из того, что термин «глобализация» указывает на «тенденции к всемирному (world-wide) размаху, воздействию или связанности социальных феноменов или к всемирной осведомленности о чем-либо среди социальных акторов» [25: 154]. Плюралистичность глобализаций (Терборн предпочтает говорить о множественности и многомерности глобализационных процессов) может быть «схвачена» в концептуальном поле, заданном двумя осями: характер динамики (интерактивный или системный) и уровень социального феномена (от единичного действия до макроструктуры) [25: 158]. Таким образом,

Терборн продолжает линию, начатую Робертсоном, соединившим в одной модели глобальную взаимозависимость и глобальное сознание. Терборн предлагает модель глобальной социальности, концептуализирующую изменения на двух уровнях — макро- и микро-социальном, — и в двух направлениях — собственно глобализации и локализации глобального.

Перечень феноменов, включенных Терборном в концептуальное поле «измерений глобализации» [25: 159] указывает на то, что концептуализируются тенденции, характерные для периода после контингентного сдвига начала — середины XX века: мировая торговля, мировой рынок, взаимозависимость, мировые финансы; универсальные права; человечество как идентичность; планетарное сознание, универсальное знание; межкультурный обмен, гибридизация и т. д. Референтами данных категорий являются тенденции становления транснационального капитализма, транснациональной демократии. Транснациональной массовой культуры. Однако, сам Терборн полагает, что глобализация — более древний феномен. Он выделяет шесть «исторических волн» глобализации: 1) IV—VII вв. н. э. — становление транс-племенных и транс-державных религий; 2) конец XV—XVI в. — географические открытия и колониальная экспансия европейских государств; 3) XVIII — начало XIX в. — вовлечение в конфликты между европейскими державами государств и народов в других регионах мира; 4) середина XIX — начало XX в. — европейский империализм и первая мировая война; 5) конец 1930-х — середина 1980-х гг. — вторая мировая война и разделение мира на идеологические блоки («холодная война»); 6) со второй половины 1980-х гг. — финансово-экономическая либерализация и мультикультурализм.

Концепция глобализационных «волн» — это попытка превратить дихотомическое различие «локальное / глобальное» в универсальный инструмент анализа общественных изменений. Но за исключением пятой и шестой «волн», все остальные исторические периоды практически невозможно вписать в те «измерения глобализации», которые предлагает Терборн. Рискованность характеристики событий и тенденций прошлых столетий с помощью понятия глобализации осознает и сам Терборн [25: 159–160] и поэтому использует понятие «волна», а не «стадия» или «фаза». За глобализационными «волнами», по его мнению, следуют периоды деглобализации, но «волны» не

представляют собой циклы единого процесса. Еще продолжающаяся «волна» может совпадать во времени с подъемом новой, поскольку в каждой из « волн» доминирует собственная динамика — религиозная, военно-политическая, экономическая или культурная. Но даже в таком виде перенесение глобализационной парадигмы на тенденции за пределами сдвига начала — середины XX в. является дезориентирующим анахронизмом. Возникающие параллельно друг другу и набегающие одна на другую «волны» глобализации хорошо моделируют множественность глобализационных тенденций в экономике, политике, культуре в XX в., но отнюдь не спорадические международные контакты и конфликты прошлых веков.

Теоретические модели, разработанные Робертсоном, Беком, Тербормом, препрезентируют ныне наиболее распространенный в социологии тип теорий глобализации. Для данного направления исходной является пространственная референция теории. Важность этой референции четко и образно сформулировал Терборт: «В то время, как постмодернизм бросил вызов концепции времени, свойственной современности (*modernity*), глобализация ориентируется на пространственную протяженность. В этом смысле глобализация может интерпретироваться как *полет современности в пространство*» [27: 150].

Третий тип моделей глобализации сформировался в конце 1980-х — середине 1990-х гг. на основе принципиально иного осмысливания пространственной референции понятия «глобализация». Начало этому типу моделей положил в 1990 г. Аржун Аппадураи в статье «Разъединение и различие в глобальной культур-экономике» [35], идеи которой затем развел в вышедшей в 1996 г. книге «Современность в полный рост: Культурные измерения глобализации» [21]. Аппадураи радикализировал противопоставление теории глобализации и мир-системной теории, акцентируя примат культурного — символического и феноменологического. Глобализацию он рассматривает как детерриториализацию — утрату привязки социальных процессов к физическому пространству [35: 301]. В ходе глобализации формируется «глобальный культурный поток», который распадается на пять культурно-символических пространств-потоков (*landscapes*)²: этно-

² Слово *landscape* в английском языке означает ландшафт, пространство, но может звучать и как словосочетание *land-scape*, что означает ускользание пространства

пространство (ethnoscape) образуется потоком туристов, иммигрантов, беженцев, гастробайтеров; технопространство (technoscape) — потоком технологий; финансопространство (finanscape) — потоком капиталов; медиапространство (mediascape) — потоком образов; идеопространство (ideoscape) — потоком идеологем. Эти текучие, нестабильные пространства являются «строительными блоками» тех «воображаемых миров», в которых люди взаимодействуют, и взаимодействие это носит характер символических обменов [35: 296].

В рамках концепции «воображаемых миров», конституируемых глобальными потоками, дихотомия «локальное / глобальное» трактуется феноменологически. Это — два типа «структуры чувствования, которая продуцируется определенными формами интенциональной деятельности и которая производит определенные материальные эффекты» [21: 182]. Локальное как артикуляция этнокультурной идентичности, религиозный фундаментализм, общинная солидарность не предшествует исторически глобальному, а производится / конструируется из тех же потоков образов, которые конституируют глобальное. Современное локальное столь же детерриториализовано, как и глобальное.

В теоретической модели Аппадура первоначальная дихотомия «локальное / глобальное» замещается, по сути, дихотомией «территориальное / детерриториализованное», а глобальность и локальность выступают как две составляющие глобализации, аналогичные структурной гомогенности и социальной гетерогенности в модели Робертсона.

Та же логика замещения дихотомии «локальное / глобальное» дихотомией «территориальное / детерриториализованное» обнаруживается в работе Малькольма Уотерса «Глобализация» (1995). Глобализация трактуется как совокупность тенденций, ведущих к детерриториализации социального, обусловленной экспансией символических обменов. Фундамент теории глобализации, согласно Уотерсу, это — концепция отношения между социальной организацией и территориальностью [20: 7]. Отношение это в каждый исторический момент детерминируется одним из трех типов обмена: материальным

или бегство от пространства. На этих сложных коннотациях и построена терминология теории Аппадура. — *Примечание второе*.

(экономическим), политическим, символическим. Материальные обмены имеют тенденцию к локализации социальных отношений: производство товаров предполагает концентрацию в одном месте рабочей силы, капитала, сырья; взаимодействие в режиме «лицом к лицу» при управлении процессом труда и при оказании услуг. Политические обмены имеют тенденцию к интернационализации — территориальной экспансии социальных отношений: осуществление власти предполагает контроль над подчиненным населением, занимающим данную территорию, и гарантии суверенности этого контроля, получаемые посредством взаимодействия с инстанциями власти за пределами данной территории. Символические обмены имеют тенденцию к освобождению социальных отношений от пространственной референции: процесс создания и трансляции интеллектуальных и эстетических символов может относительно легко перемещаться и осуществляться между территориально удаленными индивидами / группами.

Поэтому глобализация общества — процесс, определяемый преобладанием культуры над экономикой и политикой. Экономика и политика глобализуются в той мере, в какой «пронизаны» символическими обменами.

Уотерс констатирует, что в наибольшей степени подвержены глобализации те «измерения» экономики, в которых преобладает «символическое опосредствование» отношений — финансовый рынок и потребление, движимое принципами консьюмеризма. Гораздо менее глобализованы товарное производство и рынок труда [20: 89–90].

Политика в большей мере глобализуется в тех ее «измерениях», где проблематизируются ценности, а не материальные интересы [20: 118–119]. Осознание в качестве глобальных проблем прав человека, экологии, сохранения мира, справедливого распределения мировых ресурсов привело к частичной легитимации национального государства и росту числа международных организаций, влияние которых, правда, недостаточно для устранения национально-государственного суверенитета как организующего принципа политической сферы.

Анализ глобализации в сфере культуры Уотерс ведет, опираясь на концепцию Аппадура, но несколько видоизменив классификацию пространств-потоков и сориентировав ее на концепцию симуляков Бодрийяра. «Измерениями» культуры в теории Уотерса являются:

сакропространство (sacrandscape), образуемое потоком симуляков религиозности; этнопространство (ethnoscape), образуемое потоком симуляков этнической идентичности; эконопространство (econospace), образуемое потоком симуляков стоимости и капитала; медиапространство (mediascape), образуемое потоком симуляков информации; досуг-пространство (leisureescape), образуемое потоком симуляков развлечений и впечатлений, например туристических [20: 149].

Таким образом, культура — это наиболее глобализованная сфера, поскольку в ней социальные отношения максимально символизированы и, следовательно, могут осуществляться без привязки к конкретной территории. Помимо этого, глобализация культуры посредством потоков симуляков передается в сферы экономики и политики, вызывая там интенсификацию глобализации.

Вопреки собственному определению глобализации как детерриториализации социальных отношений и тезису о решающей для глобализации роли сферы культуры, Уотерс завершает свою теорию формулировкой концепции трех исторических стадий глобализации. Последовательной сменой экономики, политики, культуры в качестве доминирующих сфер характеризуются эти три стадии: 1) стадия мировой капиталистической системы (XVI–XIX вв.); 2) стадия международных отношений (XIX–XX вв.); 3) стадия глобальной идеализации³ (с конца XX в.) [20: 152].

Концепция истории глобализации Уотерса характеризуется тем же дефицитом рефлексии, что и в случае теорий Робертсона и Терборна. Попытки «удревнения» глобализации — анахронизм, порождающий противоречие между дефиницией глобализации и характером подводимых под понятие глобализации тенденций прошлого. Глобализация Уотерсом определяется как процесс экспансии не привязанных к территории символических обменов в условиях доминирования в общественной жизни культуры. Это доминирование, согласно самому Уотерсу, характерно для второй половины XX в., тогда как в XIX в. и ранее доминировали «локализующая» экономика и «интернационализующая» политика. Глобализация как интенсивная трансформация социальной организации прослеживается

³ Под идеализацией имеется в виду не представление глобальности в качестве чего-то совершенного, наилучшего, а преобладание символического, духовного над материальным. — Примечание автора.

только на фактическом материале XX в., и в работе Уотерса все эмпирические тенденции, используемые в качестве референтов его модели, относятся именно к XX в. Как и в теориях Робертсона и Терборна, концепция стадий глобализации Уотерса оказывается избыточным элементом теории. Зато вполне логично введение Уотерсом другого темпорального различия — глобализации и постглобализации. По мере утраты пространственной референции социальных отношений открывается перспектива постглобализации, под которой Уотерс понимает освобождение социальных отношений от телесной референции, что возможно, например, в киберпространстве, то есть при коммуникации посредством компьютерных сетей [20: 156–157].

В моделях детерриториализации социального практически полностью утрачивается изначальная референция понятия глобализации к физическому пространству и однородному целому. «Глобальное» у Аппадураи и Уотерса означает скорее нечто непространственное, нематериальное, воображаемое, символическое, гетерогенное, но всепроникающее. Это искажение базовой метафоры позволило создать модели, учитывающие новые тенденции — консьюмеризм, миноритизацию политики, развитие компьютерных сетей и т. д. Но при этом логическая структура теорий детерриториализации социального принципиально изоморфна логической структуре теорий глобальной социальности и даже теорий глобальной системы. Ноевые тенденции описываются / объясняются при помощи диахотомического различия «территориальное / детерриториализованное», которое предстает как модификация диахотомии «локальное / глобальное». Парадигму изменений, посредством которой Аппадураи и Уотерс соединяют разнородные тенденции в единый процесс глобализации, можно свести к формуле «структурная диффузность + социальная фрагментарность». Эта формула акцентирует не только экспансию, но и нестабильность, «текучесть» глобальных институциональных структур, не только плюрализм, но и чреватую конфликтами разобщенность социокультурных ориентаций индивидуальных действий. Однако, в общем, парадигма изменений в моделях детерриториализации социального является скорее не альтернативой, а модификацией по отношению к парадигме «структурная гомогенность + социальная гетерогенность». Таким образом, референтами моделей детерриториализации остаются транснациональный капитализм

и транснациональная демократия, хотя Аппадураи и Уотерс, настаивая на постмодернистской культурализации, эстетизации экономики и политики, акцентируют не транснациональность, а транскультурность капитализма и демократии.

Подводя итог анализу теоретических моделей глобализации, можно сделать вывод, что три представленных типа — модели глобальной системы (Гидденс, Склэр), глобальной социальности (Робертсон, Бек, Терборн), детерриториализации социального (Аппадураи, Уотерс) исторически образуют три «волны» или «линии» концептуализации общественных изменений в рамках единой глобализационной парадигмы. Для проанализированных теорий характерна общность логической структуры. Общественные изменения рассматриваются как исторически уникальная совокупность процессов, в результате которых новая социальная организация замещает прежнюю. Старый и новый типы социальной организации различаются на основе дихотомической типологии «локальное / глобальное».

В рамках каждой из трех «линий» концептуализации и каждой отдельной модели трактовка различия локального и глобального специфична, но эти трактовки можно суммировать с помощью модели Р. Робертсона «структурная гомогенность + социальная гетерогенность», в которой в свернутой форме представлены все варианты моделей глобализации. Посредством этой парадигмы любая эмпирически фиксируемая тенденция изменений интерпретируется как аспект, часть или разновидность глобализации. Так, например, Робертсон, Аппадураи и Терборн включили в понятие глобализации рост сепаратизма, культурного и религиозного фундаментализма, антиглобализационные социальные движения; Уотерс — консьюмеризм; Бек — нарастание экологических проблем. Но расширение предмета теории глобализации во всех этих случаях достигается за счет «размывания» парадигмального различия «локальное / глобальное». Эта тенденция, нарастающая с возникновением теоретических моделей глобальной социальности и детерриториализации социального, указывает на проблему рискованности моделей глобализации. Актуальной становится проблема адекватности и перспектив теорий глобализации в новых социально-исторических условиях.

Перспективы использования моделей глобализации для анализа общественных изменений зависят от того, насколько линейными

будут тенденции, вызванные сдвигом начала — середины XX в. Для развитых стран уже в ближайшем будущем актуальной станет ситуация, когда глобализация есть, но она не представляет собой процесс общественных изменений. Глобализация превращается в рутинный процесс функционирования / воспроизведения социальной организации. В этой перспективе весьма симптоматично появление концепции Йенса Бартельсона, прогнозирующего исчерпание эвристического потенциала понятия глобализации и его тривиализацию. Бартельсон сравнивает понятие глобализации с понятиями цивилизации и революции, сформировавшимися перед и в ходе Французской революции конца XVIII века: «эти понятия также утратили стабильные референты, но функционировали как *движители* (*vehicles*) социального изменения, обозначая изменение в его чистой, наиболее неизбежной и необратимой форме: изменение как условие возможных объектов и возможных идентичностей в возможном будущем» [36: 193]. Подобно этим понятиям, «глобализация» представляет собой не просто прогноз, но самоосуществляющееся пророчество. Поэтому Бартельсон делает вывод, что «...метафоры глобализации возможно отомрут, когда понятие выполнит свою задачу дестабилизации, то есть, когда глобализация станет чем-то, что происходит без слов и, таким образом, не нуждается в обсуждении» [36: 193].

Если проанализировать не только то, как концепция конституирует ожидаемые изменения, но и то, как неожиданные изменения конституируют концепцию, то можно прийти к выводу, что помимо выявленной Бартельсоном перспективы тривиализации концепции глобализации, существует реальная перспектива кризиса концепции глобализации в силу возникновения принципиально новых тенденций общественных изменений.

Сейчас в конце XX — начале XXI в. концепция глобализации на вершине популярности. Но первые симптомы кризиса глобализационной парадигмы изменений уже налицо. Адекватно моделируя тенденции экономической интеграции, формирования транснациональной бюрократии, роста мультикультурных сообществ, теории глобализации не описывают и не объясняют адекватно новые тенденции, возникшие ближе к концу XX века: экспансию симуляций — образов, замещающих реальные вещи / действия в экономике, политике, культуре, а также компьютерную революцию и формирование так назы-

ваемой киберкультуры. Чем дальше исторически отстоят анализируемые события от периода сдвига начала — середины XX в., тем острее проблема адекватности глобализационной парадигмы.

Теоретики глобализации решают проблему путем реинтерпретации парадигмы «локальное / глобальное». Эти изменения заметны в последовательности возникновения трех «линий» теоретизирования: теории мировой / глобальной системы (с середины 1960-х — начала 1970-х гг.), теории глобальной социальности (с середины 1980-х — начала 1990-х), теории детерриториализованной социальности (с конца 1980-х — середины 1990-х). Каждая следующая «линия» приводила к созданию моделей глобализации, концептуализирующих более широкий спектр тенденций. Но при этом все более менялось содержание понятия глобализации. Базовая пространственно-физикалистская метафора, метафора, если воспользоваться терминологией Терборна [25: 154], «пространствизации социального» (spatialization of the social) все более замещалась метафорикой непространственности, детерриториализации и нематериальности, символичности. Это позволило моделировать некоторые из новейших тенденций, но за счет потери определенности самого понятия «глобализация».

Осознание проблемы качественного изменения концепции глобализации очевидно в предложенном Уотерсом понятии «постглобализация» [20: 156]. Однако, идея адаптировать с помощью нового понятия теорию глобализации к новым условиям рискованна. Переход от взаимодействий в реальном пространстве к взаимодействиям в виртуальном пространстве может с равным успехом интерпретироваться и как гипер-глобализация — экспансия социальных процессов в новые формы пространственности, и как де-глобализация — редукция действительной пространственности социальных процессов.

Таким образом, зависимость логической структуры теорий глобализации от сдвига начала — середины XX в. определяет граничные условия для этого рода теорий изменений. Во-первых, релевантные тенденции должны представлять собой контрастный переход, а не монотонный процесс. По мере удаления от периода начала — середины XX в. это условие перестает выполняться (см. рис. 1-3), и, соответственно, дилемма «локальное / глобальное» перестает быть адекватным средством анализа. Во-вторых, иррелевантные теории глобализации тенденции должны представлять собой монотонный

процесс, а не контрастный переход. Это условие не выполняется для тенденций, которые концептуализируются в моделях детерриториализации социального / постглобализации. Эволюцию теорий глобализации к моделям детерриториализации и постглобализации, построенным с использованием различия реального, материального и эфемерного, изображаемого, можно рассматривать как симптоматичную тенденцию, обусловленную императивом анализа новых общественных изменений, на которых невозможно сфокусировать внимание, оперируя дилеммами «традиционное / современное» и «локальное / глобальное». На протяжении последних десятилетий XX в. эти не попадающие в фокус теорий модернизации и глобализации изменения стали настолько очевидны, что вызвали новый дискурс изменений — дискурс виртуализации, в рамках которого разработан уже ряд оригинальных теорий трансформации общества.

На фоне описанных тенденций в экономике, политике, культуре и т. д. возникновение в 1990-х гг. дискурса о контрасте старого и нового типов общества как различие «реальное / виртуальное» выглядит еще одной составляющей контингентного сдвига. Отправным пунктом для большинства теоретиков, оперирующих различием реального и виртуального, является созданная в середине 1970-х — начале 1980-х гг. концепция «упадка реальности» Ж. Бодрийяра [37; 38]. Бодрийяр же первым на рубеже 1980-х — 1990-х гг. стал использовать метафору виртуальности при описании современных социальных процессов [39: 84–86]. Термин «виртуализация» для обозначения социальных процессов активно вводится в научный оборот с середины 1990-х гг. А. Крокером [40], А. Бюлем [41], М. Паэтуа [42] и автором этих строк [43]. На протяжении 1990-х гг. на базе различия «реальное / виртуальное» были созданы альтернативные теоретические модели общественных изменений.

Виртуализация в этих теориях в общем понимается как любое замещение реальности ее симуляцией / образом — не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с применением логики виртуальной реальности. Этую логику можно наблюдать и там, где компьютеры непосредственно не используются. Например, виртуальной экономикой можно назвать и ту, в которой хозяйствственные операции ведутся преимущественно через Интернет, и ту, в которой спекуляции на фондовой бирже преобладают над материальным про-

изводством. Виртуальной политикой можно назвать борьбу за власть и посредством агитации с помощью веб-страниц или пресс-конференций в Интернете, и посредством рекламных акций в телестудии или на концертной площадке.

Определение социальных феноменов с помощью понятия виртуальность уместно тогда, когда конкуренция образов замещает конкуренцию институционально определенных действий — экономических, политических или иных. Социальное содержание виртуализации — симуляция институционального строя общества первична по отношению к содержанию техническому. Общее представление о феномене замещения реальности образами позволяет разрабатывать собственно социологический подход: не компьютеризация жизни виртуализирует общество, а виртуализация общества компьютеризирует жизнь. Распространение технологий виртуальной реальности вызывается стремлением компенсировать с помощью компьютерных симуляций дефицит социальной реальности.

В 1990-х гг. одновременно с разработкой собственно теорий виртуализации наметилась тенденция использования различия «реальное / виртуальное» и в теориях глобализации. Термин «виртуальное пространство» использовал М. Уотерс [20], термин «виртуальная экономика» — У. Бек [22]. Привычным уже для исследователей глобализации стал термин «виртуализация экономической деятельности» [2; 44]. Признанный лидер в теоретических исследованиях глобализации Р. Робертсон констатирует, что понятие «виртуальное» становится существенным элементом концептуального аппарата [45: 466].

На основе анализа концептуальной эволюции теорий глобализации можно утверждать, что в теоретической социологии наблюдается действие императива виртуализации. Любая теоретическая модель общественных изменений, чтобы быть адекватной современным тенденциям, должна строиться с использованием понятия виртуальности или его аналогов, акцентирующих симуляционность, нематериальность, символический, игровой характер социальных процессов.

Литература

1. Kiely R. Globalization, Post-Fordism and the Contemporary Context of Development // International Sociology. 1998. No. 1.

2. Sassen S. Territory and Territoriality in the Global Economy // International Sociology. 2000. No. 2.
3. Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1984.
4. Kautsky K. Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund. Nuernberg, 1915.
5. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма // Соч. 4-е изд. Т.22. М., 1950.
6. Wallerstein I. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European world-economy in the Sixteenth Century. New York, 1974.
7. Wallerstein I., T. Hopkins (eds.) The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945–2025. London. 1996.
8. Chase-Dunn C. Global Formation. Oxford, 1989.
9. Abu-Lughod J. Going Beyond Global Babble // Culture, Globalization and the World-System. Ed. by A. D. King. London, 1991.
10. Moore W. Global Sociology: The World as a Singular System // American Journal of Sociology. 1966. No. 5.
11. Nettl J., Robertson R. International Systems and the Modernization of Societies. New York, 1968.
12. Burton J. World Society. Cambridge, 1972.
13. McLuhan M. War and Peace in the Global Village. New York, 1968.
14. Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem of Culture in the World-Systems Theory // Theory, Culture & Society. 1985. No. 3.
15. Robertson R. Globalization Theory and Civilization Analysis // Comparative Civilizations Review. 1987, Vol. 17.
16. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. Ed. by M. Featherstone. London, 1990.
17. Sklair L. Sociology of the Global System. Hemel Hempstead, 1991.
18. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992.
19. Ianni O. A sociedade global. Rio de Janeiro, 1992.
20. Waters M. Globalização. Oeiras, 1999.
21. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996.
22. Beck U. Was ist Globalisierung? Frankfurt a. M., 1998.
23. Featherstone M., Lash S. Globalization, Modernity and the Spatialization of Social Theory: An Introduction // Global Modernities. Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London, 1995.
24. Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept // Global Culture. Ed. by M. Featherstone. London, 1990.

25. *Therborn G.* Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative Governance // International Sociology. 2000. No. 2.
26. *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4.
27. *Therborn G.* Introduction: From the Universal to the Global // International Sociology. 2000. No. 2.
28. *Wallerstein I.* Globalization or the Age of Transition? // International Sociology. 2000. No. 2.
29. *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Stanford, 1990.
30. *Robertson R.* Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // Global Modernities. Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London, 1995.
31. *Бек У.* Общество риска: На пути к другому модерну. М., 2000.
32. *Therborn G.* European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies 1945–2000. London, 1995.
33. *Bauman Z.* Globalization: The Human Consequences. Cambridge, 1998.
34. *Lash S., Urry J.* Economies of Signs and Space. London, 1994.
35. *Appadurai A.* Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Global Culture. Ed. by M. Featherstone. London, 1990.
36. *Bartelson J.* Three Concepts of Globalization // International Sociology. 2000. No. 2.
37. *Baudrillard J.* Simulacra and Simulation. Ann Arbor, 1994.
38. *Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства или Конец социального. Екатеринбург, 2000.
39. *Baudrillard J.* A ilusão do fim ou a greve dos acontecimentos. Lisboa, 1997.
40. *Kroker A., Weinstein M.* Datenmuell: Die Theorie der virtuellen Klasse. Wien, 1997.
41. *Bühl A.* Die virtuelle Gesellschaft. Opladen, 1997.
42. *Becker B., Paetau M. (Hrsg.)* Virtualisierung des Sozialen. Frankfurt a. M., 1997.
43. *Иванов Д. В.* Виртуализация общества // Социология и социальная антропология / под ред. В. Д. Виноградова и В. В. Козловского. СПб., 1997.
44. *Arrighi G.* Globalization and the Rise of East Asia: Lessons from the Past, Prospects for the Future // International Sociology. 1998. No. 1.
45. *Robertson R.* Globalization Theory 2000+: Major Problematics // Handbook of Social Theory. Ed. by G. Ritzer and B. Smart. London, 2001.

М. Вивьорка

МУТАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК: ВВЕДЕНИЕ¹

С 1960-х годов наметился бурный рост числа исследователей, изучающих гуманитарные и социальные науки, сначала в странах, где эти науки уже давно заняли прочное положение, а затем и по всему миру. Такое увеличение уже само по себе имеет большое значение хотя бы потому, что свидетельствует о тесной связи этих дисциплин с демократией: диктатура, тоталитарный режим и власть капитала запрещают, борются или презирают все то, что связано с этими дисциплинами.

От одного берега к другому

Однако речь здесь пойдет об их содержании и изменениях. Не требуется длительных наблюдений, чтобы осознать, какое расстояние отделяет нас от подходов, доминировавших в 1960-е годы или в начале 1970-х. Саму эту дистанцию можно рассматривать с двух разных точек зрения. Согласно первой, новые знания возникли либо за счет прибавок к уже существующим в то время некоторым методам, теориям, инструментам анализа, парадигмам, либо за счет их уточнения и усовершенствования и все это сопровождалось взлетами и падениями, моментами неопределенности и в итоге привело к накоплению знаний и обогащению способов действия в соответствии с расстановкой сил между отдельно взятыми компонентами, в результате чего одни из них утрачивали свой вес, а другие приумножали его. Эта первая точка зрения увязывается с понятием кризиса, «неверного хода», как считали Карл Маннхейм в 1930-х годах в «Идеологии и утопии» или Роберт Мerton, характеризуя всю историю социологии как

¹ Статья известного французского социолога Мишеля Вивьерки, президента Международной социологической ассоциации (ISA) в 2006–2010 гг., была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2009 г. (Вып. 7, с. 44–58). Текст представляет собой введение к книге: М. Вивьорка «Мутация социальных наук» (Les sciences humaines en mutation / sous la direction de Michel Vieuwiorka avec la collaboration de Aude Marie Debarle et Jocelyne Ohana. Auxerre: Editions Sciences Humaines, 2007). Перевод выполнен З. С. Ельмеевой, научное редактирование — проф. Н. А. Головиным. — Примечание отв. ред.

историю «хронического кризиса», где постоянно противоборствуют разные доктрины.

Но это не мое видение проблемы. Я отдаю, по существу, предпочтение идеи огромной мутации, в ходе которой деструктурировались теоретические инструменты и ориентации тридцати пяти — сорока-летней давности и все вместе вошли в кризис, а новые инструменты и ориентации стали только-только намечаться. Гипотеза такого перехода от одного берега к другому легла в основу и этой работы. Эта гипотеза, конечно, может вызвать споры, однако в соответствии с ней не исключается возможность сохранения некоторых элементов постоянства. Слишком часто мы погружаемся в иллюзию изобретения, новизны, при этом легко забывая о вкладе наших предшественников. К тому же нельзя применять эту гипотезу одинаковым образом к разным дисциплинам.

Нижеследующие вводные замечания об этом есть не что иное, как приглашение вместе подумать. Возможно, они будут иметь на себе слишком выраженный отпечаток, обусловленный моей принадлежностью к Франции, к социологии, к поколению, пробудившемуся к гражданской жизни в 1968 г. Однако само содержание этой книги, в большой степени, задумывалось как попытка избежать этого.

Апогей

Если перенестись на добрые тридцать лет назад, ко времени моего становления как исследователя, тогда, как мне кажется, царил довольно большой оптимизм. В атмосфере все еще витала вера в прогресс и науку, в модели развития планирование не было еще дискредитировано провалом СССР. Эволюционная мысль была мощной, и, благодаря ей, идея триумфа современности и лучшего будущего была сильна. Успехи освободительных движений и деколонизация еще не предвещали их дальнейшего обращения в диктаторские режимы; с полным основанием можно было говорить об историческом закате расизма и антисемитизма. Конечно, 1960-е годы и начало 1970-х не были золотым веком, и многие научные школы того периода, такие как школа Макса Вебера или Франкфуртская, внушали нам некоторый пессимизм и критицизм. Но в целом будущее казалось открытым.

Как мне кажется, гуманитарные и социальные науки характеризовались в то время пятью главными чертами.

Во-первых, эти науки развивались в вестфальской идеиной атмосфере — в духе Вестфальского договора 1648 г., закрепившего начало Европы наций и их государств. Они формировались и довольно широко изучали свои объекты либо в рамках государств-наций, либо в их продолжении, в международных отношениях. Это наиболее справедливо для Франции, и я должен еще раз повторить, что полностью осознаю: мой довод, возможно, слаб из-за возможных подозрений в этноцентризме. Но, тем не менее (хотя Люсьен Февр и Марк Блок, основатели школы «Анналов», довольно рано дистанцировались от понятия нации, будучи шокированы жестокостью и людскими потерями войны 1914–1918 гг.) история везде была национальной. И ей отводилось центральное место в воспитании детей, как это показал Марк Ферро в книге «Как во всем мире преподают историю детям» [1]. Антропология и этнология с их далекими от истории и четко разграниченными объектами (в частности, от западного понятия национального государства) и областями исследования, организовывались в зависимости от этнических различий, безосновательно введенных колонизаторскими национальными государствами. Что же касается социологии, она занималась «обществами», под которыми часто понимались «государство» или «нация».

Во-вторых, эти науки в то время поддерживали два явно выраженных типа отношений с философией. Или они были структуралистскими, враждебными любому субъективизму, совершенно далекими от всякой философии субъекта и сознания, и без колебаний заявляли о «смерти субъекта», то, что Люк Ферри и Ален Ренот назовут «мышлением 68-го года» (неудачное, впрочем, название, лучше было бы сказать пред- и, скорее, пост-68-го года), или же они стремились примирить науку (их собственную) и философию, вводя тему если не субъекта, то хотя бы актора, что довольно близко по смыслу. От первого, таким образом, марксизм, занимавший большое место в социальных науках того времени, включал два главных типа вариантов, в зависимости от того, призывали его сторонники или нет к отказу от субъекта, и, соответственно, заявляли себя последователями зрелого или молодого Маркса. Воззрениям, утверждавшим примат системы, инстанций, идеологических или принудительных аппаратов, более или менее абстрактных и бессознательных механизмов доминирования и их возможных кризисов и противоречий, в то время

противопоставляли попытки артикулировать, по выражению Мишеля Крозье и Эрхарда Фрайдберга, понятия «актор» и «система».

В-третьих, гуманитарные и социальные науки в ту эпоху ставили вопрос об ангажированности, выделяя при этом две ситуации. Исследователь либо был критически настроенным интеллектуалом, ангажированным какой-либо партией и участвующим в общественной жизни. Либо он был «профессионалом, которого прежде всего интересует мнение его коллег по академической жизни. Это верно для одних дисциплин и стран больше, чем для других. В Западной Европе охотнее позиционировали себя интеллектуалами, в Соединенных Штатах скорее наоборот, и хотя в этот процесс были вовлечены такие крупные фигуры, как, например, Ч. Райт Миллс, У. Дюбуа или Дж. Дьюи, идеи которых находят продолжение у сторонников «постколониальных» теорий или таких марксистов, как И. Валлерстайн.

Четвертый аспект гуманитарных и социальных наук связанный с предыдущими: их склонность к теориям, имеющим ярко выраженную социальную значимость, нацеленным на обеспечение интеллигibility всевозможных видов явлений. Очень часто теория предшествовала конкретному изучению фактов, которое только подтверждало ее справедливость или значимость. Ученый был антропологом, социологом, психологом, лингвистом и т.д., но также марксистом, функционалистом, феноменологом, культурологом, структуралистом и т.д., не говоря уже о комбинациях этих категорий; он легко вписывался в общую теоретическую ориентацию, оставляющую какое-то место креативности ученого, зачастую стремящегося к метафизике. В этом климате веры в науку и желания вписать исследование в крупные теоретические рамки большое место отводилось количественным исследованиям, включая и те, в которых изучались явления культуры.

И, наконец, **пятый аспект** гуманитарных и социальных наук той эпохи: в них значительное место отводилось конфликту. Ученые, те, что были ангажированы, часто использовали теоретические ориентации, открытые понятию конфликта. Некоторые выбирали в качестве объекта исследования или центральной цели, антиколониальную и национально-освободительную борьбу, классовые конфликты, социально-политические движения, холодную войну. Часто ставился

вопрос о государстве и власти. Политическое в то время нередко считалось проявлением социального и государственного.

Теперь мне кажется, что 1960-е годы были моментом, когда социальные науки достигли апогея своего развития в течение века. Яркой иллюстрацией этому может служить монументальный труд Талкотта Парсонса, в коем предлагалось интегрировать воедино мысли классиков, начиная с Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма, — интеграция, которая, по мнению Алвина Гоулднера, разрушилась на исходе 1960-х годов на фоне студенческих движений и протестов против войны во Вьетнаме. Джеки Александер попытается воссоздать ее в 1970-х годах. Добавим, что такие усилия интеграции интеллектуальной мысли эпохи кое-где вылились в попытку закрепить преимущество одной дисциплины над другими. Историки *Анналов* во Франции, и в частности, в учреждении, где я работаю, EHESS,² трактовали историю как науку о социальном, что в то время не было общепринятой концепцией. В отличие, например, от Марка Блока [2], они предположили, что существует общая динамика гуманитарных и социальных наук, в которой истории отводилось центральное место. Клод Леви-Стросс в своей структурной антропологии отдал приоритет своей дисциплине, объясняя, что необходимо и достаточно постичь бессознательное сознание, скрытое в каждом институте или обычае, чтобы получить принцип интерпретации, пригодный для других институтов и других обычаев, что обеспечивает этнологии центральное место, поскольку она изучает человеческий дух и его «бессознательные проявления» [3]. При этом история отходит на второй план, а социология способна заниматься лишь актуальным обществом, т. е. обществом одного и того же типа. Однако социология со времен Эмиля Дюркгейма, на-против, считала, что она может быть теоретическим обобщением социальных наук.

Изменения

Ситуация изменилась. Я могу рассуждать об этом относительно трех дисциплин, допуская, что то же самое характерно для других дисциплин: все они изменились. Внезапные обращения к коллектив-

² Высшая школа социальных наук (франц. École des hautes études en sciences sociales, сокр. EHESS) — один из крупнейших французских образовательных и научно-исследовательских центров. — Примечание отв. ред.

ной памяти общества и рост интереса к коллективным идентичностям заставляют вопрошать Историю, спорить о ней, конкурировать с ней, иногда парализуя работу историков, что дает ей второе дыхание и стимулирует ее. Это отмечается во всем мире, будь то, например, в «Subaltern Studies» в Индии и в их расцвете в Соединенных Штатах, в дебатах о странах, переживших диктатуру, апартеид или тоталитаризм, о преступлениях против человечности — геноциде, работоговле, рабстве, — а также в растущем вызове постколониальной мысли и т. д.

Коллективная память элементарно оказывает давление на Историю, заставляя ее интегрировать прежде неведомые ей знания, которые она не признавала или умаляла, отдавая, например, в одних случаях предпочтение точке зрения победителей, а в других пересматривая связь между нацией и государством и одновременно развенчивая известные постулаты Эрнеста Фернана, объясняющего в своей лекции 1882 г. «Что такое нация?» (*Qu'est-ce qu'une nation?*), что забвение и даже историческая ошибка являются существенным фактором создания любой нации: «всем полезно уметь забывать». Крупные теоретические амбиции, из которых школа «Анналов» является наивысшим проявлением, сейчас, как мне кажется, утратили свою актуальность, и задача объединения социальных наук вокруг Истории больше не стоит. Так, в 1988 г. журнал «Анналы» писал об этом в важной статье «История и социальные науки: критический поворот» (*Histoire et sciences sociales: un tournant critique*), где объяснялось, в частности, что изначальный проект интеграции социальных наук на базе Истории был поставлен под сомнение из-за ослабления былых крупных парадигм, таких как марксизм, структурализм и т. д.

Антропология, окрепшая в эпоху триумфа Запада, в известных случаях критикует его и тоже трансформируется. Ей удалось избавиться от дисквалифицирующей и снобистской презентации культур, как «примитивных», переформулировать условия отношения исследователя к объекту, отбросить все соблазны ориентализма, учесть колониальное и даже доколониальное прошлое. В крупных теоретических системах произошла дефрагментация, и сейчас мы наблюдаем демультиликацию объектов, мест и полей исследования, в том числе и внутри западных обществ: экономическая глобализация (мы к ней еще вернемся), массовый туризм, новые технологии, средства массо-

вой информации, транснационализация религий и культур играют здесь определяющую роль. Преобразуется ее связь с другими дисциплинами, в частности с социологией, что не ново, поскольку еще Альфред Рэдклифф-Браун считал, что социальная антропология едина с социологией и даже, что она является синонимом компаративной социологии.

Однако сегодня этот вопрос встает с новой силой. Так, я был поражен при чтении последней работы Мориса Годелье «Метаморфозы родства» [4] тем, насколько то, что он говорит, относится к социологии, когда он объясняет, что «нельзя понять отношений родства без анализа социальных атрибутов каждого из полов, благодаря чему и образуется их видовое различие». Впрочем, выводы книги под названием «Каково будущее родственных связей?» (*Quel avenir pour quelles parentés?*) вполне могли бы быть написаны социологом. В Индии сегодня тоже развертываются интересные дебаты. В стране, где прежде находили приют все антропологи, в том числе из колонизаторской Англии, ныне множество своих представителей гуманистических и социальных наук, задаются вопросом: как возможно заниматься антропологией, если сам принадлежишь к обществу, которое изучаешь и которое уже изучает множество социологов, например, индийских. Что же разделяет эти две дисциплины в этой постколониальной стране? Глобализация и миграция подкрепляют идею о том, что нельзя, как раньше, противопоставлять далеких «их» и близких «нас». Отличие, вчера еще не касавшееся западных обществ, сегодня все больше и больше самым ощутимым образом проявляется в них. В связи с этим антропология вынуждена переосмысливать все еще спорное понятие культуры, изучать новыми средствами ее связь с территорией, направлять свой интерес в сторону таких новых для нее категорий, как «диаспора», «город» или «не-места», которые столь дороги сердцу Марка Оже, исследующего аэропорты, торговые центры, лагеря беженцев.

Социология глубоко эволюционировала за тридцать лет. Марксизм утратил существенную часть своего динамизма, хотя и сохраняет по иронии истории свое реальное присутствие в некоторых американских университетах. Структурализм ослаб, критическая мысль стала гипер-критической. Те, кто вдохновлялся постмодернистскими подходами, заговорили, по выражению Жана-Франсуа Лиотара,

о конце «больших нарративов». Большинство социологов отошли от теоретизирования общего характера, а кое-кто заговорил о социальном вакууме или виртуальности объективного мира (Жан Бодрийяр). Нужно сказать, что на некоторых из них весьма повлияли процессы deinституционализации, кризиса, дефицита политики и спада классических форм коллективного действия, достаточно лишь напомнить о закате рабочего движения в постиндустриальном обществе и новых социальных движений конца 1960-х — начала 1970-х годов Символический интеракционизм и близкие к нему ориентации — феноменологическая социология и так называемая школа Пало Алто, этнometодология способствовала деструкции функционализма, в то время как методологический индивидуализм, особенно в своих жестких чистых вариантах типа «национального выбора», воспользовался общим климатом, благоприятным для неолиберальных идей.

Как обстоит дело сейчас?

Воспользуемся пятью вышеприведенными характеристиками для определения современного положения в социологии.

Во-первых, мы не отказались ни от государства-нации, ни от «международных отношений». Однако, с конца 1970-х годов, благодаря ускорению, вызванному окончанием холодной войны, и изменениям, в связи с терактом 11 сентября 2001 г., на мир оказывает доминирующее влияние экономика, что отражает понятие «глобализация». Финансовый капитал, рынки, коммерческие потоки выступают в роли пограничных сил, влияющих на социальную жизнь, находящуюся за границей классического социального анализа. Одни, как, например, Ален Турен, увидели в этом источник декомпозиции самого понятия общества, даже «конец социального» [5] другие, и их гораздо больше, заговорили тогда о неизбежном закате государства-нации (очень спорная идея), ослабленного возвратом к войне и насилию в первую очередь вследствие реакции Америки на терроризм со стороны Аль-Каиды.

Для определения глобализации в широком смысле слова недостаточно лишь экономических аспектов, необходимо ввести другие ее измерения. Так, миграционные потоки сегодня перестали, как в прошлом, растворяться в принимающей стране. Они создают транснациональные сети и диаспоры. Культура также «глобализируется»,

т. е. она сама по себе и глобальна, и находится под воздействием глобализации. Отсюда возникает двойственность ее анализа: с одной стороны, подчеркивают мировую гомогенизацию культуры под воздействием североамериканской, а с другой стороны, придерживаются логики отдельных идентичностей и фрагментации культур. Культуры все больше и больше проникают одна в другую, при этом не растворяясь, а идентичности смещаются, при случае гибридизируются, перемешиваются в ходе многократных процессов в зависимости от локальных или глобальных характеристик. То же самое касается и права, сталкивающегося с глобальными преступлениями, финансовыми и информационными потоками и т. д., для регулирования которых недостаточно национальных юридических систем, дополненных международным правом.

Многие исследовательские направления в настоящее время стаются «глобально» осмыслить свои объекты. Например, так делают в отношении мобильности, социальных сетей, глобального города, о котором говорит Саския Сассен, рисков, как их понимает, начиная с 1980-х годов Ульрих Бек, новых технологий и, по известному выражению Дэвида Харви, двойного сжатия времени и пространства в связи с глобализацией. Речь идет и об анализе ислама и протестантских церквей, о глобальной истории или, позволю себе сослаться на свои работы, об изучении терроризма и антисемитизма в глобальной перспективе. Всякий раз, мне кажется, присутствует идея, что глобально то, что как в фактах, так и в анализе сочетает мировые, планетарные, транснациональные измерения с локальными и национальными. Глобально то, что возникает из взаимообусловленности внутреннего и внешнего, внутренней и внешней логики государств-наций, а не из их разделения. Это, однако, не означает, что в глобализации все находит свое место. Она, напротив, отбрасывает «одноразовых» работников, африканцев, больных спидом, не учтенных из-за того, что у них нет ресурсов и т. д. Однако мир глобализации не означает джунгли безо всякого структурного принципа. В ней огромную роль играют социальные сети, а наднациональные пространства заполнены организациями, играющими все большую роль в юридическом, политическом, культурном, социальном плане, а не только в экономике. Многие неправительственные организации участвуют в глобализации не только путем ее критики и отторжения,

а антиглобалистское движение вносит конфликтность, способствующую, в свою очередь, появлению в глобальном смысле национальных и наднациональных пространств.

Все это не обязательно приводит к радикально новым подходам в исследованиях: глобализация социальных наук возникла не в последние годы, некоторые объекты глобальны уже давно, например религия, а интеллектуальные традиции рано вписаны и в национальный контекст и открыты общему движению идей. Однако за последние пятнадцать-двадцать лет эта тенденция значительно усилилась.

Вторая характеристика: рост значения субъекта. Очевидно, что эта категория не нова, но она, с одной стороны, ныне далека от своих старых определений, подчеркивающих идею подчиненности (субъект как подвластный). С другой стороны, с ней больше не связана идея о том, что он просто-напросто есть объект наблюдения, как в экспериментальной психологии 1950-х и 1960-х годов. Субъект сегодня — это то, что не подчиняется логике ни каких-либо систем, ни сюзерену, ни богу, ни какому-либо сообществу и его закону. Он есть то, что не подчиняется им, или, как я его определяю, то, что означает способность действовать, «кreatивный характер человеческого действия», по словам Ханса Йоаса [6]. Субъект есть не актор, а то, благодаря чему он становится актором, когда позволяют условия. Он то, что обеспечивает действие, создание своего опыта, овладение им, по меньшей мере, до некоторого предела.

Такое утверждение, как мне кажется, трудно оспорить. Ученые, изучающие религиозные явления, отмечают, что сами акторы часто объясняют свою приверженность религии личным выбором, в высшей степени субъективным решением. Если я мусульманин, говорят молодые люди французских пригородов, то это мой личный выбор, а не просто воспроизведение религиозной принадлежности родителей или предков. Те, кто имеет интерес к телу и всему, что с ним связано, отмечают, что такие практики, как танец, телесность, татуировка и т. д., связаны с самоутверждением субъекта, стремящегося овладеть своей телесностью, применить свои творческие способности, что свидетельствует о разрыве с центральным принципом более классического модернизма, согласно которому тело отделено от души, природа от духа. Тело принадлежит «себе». Исследователи болезни отмечают, что сегодня мощной тенденцией является отказ от

лечения болезни отдельно от больного, его физических и моральных страданий. В более широком смысле слова вопросы психоментальных заболеваний, депрессии, стрессов, «усталости от себя», по выражению Алена Эренберга, приводят к необходимости если не использования понятия «субъект», то хотя бы к его обсуждению. Те же, кого беспокоит этическая сторона в конкретных ситуациях, когда должно приниматься решение о жизни или смерти либо о клонировании человека, более ли менее явно апеллируют к субъекту. То же самое происходит при изучении семьи, особенно там, где она выступает как демократическое пространство, в котором каждый, в том числе и самые юные, видят, что их субъективность признается в отношении мобильности, потребления и работы, ее роль в сохранении физической и нравственной целостности работника. Именно так я понимаю критику «гибкого капитализма» Ричарда Сеннета.

Если мы принимаем это положение в качестве исходного, то нужно допустить, что понятие субъекта (и многих близких понятий, таких как «индивиду», «индивидуальность», «индивидуализм») вызывает много вопросов. Одни из них касаются самого определения. О субъекте можно было бы сказать то, что Макс Вебер говорит об индивидуализме в «Протестантской этике и духе капитализма», а именно то, что это понятие охватывает «самые разнородные вещи, какие только можно вообразить». Например, нужно ли в нем видеть принцип, стоящий у истоков социального, но не само социальное, что рискует удалить нас от тезиса Дюркгейма о том, что социальное следует объяснять через социальное? Не есть ли это построение, основанное на опыте, сопровождающееся процессами субъективации и десубъективации? Не является ли он квазиантропологическим атрибутом любого индивида, некой виртуальностью или плодом праксиса, пользуясь несколько устаревшим термином?

Иначе говоря, находит ли субъект свое основание в действии, либо он считает себя данностью, предшествующей действию? Впрочем, разве не в признании взаимности проявляется субъект — я являюсь субъектом, только если допускаю, что в такой же степени им является любой другой человек, — не стоит ли включить в определение субъекта то, что я назвал в работе «Насилие» [7] антисубъектом с его деструктивными измерениями, насилием, жестокостью?

Другие вопросы отсылают к следствиям для гуманитарных и социальных наук такого мощного фактора развития, как тематика субъекта. Нет ли здесь риска чрезмерно психологизировать исследовательскую работу, если отделять анализ субъекта от анализа систем или сводить социальную жизнь к простому сложению персональных субъективностей, изучая следствия из встреч и противоборств? Можно ли учесть персональную субъективность в подходах, основанных на интерсубъективности, как предлагает Юрген Хабермас, когда приглашает нас задуматься над аргументацией в дискуссии между индивидами? Возникают и другие вопросы, отсылающие нас к отношениям, связывающим различные подходы к изучению субъекта с иными областями знания либо очень близкими, я имею в виду психоанализ и некоторые течения политической философии, либо с теми областями знания, кои, на первый взгляд далеки — биология, изучение нейронов и на стыке тех и других — когнитивные науки.

В связи с первым случаем я сошлюсь на наиболее знакомую мне область. Это область исследования культурных различий и их места в обществе. Социальные науки в узком смысле слова шли позади политической философии, дискуссия о которой инициирована опубликованной в 1971 г. книгой Джона Роулза «Теория справедливости». И по сей день самыми активными в этой области являются философы. Чем больше понятие субъекта входит в наши исследования, тем больше следует обсуждать вопросы философской интеграции и ее вклада в эту область.

Во втором случае (изучение нейронов и когнитивных наук, между которыми осуществляется, по выражению Мишеля Имberta, «постоянное хождение туда-сюда» [8: 56] существуют различные элементы, благодаря которым, как представляется, можно разместить когнитивные науки на стыке точных и социально-гуманитарных наук, начиная с психологии.

Такое промежуточное положение дисциплин, уязвимое в начале 1990-х годов, ставится под сомнение всякий раз, когда когнитивные науки начинают либо абсолютизировать роль математических методов моделирования социального поведения и компьютеризации, либо когда в их исследовательских программах начинают доминировать технологические аспекты, такие, например, как проблемы визуализации в медицине, а также когда из-за «гравитационного эффекта,

производимого изучением нейронов» по выражению Даниеля Андерса [8], они сближаются с медициной и удаляются от гуманитарных и социальных наук. Однако место, занимаемое ныне эмоциями в общественной жизни, в гуманитарных и социальных науках, в когнитивных пауках, постоянные обращения к памяти, в том числе в общественных дебатах, возрастающее значение темы личности и истощения дихотомий, присущих классической современности — сердце и разум, тело и дух, позволяют полагать, что когнитивные науки способны сохранить связь и сохранить корни в гуманитарных и социальных науках. Это могло бы осуществляться, например, при осмысливании образов или исследовании ментальных расстройств. Вместо того чтобы замыкаться в противопоставлении субъекта «церебрального» (что нас приближает к изучению нейронов) и субъекта «говорящего» (что нас сближает с психоанализом), нельзя ли иначе сформулировать вопросы к субъекту, который рискует быть объясненным вне всякой субъективности, т. е. быть натурализованным и превратиться в «объективного себя» (*un soi objectif*), и субъектом, рискующим стать больным или страдающим от своей субъективности?

Субъект стал обязательной темой исследования гуманитарных и социальных наук. В связи с этим возникают споры, особенно когда заходит речь об их единстве, границах, связях с другими дисциплинами. Могут возразить, что от глобализации до субъекта дистанция огромного размера. Мышление, предоставленное самому себе, будет, возможно, ограничивать себя при малейшем риске всякого действия или же сведется лишь к осмыслинию нескольких глобальных сил, начиная с финансового капитала. Во втором случае, названном выше, существует риск упустить шанс осмыслиения общего мира, в котором мы живем, его системы, структуры иначе, нежели через сумму или противопоставление разных субъективностей. Отсюда возникает вопрос: не рисуют ли гуманитарные и социальные науки рассеяться на множество парадигм из-за претензии охватить огромное пространство от субъекта до глобализации — пространства еще большего, чем от актора до государства-нации и международных отношений?

Что касается *третьего пункта* — участия исследователя в жизни гражданского общества и его критического вклада, то при сравнении ситуации с 1960-ми и 1970-ми гг. бросается в глаза такое отличие: уменьшилось число исследователей, прямо связанных с какой-нибудь

идеологией или политической партией. Ангажированность сменилась в некоторых случаях скорее сверхкритической, чем критической позицией, подчеркивающей доминирование сил, описываемое в абсолютных терминах. В результате образовались новые пары противопоставлений, такие как доминирующий — жертва. Появилось новое направление, сочетающее укрепление структурализма и отход от акторов политической системы. Второе отличие — это расцвет экспертов, консультирования и просвещения общественности, жаждущей этого. Исследователь тем самым мобилизуется на результаты, которые он может предоставить в распоряжение власти или оппозиции. Он не столько производитель знаний, сколько промежуточное звено между производством и накоплением знаний в определенной области и их потенциальными заказчиками и пользователями. Фактически обе основных формы участия гуманитарных и социальных наук в жизни гражданского общества связывают свой успех с использованием средств массовой информации, при этом сверхкритическая мысль подпитывает вкус публики к скандалам и зреющим, разоблачениям, максимализму и бескомпромиссности, коррупции и т. д., а эксперты объясняют, дают научную и техническую аргументацию, обеспечивают надежность, благодаря которой можно разложить по полочкам информацию и позиции, без этого считавшиеся бы предвзятыми. Перед исследователями, кто не довольствуется тем, что они «профессионалы», для кого гуманитарные и социальные науки неизбежно должны быть критичными и кто не видит себя ни в одной из названных форм участия, встает проблема определения своего места. Как, продолжая мысли Майкла Буравого о социологии, сделать социальные науки «публичными» и участвовать в жизни гражданского общества, не ограничиваясь при этом лишь непроизводительной гиперкритической позицией, либо статусом почитаемого эксперта, далекого от роли интеллектуала?

Четвертый аспект: упадок больших теорий. Так ли он неизбежен? Должны ли мы с недоверием относиться к любой попытке теоретизирования по поводу общезначимости и соглашаться с идеей разрыва на разные подходы и ориентации? Сам факт, что наша встреча, в результате которой стало возможно появление данной работы, и где исследователи самых разных направлений размышляли вместе, указывает на то, что существует некое единство социальных наук или

даже есть одна социальная наука, во всяком случае, возникает желание задуматься над их единством. Этот вопрос является центральным в отчете, опубликованном в 1996 г. под редакцией Иммануила Валлерстайна [9], и сводится к защите общей социальной науки. Но не рискует ли этот проект остаться в лучшем случае утопическим, а в худшем произвольным навязыванием своего мнения? Ведь внутренние различия в дисциплинах остаются значительными, что может лишь умножаться при попытках интегрировать эти науки. Вышеназванный Майкл Буравой отмечает также, что могут существовать всевозможные кросс-дисциплинарные, трансдисциплинарные, мультидисциплинарные и сочлененно-дисциплинарные отношения, действующие в режиме заимствования, инфузии, сотрудничества и координации соответственно [10: 368].

Наряду с фрагментацией парадигм, происходящей с начала 1970-х годов, не вошли ли мы уже в стадию рекомпозиции? При таком допущении социологи не могут довольствоваться тем, что каждый из них всего лишь пользуется аналитическими инструментами, обеспечивающими ему свое место в научной работе. Они должны уметь оценить его вклад в более широкой перспективе, выходящей за его рамки, трансцендентно при полном его сохранении и когерентности. Мы отвергаем теорию, претендующую на объяснение всего и вся, истину в последней инстанции, а на деле просто некую идеологию. Но сколь бы конкретными и ограниченными ни были наши индивидуальные исследования, мы вписываемся в общие ориентации, в концепции, которые выходят за пределы используемых нами простых инструментов и методов. Такие интеллектуальные механизмы, позволяющие увязать общий смысл, отдельные ситуации, проблемы, действия, которые мы изучаем, не лишая их при этом своего диапазона, не столь многочисленны, как можно было бы подумать. Вполне возможно, что в них прорисовываются конфигурации, не совпадающие с классическими границами наших дисциплин.

И, наконец, *пятый аспект*, имеющий большое значение для современных гуманитарных и социальных наук: они развиваются в мире, которому недостает крупных структурирующих конфликтов прошлого. Конец холодной войны в планетарном масштабе и закат рабочего движения как центральной фигуры в социальной и политической борьбе во многих странах лишили их двух принципов ин-

ституционализации конфликта. С тех пор вопрос о демократии стоит совсем иначе, чем противоположность тоталитаризму, и политическая мысль должна принимать в расчет угасание рабочего движения. Чисто социальные и социально-политические вопросы теперь менее значимы, чем культура, религия, этнос, их различия, личная и коллективная субъективность. В этом контексте насилие, война, терроризм более значимы, чем переговоры в рамках конфликта или регулирование различий. Не стали ли мы столь слепы и безразличны, что не замечаем появление новых и возрождения старых конфликтов? Должны ли мы отказаться от проникновения в суть и анализа зарождающихся и потенциальных конфликтов? Это вопрос, который мог бы затронуть как социальных, так и культурных и политических деятелей, а также исследователей межличностных отношений и функционирования психики.

В данной работе затрагиваются скорее вопросы общего характера, т. е. довольно абстрактные изменения парадигм, обобщение в социальных науках, вопросы, следующие из понятия субъекта и т. д., однако суть гуманитарных и социальных наук, состоящая в том, что они изучают чаще всего невзирая на дефицит теоретического единства, также конкретные проблемы, понятие коих значительно изменилось за тридцать лет. Например, всплеск ислама, а не только исламизма, а также возникновение протестантских церквей и сект заставляет нас переосмыслить модернизм, отныне понимая его не как триумф Просвещения над традициями, в том числе религиозными, а как проявление убеждений и идентичностей под нажимом права и разума. Или еще один вопрос. После 1980-х и 1990-х годов, когда стало можно говорить о «конце труда», мы обнаруживаем, что в личном опыте индивидов он имеет значение, причем, помимо эксплуатации, работник ощущает, что на работе он ущемлен даже с точки зрения физической и нравственной целостности, как попираемый и презираемый подданный, лишенный права творчества и самовыражения. Поэтому некоторые авторы этого издания решительно берутся за конкретные темы, а не только за парадигмы и поиски подходов.

Литература

1. Ferro M. Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier» Paris, 1981.

2. *Bloch M.* Apologie pour l'histoire. Le métier d'historien». Paris, 1949.
3. *Lévi-Strauss C.* Anthropologie structurale. Paris, 1958.
4. *Godelier M.* Métamorphoses de la parenté. Paris, 2004.
5. *Touraine A.* The Decline of the Social // Sociology and Ideology / ed. by Eliezer Ben-Rafael. Leiden, 2003. P. 41–52.
6. *Joas H.* La Créativité de l'agir. Paris, 1999.
7. *Vieviorka M.* La violence. Paris, 2005.
8. L'introduction aux sciences cognitives / Daniel Andler (dir.), Paris, 2004.
9. *Wallerstein I.* et al. Open the Social Sciences. Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford, 1996.
10. *Burawoy M.* For Public Sociology // Soziale Welt. Nr 56. 2005.

Н. В. Романовский

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ — ТЕНДЕНЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ РОСТА¹

Социология в современном мире находится — по формуле Международной социологической ассоциации — «в движении», состоянии неоднозначном. Растет число социологических изданий, ширится география исследований и преподавания, особенно в странах, для современной социологии относительно молодых: Россия, Китай, Индия, ряд арабских и африканских стран. Но в выступлениях отечественных и зарубежных авторов не перестают звучать нотки тревоги, озабоченность. В высказываниях такого рода приводятся три обстоятельства: состояние самой социологии, конкуренция, когда социологию теснят смежные науки (в частности, Э. Гидденс выделяет экономическую науку и социальную психологию [1: 4–5]), ресурсное обеспечение, частично связанное с фактором конкуренции. На уровне отечественной социологии в последние годы все заметнее сказывается смена поколений.

Основные положения в данной статье в значительной мере подсказаны практикой работы в журнале «Социологические исследования». В фокусе внимания редколлегии находятся новые явления в отечественной и мировой социологической мысли, поиск которых (и информирование о них читательской аудитории журнала) ведется на протяжении ряда лет. Для формирования тематики и обеспечения уровня публикуемых в нем статей жизненно важна надежная ориентация в процессах, происходящих в современной отечественной и зарубежной социологии. Конечно, выйти за пределы качественных характеристик притока поступлений в редакцию журнала («почта»), который имеет место в нашей стране в настоящее время, невозможно, даже с учетом переводов известных зарубежных авторов и адресных заказов статей по определенным темам. Однако и для работы с авторами поступающих статей и сообщений, при отборе текстов к публи-

¹ Статья Николая Валентиновича Романовского, доктора исторических наук, профессора, зам. главного редактора журнала «Социологические исследования», была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2011 г. (Вып. 8, с. 10–25). — Примечание отв. ред.

кации, при обращении к потенциальным авторам с «заказом», переводе иноязычных текстов и т. д. ориентация в происходящих в нашей науке процессах необходима. Эта работа ведется по двум направлениям — эмпирическому и теоретическому.

Первое, эмпирическое, направление представляет собой мониторинг, отбор, обсуждение, совершенствование (со стороны авторов) текстов, имеющих основания быть напечатанными, сопутствующие контакты с авторами и т. п. Подчеркну: речь не идет о «переписывании» авторских текстов, подгонке их под некие стандарты и т. п., этого нет. В редакции осуществляется мониторинг в интересах журнала (точнее читателей его) дисциплинарного научного поля современной международной и отечественной социологии. Интернет позволяет отслеживать содержание монографической продукции, ключевых периодических изданий в современном мире и в России, противоборство мнений по конкретным издаваемым продуктам и вокруг теорий, идей, подходов, «заглядов» членов международного социологического сообщества в будущее.

Через Интернет отслеживается книжная и журнальная продукция, выступления и сообщения на международных форумах социологов, выступления ныне живущих признанных лидеров социологии, а также претендентов на место среди ее классиков. Постоянно ведется отбор публикаций к печати, отслеживание процесса защиты докторских (по преимуществу) диссертаций, работа с авторами (своего рода интервью), разнообразные контакты с коллегами из академических институтов и вузов страны. Мы имеем также возможность развивать контакты с социологами ряда стран СНГ, постоянно выступающими на страницах нашего журнала. Все это позволяет формировать представление о сути происходящих процессов в социологии отечественной. На этом фоне самокритично ведется ежемесячная, по каждому номеру, оценка коллективом редакции всех публикуемых материалов.

Теоретическую составляющую данной работы можно представить как некий «идеальный тип» современной социологии (и состояние на сегодняшний день, и потенциал движения в завтра), в согласии с которым целесообразно строить доработку получаемых редакцией текстов, отбирать статьи для переводов и т. п. Такой подход дает возможность сравнивать с идеальной моделью развития социологической науки то, что в ней реально осуществляется усилиями многих

современных ученых — коллег и попадает в зону усилий редакции журнала. Из потока публикаций он позволяет выбирать те, в которых сказано новое слово в социологии, которые вносят вклад в социологическую науку, дают прибавление социологического знания по всем составляющим этого знания. На пути сравнительно-исторического анализа можно в известной мере понять, объяснить себе общие и частные проблемы современного этапа «повседневной» истории социологии. Представления об основополагающих процессах и конкретных «точках роста» социологической науки в нашей стране и за рубежом позволяют четче представлять себе практические проблемы работы в журнале.

Основным методом эмпирического исследования и накопления данных для предлагаемой ниже работы выступает качественный контент-анализ публикаций современных отечественных и зарубежных социологов. Один пример (кейс, так сказать) — подготовка к 40-летию создания первого отечественного академического исследовательского института в области социологии и 50-летия создания отечественной социологической ассоциации. Мобилизовав усилия коллег из разных регионов России, ведущих социологов страны, топ-специалистов по специальным социологическим дисциплинам, коллектив журнала смог опубликовать (сначала на своих страницах в 2008 г., а затем в виде коллективной монографии в Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя») подборку статей, в совокупности образовавших хрестоматию по основным направлениям развития российской (ранее советской) социологии как по предметному дисциплинарному полю, так и по географии отечественной социологии [2].

В ходе мониторинга состояния современной социологии и анализа истории нашей дисциплины был также выявлен и апробирован в рамках проектов, поддержанных РГНФ, потенциал исторической социологии в применении к процессам в самой социологии и в ее истории [3; 4]. Предлагаемый подход позволил соединить историю социологии с социологией современной путем выявления в прошлом и настоящем контуров и тенденций (процессов и «точек роста») реально формирующейся, будущей социологии. Попутно отмечу, что при таком подходе была выявлена некоторая искусственность механического, если не произвольного отделения «истории социологии» от «современной социологии», поскольку в рамках указанного подхо-

да развитие социологии предстало единым, не прерывающимся процессом.

Теоретическое ядро данной статьи представляет собой проведенные в последние годы исследования [4; 5]. Они позволили выявить и сформулировать (измерив путем опроса экспертов в области истории социологии) 15 факторов (детерминант) развития социологии за все время ее существования. Из них 10 — это факторы внутренние, относящиеся к динамике собственно социологии, а остальные (хотя их число, вероятно, можно увеличивать путем детализации) лежат вне социологической науки, в сфере общественного развития, динамики научного знания. На современном этапе в истории социологии не все из 15 факторов проявляются, по всей видимости, с равной значимой активностью. И ниже речь идет о тех из них, роль которых в реальном движении вперед мировой и отечественной социологии наиболее выражена, по мнению автора.

На первом месте среди детерминант роста социологии² находятся агенты в поле производства социологического знания — ученые. Их усилиями за последние два-три десятилетия в социологии осуществлен ряд новаций, суммарный обзор которых дает представление о масштабе и глубине произошедших за последние примерно 20 лет перемен. Коротко обозначу эти перемены.

В известной книге Дж. Ритцера о современной социологии обозначены некоторые интеграционные процессы в социологическом теоретизировании и социологическом знании [6: 100–103]: 1) интеграция макро- и микроуровней социологического теоретизирования. 2) количественных и качественных подходов в социологии; 3) агентности и структуры. К этому, на взгляд автора данной статьи, следует добавить: 4) интеграцию в общий ход развития социологии феминистских подходов (Ритцер подробнейшим образом политкорректно останавливается на них [6: 357–414]) в форме социологии гендерной и, что имеет отношение ко всему социологическому знанию, гендерного (gendered) подхода [7; 8: 30]. Здесь же: 5) интеграция временного (исторического) измерения (историческая социология) и 6) пространства. Возможно, 7) развивавшиеся постколониальные исследования тоже часть интегративных, по Ритцеру, процессов.

² Это подтверждено экспертными оценками упомянутых выше факторов и личными наблюдениями автора о динамике социологии в начале XXI века.

Примерно в эти же десятилетия социология оказалась затронутой более чем десятком «поворотов» (turns) (исторический, лингвистический, семантический, онтологический и др.). Речь идет о поворотах внимания ученых-социологов к ряду ранее упомянутого потенциала смежных наук, к новым аспектам социального знания, о видении новых исследовательских горизонтов. Это фактически тоже часть интеграции в социологическое знание, его обогащение новыми, полученными в других науках, данными и подходами. Содержательно «повороты» распадаются на, по меньшей мере, три группы. Онтологический, диалогический, отношенческий (relational) повороты и поворот к повседневности (everyday turn по П. Штомпке [9]) коснулись общенаучных, методологических перемен в подходах к сущностной, содержательной стороне социальных исследований, к их объекту и предмету. Другие отражают интерес к игнорировавшимся по разным причинам (главная среди них все же молодость нашей науки) ресурсам социологического знания: исторический (историческая социология), культурный (и явление «культуральной» социологии) повороты, поворот к памяти людей (memory turn), принявший форму «бума памяти» [10]. Нarrативный поворот затрагивает, в частности, прижившуюся и в социологии методику снятия эмпирической информации, в дополнение к анализу разговоров [6: 296–304]. Аффективный, лингвистический, прагматический, семиотический и этический повороты расширили, дополнили подходы социологов к пониманию «социального». Все вместе взятые повороты привели к значительному расширению междисциплинарных взаимодействий социологии. Заметно в этой связи обновились и стандарты работы членов социологического сообщества, включая подготовку нового поколения студентов и аспирантов.

В совокупности названные перемены («интеграции» и «повороты») способствовали подвижкам в социологической теории. Усилиями целого ряда видных современных социологов (преимущественно речь идет о новом тысячелетии) выдвинуты или развиты до нового уровня ряд теоретических концепций, парадигм (это понятие фигурирует в ряде приводимых ниже примеров), теорий. Приведу их предварительный «каталог», ответственность за возможную неполноту которого целиком лежит на авторе данной статьи:

1. *Культуральная социология* Дж. Александера;

2. «Креативное действие» Х. Йоаса [11; 12];
3. Реляционная социология [13];
4. Выдвинутая Р. Коллинзом теория «цепочек интерактивных ритуалов»³ [14];
5. Бруно Латур и Майкл Каллон сформулировали «теорию актор-сеть» [13; 15: 22–23];
6. Потенциал марксистской социологии (М. Буравой, Э. Олин Райт [16: 456–486]);
7. «Критическая социология», по-видимому, не утратила продуктивности [17];
8. Польский социолог П. Штомпка предложил «парадигму повседневности» [9];
9. Н. Эссер сделал попытку преодоления мультипарадигмальности [18].

Современная российская социология выглядит на этом фоне далеко не безнадежно. Ряд идей Ю. А. Левады, высказанных в конце 1950-х, близок к положениям культуральной социологии. На мой взгляд, О. Н. Яницкий [19] предложил более «сильное» (выражение Дж. Александера) прочтение «теории риска», чем у Бека и эпигонов. В. В. Волков сумел дополнить мысли М. Вебера и Р. Мертона о генезисе капитализма, показав, что не только этика и наука формировали его, но и «силовое предпринимательство» [20]. Заслуживают высокого теоретического статуса идеи монографии А. В. Жаворонкова [21].

Самостоятельным, значимым фактором современной социологии стали междисциплинарные взаимодействия социологии со смежными науками, прежде всего, конечно, но далеко не только, социальными, гуманитарными. Из истории известно мощное воздействие на социологию эволюционной биологии (Ч. Дарвин, Г. Спенсер) и психологической науки, географии. В последнее десятилетие взаимодействия особенно активно шли между социологией и политической наукой, экономикой, историей, социальной психологией [22: 3–13]. Круг наук, взаимодействие с которыми способно двигать вперед социологическое знание, шире. В апрельском номере журнала «Социологические исследования» (2011) вышла статья о влиянии

³ Interaction ritual chains — можно перевести и как «ритуальные цепочки интеракций».

гормона окситоцин на социальное поведение — отношение матерей к новорожденным [23]. Это перспективное направление («нейросоциология») роста социологической науки. Междисциплинарные обмены заметно умножили число специальных социологических дисциплин. Противоречивое и требующее внимательного к себе отношения, это явление позволяет видеть «точки роста» всего комплекса социальных наук, уточнять позиции социологов в практике взаимодействий со смежными науками.

Результаты подобных взаимодействий неоднозначны. Анализируя их, М. Доган⁴, в частности, останавливается на угрозах когерентности (целостности) дисциплинарного поля социологии, на растаскивании его возникающими «гибридами» и «исследованиями». Нередко эти взаимодействия сопровождаются болезненными (при встрече с возражениями) попытками добиваться для данного исследовательского поля статуса науки, еще одной, так сказать, «-логии». Все это значимо представлено и в отечественном опыте. Циркулируют идеи выделить как самостоятельные отрасли научного знания, наряду с полноправной (во всяком случае, мне не встречались возражения по этому поводу) конфликтологией еще «прессологию», «медиалогию» как изучение СМИ, «имиджелогию», «пиарологию». Редакции журнала приходится занимать позицию по поводу настойчивых попыток учреждения «рискологии». Не стал бы проблему сводить к конкуренции, или к институциональному эгоизму: в последние годы дистанцируется, по опыту работы журнала, от социологического «мейнстрима» военная социология и социологическая криминология и т. д. Но претенденты на статус особой науки эпистемологию и онтологию заимствуют у социологов (преимущественно), что девальвирует претензии на статус самостоятельной научной дисциплины.

Для современной отечественной социологии важность проблемы дробления исследовательского поля, попытки отвоевать дисциплинарный статус видятся в другом свете. Активно разрабатываемые поля специальных социологических дисциплин лишены пока выхода

⁴ М. Доган — французский научовед, специализирующийся в области социальных наук. О его статусе говорит учреждение Международной социологической ассоциацией «Премии Фонда М. Догана» за работы в области сравнительных или междисциплинарных исследований по общественным наукам. Н. Смелзер получил эту премию в 2002 г. В 2010 г. в Гетеборге ее вручили Дж. Александеру.

на социологическое теоретизирование, на метауровень социологии, на обогащение ее общетеоретического потенциала. В массе статей по специальным отраслям социологического знания (им соответствуют основные рубрики нашего журнала) выход на ступеньку «теорий среднего уровня» весьма редок. Это обстоятельство приходится констатировать при внутреннем рецензировании дисциплинарных рубрик журнала: богатейшие эмпирические данные по уникальным специфическим объектам исследования не сопоставляются, не обобщаются, не освещаются светом теоретической мысли. Особенно досадно это обстоятельство тогда, когда отечественные социологи (например, в случае этносоциологии) через межкультурные, межстратовые сравнения могли бы заметно обогатить мировую социологию именно на уровне теории: действие, взаимодействия, сознание, агентность (социальная активность личности), рациональность и др.

Перебирая факторы, детерминирующие в прошлом направления и темпы движения социологии вперед, останавливаешься на роли конфликта в социологии. Не надо быть приверженцем диалектики Гегеля, чтобы признать противоречия, порой в конфликтных формах, фактором развития социологической науки. Разломы и разделительные линии были и есть. Конт разошелся с Кетле по поводу «социальной физики», и мы стали социологами, не «социальными физиками». Дюркгейм полемизировал с Тардом, Вебер с «империалистами», «националистами», марксистами, Парсонс не любил Сорокина, последний платил ему той же монетой⁵; Гидденс опроверггал Парсонса; Александр полемизирует с Гидденсом; и т. д.

Особенно резкие споры в последние годы развернулись вокруг теории рационального выбора (ТРВ). Они шли лет десять, даже среди социологов Голландии, не самой нерациональной страны [24; 25; 26; 27; 28], а сложившийся полемический материал вышел отдельной книгой [29]. Для многих решительно неприемлемо само представление о современном обществе как рациональном продукте выбора граждан, индивидов. История нашей страны такие сомнения подтверждает. От рационального выбора Сталиным линии поведения накануне 22 июня 1941-го до сих пор веет могильным холодом. Судь-

⁵ Обращаю внимание на статью №№ 3 и 4 нашего журнала в 2011 г. М. Зафировского (США) [30], содержащую новые факты и льстящую самолюбию российских социологов нетрадиционно высокой сравнительной оценкой П. А. Сорокина.

бы России 1990-х тоже трудно понимать как выбор, тем более рациональный, и т. д.

Но столкновение столкновению рознь: А. Гоулднер замечает [31: 174–175]: именно П. А. Сорокин установил планку теории социологии, которую преодолел Т. Парсонс. Критика в адрес Парсонса стимулировала появление целого букета передовых для своего времени социологических теорий. Конфликты и научная полемика требуют ответов на спорные вопросы, выявления слабо проработанных мест в аргументации, требуют мобилизации доказательств, получения и интерпретации оригинальных эмпирических доказательств и т. п. Это форма проявления противоречий — стимул к развитию; это дискурс науки. Конфликт — стимул писать статьи, совершенствовать позиции в науке, проводить эмпирические исследования, поиски аргументации в социальной реальности. В случае с теорией рационального выбора достигнутое понимание по меньшей мере двух положений: неприемлемо считать результатом рационального выбора все и любые сложившиеся к настоящему времени (в период модерна) структуры, институты, социальные нормы и правила; в ряде сфер общественной жизни (о них в соответствующей секции конгресса в Гетеборге) теория рационального выбора продуктивна. Правда и то, что в таких случаях не обходится без резкостей. Дж. Александр по поводу ряда положений Гидденса высказался так: «Это совмещение герменевтики с возможностями и с мерой знания акторов — в принципе или в позднем модерне — глубоко искажает герменевтическую традицию в социальной теории и, что важнее, подрывает способность герменевтики обеспечить социологам эмпирически обоснованные выводы». Призыв М. Буравого (тогда президента Американской социологической ассоциации) «За публичную социологию!» вызвал резкие возражения, в ответ несогласные среди социологов США развернули кампанию «Спасем социологию!».⁶

Такого рода противоречия и конфликты — реальность отечественной социологии. К сожалению, они в наших условиях стали чаще принимать форму склоки или эпатажных выпадов, то по поводу защиты кандидатской диссертации, то манифеста доцентов-дика-

⁶ См. веб-сайт <http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/Savesociology/default.htm>.

рей, пришедшихся на две последние весны. Так сказать, новый метод двигать вперед социологию, методом скандала. После нулевого эффекта конфликта на социологическом факультете МГУ есть соблазн считать такую направленность протестных проявлений имеющей не только временную последовательность, но и каузальную логику. Эти эпизоды, на мой взгляд, отражают трудности в развитии отечественной социологии; возможно, всего комплекса наук об обществе в нашей стране в постсоветский период. Прежние регуляторы в лице кураторов отдела науки ЦК или управления общественных наук Министерства высшего и среднего специального образования СССР отсутствуют. Новые регуляторы, точнее, саморегуляторы в виде действенных и действующих научных ассоциаций, своего рода гражданское общество отечественной социологии, пока в таких ситуациях не действуют.

Сообществу российских социологов приличествует двигать вперед науку, скорее, через устранение имеющихся в нашей науке узких мест в профессиональной составляющей своей подготовки. Вернусь в этой связи к трудностям теоретического плана. Выделяется относительная скучность эмпирической базы многих публикаций — опираясь на характер почты журнала «Социологические исследования». В получаемых редакцией рукописях мало сопоставительных, сравнительных материалов, использования исторических сведений и аргументов, межстрановых, междисциплинарных сравнений. Низки математическая культура большинства отечественных социологов, знание доступных баз данных и их использование. В сумме имеем ту социологию, которую имеем: редко выходящую на уровень теорий при низкой интенсивности использования эмпирических данных. И об этом надо говорить всему сообществу отечественных социологов. Но говорить некому. Отсутствие эффективно действующей ассоциации социологов России, активно ставящей больные проблемы на обсуждение, этому препятствует.

Итак, налицо существенные подвижки — повороты, интеграции, трансдисциплинарные обмены, споры. К ним добавим революционную подвижку в сфере информационных технологий. На этом фоне, однако, качественные перемены в социологии на новом этапе ее истории никак не начнутся. Контуры социологии завтрашнего дня только угадываются в современных процессах. О чем здесь может вестись

речь? Для развития социологии, по всей вероятности, и для нового этапа ее истории по-настоящему потенциально перспективен фактор происходящих и накапливающихся подвижек в содержании современной эпохи.

Социология, начиная с появления на свет, получала сильнейшие импульсы развития именно из перемен и сдвигов в мировом социуме. Французская революция и наполеоновские войны дали миру Конта; становление капиталистической общественной формации — Маркса; реформаторство капиталистического строя на грани прошлого и по-запрошлого столетий — Дюркгейма и Вебера; «новый курс» Рузельта — Гэллапа и Парсонса; и т. д. На страницах журнала «Социологические исследования» отслеживались [32; 33; 34; 35] подвижки в социологии за пределами Северо-Атлантического региона (Западная Европа плюс США, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Многие социологи болезненно воспринимают нынешнюю ситуацию с распределением интеллектуальных и иных ресурсов международной социологии. Ее конфликтность (*West versus Rest*) отражают употребляющиеся в данной связи термины гегемония, зависимость, доминирование, неравенства, периферия-центр и т. п. [36]. И российские социологи могут задать вопрос: с кем мы? После Гетеборгского конгресса МСА (2010 г.) у С. Г. Кирдиной сложилось убеждение, что российской социологии целесообразно ориентироваться на страны БРИК⁷ [37].

Водораздел между западной и «незападной» социологиями не только конфликтен; в нем есть и потенциал развития нашей науки. На нем я и сосредоточусь ниже. Обращают на себя внимание приводимые в выступлениях социологов «Юга» эмпирические данные. Здесь и состояние обществ, и стоящие перед обществами и наукой задачи, порой в корне отличные от проблематики социологии Северо-Атлантического региона. Для стран глобального Юга (и для современной России) актуальны свои общественные и исследовательские проблемы. В ходе их освоения могут быть получены и уже добываются оригинальные данные, не попадавшие в поле зрения социологов с Севера. С учетом низкого уровня и стартовых условий жизни подавляющей части населения этих стран для них ключевую роль имеет проблема

⁷ Обращаю внимание на то, что в процесс формирования национальных социологий еще не втянулись заметным образом большинство арабских и в меньшей мере мусульманских стран.

темпов поступательного социального и экономического развития («социология развития»). Важные данные в этом плане в ходе реализации оригинальных стратегий развития получены социологами Латинской Америки, в странах, известных как азиатские тигры. Это теория «зависимости от колеи» (path dependence), остро актуальная для этих стран в связи с необходимостью разрыва с колониальным прошлым. А ведь это именно та зависимость, от которой («сырьевое проклятие», «нефтяная игла») намерена избавиться Россия. Эта теория попала в поле зрения научной общественности и российской власти, благодаря, в частности, усилиям А. А. Аузана, исследователя социально-культурных оснований современной экономики.

В ряде азиатских стран в решении задач развития удалось накопить определенный опыт социологической поддержки борьбы с коррупцией, фильтрации и выявления персонала, непригодного к работе на ответственных постах в экономике и обществе — «социология дураков» [38]. Классовый критерий, отношения патрон–клиент или патронаж в подборе лиц на ключевые общественные, политические позиции, что испытано и на горьком опыте СССР и России 1990-х, с развитием страны несовместимы. Социологи ЮАР еще со времен апартеида добывали эмпирические данные о процессах в отношениях сферы труда и производства: взаимодействия профсоюзов с работниками, собственников с управленцами, тех и других с работниками [32; 131–138]. Новое руководство ЮАР опирается на этот опыт в переходе («транзит») от одной системы к иной. Подтверждены данные о позитивной роли социальной мобильности для стабильности новых режимов при становлении новых власти и общественного устройства.

Привлекает внимание в перспективе открывающееся богатство и новизна эмпирических данных, которые может получить в свое распоряжение международная социология, исследуя данные общества. Правда, по всей вероятности, социология этих регионов стоит в начале пути к зрелости и возможности существенно влиять на процессы в мировой социологии. Но расхождения есть, и, возможно, созревание в неевропейской социологии внесет весьма существенные корректизы в основания (пока лишь угадываемые) социологической науки на ее новом историческом этапе развития.

Пусть экзотичны некоторые реалии общественного сознания (теорема Томаса) массы населения ряда народов Африки. Такова, на-

пример, вера в жизнь мертвцев, обычай советоваться с ними [34; 31]. Предложен оригинальный метод: извлечение социологического знания из устного народного творчества, преданий [39]. Этот путь, кстати, напоминает выявление отечественным историком XIX века В. О. Ключевским реального контекста житий русских святых. В материалах гетеборгского конгресса МСА (их авторы — социологи из стран арабского мира, Ирана, Турции, Японии, Китая, стран ЮВА) формирующиеся новые подходы вполне четко отразили доклады на терминологической секции (сессия 9). Приводившиеся здесь примеры («асабийя», «бао», «минь» и др.) показывают, что в языках и сознании ряда народов данных регионов есть специфические оттенки смыслов, которые следует учитывать традиционной социологии.⁸ Обращение к монографии о философских основаниях арабо-мусульманской культуры эту специфику подтвердило [40]. Есть значимые расхождения в понятийно-терминологическом и концептуальном аппарате, характеризующем понимание пространства и времени между арабской и европейской культурами. Точка в европейской математике служит основой образования линий и фигур, не имея своего пространственного измерения; человеку арабской культуры это трудно представить. Есть расхождения в содержательном наполнении и таких ключевых категориях социальной науки, как время, человек, сознание, рациональность и т. д.

В ряде случаев социологи из неевропейских стран «замахивались» на ряд основополагающих идей современной социальной науки: «модернизация» и «глобализация», положения Гегеля, Маркса, Вебера, не говоря уже о Парсонсе [41; 42]. Есть фундаментальные расхождения, например, в понимании типа современной рациональности. По поводу макдональдизации у Дж. Рицера есть даже зловещая шутка: «джихад — это ответ на “макмир”». Известны случаи неприемлемости для незападного мира сложившихся подходов к браку, семье, одежде, воспитанию и образованию и т. п. На этом фоне можно предвидеть масштаб усилий в целях понимания, объяснения, интерпретации данных, которые рано или поздно будут в массовом порядке вводиться в социологическое знание.

⁸ См., например, http://www.isa-sociology.org/congress2010/integrative_sessions.htm; <http://www.isa-sociology.org/congress2010/adh/index.htm>.

В складывающихся взаимодействиях традиционного лидера мировой социологии с ее периферией не хотелось бы видеть исключительно конфликтный потенциал. Во всяком случае, в социологии «столкновение цивилизаций» не обязательно считать неизбежным: иная социология возможна, как утверждает Д. Калекин-Фишман [15]. Не похоже и на то, что в незападном мире возникает именно противостоящая западной социология. Во всяком случае, попытки создания отдельной «автономной» (или, скажем, «исламской»⁹) социологии пока результата не дали.

Материал для дискуссий будет накапливаться по мере роста социологии вне западного мира. Следует ожидать вовлечения в научный оборот, прежде всего, новых эмпирических данных, которые постепенно накапливаются в незападных социологиях. Возможно, за анализом и осмыслением этих данных последуют корректизы и в базовых структурах современной социологии или всего комплекса наук «неточных». С учетом происходящего в мире демографического и экономического сдвигов такая перспектива представляется весьма вероятной. Российская социология с ее весьма развитой этносоциологической составляющей может сыграть в этом процессе заметную роль.

Сколько времени может занять такой транзит, в каких формах он будет происходить? Это зависит от социологов, социологических сообществ, от меры их осознанного энергичного участия в развитии своей науки. И в этой связи, на мой взгляд, заметную роль на предстоящем отрезке истории социологии может сыграть фактор общественной активности, ангажированности, гражданской позиции ученых. И сейчас от исследования публичных проблем, как показали события последних десятилетий, трудно отмахнуться даже режиму аятолл или коммунистов. Этому фактору в начале XXI века уделяется много внимания, что четко выразилось в выступлении тогдашнего (2004 г.) президента ассоциации социологов США М. Буравого «За публичную социологию!» и реакции на него социологической общественности.

Позиция М. Буравого получила широкую поддержку в американском и мировом социологических сообществах. На его призыв от-

⁹ В практике работы журнала приходилось полемизировать с авторами присыпавшихся в журнал текстов, где движущим мотивом было учреждение, например, христианской или протестантской социологии.

клинулась и российская социология [43; 44]. По-своему, не во всем по Буравому, в этом направлении действует М. Вивьёрка («социологическая интервенция» в социально значимые события), Дж. Александр выступает за всемерное наращивание потенциала гражданского общества; этой задаче он посвятил выступление на последнем конгрессе российских социологов. Оксфордский профессор Б. Флиберг критерий общественной ангажированности кладет в основу идентичности социальных и гуманитарных наук.¹⁰ Социологическое знание эмпирических проблем надвигающегося мира новых конфигураций способно подсказать политикам решения неизбежных на этом пути вопросов, включая конфликтные сценарии событий. Социология, начиная с О. Конта, ориентировалась на разрешение острых проблем современного общества. Ч. Р. Милле, классик «публичной» и всей социологии, писал как-то, что социальные науки «будут идти вперед, движимые высоким самосознанием работы над общественными проблемами» [45: 234]. Нет и у новых поколений социологов оснований искать иные пути развития науки и точки приложения личных усилий.

Литература

1. Гидденс Э. К социологическому сообществу! // Социологические исследования. 2007. № 9.
2. Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы / под ред. В. И. Жукова, М. К. Горшкова, Г. В. Осипова, Ж. Т. Тощенко. СПб.: Алетейя, 2010.
3. Романовский Н. В. Социология: детерминанты перемен // Социологические исследования. 2009. № 12.
4. Романовский Н. В. История социологии. Опыт изучения факторов развития // Социологические исследования. 2010. № 10.
5. Романовский Н. В. Социология и история: перспективы взаимодействия // Вестник РГГУ. Серия Философия. Социология. М., 2010. № 3(46) / 10.
6. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. М., СПб., 2002.
7. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, 1999.

¹⁰ Проф. Флиберг предоставил журналу «Социологические исследования» ряд работ на эту тему; ведется их подготовка к публикации.

8. *Alexander J., Reed I.* Social science as reading and performance: A cultural-sociological understanding of epistemology // European Journal of Social Theory 2009. Vol. 12. No. 1.
9. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии // Социологические исследования. 2009. № 8.
10. *Berliner D. C.* The Abuses of Memory: Reflections on the Memory Boom in Anthropology // Anthropological Quarterly. Vol. 78. No. 1, Winter 2005.
11. Йоас Х. Действие — это состояние, в котором существуют люди в мире // Социологические исследования. 2010. № 8.
12. *Joas H.* The Creativity of Action. Chicago: Univ. of Chicago press. 1996.
13. *Mützel S.* Networks as Culturally Constituted Processes: A Comparison of Relational Sociology and Actor-network Theory // Current Sociology. 2009. Vol. 57. No. 6.
14. *Collins R.* Interaction ritual chains. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
15. Калекин-Фишиман Д. Иная социология возможна — в зависимости от содержания понятия «иная» // Социологические исследования. 2009. № 7.
16. *Burawoy M., Wright E. O.* Sociological Marxism // Handbook Sociological Theory. Ed. by J. H. Turner. New York, 2002.
17. *Sayer A.* Who is afraid of critical social science // Current Sociology. 2009. Vol. 57. No. 6.
18. Романовский Н. В. Мультипарадигмальная социология — auf Wiedersehen? // Социологические исследования. 2005. № 12.
19. Яницкий О. Н. Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии. М., 2009.
20. Волков В. В. Силовое предпринимательство. М., 2002.
21. Жаворонков А. В. Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967–2004 годы. М., 2007.
22. Доган М. Социология среди социальных наук // Социологические исследования. 2010. № 10.
23. Шкурко А. В. На пути к нейросоциологии // Социологические исследования. 2011. № 4.
24. *de Swaan A.* Rational choice as process: the uses of formal theory for historical sociology // Netherlands Journal of Social Sciences. 1996. Vol. 32. No. 1.
25. *Gouldsblom J.* Rational and other choices. Comments on rational choice model // Netherlands Journal of Social Sciences. 1996. Vol. 32. No. 1.
26. *Green D. P., Shapiro I.* Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science. New Haven, 1994.
27. *Kiser E., Hechter M.* The debate on historical sociology: rational choice theory and its critics // American Journal of Sociology. 1998. Vol. 104. No. 4.

28. *Boudon R.* Beyond rational choice theory // Annual Review of Sociology. 2003. Vol. 29. No. 1.
29. The Rational Choice Controversy in Historical Sociology. Ed by R. Gould. Chicago, 2005.
30. Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание социологической теории (части 1–2) // Социологические исследования. 2011. № 3, № 4.
31. Гоупднер А. Грядущий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003.
32. *Wiebke K.* Counterhegemonic currents and internationalization of sociology. Theoretical reflections and an empirical example // International Sociology, 2011. Vol. 26 (1).
33. Заиди А.Х. Ислам и диалог в науках о человеке. Критический аспект не-понимания // Социологические исследования. 2008. № 8.
34. Матсинье М. Поиск методологических альтернатив // Социол. след. 2008. № 5.

Г. Е. Зборовский

ПРОБЛЕМЫ ЗНАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ¹

Интерес к проблеме знания в социологической науке существует ровно столько, сколько существует сама эта наука. Особенно легко это доказать, если считать ее исходным пунктом концепцию социологии, предложенную О. Контом. Не случайно многие социологи не только XXI, но XX и даже конца XIX века считали, что Конт дал социологии и имя, и программу. Мы занимаем такую же позицию, ведя отсчет социологии от его творчества.

Как известно, именно он уделял очень большое внимание особенностям социологического знания, характеризуя его как знание позитивное. В работе «Дух позитивной философии» он говорил о нескольких значениях термина «позитивное знание»: оно означает реальное в противоположность химерическому, полезное в противоположность негодному, достоверное в противоположность сомнительному, точное в противоположность смутному, положительное в противоположность отрицательному [1; 39–40].

Мы не собираемся далее вдаваться в историко-социологический экскурс, касающийся взглядов на социологическое знание и его особенности. Его исследованию следует посвятить не одну статью, а, вероятно, ряд монографий. И даже в этом случае можно усомниться в том, что поставленная задача будет успешно решена. Обращение же к Конту с нашей стороны преследовало только одну цель: показать, что проблема знания в социологии так же первична и фундаментальна, как проблема общества, его структуры, общественного сознания, социального действия и ряд других, основополагающих для социологической науки проблем, которые были выделены и рассмотрены ее классиками.

Вместе с развитием социологической науки расширялось и углублялось представление о социологическом знании, или знании в со-

¹ Статья Гарольда Ефимовича Зборовского, доктора философских наук, профессора, одного из ведущих российских ученых в области социологии образования, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2011 г. (Вып. 8, с. 39–60). — Примечание отв. ред.

циологии. Мы умышленно ставим здесь знак равенства между ними, и только потому, что будем дальше использовать эти термины в тождественном значении. При этом мы отдаём себе отчет в том, что знание в социологии предполагает использование и включение в него как социологического в строгом смысле слова, так и иного, несоциологического (философского, исторического, экономического, культурологического, правового и др.) знания. В этом отношении знание в социологии шире, чем знание самой социологии (социологическое знание).

Изменяясь по мере перехода от одного этапа развития социологии к другому, от одной парадигмы и метапарадигмы — к другой, социологическое знание приобретало новые качественные характеристики усложняясь структурно, давало основания для появления в нем классификаций и типологий. Первая и наиболее важная среди них, до сих пор во многом определяющая функционирование социологической науки и разделение труда в ней, базировалась, по нашему мнению, на дифференциации социологического знания, включающей выделение в нем теоретической и эмпирической составляющей.

Известно, что классический этап развития социологии означал доминирование в ней теоретического знания. В рамках этого этапа социология развивалась как теоретическая социология. Эмпирические исследования, которые являются базой для появления эмпирического знания социологии, в течение XIX — начала XX века проводились по случаю, были нерегулярными, спорадическими, достаточно примитивными по организации проведения, не содержали сколько-нибудь серьезного научно-методического обоснования и инструментария. Они объективно не могли служить основой для получения достоверного социологического знания.

Только работы представителей Чикагской социологической школы в 1920-е гг. знаменовали собой реальное появление нового вида знания в социологии — эмпирического. Тогда и возникли те его атрибуты, без которых представить себе этот вид знания просто нельзя. Эмпирическое социологическое знание связано с получением конкретной, развернутой информации относительно тех или иных явлений и процессов. Оно опирается на статистический анализ, предполагает в качестве обязательного компонента проведение эмпирического исследования на основе специально составленной его программы, использования соответствующих методов сбора информации

(различных видов опросов, изучения документов, социологического наблюдения и др.) и ее обработки.

Эмпирическое социологическое знание возникло тогда, когда без него дальнейшее развитие теоретического знания оказалось проблематичным, а может быть, даже невозможным. Для выводов, обобщений, создания теорий и парадигм была необходима не просто конкретная информация по тем или иным проблемам. Понадобился особый тип научного мышления, базирующегося на умении собрать эту информацию, должным образом обобщить, систематизировать и проанализировать так, чтобы были увиденными новые проблемы и обстоятельства социального бытия, а также способы их изучения и решения.

В этом отношении представляет интерес вопрос о том, почему эмпирическое социологическое знание впервые сформировалось в целостном виде и продемонстрировало свои возможности именно в США. Ответ на него связан с выявлением причин «американизации» эмпирической социологии в первой половине XX века, того, что именно эта страна стала ее родоначальницей. Среди причин общего характера в первую очередь нужно назвать высокие темпы американского экономического развития в начале XX века, обусловленные, в числе многих факторов, и тем, что США не участвовали в Первой мировой войне. Для страны были характерны бурная индустриализация, мощная концентрация капитала, стремительная урбанизация, массовая иммиграция, рост материального благосостояния населения и его увеличивающаяся дифференциация. Все это, наряду с позитивными достижениями, вызывало большое количество конкретных, локальных проблем, к решению которых стремились подключиться самые разные социальные и интеллектуальные силы. Одной из них оказалась эмпирическая социология.

Но были и иные причины «американизации» эмпирической социологии, инициировавшие активное развитие эмпирического социологического знания. Быстрому прогрессу эмпирической социологии и успешной «вживаемости» ее в ткань американского общества способствовало сильное влияние идеологии и философии pragmatizma и инструментализма, акцентировавших внимание на практической стороне любой деятельности, которая должна была привести к достижению полезных и измеряемых эффективных результатов. Имен-

но это направление исследований было характерно для эмпирической социологии. На ее базе и стало формироваться эмпирическое социологическое знание.

Возникнув как особый вид знания, оно постепенно начало оказывать усиливающееся влияние на теоретическое знание и стремиться к абсолютизации собственной роли. Это воздействие проявилось в отрыве от теоретического знания и в провозглашении результатов эмпирических исследований наиболее достоверными и научными; в увлечении математическими методами и в поистине слепой вере в их безукаризменность; в отказе от крупных теоретических обобщений; в увлечении чисто социологическими методами исследования и в недооценке общенациональных; в сведении любой научной социологии к эмпирической, в отождествлении с ней.

В конечном итоге все это привело к противостоянию двух базовых видов социологического знания, противостоянию, которое про должалось без малого полвека, да и сейчас, вероятно, не изжито до конца. По нашему мнению, большую (а возможно, и решающую) роль в его преодолении сыграла теория среднего уровня Р. Мертона, оформленная середине — второй половине XX века. Одно из ее основных предназначений состояло в том, чтобы построить мост между теоретическим и эмпирическим социологическим знанием. Впрочем, разговор о создании мостов в социологическом знании ещё впереди.

Рассмотренная типология знания, ставшая первой, оказалась далеко не единственной в социологии. Не вдаваясь в подробную характеристику иных типов социологического знания, просто назовем их: фундаментальное и прикладное, метасоциологическое, макросоциологическое и микросоциологическое, отраслевое и др. Понятно, что этот ряд нельзя считать законченным, и по мере своего развития социология каждый раз обращается к новому типу (виду) знания. Для нас в данной статье особое значение будет иметь типология социологического знания, включающая такие две его разновидности, как научное и повседневное (часто называемое обыденным и житейским) знание. Более того, вид знания, занимающий промежуточное положение между ними и характеризуемый нами как образовательное знание, станет предметом специального рассмотрения.

Как известно, в системе социологии существует возникшая в конце 1920-х гг. особая отрасль, представители которой изучают ком-

плексно проблематику знания. Она является одной из самых первых и ранних в структуре этой науки. Одним из основателей отрасли и ученым, давшим ей имя «социология знания», был М. Шелер, который внес большой вклад в ее конституирование и разработку. О его взглядах на знание как предмет социологического анализа в связи с рассматриваемой нами проблемой далее будет специально сказано.

Значительную роль в появлении и развитии социологии знания сыграл К. Мангейм, который сосредоточил свои интеллектуальные усилия на доказательстве его социальной детерминации. Он выступил за пересмотр традиционного для периода первой трети XX столетия тезиса об абсолютном отсутствии связи между истинностью какого-либо знания и его социальным контекстом.

Виднейший представитель социологии знания Р. Мертон, обращаясь к содержанию понятия «знание», считал, что его следует интерпретировать в рамках социологической характеристики чрезвычайно широко, как включающее в себя «практически всю гамму продуктов культуры». Исходя из этого, Р. Мертон полагал, что социология знания «интересуется, прежде всего, отношениями и взаимосвязями между знанием и другими факторами, существующими в обществе и культуре» [2: 456].

Понятно, с учетом позиции Р. Мертона, что социология знания ориентируется на предельно широкое толкование понятия знания, которое включает в себя социокультурный контекст его функционирования. Этот подход, как нам представляется, является оптимальным для исследования поставленной в статье проблемы образовательного знания и ориентирует на выявление связи между образованием как частью культуры и знанием, составляющим его содержание.

Как известно, в самом общем виде знание — это соответствующим образом обработанная, зафиксированная и усвоенная информация об окружающем мире и самом человеке. Традиционная трактовка знания сводится к тому, что оно является собой проверенный практический результат познания действительности, отражение (с разной степенью достоверности) в сознании человека объективных свойств и закономерностей изучаемых процессов и явлений окружающего мира.

Знание выступает объектом социологического анализа, пребывая в самых разных своих видах: донаучном, научном, мифологическом,

религиозном, эмпирическом, теоретическом, практическом, художественном, обыденном (житейском) и т. д. Знания одних «видов знания» можно получить только из книг и Интернета (к примеру, научное, теоретическое), других — как из них, так и в ходе социального либо межличностного взаимодействия (религиозное, художественное знание), третьих — на основании практических действий (эмпирическое, практическое знание), четвертых — в рамках влияния традиций и обычаев (знание норм поведения) и др.

В современной социологии знания можно выделить две линии, одна из которых связана с изучением специализированного (в том числе научного), другая — обыденного, житейского знания. В последние несколько десятилетий лет вторая линия стала (или становится) доминирующей по ряду причин, в том числе и потому, что житейские знания, основывающиеся на здравом смысле и обыденном сознании, являются важной ориентационной основой повседневного (регулярного) поведения человека.

С этой точки зрения представляют интерес трактовки знания как совокупности того, что каждый знает о социальном мире: правила поведения, моральные предписания, принципы, верования, пословицы, умения, навыки, способы деятельности и т. д. Если обратиться к феноменологической социологии, то ее представители П. Бергер и Т. Лукман под знанием понимают, прежде всего, повседневное знание, а им они считают такое «знание, которое я разделяю с другими людьми в привычной самоочевидной обыденности повседневной жизни» [3: 44]. В другом месте книги «Социальное конструирование реальности» они пишут: «...такое знание составляет мотивационную динамику институционализированного поведения, ... Знание об обществе является ... реализацией в двойном смысле слова — в смысле понимания объективированной социальной реальности и в смысле непрерывного созидания этой реальности» [3: 110–111]. Связанное с таким подходом направление научных исследований дает новый ракурс в изучении содержания образования как освоения повседневного знания.

Известно, что существует достаточно большое количество определений и сущностных трактовок знания. Значительный их диапазон обусловлен множеством причин: сложностью самого феномена, наличием целого ряда наук, глубоко занимающихся его изучением (философия, психология, педагогика, социология, экономика, исто-

рия, право и др.), трансформациями общества и перехода к его новому состоянию или даже типу — обществу знания, в котором знание должно играть решающую роль в его жизни, и т. д. Отсюда — большое количество классификаций и типологий знания. При этом время от времени происходит смещение интересов от одного вида знания к другому, в зависимости от того, каким оказывается социальное и индивидуально-личностное значение того или иного из них.

По нашему мнению, сейчас, в силу ряда обстоятельств (о них будет сказано чуть ниже), актуализируется проблематика такого вида знания, которое мы, вслед за М. Шелером, называем образовательным. Оно и составляет, как уже отмечалось выше, предмет нашего интереса в данной статье. Сразу отметим: несмотря на то, что термин «образовательное знание» заимствован нами именно у М. Шелера, смыслы и значения, которые мы вкладываем в это понятие, совершенно иные. Да и постановка проблемы и задач анализа имеет не много общего с тем, что мы находим у немецкого мыслителя. Кроме того, Шелер писал не вообще об образовательном знании, а об образовательном знании философии. В нашей же статье дальше речь пойдет и об образовательном знании в целом, и об образовательном знании социологии.

Впервые мы обратились к проблеме образовательного знания 15 лет назад [4]. Тогда образовательное знание трактовалось нами как особый вид знания, не являющегося ни научно специализированным, ни обыденно-житейским. Знание, которое транслирует педагог (учебник) и интериоризирует учащийся, не является в полной мере научным, поскольку требует некоторого «упрощения», редукции, адаптации. В то же время оно содержит в себе черты обыденного, доступного знания и, что особенно важно, соответствующего ему языка, с помощью которого образовательное знание транслируется учащимся [4: 14]. Не трудно обнаружить, что для определения понятия «образовательное знание» использовался принцип «Definio per negatio» (лат. — определение через отрицание). Конечно, это был не лучший способ трактовки ключевого понятия. Но тогда проблема лишь ставилась, а главной задачей считалось обратить внимание на необходимость ее изучения.

Сегодня ситуация меняется, и не только на теоретическом, но и на практическом уровне решения проблемы. Речь идет об образова-

тельном знании во многих науках, в том числе, что особенно для нас важно, в социологии. Об этом свидетельствует появление большого количества учебников и учебных пособий, энциклопедий и словарей самой разной направленности. Специально нужно сказать о большой популярности социологических материалов в сети Интернет.

Прежде чем анализ коснется сформулированной в статье конкретной проблемы образовательного знания, хотелось бы вначале представить общее понимание знания как предмета социологического исследования, а затем — соответствующую позицию М. Шелера, которая для нас была определенным толчком к изучению проблемы. Для самой общей характеристики знания мы используем некоторые философские и социологические словарные и энциклопедические его трактовки. Так, в одном из изданий под знанием понимается информация об окружающем мире и самом человеке. При этом знание противопоставляется незнанию — отсутствию такой информации, и определяется как «заяфиксированная информация, которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека объективные свойства и закономерности изучаемых объектов, предметов и явлений окружающего мира» [5: 299]. В другом философском словаре (энциклопедическом) знание трактуется как проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Знание фиксируется в форме знаков естественных и искусственных языков [6: 192]. На уровне схожих трактовок представлено знание в социологических словарях и энциклопедиях [7: 73–81].

Целый ряд авторов, работающих в области философии и социологии знания, предлагают довольно детальную классификацию знаний, как с точки зрения выполнения ими своих многообразных функций, так и в плане реальных предназначений каждого из его видов. Так, американский исследователь Ф. Махлуп выделяет пять основных типов знания:

- 1) практические (полезные) знания, нужные и в работе, и в быту;
- 2) бесполезные и развлекательные знания (слухи, шутки, игры и др.);

- 3) интеллектуальные знания, направленные на удовлетворение творческой любознательности человека;
- 4) духовные знания — о религии, боже, спасении души, морали;
- 5) нежелательные знания — те, что оказывается вне сферы интересов и целей человека [8].

В этой классификации нетрудно обнаружить отсутствие единого логического основания. В одном случае в качестве критерия выступает полезность / бесполезность / вредность знания, в другом — его интеллектуальный или духовный характер.

В отечественной науке выделим точку зрения Л. Н. Москвичева, который рассматривает знание, прежде всего, сквозь призму его широкого и узкого понимания. В широком смысле оно предстает как знание законов природы, знаков и символов вообще, т. е. это то знание, которое приобретается из учебников или научных книг. Сюда социолог относит многочисленные виды и формы знания, касающиеся повседневной жизни, традиций, религиозных верований, ритуалов, сообщений СМИ и т. д., даже прогноза погоды. Нетрудно обнаружить, что здесь речь идет, по существу, о том виде знания, которое можно определить как образовательное. Весь вопрос в том, всякое ли знание, которое получает человек, целесообразно называть именно так. В узком смысле под ним понимается знание, полученное научными методами, обоснованное логически, экспериментально или практически. «Элементы такого знания, — пишет Л. Н. Москвичев, — люди получают в процессе образования, и чем выше уровень образования, тем большим объемом таких знаний располагает человек, но тем меньшее количество людей им обладают» [7: 73].

Классифицируя знание, Л. Н. Москвичев рассматривает его в качестве фактора самых различных проявлений жизнедеятельности людей: как продукт человеческого общения, как социальный продукт; как фактор человеческого поведения и любой активной (производственной, научной, общественной и т. д.) деятельности; как непосредственную производительную силу общества; как фактор власти человека над человеком, человека над природой, одной социальной группы над другой; как фактор социальной стратификации и как структурообразующее начало в современном постиндустриальном (информационном) обществе.

Многие авторы рассматривают знание с позиций выделения в нем двух основных «структурообразующих» начал: научного и обыденного. К ним зачастую добавляют образное (получаемое через литературу и искусство), мифологическое, фиктивное (основанное на теологии и богословии) знание. Важным для социологии является выделение индивидуального и коллективного знания (часто называемого коллективным представлением). Немалое значение для социологии приобретает социальное знание.

В связи с выделением последнего в качестве особого вида знания приведем точку зрения В. Д. Плахова на него. Под ним автор понимает «знание субъектом связей и процессов, составляющих содержание социальной системы (социальных систем), их законов и закономерностей, а также последствий нарушения этих законов и закономерностей (что, собственно, и инициирует должное поведение)» [9: 112]. Далее В. Д. Плахов предлагает типологию форм социального знания, включая в нее: антинаучное знание (пример — религиозное знание); ненаучное знание с элементами научной диффузии (пример — знание, содержащее беспорядочные научные представления, что характерно для массового сознания); научно-популярное знание (пример — знание, распространяемое лекторами, комментаторами, журналистами и др.); строго, или собственно, научное знание (пример — знание комплекса социальных наук, включая социологическое) [9: 118].

Переходя к характеристике трактовки знания М. Шелером, отметим, что он рассматривает его как ценностный феномен, выделяя три его «высших рода»: знание ради господства, или деятельностьное знание позитивных наук; знание ради образования, или образовательное знание философии; знание ради спасения, или религиозное знание. Для краткости Шелер называет их: позитивное, метафизическое и религиозное знание. Они различаются между собой по социальным формам, мотивации, познавательным актам, целям познания, образцовым типам личностей, формам исторического движения [10: 137–139].

Так, с точки зрения познавательных актов, первый род знания (позитивное, деятельностьное) характеризуется наблюдением, экспериментом, индукцией, дедукцией, второй (метафизическое, образовательное) — созерцанием, познанием сущности путем усмотрения, третий (религиозный) — верой, страхом, надеждой, любовью. С точ-

ки зрения образцовых типов личностей, первый род знания требует исследователя, второй — мудреца, третий — святого.

Говоря о социальных формах каждого рода знания, Шелер считает, что для позитивного знания существуют учебные и исследовательские учреждения, более или менее тесно связанные с техническими и промышленными организациями, профессиональными сообществами (юристов, врачей, ученых, государственных чиновников). Для создания и распространения образовательного знания предназначены «школы мудрости» (в античном смысле) и образовательные сообщества, которые связывают воедино учебную, исследовательскую и жизненную практику своих членов и которые сообща признают какую-либо относящуюся к мирозданию систему идей и ценностей. Для религиозного, целительного знания существуют общины, церкви, секты, теологически объединенные направления мысли [10: 135–143].

Как пишет М. Шелер: «Все эти формы, каждая на свой лад, разрабатывают доктрины, принципы, теории в таких формулировках, которые, возвышаясь над естественным языком, составляют сферу “образовательного языка”, выражаются в “искусственных” знаковых системах в соответствии с сообща признаваемыми ими конвенциями измерения и определенной “аксиоматики”» [10: 138].

Каждый из трех названных выше родов знания не сводим к другому, он существует, «заложен» в самой природе человека. Идея М. Шелера состоит в том, что имеется определенное внутреннее средство между данным типом знания (научно-позитивное, метафизическое, религиозное), типом его носителя (ученый, исследователь; мудрец, мыслитель, философ; провидец, святой) и типом (формой) организации (школа в современном смысле, исследовательский институт; школа мудрости в античном смысле; церковь или секта). Типология знания М. Шелера выступает основой классификации образовательной и самообразовательной деятельности, выявления социальных механизмов их осуществления.

Теперь перейдем непосредственно к проблеме образовательного знания. В чем причины ее актуальности сегодня? На наш взгляд, их несколько.

Начнем с того, что прослойка людей, стремящихся к самостоятельному производству нового знания, становится все более тонкой и незначительной. Связано это с тем, что создание (производство) но-

вого знания, занятие наукой становится невероятно трудоемкой деятельностью, требующей большого напряжения сил и колоссальной внутренней отдачи. Известный американский психолог Дж. Брунер пишет, что «у современной молодежи понятие “наука” часто связывается в сознании с чем-то сложным, холодным и бездушным». В связи с этим он говорит о том, что «важно не только знакомить молодежь с готовыми результатами науки, но и показывать, что сама наука является важнейшим полем деятельности человеческого духа, существенным элементом человеческой культуры» [11: 61].

В плане сказанного понятно, что гораздо легче воспользоваться в жизни научным знанием, созданным другими людьми, чем самим участвовать в его производстве. Однако интерес к образовательному знанию вызван не только данным обстоятельством, но и важностью использования именно этого знания для профессионального выбора и становления, успешной адаптации к конкретным сферам социальной реальности, самореализации и др.

По существу, в самом факте такого интереса находит свое отражение наличие разных познавательных стратегий, которыми пользуются люди, точнее, группы людей (в рамках разных социальных общностей). Одни из этих стратегий имеют преимущественно интерпретационный, другие — преимущественно объясняющий характер. Традиционно социальное и гуманитарное знание было принято идентифицировать со стратегиями первого рода, тогда как естественнонаучное знание рассматривалось в рамках действия стратегий второго рода. В последнее время есть основания считать, что происходят некоторые, пусть и незначительные, изменения. Они касаются того, что в социально-гуманитарном знании все чаще наблюдается стремление к объясняющим стратегиям, которое несет в себе как его научная, так и образовательная составляющая.

Для того чтобы воспользоваться образовательным знанием, им необходимо обладать не только на уровне индивида, но и на социальном уровне, то есть его нужно в обществе создавать. Такое препарированное для использования знание требует соответствующей «упаковки» и «доставки». Оно должно быть доступным и отвечать целому ряду других условий: представлять интерес, приносить пользу его потребителям, формировать ориентации и установки на занятия наукой и культурой и др.

Важным становится вопрос о том, какие общественные функции выполняет образовательное знание. Главной среди них является, по нашему мнению, встраивание (с помощью этого знания) образования и человека в культуру, рассмотрение его в широком социокультурном контексте. Существенное значение в этой связи приобретает понимание противоречивости образования как феномена, с одной стороны, консервативного (по своей природе), с другой — вынужденного (должного) улавливать происходящие изменения. С этой точки зрения, образование следует рассматривать как механизм передачи знаний и культуры, весь вопрос состоит в том, насколько оптимально и эффективно он работает.

Здесь необходимо специально отметить, что если образование на основе транслируемого им знания рассматривает себя только в качестве инструмента научной и культурной репродукции, то оно рискует превратиться в средство «стагнации, гегемонии и традиционализма» (Брунер). Это, собственно, и есть его консервативная сторона, которая, по нашему мнению, сегодня доминирует в России. Проблема в том, как использовать образовательное знание в процессе его конструирования и приобретения субъектами образования для формирования их креативных качеств.

Эффективная модель приобретения образовательного знания направлена против довольно распространенного «банковского» подхода к нему. Его сторонники характеризуют трансляцию знания как акт размещения информационных вкладов, в процессе которого учащиеся представляют собой хранилища, депозитарии, а преподаватели играют роль вкладчиков, депозиторов. В этом случае образовательное знание рассматривается как подарок, которым те, кто считает себя способными знать, одаривают тех, кого они считают не знающими ничего.

Характеризуя «банковский» подход к образованию и образовательному знанию, П. Фрейре [12] полагает, что его применение не способствует разрешению противоречий между педагогом и учащимся, а по существу, между собственно знанием и субъектом образования. Само образование должно носить освобождающий характер и состоять не из передачи информации, а из актов познания на основе равенства позиций основных субъектов образовательного процесса, который в состоянии обеспечить эффективность передачи и восприятия знания этими субъектами.

Нам представляется, что требования к образовательному знанию со стороны его субъектов-потребителей в последние годы значительно снизились, в результате чего оно само стало приобретать вид «шагреневой кожи». Чем менее спрос на него, тем больше оно «скучоживается», становится ограниченным. Возникает проблема функционирования образовательного знания в обществе. Сам процесс его приобретения заметно видоизменяется в сторону не только облегчения труда по овладению этим знанием, но и его самого. Когда студенты не хотят читать солидные учебники и монографии, а предпочитают им конспекты лекций, своего рода «дайджесты», найденные в Интернете своеобразные симулякры серьезных работ — это шаг в названном направлении. По существу, речь идет о редукции образовательного знания, доходящей до крайних примитивистских форм, что является его дисфункцией. Таких студентов становится все больше, поскольку заметно снижается мотивация на получение образовательного знания.

Как показывают многие исследования, в том числе и наши, реально стремящихся к получению знаний и способных к этому сегодня (могут и хотят учиться) не более 15–20 % от общего количества студентов. В этом убеждает даже визуальная фиксация — в обычной академической группе (элитные вузы мы не берем) таких студентов в среднем 4–6 человек. Мы разделяем точку зрения Л. Д. Гудкова, который пишет: «...если обратиться к данным опросов Левада-Центра,² самой серьезной проблемой российского образования респонденты чаще всего называли «отсутствие интереса к учебе» [13: 36]. Далее автор отмечает, что «лишь для 10–15 % населения (и молодежи) ориентация на получение высококачественного высшего образования не просто декларируется, но и сопровождается реальными усилиями как по подготовке к поступлению в вуз, так и последующими усиленными занятиями в процессе учебы...» [13: 37].

Возникают своего рода сообщающиеся сосуды: ниже мотивация — ниже требования к знанию. Вслед за этим снижается уровень требований субъектов образовательного знания, его создателей — к ученикам, студентам и к самим себе. Это и есть «шагреневая кожа» образовательного знания. А отсюда и путь к снижению траектории

² Современное российское законодательство требует указывать, что АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента». — Примечание отв. ред.

познавательной стратегии, вплоть до стратегии научного знания, которое тоже оказывается, в конечном счете, «заложником» образовательного знания. Чем ниже его уровень, тем меньше вероятность, что люди, им овладевающие, будут стремиться к занятиям производством научного знания. Таким образом, мотивация становится элементом механизма функционирования и воспроизведения образовательного знания. Само же оно превращается в социальный феномен, встроенный в систему общества. Здесь нельзя не вспомнить К. Манхейма, который много писал о социальной обусловленности знания и о том, что оно выступает частью общего социального прогресса [14].

Категория «образовательное знание», как явствует из ее этимологической характеристики, предполагает наличие двух взаимосвязанных терминов-понятий — образования и знания. Связь их определяется, в самом первом приближении, единством образования и знания, предполагающим рассмотрение первого как формы, второго — как ее содержания. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько образование может рассматриваться в качестве хорошо налаженного механизма передачи знаний. Ответ на этот вопрос не является простым и однозначным. Он зависит от целого ряда факторов, одни из которых относятся к качеству образования, другие — к качеству создаваемого и приобретаемого знания. В конечном итоге и те и другие факторы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, а результатом их взаимодействия, равнодействующей своего рода параллелограмма сил становится определенным образом подготовленная к выполнению социальных и профессиональных функций личность.

Понятие образовательного знания имеет важное значение для анализа процесса обучения и самообразования. Освоение этого вида знания является предпосылкой становления стратегий образовательной и самообразовательной деятельности: формирования потребностей, интересов, ценностей, целей образования и самообразования, обретения человеком умений, навыков учиться самостоятельно, складывания стереотипов, привычек, повседневных практик этих видов деятельности. Вместе с тем собственно самообразование есть преодоление образовательного знания, с его процедурами редукции, «оповседневнивания», упрощения смысловых систем. Самообразование представляет собой включение в области предельных значений,

освоение смыслов различных сфер социально-ориентированного знания.

Структура образовательного знания существенно отличается от структуры научного, с одной стороны, повседневного знания — с другой. Научное знание в образовательном знании воспроизводится далеко не всей гаммой и палитрой понятий, терминов, суждений, умозаключений, гипотез. Передается лишь внешняя канва и то, что доступно сознанию, не «замутненному» сложной научной символикой, логикой проникновения в суть проблемы, поиском путей их решения и т. д. Поэтому от научного знания образовательному достаются лишь некоторые результаты, выводы, общие положения. Что касается повседневного знания, то в результате освоения его субъектами образовательного знания уровень их сознания и поведения изменяется, наполняется новым содержанием, иными ценностными ориентациями, постановкой более сложных целей и задач. Следствием становится приобретение повседневным знанием новых качественных характеристик.

Не следует думать, что образовательное знание возникает только лишь под давлением «сверху», вследствие необходимости трансформации достижений науки и культуры в плоскость их усвоения в рамках повседневного знания. Не меньшую роль в развитии образовательного знания играют потребности «снизу», т. е. тех его субъектов, чей повседневный образ жизни испытывает постоянную нужду в этом знании.

Суть проблемы создания образовательного знания — построить несколько мостов. Один из них — между субъектами знания, теми, кто его создает и кто приобретает и «потребляет». С этой точки зрения, образовательное знание можно определить как знание, специально создаваемое одной группой его субъектов (учеными, педагогами, работниками СМИ и др.) и приобретаемое и используемое другой группой — учащимися, направленное на превращение достижений науки и культуры в ориентационную основу повседневного (регулярного) поведения субъектов образования.

Второй мост, который создается с помощью образовательного знания, — между абстрактной теорией и конкретной ситуацией, которая может быть понята и осмысlena на основе этой теории. Людей всегда интересовал вопрос о пользе теоретического знания для реше-

ния конкретных практических задач. Но для получения этой пользы теоретическое знание нужно перевести на иной, понятный не отдельным индивидам, а их множеству, язык, который может быть определен как повседневный. Достижение этой цели и возможно с помощью образовательного знания.

Возникает необходимость «строительства» и еще одного, третьего моста между языками различных типов знания. В контексте наших рассуждений имеется в виду мост между языками научного и повседневного знания и создание «образовательного языка» (термин Шелера).

В плане «наведения мостов» между указанными типами знания и их языками хотелось бы отметить, не вдаваясь в дискуссию, что мы отличаем повседневное знание от обыденного (житейского), равно как и языки того и другого (хотя в литературе чаще всего эти виды знания и языки идентифицируются). Коротко соотношение этих видов знания сформулируем следующим образом: любое обыденное (житейское) знание всегда является повседневным, но не всякое повседневное знание является обыденным.

Каким путем строить такие мосты, на основе какой модели это делать? Чаще всего в сознании педагогов (а зачастую и учащихся), как субъектов образовательного знания, прочно сидит такая модель этого знания, согласно которой педагог рассматривается в качестве его обладателя, должного передать это знание учащемуся в обобщенном виде, а задача последнего состоит в том, чтобы запомнить готовое правило и исключения из него. Но эта модель неэффективна, больше и лучше работает иная, в соответствии с которой педагог не предлагает решения готовой проблемы, а только подводит учащегося к самостоятельному открытию общего правила. Отсюда возникает вопрос о наличии внутри образовательного знания двух его типов — знания общих правил и конкретных фактов. Знание общих правил (законов) может быть достигнуто на основе их запоминания, а может — на базе усвоения известных фактов, информации, взятой из книг, учебников, энциклопедий, компьютерных баз данных и др. и последующего понятия этих общих правил.

В связи со сказанным приведем пример из образовательного знания социологии. При изучении теории социальной стратификации со студентами (обучающимися на несоциологических специальностях)

стях) преподаватель очень часто идет по пути формирования знания первого типа, что предполагает общую характеристику этой теории, выявление основных (веберовских) критериев стратификации, показ ее характерных особенностей, среди которых и качестве главной выделяется подчеркивание социального неравенства в положении слоев (групп, классов). Все это сопровождается убеждением студентов в необходимости запомнить эти положения как одни из наиболее важных в современной теории общества и его структуры. В лучшем случае разговор о социальной стратификации завершается показом дифференциации социальных слоев по какому-то одному из критериев, чаще всего по уровню дохода (материального благосостояния). Гораздо реже применяется знание второго типа, в основу которого кладется изучение конкретных моделей стратификации, скажем, американского и российского общества на основе реальных данных социологических исследований, показывающих процентные распределения слоев населения по определенному набору признаков, включающему, в том числе, и уровень дохода (материального благосостояния) этих слоев. Тогда вывод о социальном неравенстве в их положении делают уже сами студенты, становятся более понятными и остальные характерные особенности социальной стратификации. Таким образом, предпочтительнее оказывается модель формирования образовательного знания на основе движения от социальных фактов к обобщениям (общим правилам) в процессе взаимодействия его равных партнеров — педагога и студентов.

Следовательно, под образовательным знанием можно понимать знание, разделяемое педагогами и учащимися в привычной самоочевидной обыденности учебных занятий. В этом смысле мы можем говорить, что само образовательное знание, рождающееся в процессе взаимодействия между научным, культурным и обыденным знанием, понимается как совокупность, а еще лучше как система, взаимосвязь отдельных положений, фактов, суждений, теорий и концепций, оформленных в виде некоторых четких утверждений.

Здесь также налицоует явление, которое социологи, вслед за А. Шюцем, П. Бергером и Т. Лукманом, называют социальным распределением знания. Его целесообразно рассматривать, с одной стороны, как распределение научного и повседневного знания; с другой стороны, применительно к образовательному знанию, оно может

иметь место в отношениях по поводу знания и между обучающими и обучающимися, и внутри каждой группы порознь.

Для понимания специфики образовательного знания как промежуточного между научным и повседневным необходимо учитывать обстоятельство, на которое справедливо указывает Дж. Брунер: «... любые внешние сложные формы знания могут быть преобразованы таким образом, чтобы стать логическим продолжением тех форм знания, которыми человек овладел уже раньше, сделав их для себя простыми и понятными» [11: 71]. Это означает, по нашему мнению, что система образовательного знания может совершенствоваться и усложняться на основе постоянного использования новых научных и культурных достижений. Но при этом создатели (субъекты) этого знания не могут (не должны) переходить определенные границы, за которыми оно станет малодоступным и понятным широкому кругу субъектов образования, его приобретающих.

Здесь и возникает одна из самых сложных проблем формирования образовательного знания — что отобрать для передачи ему из научного знания. Процесс отбора очень труден. Его могут осуществлять сами создатели научного знания — ученые, исследователи, решившие, к примеру, написать учебник или учебное пособие по вопросам (проблемам) собственной научной деятельности, т. е. производства нового научного знания. Могут это делать и субъекты образовательного знания, например, педагоги вузов, колледжей, лицеев, школ. Их преимущество — в знании педагогических, методических, дидактических особенностей того, как нужно транслировать образовательное знание. Недостаток же — в неполном владении научным знанием. Оптимальный вариант — создание коллективов ученых и педагогов.

Но далеко не всегда научные и образовательные знания существенно разнятся между собой по степени сложности, в особенности в социально-гуманитарных науках. Не является исключением в ряде случаев и социология. Ряд учебников и учебных пособий для студентов социологических специальностей (специализаций), по существу, представляет собой не препарированное и не адаптированное к особенностям студенческого восприятия образовательное знание, скорее, это система непосредственно научного знания. О таких работах обычно говорят, что они имеют монографический характер. Это ка-

сается в первую очередь тех изданий, которые посвящены отдельным отраслям социологического знания.

Такая имеющая место в ряде случаев «тождественность» образовательного и научного знания в социологии базируется на их сходной структуре, включающей в себя, с одной стороны, представления, понятия, суждения, умозаключения, гипотезы, доказательства, с другой — социальные факты, явления, процессы, проблемы. Полное или почти полное совпадение образовательного знания с научным является определенным критерием эффективности первого. Здесь уместно было бы привести латинскую пословицу *«Scientia dependit in mores»* (Знание переходит в привычку).

Специфическим видом образовательного знания можно считать знание, транслируемое не через учебник, а через телевидение. «Телевизионное знание» — условное название для такого знания. Оно содержит в себе громадные плюсы, связанные с непосредственным аудиовизуальным воздействием на потребителей этого знания (аудиовизуальные средства очень эффективны, особенно при качественной работе операторов, сценаристов, режиссеров). Но создание такого знания очень трудоемко и капиталоемко.

Особое место в структуре образовательного знания занимает такой его вид, который предназначен для дистанционного образования. Об этом необходимо специально сказать, поскольку его развитие особенно активно происходит в последние годы и требует весьма специфического контента в виде целевым образом создающегося для него образовательного знания, связанного с использованием современных интернет-технологий, возможностей виртуального образовательного пространства и др. В этом случае можно, видимо, говорить о существовании интернет-знания как разновидности образовательного знания.

Специфика образовательного знания социологии зависит и во многом определяется субъектом, приобретающим такое знание. Эта проблема стала очевидной тогда, когда появились широкие возможности создавать учебники и учебные пособия для тех, кто изучает социологию. Как известно, первые учебники по социологии, которые создавались в России в 1990-е гг., писались в расчете на всех, а значит никого конкретно. По мере становления социологического образования в нашей стране стало ясно, что такой путь не перспективен.

Кроме того, не будем забывать о том, что, наряду с профессиональным социологическим образованием, в подавляющем большинстве вузов предлагалось и общее социологическое образование в виде небольшого курса лекций и нескольких семинарских занятий по этому предмету. Уже тогда начались дебаты о том, что нужно писать разные учебники для разных групп студентов. На многих социологических конференциях поднимались соответствующие вопросы социологического образования, преподавания и обучения тем или иным аспектам социологии в целом, ее отраслей в частности.

Приобрела существенную роль профессиональная специализация студентов: стали появляться учебники и пособия по социологии для гуманитариев, юристов, экономистов, инженеров, педагогов и др. Писали учебники и для студентов колледжей и техникумов, и школьников старших классов. По существу, речь идет о создании разных типов образовательного знания социологии с учетом осваивающих его субъектов.

Однако говорить сегодня о том, что проблема дифференциации образовательного знания социологии и его учебно-методического обеспечения с учетом отдельных категорий студентов и учащихся решена, вряд ли возможно. Во-первых, есть еще многие целевые группы субъектов образования, для которых не создано соответствующих работ. К ним, кстати, относятся не только студенты бакалавриата и специалитета, но и магистры и аспиранты. Во-вторых, не ясны принципы, которые должны быть заложены в основу создания такого конкретного образовательного знания социологии.

Для того чтобы образовательное знание социологии «работало» эффективно и оптимально, нужна его система. Должна ли она быть тождественной системе социологического образования? У нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Вообще, знание и образование соотносятся между собой, что уже выше отмечалось, как содержание и форма. Знание есть всегда определенная «начинка» образования. Но первое, по определению, должно быть шире, «охватнее» системы образования, поскольку она по необходимости носит формализованный характер, и в ее рамки нельзя уместить все многообразное содержание образовательного знания. Это знание само по себе мобильнее, подвижнее, живее, быстрее реагирует на изменения в науке и реальной жизни, нежели система формализованного образования. С та-

кой точки зрения — соотношения содержания и формы, — первое должно определять вторую. Другими словами, каждому виду знания должно соответствовать свое образование (идея М. Шелера, которую мы озвучивали выше).

Такую позицию занимают и П. Бергер с Т. Лукманом. В этом отношении представляет интерес показ ими различий между инженерным и музыкальным образованием. «Инженерное образование, — пишут социологи, — можно получить в процессе формального, весьма рационального, эмоционально нейтрального обучения. Музыкальное же образование обычно включает более высокую степень идентификации с маэстро и гораздо более глубокое погружение в реальность музыки. Это различие — результат внутренних различий между инженерным и музыкальным знанием, а также между образами жизни, соответствующими этим двум системам знания» [3: 235]. Как видно, Бергер и Лукман рассматривают определяющую роль знания не только по отношению к видам образования, но даже к образу жизни людей.

Реально же в образовании, в том числе и социологическом, дело обстоит как раз наоборот. Тот или иной его вид либо уровень требует соответствующего ему социологического знания.

С этим связана и еще одна проблема — «упаковки» этого знания, которую мы в принципе пока не решаем, в отличие от многих других стран. Мы не обращаем должного внимания на оформление книги, качество бумаги, рисунки, диаграммы, фотографии, язык изложения. Причин этого может быть много: такая работа удорожает значительно стоимость книги, нет традиций, мастерства, культуры публикации и т. д. Издательства стремятся получить быстрее прибыль, учебники издают на плохой бумаге. Потом это же и подается как плюс: у нас, мол, учебники стоят значительно дешевле, чем на Западе. Нам хорошо известна реакция студентов на такие книги, особенно после того, как они видят (а некоторые, владеющие иностранными языками, и читают) учебники по социологии, изданные не в нашей стране.

Не так уж трудно сравнить не только оформление, но и конкретный материал учебников по социологии — зарубежных и отечественных. Налицо гигантская разница и, к сожалению, не в пользу наших изданий. Между тем, путь к знанию (содержанию образования) зачастую начинается с обложки, рисунков, фотографий и всего того, что

мы сейчас называем «упаковкой знания». В учебник по социологии хочется заглянуть и прочесть его, когда держишь в руках красиво оформленную книгу, а не ту, что издается на газетной бумаге. Здесь возникает вопрос об «упаковке» и особенно форме образовательного знания, который оказывается не простым, хотя еще более сложной является проблема его содержания. Под формой знания, вероятно, есть смысл понимать и «язык» его передачи, и непосредственное оформление его текста, а под содержанием — совокупность предметных характеристик, информации, способ ее анализа. Все это, вместе взятое, влияет решительным образом на качество образовательного знания и эффективность процесса образования.

Поставленный вопрос во многом касается требований к таким формам знания, как учебный текст, устная речь педагога, его передающая, видео- и аудиозапись, транслирующая знания, материалы в сети Интернет и др. Что касается содержания образовательного знания, то здесь самая большая сложность в его создании — это переходы от специализированного научного к образовательному знанию, от образовательного к повседневному (и наоборот). Каждый из этих переходов подразумевает наличие в образовательном знании каких-то черт и сторон и обыденного, и специального научного знания. При этом, конечно, существует реальная опасность свести специализированное научное знание к адаптированному настолько, что оно приблизится к обыденному. Задача состоит в том, чтобы не допустить этого.

С учетом сказанного становится очевидным, что социология, обращенная к исследованию образования и самообразования, не может больше проходить мимо содержания знания, тем более просто отмахиваться от данного вопроса. Вместе с тем, и для социологии знания образовательное знание должно стать объектом специального исследования, поскольку оно есть важный способ конструирования социальной реальности. Именно через него осуществляется процесс социализации в учебных заведениях. Очень многое зависит в становлении личности, ее адаптации к миру, интеграции в него от содержания образовательного знания, форм и способов его усвоения, формирования интереса к процессу освоения знания.

Рассмотрение функций и предназначения образовательного знания в этом случае будет иметь дифференцированный характер, поскольку его социальное значение и социальное распределение ока-

жутся весьма различными как для отдельных групп, так и для индивидов в их составе. Кроме того, нельзя не учитывать, с точки зрения социологического подхода к образовательному знанию, потребностей и интересов, ценностных ориентаций и установок, мотивов и стимулов к этому знанию у различных групп людей. По существу, речь идет о выявлении предпосылок становления стратегий образовательной и самообразовательной деятельности: целей образования и самообразования, обретения человеком умений, навыков учиться самостоятельно, складывания стереотипов, привычек, повседневных практик этих видов деятельности.

Исследование образовательного знания требует для своей полноты и эффективности совместных усилий социологов знания и образования. С точки зрения разграничения предметных зон и интересов социологии знания и образования можно предположить, что задачей социологии знания является изучение преимущественно объективной стороны образовательного знания (его характера, содержания, особенностей, общественной детерминации, социально-культурной обусловленности, социальных функций, ролей, предназначения, социального распределения и др.), тогда как социология образования могла бы сосредоточить свое внимание на исследовании преимущественно его субъективной стороны (интересы, ценностные ориентации, установки, мотивы, аттитюды, экспекции, удовлетворенность и др.).

Завершая статью, хотелось бы отметить, что в ней были подняты далеко не все проблемы образовательного знания социологии. Требуют внимания такие его разновидности, как общекультурное и профессиональное знание социологии, почти ничего не было сказано о различных формах организации образовательного знания. Особый интерес представляет вопрос о том, каким образом должен осуществляться отбор информации для образовательного знания социологии.

Литература

1. Конн О. Дух позитивной философии // Западно-европейская социология XIX века. Тексты. М., 1996.
2. Merton R. K. Social Theory and Social Structure. N. Y., 1957.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995.

4. Зборовский Г.Е. Социология образования и социология знания: поиск взаимодействия // Социологические исследования. 1997. № 2.
5. Современный философский словарь. М., 1998.
6. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
7. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник / под ред. Ж. Т. Тощенко. М., 2009.
8. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М., 1992.
9. Плахов В.Д. Общество — знание — социология // Проблемы теоретической социологии. Вып. 7. СПб., 2009.
10. Шелер М. Формы знания и общество // Социологический журнал. 1996. № 1/2.
11. Брунер Дж. Культура образования. М., 2006.
12. Фрейре П. Образование как практика освобождения. М., 2007.
13. Гудков Л. Условия воспроизведения советского человека // Вестник общественного мнения. 2009. № 2.
14. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

С. А. Кравченко

РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНТЕГРАЛИЗМА¹

На увеличивающуюся социокультурную динамику обществ социологи реагировали попытками постоянного совершенствования своего теоретико-методологического инструментария. Но всему есть определенный предел: как ни совершенствуй винтокрылые двигатели, качественно нарастить скорость летательных аппаратов не удается; попытки интерпретировать динамичные общественные реалии с позиций *одной*, отдельно взятой теории, которая на определенное время представляется «универсальной», также имеют свои ограничения. На подобные вызовы человечество реагирует путем синтеза и технологических, и теоретических новаций.

В социологии Питирим Александрович Сорокин был пионером создания *интегральной теории*. Однако с тех пор прошло порядка пятидесяти лет. Сегодня современный мир находится в состоянии *становления сложного социума*, под которым понимается постоянная структурно-функциональная *незавершенность* социальных реалий, а *рефлексия* как индивидуальных, так и коллективных акторов является условием их существования [26]. Для интерпретации качественно иных социальных реалий требуются, соответственно, *новые формы интегрализма*.

Из истории социологического интегрализма

П. А. Сорокин был первым, кто создал *интегральную социологию*, основанную на ликвидации противостояния между *микро* и *макро-теориями, структурными и интерпретивными парадигмами*. Ученый предложил изучать общество, его явления с позиций как объективности социокультурных систем, находящихся в сложном движении — по горизонтали, вертикали и в виде флюктуаций (котебаний от оптимальной величины), так и с учетом *субъективного*

¹ Статья Сергея Александровича Кравченко, доктора философских наук, профессора, одного из ведущих российских социологов-теоретиков, автора теорий играизации и глоболокальных рисков, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2014 г. (Вып. 10, с. 33–50). — Примечание отв. ред.

фактора — сложной, интегральной сущности самого человека, его ценностного мира.

До Сорокина теорий интегрального типа просто не существовало. Он разработал ее на основе синтеза теоретических представлений как известных российских социологов — Л. Петражицкого, М. Ковалевского, Е. Де-Роберти, так и западных — Э. Дюркгейма, М. Вебера, принадлежащих к разным социологическим поколениям и, казалось бы, не совместимых. Вместе с тем это не механическое суммирование теоретико-методологического инструментария. Сорокинская теория — принципиально новый взгляд на человека, цивилизацию, общество, суть которого сам автор характеризовал как интегрализм [8]. Методологическая основа его парадигмы включает в себя в качестве имманентных компонентов синтез методов, среди которых интуитивный, эмпирический и рационалистический методы. При этом ученый особо подчеркивает, что истина, полученная при помощи интегрального использования чувства, разума и интуиции — это «более полная и более ценная истина, нежели та, которая получена через один из этих каналов... При интегральном использовании этих трех каналов познания они дополняют друг друга и контролируют» [8: 134].

Сорокин интегрально подошел к сущности человека, создав, по его словам, «новую интегральную теорию человеческой личности». Человеческая личность формируется под влиянием целого ряда факторов. «Новая интегральная теория человеческой личности, — поясняет он, — не отрицает, что человек является животным организмом, наделенным “бессознательным”, рефлексо-инстинктивным механизмом тела, но она подчеркивает, что помимо этой формы бытия, человек является сознательным, рациональным мыслителем и сверхсознательным творцом или духом» [7: 143].

Ученый обосновать *высшую интегральную ценность* — единство Истины, Красоты и Добра. Он подчеркивал, что для жизнедеятельности человека важно именно их *единство*.

Сорокинские идеи интегрализма были подхвачены и развиты другими социологическими авторитетами. Толкотт Парсонс в автобиографическом очерке «О построении теории социальных систем: личная история» отметил, что его целью жизни было *создание общей, универсальной теории*, пригодной для анализа любых живых систем,

начиная от одноклеточного организма и кончая сложнейшими человеческими цивилизациями. Для этого он предложил, во-первых, *интеграцию* достижений ряда социальных наук. Преобразование в Гарвардском университете факультета социологии в факультет общественных отношений было отнюдь не случайным. Эта новация была подчинена *интегративной цели*: для задуманного ученым анализа любых живых систем кроме собственно социологии потребовались усилия таких социальных наук как клиническая и поведенческая психология, антропология.

Во-вторых, Парсонс предпринял попытки интеграции собственно *социологических принципов*, которые разрозненно содержались в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, В. Парето, З. Фрейда, английского экономиста А. Маршалла и, конечно, П. Сорокина как основоположника интегрализма. Парсонса, в частности, привлекла веберовская трактовка социального действия как действия, имеющего субъективную мотивацию индивида и ориентированного на окружающих людей. Ему были также симпатичны «идеальные типы», которые позволяли создавать обобщенные представления конкретных явлений действительности. Вместе с тем, он считал, что Вебер остановился на полпути к созданию теории социального действия, ибо не учитывалось *комплексное сочетание* предложенных им переменных. В этой связи, по мнению Парсонса, возникает опасность произвольного выбора переменных, что могло привести к искажению или мозаичному толкованию социальной реальности. В теории Э. Дюркгейма его особенно заинтересовали структурно-функциональный метод и идея порядка как результата коллективных представлений. Так же, как и Дюркгейм, Парсонс исходит из того, что для социальной жизни более характерны «взаимная выгода и мирная кооперация, чем взаимная враждебность и уничтожение». При этом утверждалось, что только приверженность общим ценностям обеспечивает основу порядка в обществе. Однако, по мнению Парсонса, слабость дюркгеймовской теории состояла в том, что в ней не высвечивалась *роль самого действующего лица*, его отношение к ценностям и нормам, возможность конкретного выбора из *иерархии* ценностей и целей. Кроме того, Парсонс критически относился к позитивистской социологии вообще, предполагающей видение мира, как закрытой системы, сводящей на нет роль сознания конкретных индивидов [23]. У А. Маршалла плодотворной

была идея трактовки действия как «*рационального преследования собственного интереса*» [25]. У В. Парето и З. Фрейда Парсонс посчитал важным постановку вопроса о роли рациональных и иррациональных сил в детерминации характера действия [24].

В-третьих, Парсонс на основе интегральных идей П. Сорокина предложил *интегрально* рассматривать социальную систему и личность индивида. В этой связи он уже самостоятельно выдвинул оригинальную *идею четырехуровневого анализа*, который основан на *принципе системного рассмотрения* поведенческого организма, личности, социальной и культурной систем.

Интегральные идеи были подхвачены выдающимся американским социологом Робертом Мертоном, ставший создателем уникальной *интегральной теории структурного функционализма в версии среднего уровня*, позволяющей анализировать, хотя ограниченный, но конкретный круг социальных явлений с включением *эмпирических данных*.

Через призму *своего* интегрализма он создает принципиально новую *теорию аномии*, весьма отличную от той, которая была разработана Э. Дюркгеймом. Ученый синтезировал как совокупность факторов социальной структуры, побуждающих некоторых членов общества к девиантному поведению, так и типы наиболее характерного поведения в условиях аномии [6].

Интегрализм Мертона проявился и в концепции *социологической амбивалентности*, суть которой в том, что некая форма способна к функциональному синтезу: может выполнять как позитивные функции, так и дисфункции в этой же системе [22]. Особо отметим то, что объектом мысли социолога становятся *ненамеренные последствия* намеренных, целенаправленных действий людей [21]. Ныне социологическая амбивалентность стала стержнем многих современных рефлексивных теорий.

На протяжении всей жизни Мертон совершенствовал интегрализм своего теоретико-методологического инструментария, что видно на примере синтеза подходов к исследованию того, как люди совершают великие открытия. Как он отмечает сам в работе «*На плечах гигантов*», для изучения научных инноваций им был применен «*нелинейный*» метод, но при этом учитывался контекст «течения истории в целом, истории идей в частности. а также ход научных изы-

сканий» [20: xix]. Интегрализм инструментария позволяет выявлять тонкости, нюансы в поведении людей. Вот общая «социологическая истина», к которой приходит Мертон: у людей науки иное поведение, отличное от других индивидов. Особенность ученых в том, что они, скорее, руководствуются «социально стимулируемой любовью и славой», чем прагматической выгодой [20: 24].

Дж. С. Коулман — американский социолог, автор *интегральной теории рационального выбора*. Кредо интегрализма ученого состоит в том, что он ратует за связь своей теории с социальной практикой в двух смыслах. Во-первых, она должна не просто производить новое знание, а «добывать знание ради реконструирования общества» [16: 651]. Во-вторых, данная теория ведет к практическому взаимодействию с другими социальными науками, особенно с социальной психологией и политологией.

Методология парадигмы рационального выбора также имеет несколько существенных характеристик интегрального толка. Первая — *особый методологический индивидуализм*, который проявляется в трех взаимосвязанных суждениях: во-первых, содержание макро-социальных реалий можно понять, если учесть макро-микро взаимодействия, т. е. воздействие социetalного уровня факторов на индивидов; во-вторых, принять во внимание микро-микро суждения, относящиеся к описанию макро процессов; наконец, в-третьих, если учесть эффекты влияния, идущие от микро- к макро-реалиям. Кроме того, данная методология предусматривает использование *социально-симуляционных игр* для моделирования социальной среды и возможного комплексного исследования поведения коллективных и индивидуальных акторов. «Социально-симуляционные игры способствовали моему переходу от предыдущей теоретической ориентации дюркгеймовского толка к той, которая основана на рациональном действии» [15: 11], — замечал Коулман.

Агентно-структурная интеграция

Данный тип социологического интегрализма представлен теориями середины 80-х годов прошлого столетия — начала XXI века, анализирующих современное общество, для которого характерна как *институциональная*, так и *индивидуальная рефлексивность*. Под рефлексивностью английский социолог Э. Гидденс понимает посто-

янный и активный пересмотр социальной реальности в свете новой информации или знания. Это не просто «самосознание», но «наблюдаемое свойство и характерная особенность движущегося потока социальной жизни» [3: 40]. Отсюда оказалась востребованной *агентно-структурная интеграция*, разрабатываемая Э. Гидденсом, П. Бурдье, М. Арчер, П. Штомпкой и др. По существу, она явилась ответом социологов на новые вызовы ускоряющейся социокультурной динамики социума. Методология теорий, основанных на агентно-структурной интеграции, исходит из существенного изменения картины мира: крайний динамизм, глобальность пространства, индивиды становятся предрасположенными к смене самоидентификаций, идет фрагментация и дисперсия социальной реальности в виде размывания культурно-территориальной идентичности. Данная методология опирается на системный макро- микроуровневый анализ, позволяющий интегрально интерпретировать как институциональную рефлексию, так и внутреннюю саморефлексию социальных акторов.

Э. Гидденс был первым, заявившим о бесперспективности «простого улучшения» существовавшего в то время теоретико-методологического инструментария. По мнению социолога, проблема не в возникших «отдельных изъянах» инструментария, а в усложняющейся динамике социума. Именно социум становится *принципиально иным*, и для его исследования требуется, соответственно, создание *качественно другого* теоретико-методологического инструментария. Им была предложена новая теория — структурация. Эффективность и валидность ее методологии, основанной на агентно-структурной интеграции, проявились прежде всего в инновационных подходах к трактовке современности, названной им «*радикальный модерн*», в противоположность тому, что обществоведы называли в разные исторические периоды просто «*модерном*», как правило, имея в виду становление современных капиталистических отношений. Социолог отмечает следующие черты радикального модерна: институциональное развитие создает в общественном сознании чувство фрагментации и дисперсии социальной реальности; дисперсия диалектически связана с основополагающими тенденциями развития по пути к глобальной интеграции; активность набирает процесс рефлексивности людей относительно их самоидентификации; в общественном сознании глобальные проблемы начинают доминировать; повседневная

жизнь превращается в комплекс реакций на абстрактные системы, что влечет за собой и приобретения, и потери; скоординированные политические действия возможны и необходимы как на глобальном, так и на локальном уровнях; развитие, предполагающее выход за пределы институтов радикального модерна, может привести к постмодерну [17: 150].

Социолог иначе посмотрел на привычные институциональные структуры. В условиях радикального модерна иной становится *внутренняя природа* современных институтов, что выражается в *разрывах социальной преемственности*, нарушениях структурно-функциональной целостности, характерной для прежней, относительно линейной динамики их развития. Возникает невиданная ранее институциональная «рефлексивная реальность», подвижного и пластичного типа, способная к самовторению и самоорганизации [2: 26]. При этом Гидденс интерпретирует социальную реальность под совершенно иным углом зрения ориентируясь на изучение конкретных *социальных практик*, представляющих *относительно долгоживущий социум*, который воспроизводится благодаря *рефлексивности* социальных субъектов. В соответствии с теорией структуризации, предметом исследования являются «социальные практики, упорядоченные в пространстве и во времени» [3: 40]. Социолог особо подчеркивает, что социальные практики *не создаются социальными акторами, а лишь постоянно воспроизводятся* ими, т. е. социальные практики относительно «одинаковы» в определенном времени и пространстве благодаря *рефлексивности* акторов. В свою очередь, индивиды, усваивая в ходе социализации ценности и нормы социальной деятельности, обеспечивают *повторение социальных практик*, что и делает возможным их типизацию и научный анализ.

«Приглашение в рефлексивную социологию» [13] — так называется одна из последних работ французского социолога П. Бурдье, выражаяющая суть его теоретико-методологического кредо — изучение *социальных импровизаций* как реакций на динамику жизни, которые представляют собой отрефлексированный набор практических действий индивидов, осуществляемых в конкретном социальном поле. *Агентно-структурный интегрализм* Бурдье, по существу, реализовался посредством особого синтеза *структурализма, постструктурализма и феноменологического экзистенциализма*. Структурализм,

представленный Э.Дюркгеймом и К.Леви-Строссом, подчеркивал влияние объективных реалий на поведение людей, однако игнорировал роль социального актора. Постструктурализм исходит из *внутреннего динамиза, непостоянства структур*, что, естественно, не может не сказаться на рефлексивности действий людей, их ситуационных и жизненных стратегий. Феноменологический экзистенциализм, выразителем которого во Франции был Ж.П.Сартр, акцентировал роль *субъективного выбора* в контексте осуществления жизненных стратегий.

По мысли Бурдье, каждый из выше названных подходов при всех достоинствах страдал односторонностью, и потому социолог предложил парадигму, основанную на их *интеграции*. Это позволило созданной им уникальной социологической теории, с одной стороны, заниматься изучением усложняющейся динамики обстоятельств, оказывающих влияние на индивидов, а с другой исследовать избирательную способность людей, их предрасположенность к *импровизации в рамках динамически изменяющегося и усложняющегося социального порядка, имеющего локальный контекст в виде определенного социального поля*.

В концентрированном выражении суть своей рефлексивной социологии Бурдье выразил в *основной теореме структуралистского конструктивизма*. Данная теорема позволяет изучать характер социальных практик в контексте *интегрального анализа* весьма различных факторов социальной жизни и, конечно, с учетом ее динамики. Её суть покоится на следующих трех постулатах:

1) рефлексивный социум не может быть интерпретирован ни с помощью детерминизма структур (ибо есть *объективные пределы объективности*), ни детерминизма действий людей. «Я постоянно использую социологию, — замечает Бурдье, — чтобы попытаться очистить мою работу от социальных детерминизмов. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что полностью свободен от них» [13: 211];

2) сам механизм рефлексии социума не является постоянным, он изменяется и под влиянием изменений в структурах, и под воздействием обновления правил взаимодействия, перемен в ресурсах, а также в практических предрасположенностях индивидов действовать определенным образом;

3) в человеческой деятельности соотношение сознательного и бессознательного факторов, дискурсивной осведомленности и автоматических навыков также меняется.

Агентно-структурный интегрализм социолога проявился и в *нахождении новых, весьма важных критериев динамичной социальной дифференциации*, которые особо значимы именно в современном обществе. Одним из этих критериев является *способность к рефлексии*, что Бурдье показывает через *коллективный габитус* людей, их отношения к моде, модным стандартам, вкусам. Социолог отмечает, что в условиях современной социокультурной динамики дифференцировать людей на классы или социальные группы на основании того, что они «размещены в сходных условиях и подчинены сходным обусловленностям, имеют все шансы для обладания сходными диспозициями и интересами», в принципе *теоретически* возможно. Однако это будет лишь «возможный класс», «класс на бумаге» [1: 59]. Лучшим же критерием для социальной дифференциации в условиях современной социокультурной динамики, по мнению социолога, является *коллективный габитус как структурирующая структура*, которая организует социальные практики и их восприятие в общественном сознании, что можно определить эмпирическим путем. Коллективные габитусы формируются конкретными условиями жизни, потребления материальных и духовных благ. Определенные группы людей доверяют им в своих жизненных практиках, считая их «разумными». Социолог замечает: «практическое знание социального мира предполагает “разумное поведение”, в рамках которого используются классификаторские схемы» [14: 468]. Отсюда следует, что социальное различие все более касается такого качества как способность/неспособность к *рефлексии*, которую можно изучать с помощью интегрального инструментария структуралистского конструктивизма.

Интеграция социологии с естественно-научным знанием

За последнее десятилетие известный английский социолог Дж. Урри предложил целых три новых *поворота* в социологии — *сложности, мобильности и ресурсный поворот*, которые в методологическом плане основаны на *интеграции социологического и естественно-научного знания*.

Поворот сложности, по существу, представляет собой теоретическую рефлексию на качественно новую социальную реальность в виде «глобальной сложности», которая стала по-новому и по-своему организовываться за счет движения к знаковым, информационным и коммуникационным регуляторам [19], а также к образованию глобальных сетей, «Это, — пишет Дж. Урри, — привело меня в “Социологии за пределами обществ” к попыткам переосмыслить сами основы социологии... эмерджентность глобальных сетей трансформирует саму природу социальной жизни. Ее больше невозможно представлять ограниченной национальными обществами... Я выработал некоторые “новые правила социологического метода”, чтобы анализировать дезорганизацию, глобальные потоки и закат власти “социальног”, особенно в отношении того, как «время и пространство трансформируются в глобализирующемся мире» [28: ix, x].

Сложный социум возник не только под влиянием собственно социальных фактов, но и благодаря радикальным технологическим, организационным, коммуникационным инновациям, которые в совместном взаимодействии на глобальном уровне изменили и по-новому реорганизовали, казалось бы, такие «универсальные» качества, как пространство и время как условия существования общества.

Некоторые ученые, представители естественных наук, к которым присоединились и социологи (И. Валлерстайн, Дж. Урри и др.) по-новому подошли к взаимосвязи естественных и социальных наук, ратуя за преодоление их разделения, исходя из того, что как одни, так и другие ныне вынуждены заниматься проблематикой сложности и сами характеризуются сложностью. Вот почему, заявляет Урри, настоятельно необходима особая «постдисциплинарная парадигма»: «теория сложности, которая ныне в обобщенном виде появляется как потенциально новая парадигма для социальных наук... нематематическое основание, теория хаоса, нелинейность и сложность рассматриваются как единая парадигма» [28: 12, 17].

Интеграция естественных и социальных наук обусловлена *новыми сложными реалиями нашей жизни*. «Глобальное, — отмечает Урри, — несомненно, характеризуется эмерджентной и необратимой сложностью, процессами, которые одновременно являются социальными и естественными» [28: 13]. Если прежде сочетание несочетаемого выражалось в мифах о кентаврах [9], включавших в себя несо-

четаемое живое, то ныне возникли вполне *реальные гибриды* живого и неживого, физических и социальных отношений, которые ныне получают *повсеместное распространение* в среде и технологиях. «Через анализ их динамичных взаимозависимостей в контексте комплексности их эмерджентные характеристики могут быть эффективно поняты, — пишет Урри. — Само по себе разделение между “физическим” и “социальным” является социоисторическим продуктом, который, как яствует, разрушается» [28: 18].

Разумеется, нынешняя интеграция естественных и социальных наук не предполагает возврат к их «детству», когда доминировал механистический детерминизм и виделась единая суть законов физического и социального миров. «Я не предлагаю, — подчеркивает Урри, — простой “трансфер” сложности из мира физического в мир социальный», ибо теория сложности исследует весьма конкретные их *общие характеристики* — «так или иначе, анализирует все явления, обладающие динамичными системными качествами» [28: 17].

И для социологии, и для естественных наук интерес представляет *эмерджентное поведение* компонентов сложности. Пришедшие в нашу жизнь неопределенности и турбулентности *не предполагают беспорядок вообще*. «Сложность, — замечает Дж. Урри, — утверждает “научные” основания неопределенности, но, тем не менее, она необычным образом организована… нет простого роста беспорядка… Например, турбулентные потоки воды и воздуха, кажущиеся хаотичными, являются высоко организованными» [28: 19, 21].

Полагаем, с данных методологических позиций можно анализировать многие сложные реалии современной России от общественного сознания, включающего представления о демократии и свободе, роли исторических личностей, до туристических и миграционных потоков. Отдельно взятые изменения идей или перемещения людей представляются весьма хаотичными, но их *результатирующая составляющая* позволяет выявлять вполне конкретные тенденции организации и самоорганизации со своей рациональностью.

Теория сложности позволяет *преодолеть «детскую болезнь»* романтизма, характерную для периода становления социологии как самостоятельной науки. Она «может пролить свет, насколько социальная жизнь всегда представляет значимую совокупность достижений и неудач. В значительной степени социальная наука полагается

без достаточных оснований на успешное достижение целей агентами или системами. Социология, — акцентирует эту мысль Урри, — пропитана приверженностью и убеждением в возможности увеличения успеха в социальной жизни... В связи с этим, неудача является “аберрацией, временной поломкой системы”... Конечно, социальная жизнь полна того, что мы можем назвать “относительной неудачей”, как на уровне индивидуальных целей, так и особенно на уровне социальных систем. Неудача — “необходимое последствие незаконченности” и неспособности установить и поддерживать полный контроль над комплексом скоплений, включенных в такую систему» [28: 14].

Ученый полагает, что для теории сложности, объяснения естественности «относительных неудач», весьма важна *концепция ненамеренных последствий*, согласно которой реальный эффект, как правило, выходит за пределы декларированных намерений и целенаправленных действий. Однако этой концепции для адекватной интерпретации реалий сложности недостаточно. Необходим более широкий взгляд: «Хаос и порядок всегда взаимосвязаны в любой такой [сложной] системе... Глобальные системы могут рассматриваться как взаимозависимые, само-организующиеся и обладающие эмерджентными характеристиками. Я предполагаю, что мы можем анализировать ряд нелинейных, мобильных и непредсказуемых “глобальных гибридов”, находящихся на “границах хаоса”. Они должны конституировать предмет социологии и ее “теорию” в двадцать первом веке» [28: 14]. В качестве примеров «глобальных гибридов», находящихся на «границах хаоса», Урри называет информационные системы, глобальные масс-медиа, мировые деньги, Интернет, изменение климата, океаны, опасности здоровью, социальные протесты, распространенные по всему миру.

Дж. Урри написал достаточно объемный труд — «Мобильности», в котором определяет *поворот мобильности* как «новый тип мышления» о мобильности, исходящий из того, что «все социальные образования от отдельно взятого домашнего хозяйства до огромных корпораций предрасположены к многим и различным формам фактического и потенциального движения. Поворот мобильности связывает анализ различных форм путешествия, транспорта и коммуникаций со сложными способами осуществления и организации экономической и социальной жизни в контексте времени и различных пространств,

включая процессы потоков... Я использую термин мобильности для отсылки к более широкому проекту утверждения социальной науки, обусловленной проблематикой движения» [29: 6, 18].

Как видно, поворот мобильности так же, как и поворот сложности мыслится как результат *интеграции социологии с другими науками*. Востребованность предлагаемой парадигмы мобильности обусловлена, по его мнению, тремя важнейшими обстоятельствами. Во-первых, существующие социальные науки умаляют движения, коммуникации, активности весьма значимые для жизни людей (проведение отпусков, ходьба, вождение автомобиля, звонки по телефону, перелеты и т. д.). Во-вторых, минимизируется значимость этих форм движения для определения самой природы работы, обучения, семейной жизни, политики (например, в обычных структурных анализа зачастую умаляется важность влияния фактора движения на социальные институты — в частности, типы семей обусловлены паттернами регулярности общения их членов). В-третьих, игнорируется роль материальных инфраструктур в экономической, политической и социальной повседневной жизни (дороги, железнодорожные сообщения, телеграфные линии, водопроводы, аэропорты и т. д.) [29: 19].

Кроме того, необходимо, считает ученый, изучать не только мобильность собственно социальных акторов, но и «*движущиеся места*». Ибо места «подобно кораблям движутся туда — сюда и не фиксированы внутри одного расположения. Места путешествуют, медленно или быстро, на более длинные или короткие расстояния внутри человеческих или нечеловеческих сетей» [29: 42].

Действительно, эта весьма важная проблематика до Дж. Урри не нашла отражения в *самостоятельных социологических исследований*. Весьма значим его акцент: нельзя трактовать природу социальных структур вообще, вне их мобильности, а также *вне связи с несоциальными, материальными объектами*, которые также находятся в движении. В относительно простом и закрытом социуме, социокультурная динамика которого была невелика, этими факторами можно было пренебречь. Однако в сложном социуме фактор мобильности является решающим для определения характера социальных институтов.

Социолог выделят пять *взаимозависимых* мобильностей: *телефонное путешествие людей* на работу и отдых, в процессе семейной

жизни или миграции; *физическое движение объектов; воображенное путешествие* посредством образов мест и народов; *виртуальные мобильности*; наконец, *коммуникативное взаимодействие* людей посредством посланий, текстов, телефона [29: 47].

Усложняющееся движение требует *переосмыслиения базовых человеческих ценностей*. Ныне неотъемлемым правом личности, по мнению Урри, является *право на мобильность в глобальном масштабе*; соответственно, не просто изменяется понятие «гражданство», оно становится другим и сложным: в частности, появляются «мобильное гражданство, связанное с правами и обязанностями посетителей других мест и культур»; «постнациональное гражданство», обеспечивающее права человека. Все эти гражданства обретают новое качество — они «не национально-центрированы» [29: 189–190]. Также возникают *мобильные гибриды* — разнородные соединения человека и техники, позволяющие людям и материалам двигаться, сохраняя их форму. Примерами тому могут быть гибриды «водитель–автомобиль», «поеzd–пассажир».

Говоря о квинтэссенции *ресурсного поворота*, социолог пишет: «Я включаю в общество и, соответственно, в предмет социологии анализ климатического изменения, и в более общем плане — мир объектов, технологий, машин и природных сред. Серьезная заявленная претензия состоит в том, что социальный и физический / материальный миры чрезвычайно переплетены, и дихотомия между ними есть идеологический конструкт, который необходимо преодолеть» [27: 8]. И далее еще более решительно: «Я утверждаю, что социология сегодня нуждается в другой нише исследования и изучения, в новой предметности. Это пойдет ей на пользу в новом мировом беспорядке, для которого характерны новаторские ресурсные ограничения... Этот мир также нуждается в социологии, чтобы заменить доминирующие модели человеческого поведения. Я также ратую за “ресурсный поворот” в социологии, позволяющий анализировать общества посредством паттернов, шкал и характера их ресурсной зависимости, а также последствий использования ресурсов. Необходимо разработать скорее посткарбонную социологию, чем постфордистскую или постмодернистскую социологию... Я стремлюсь ни к чему другому, кроме как развитию *посткарбонной социологии*, и что гораздо более важно — посткарбонного общества» [27: 16].

Урри реалистично оценивает, что высказанные им идеи ресурсного поворота и посткарбонной социологии, повлекут за собой научные и политические конфликты, которые, по его мнению, имеют четыре «очень значимые причины». Во-первых, есть мощные интересы глобальных энергетических корпораций, производящих карбонную энергию. «В течение двадцатого столетия эти карбонные энергетические системы стали абсолютно центральными для национальных экономик, и это помогло образовать карбонные военно-промышленные комплексы во многих индустриальных экономиках, особенно в США» [27: 22]. Во-вторых, «нет единой “науки” о климатических изменениях», хотя существуют группы ученых, соперничающих между собой. «Эта фрагментация науки замедлила понимание того, как действительно происходят климатические изменения по всему миру» [27: 23]. В-третьих, в научный оборот вошло понятие «глобальное потепление». «Но “потепление” является упрощенным термином, ибо то, что может происходить в различных частях мира значительно разнится, есть возможность значительного похолодания в некоторых местах. В действительности проблема термина *потепление* происходит из сложности предсказания долговременного будущего климатов» [27: 23]. На наш взгляд, это собственно *социологическая интерпретация потепления*, которая акцент делает на турбулентности, непредсказуемости климатических изменений, возможные последствия, которые могут стать реальностью, если политики мира не создадут институциональные и правовые структуры, регулирующие и вводящие действительно «новаторские ресурсные ограничения». Наконец, в-четвертых, ученым предстоит разработать адекватную политику, основанную на науке, которая бы обосновывала не просто вероятность, а причинность климатических изменений от увеличивающихся выбросов в атмосферу. Эти процессы «делают “климат” ключевой категорией двадцать первого века» [27: 24]. И, естественно, чтобы изучать эти процессы требуется интеграция социологического и естественно-научного знания.

Космополитический интегрализм новой критической теории У. Бека

Отправная посылка социологического теоретизирования У. Бека в последние годы сводится к следующему. Самым значимым фактом современности стало то, что условия существования человечества

стали космополитизированы. Глобальные риски, угроза террора не знают границ. Идут процессы глобализации политики, экономических, правовых, культурных отношений, коммуникаций и спортивных игр, самых различных сетевых взаимодействий. В результате космополитизация «стала определяющей чертой новой эры, эры рефлексивного модерна, в которой национальные границы и различия растворяются» [10: 2]. Более того, стираются границы между мирами: «Старые концепции Первого, Второго и Третьего миров превращаются в зомбированные категории. Это, прежде всего, означает, что контекст глобальности ныне является исходной точкой каждого... это уничтожает плюральные оппозиции между народами и государствами» [11: 107].

Соответственно, космополитизация востребовала принципиально новую космополитическую методологию интегрального типа, которая, по мысли Бека, должна заменить национальный взгляд на социум — методологический национализм. «До сих пор он [методологический национализм] доминировал в социологии и других социальных науках, таких как история, политология, экономика, которые анализировали общества, исходя из допущения, что они национально структурированы. Результатом этого была система наций-государств и соответствующих национальных социологий, которые определяли их специфические общества в терминах и концепциях, ассоциировавшихся с нацией-государством. Согласно национальному взгляду, нация-государство создает и контролирует “содержимое” общества, что тем самым предписывало ограничения “социологии”» [10: 2].

Становление социологии как науки совпало с развитием наций-государств. Это обусловило характер методологии социологии того времени — методологический национализм. «Так, — отмечает Бек, — Маркс исследовал британский капитализм в британском обществе, который он затем обобщил до капитализма современного общества как такового. Вебер универсализировал опыт прусской бюрократии в идеальном типе современной рациональности. А Ч. Р. Миллс, критикуя “властвующую элиту”, критиковал не только американское общество, а современное общество как таковое» [10: 28].

При этом социолог делает принципиальное замечание: «Национальная перспектива исключает космополитическую перспективу. Космополитическое видение, напротив, понимает национальную

перспективу как выражение национального и раскрывает ее конструктивные недостатки. Из этого следует, что космополитическая перспектива раскрывает ту же национальную реальность различным образом, а также иные, дополнительные реальности новыми способами. Космополитическая перспектива, тем самым, включает и переосмысливает реальность национальной перспективы, в то время как национальная перспектива слепа по отношению к реальностям космополитической эры, затмевает их» [10: 31].

Отсюда — востребованность *Новой критической теории*, основанной на методологическом космополитизме, предполагающей «космополитическую революцию внутри социальной научной гильдии». Отметим ее главные принципы в трактовке Бека.

Первое. «Критический потенциал Новой критической теории мы могли бы концептуализировать с помощью квази-математической терминологии следующим образом: *критика + различие между числом, уровнем и качеством государственных стратегий, открываемых космополитическим видением и закрываемых национальной перспективой*» [11: 251].

Второе. «Новая критическая теория является самокритической теорией. Идея в том, что только космополитическое видение с его приверженностью реалиям может выявить *бедствия*, которые угрожают нам в начале двадцать первого века. Критическая теория нацелена на выявление противоречий, дилемм, невидимого, побочных эффектов современности, становящейся все более космополитической» [11: 33].

Третье. «Критическая теория выявляет то, что классические границы между внутренней и внешней политикой размываются» [11: 44]. Под влиянием космополитизации различия между политическими партиями быстро исчезают.

Четвертое. Она исходит из «несравнимости социальных неравенств между нациями-государствами»: «национальные нормы равенства исключают глобальное неравенство... Все больше и больше механизмов включения и исключения более не соответствуют классификации неравенств, основанных на классах и группах населения, чьи границы совпадают с границами государства» [11: 27, 31].

Пятое. Она выявляет формы и стратегии, благодаря которым космополитические реалии становятся невидимыми; критикует наци-

ональную ограниченность; преодолевает историчность социальных концепций и исследовательских практик, предлагая альтернативные концепции и методы исследования; вносит вклад в изменении образа политического в контексте космополитических реалий [11: 33–34].

В этом контексте главная задача социологов, считает Бек, это понимание и интерпретация реальности, которая в настоящее время означает учет космополитизации. Если они [социологи] не справляются с этим, они не делают свою работу. Зомбированная наука национального видения превращается в оторванную от действительности «национал-социальную» науку» [10: 112]. Социолог прогнозирует: «Точно также, как национально ориентированная экономика пришла к своему концу, аналогичное произойдет и с национально ориентированной социологией» [11: 23].

В итоге У. Бек с позиций своего интегрализма выступает за «космополитическую социологию» в виде Новой критической теории [5]. Эта методологическая новация радикально сказалась на главном предмете изучения социолога — рисках. Если примерно четверть века назад им была создана теория «Общества риска», то теперь ее сменяет недавно предложенная теория «Мирового общества риска». Сам социолог недвусмысленно подчеркивает, что «категория мирового общества риска контрастирует с той, которая обозначает общество риска» [12].

За интеграцию социологии с естественными и гуманитарными науками

На наш взгляд, все повороты, предназначенные для более углубленного понимания и исследования сложных реалий, ратуют за интеграцию естественных и социальных наук, оставляя в стороне *науки гуманитарные*. Мы же принципиально исходим из того, что для анализа сложного социума необходим *синтез естественнонаучного, социального и гуманитарного знания*, результатом которого явилась бы *гуманистическая теория сложности, имеющая социологический стержень* [4].

Такая интеграция позволила бы, с одной стороны, максимально учесть сложности социокультурной динамики, всевозможные парадоксы, дисперсии и турбулентности социума, развивающегося в единстве с природой, а с другой осуществить поиск и утверждение новых форм гуманизма, включая *гуманистическую направленность*

любых научных исследований, что становится этическим императивом в космополитизирующемся сетевом сообществе народов.

И самое главное: гуманистическая теория сложности может стать фактором *принципиально нового типа модернизации России в контексте воплощения в жизнь гуманистических идей*. Подчеркнем, ни в мировой истории, ни в истории России при осуществлении той или иной модернизации не ставился вопрос о *гуманности путей и средств достижения поставленных целей, их адекватности мечтам народа*. Все ранее состоявшиеся модернизации в нашей стране — индустриализация, реформа А. Н. Косыгина, перестройка, спонтанная трансформация 90-х годов (известная в народе как «шоковая терапия»), — при всех их достижениях и неудачах в целом так и не стали реализацией «русской мечты» о *нашем «счастливом будущем*». Причины прошлых неудач, как правило, видятся в «закрытости общества», «тоталитарном политическом режиме», а также в личностных качествах руководителей. Это, несомненно, все так. Но, представляется, необходимо назвать еще одну весьма значимую причину: ни одна из предшествующих модернизационных программ не опиралась на достижения мировой гуманистической обществоведческой мысли, даже не ставила проблему приращения *Добра* в человеческих отношениях, за что в свое время ратовал П. А. Сорокин.

Ныне возрастает значимость факторов *социальной и гуманистической ответственности*: все чаще представителям многих профессий — политикам, дипломатам, энергетикам, химикам, биологам, медикам и другим, — подчас необходимо предпринимать действия, которые сулят прорывы к инновациям, несут очевидные блага в первом приближении, но они же, *если выйдут за допустимый порог саморегуляции* той или иной сложной системы, могут привести к потере управляемости инновационными процессами и катастрофическим социальным последствиям. Достаточно вспомнить политические решения по освоению инновационных технологий, осуществлявшихся во имя престижа Отечества, которые принимались без учета взаимозависимости сложных систем, включая отношения общества и природной среды. Они проявили себя лишь через десятилетия: это увольнения людей с предприятий, которые по тем или иным причинам перестали функционировать, таких у нас более 1 миллиона человек; это и напряженные социальные ситуации в моногородах,

которых в России несколько сотен. Если эта тенденция *отложенных ненамеренных последствий* справедлива для реалий общества пяти-десятилетней давности, то она тем более актуальна сегодня, когда содержание уязвимостей и побочных ущербов от инновационной научной и технологической деятельности существенно становится более сложным. Они несут не только *блага*, на которые изначально ориентированы, но и новые проблемы, а то и *беды*, являющиеся, как правило, *ненамеренным*, сопутствующим результатом. Минимизировать эти ненамеренные последствия можно лишь путем изначального повышения роли социальной и гуманистической ответственности.

На наш взгляд, проблема новых уязвимостей и побочных ущербов инновационного развития человечества становится все более актуальной для мировой социологической мысли, которая еще ждет серьезных исследований. В самом первом приближении ее осмысление и решение нами видится на путях теории и практики *гуманистически ориентированной модернизации*. Современных уязвимостей вообще избежать невозможно, они имманентная составляющая современности, но ими можно и нужно управлять, ибо уязвимости — суть последствия осознанных выборов альтернатив, осуществляемых самими людьми. От того, какие сделают выборы россияне в контексте ориентации на самоорганизацию, включат ли они в расчет явные и латентные факторы принимаемых решений, будут ли проанализированы как ожидаемые, так и их ненамеренные последствия, каково будет при этом соотношение интеллектуального, прагматического и социально-гуманистического компонентов, будет, в конечном счете, аккумулирующий результат гуманистически ориентированной модернизации.

Для каждой модернизации характерно *свое* общественное сознание, *свой*, определенный тип мышления. В эпоху *индустриальной модернизации* мышление основывалось на постуатах существования «законов» естественно-исторического развития, презумпции внешней причины, принудительной каузальности, логоцентризма и европоцентризма научного знания. В лозунге «*знание — сила*», по существу, обосновывался «универсальный» детерминизм разума и морали, характерный якобы для всей человеческой цивилизации. С позиций сегодняшнего дня такой тип мышления выглядит исторически ограниченным.

В послевоенных модернизациях в мышлении все более доминируют компоненты формального рационализма и полезности. Как считал выдающийся социолог современности Роберт Мертон, недостатком этого типа мышления является то, что оно латентно осуществляет «обучение неспособности» к творческому, креативному мышлению. От себя добавим: также и к гуманистическому мышлению в терминах Добра.

Модернизация с гуманистическим стержнем побуждает начать движение к утверждению нового типа мышления, который мы обозначили как *нелинейно-гуманистическое мышление*. Предполагается, что оно учитывает не только нелинейности — парадоксы и разрывы в общественном развитии, но и ставит во главу жизнедеятельности человека *поиск новых форм гуманизма*, ориентированных на его экзистенциальные потребности, цели наращивания гуманистического потенциала в обществе, во взаимоотношениях с природой. Однако с гуманистической составляющей мышления не все так однозначно. Прагматизм и ориентация на увеличение потребления *без органичного единства с гуманизмом* способствовали утверждению в нашей стране пресловутых социальных практик постиндустриального толка — медицинских услуг, ориентированных на заработок персонала, а не на лечение больных. Аналогичные практики сложились в образовательной, культурной, информационной и собственно государственной сфере. Акцент сделан на количестве услуг, а не на их гуманистическом содержании, а ведь, в конечном счете, все услуги адресованы человеку. Услуги без компонента Добра могут выхолащивать собственно гуманистическую составляющую в человеческих отношениях.

В развитии идей нелинейно-гуманистического мышления на 11 Европейской социологической конференции нами был предложен и обоснован гуманистический *поворот*, предполагающий интеграцию социологии с другим научным знанием, включая гуманитарное знание [18: 1247–1248]. Для адекватного ответа на современные вызовы, порожденные становлением сложного социума, необходим *синтез естественных, социальных и гуманитарных наук*, который способен дать адекватные ответы на неизбежные новые проблемы для человека и человечества.

Литература

1. *Бурдье П.* Социология политики. М., 1993.
2. *Гидденс Э.* Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
3. *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003.
4. *Кравченко С. А.* Становление сложного общества: к обоснованию гуманистической теории сложности. М., 2012.
5. *Кравченко С. А.* У.Бек: социологическое воображение, адекватное рефлексивному модерну // Социологические исследования. 2011. № 8.
6. *Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
7. *Сорокин П.* Главные тенденции нашего времени. М., 1993.
8. *Сорокин П.* Интегрализм — моя философия. Социологические исследования. 1992. № 10.
9. *Тошченко Ж. Т.* Кентавр-проблема: Опыт философского и социологического анализа. М., 2011.
10. *Beck U.* Cosmopolitan Vision. Cambridge, 2007.
11. *Beck U.* Power in the Global Age. Cambridge, 2007.
12. *Beck U.* World at Risk. Cambridge, 2010.
13. *Bourdieu P., Wacquant L.* (eds). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, 1992.
14. *Bourdieu P.* Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge (Mass.), 1984.
15. *Coleman J. S.* Foundations of Social Theory. Cambridge (Mass.), 1990.
16. *Coleman J. S.* Vision for Sociology // Society. 1994. № 32.
17. *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Cambridge, 1990.
18. *Kravchenko S. A.* The Becoming of the Complex Socium: for a Humanistic Turn // Crisis, Critique and Change. 11th European Sociological Association Conference. 28th — 31st August, 2013. Turin, Italy.
19. *Lash S., Urry J.* Economies of Signs and Space. London, 1994.
20. *Merton R.* On the Shoulders of Giants. Chicago and London, 1993.
21. *Merton R.* The Unanticipated Consequences of Purposive Action // American Sociological Review. Vol. 1. 1936.
22. *Merton R. K.* Sociological Ambivalence and Other Essays. New York, 1976.
23. *Parsons T.* Essays in Sociological Theory. Glencoe, IL, 1953.
24. *Parsons T.* Essays in Sociological Theory: Pure and Applied. Glencoe, IL, 1949.
25. *Parsons T.* The Marshall Lectures. Uppsala, 1986.
26. *Sztompka P.* Society in Action: A Theory of Social Becoming. Cambridge, 1991.
27. *Urry J.* Climate Change and Society. Cambridge, 2011.
28. *Urry J.* Global Complexity. Cambridge, 2003.
29. *Urry J.* Mobilities. Cambridge, 2008.

Ж. Т. Тощенко

СМЫСЛ ЖИЗНИ: НОВОЕ В ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ¹

Прежде чем приступить к социологической объяснительной модели этого понятия, обратим внимание на широкое его распространение и использование в научной литературе, в политике, экономике, в сфере литературы и искусства, в повседневной жизни. Так, широко употребляются такие выражения, как «смыслы триединой русско-российской революции» [19], «смыслы массового сознания» [12], смыслы в культуре и образовании [18; 23], роль академической экспертизы в придании смысла политическому режиму [6]. В публицистике можно часто слышать «художественная литература помогает понять смысл», «смысловые прорехи в сериалах» и т. п. Именно распространенное применение термина «смысл» и его использование породило различные трактовки, которые имеют разное звучание и понимание. Одно дело, когда говорят о смысле жизни, другое — о смысле политики, третье — о смысле конкретного действия и т. д. и т. п. То есть, употребление этого понятия имело и имеет большое распространение и используются как в научном познании, так и в повседневной жизни. К этому только стоит добавить справедливое замечание Дж. Александера: на протяжении большей части своего развития социология характеризовалась определенной нечувствительностью к проблемам смысла [2: 65].

1. Смыслы как качественная и сущностная характеристика жизненного мира

При рассмотрении жизненного мира через призму основных компонентов концепции социологии жизни — сознание, поведение, среда, охватывающих его многообразие, возникает вопрос: все ли его сущностные характеристики общественной (публичной) и личной (приватной) жизни людей отражены при таком подходе? На наш взгляд, показатели сознания, поведения и среды, образуя синтезирующую

¹ Статья Жана Терентьевича Тощенко, доктора философских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, одного из ведущих российских социологов-теоретиков, была опубликована в сборнике «Проблемы теоретической социологии» в 2016 г. (Вып. 11, с. 134–147). — Примечание отв. ред.

ищее понятие — жизненный мир, все же требуют еще одного индикатора, характеризующего, выражющего и венчающего его ключевое, истинное, глубинное и качественное содержание.

Таким индикатором является смысл жизни, который отражает главное, сущностное, что содержится в общественном сознании, поведении (деятельности) в условиях определенной социальной среды. При всем многообразии характеристик жизни человека смысл выступает такой опорной точкой (понятием) и соответственно показателем, который выражает целостное видение, главные (основные, определяющие) ценности-принципы, связанные с целевыми установками.

Введение в концепцию социологии жизни, в описание и трактовку многообразия жизненного мира, в инструментарий его исследования понятия «смысл» предполагает выявление таких характеристик, которые бы определяли его качественную определенность. Смысл в этом случае обозначает некую итоговую, ключевую сущность происходящих изменений социальной реальности, глубинное содержание бытия что предполагает выявление главного, определяющего в жизни человека на основе интерпретации полученных в процессе социологического исследования показателей и индикаторов.

Для выяснения его сущности и содержания совершим краткий исторический экскурс (подробнее см.: [27]).

2. Социологическая трактовка смысла

Социологическое понимание смысла подготовил Век Просвещения и его выдающиеся представители — К. А. Гельвеций (1715–1771), Ж. Ж. Руссо (1712–1778), П. Гольбах (1723–1789). Они сосредоточили внимание на обосновании роли и значения здравого смысла, хотя они по-разному трактовали его суть (Гельвеций как ориентацию на материальный интерес, Руссо — как чувства, а Гольбах — как соединение в мышлении людей научных (нередко стихийных, неосознаваемых) представлений и обыденных забот и ориентаций). Но все они несомненно сходились в одном: здравый смысл — это способность самостоятельно решать вопросы повседневной жизни, стремление к ее нормальному протеканию и рациональной организации [13].

К проблемам смысла жизни в той или иной мере обращались многие социологи. Определенное внимание смыслу и его роли в понимании социального было уделено Э. Дюркгеймом (1858–1917). Но он рас-

сматривал смысл со стороны внешних, объективных по отношению к индивиду проявлений (социальных фактов), в качестве которых он называл нормы права и нравы [14: 65–67]. Понимающую социологию, которую олицетворял М. Вебер (1864–1920), не удовлетворял такой подход: по его мнению, смыслы принадлежат исключительно индивидуальному сознанию, с помощью которого интерпретируются действия других людей. Так как он исследовал такие масштабные образования как капитализм, протестантизм, он столкнулся с необходимостью объяснить уникальные смыслы индивидуального поведения, что отвечало требованиям социологического номинализма. Пытаясь преодолеть это противоречие между объективным и субъективным, он предложил понимать смыслы с помощью выявления тех общих значений, которые придавали люди своим и чужим социальным действиям, для чего необходимо создать особый научный феномен — «чистые типы» смыслов, свободными от вариаций, обусловленных индивидуальными особенностями [7: 603].

Смыслу жизненного мира уделил большое внимание Э. Гуссерль (1859–1938) [10; 11]. Для А. Шюца (1899–1959) «смысл» был ключевым для трактовки и понимания социальной реальности. По его мнению, жизненный мир «является воплощением жизнепрактических смыслов (подчеркнуто мною. — Ж. Т.), обладающих непосредственной очевидностью, и сочетанием различных форм взаимосогласованного человеческого опыта» (Цит. по: [25]). Особо отмечается его социологическое обоснование теоретического положения о наличии у смысла «измерений» [32: 964]. «Он ввел различие объективного и субъективного смысла, выделив три его измерения: 1) предметное или тематическое измерение; 2) темпоральное измерение, связь смысла действия с прошлым и будущим; 3) социальное измерение, связанное с мотивацией участников взаимодействия» [8: 55]. Социологической интерпретации смысла уделили большое внимание также З. Бауман [4] и П. Штомпка [31].

Однако в социологической литературе как отечественной, так и зарубежной это понятие используется вскользь, попутно, обычно при анализе и / или характеристике отдельных процессов и явлений. В значительной степени это связано с тем, что это понятие достаточно сложно для эмпирической интерпретации. Поэтому социологи попадают в затруднительное положение, когда оперируют использу-

емыми и проверенными практикой традиционными показателями, но, исходя из разных трактовок предмета социологии, встречаются с серьезными затруднениями по выяснению истинных, глубинных причин происходящих изменений. Недостаточно отчетливо это выражено и тогда, когда при изучении жизненного мира социологи оперируют данными, характеризующими внешнюю, поверхностную часть социальной реальности, окружающий макро-, мезо- и микромир [29]. Более того, используемые показатели и индикаторы далеко не всегда дают ответ на вопрос о том, что же главное в жизненном мире, что определяет его качество, что, в конечном счете, выявляет «человека в обществе, общество в человеке» [5].

На наш взгляд, такую качественную определенность дает следующий этап в трактовке предмета социологии, когда мы прибегаем к использованию понятию «смысл жизни». Именно он венчает наши рассуждения о социальной реальности, о месте и предназначении человека окружающем его социуме, о роли и месте его жизненного мира в обществе. Ведь социологические исследования показывают, что одни и те же действия могут быть пронизаны различным смыслом. Поэтому в определении смысла жизни мы должны исходить не из теоретических построений, а из действительности, ибо только из нее мы можем извлечь то, что направляет сознание и поведение людей.

Поэтому осуществим попытку внести социологическую определенность в трактовку показателей и индикаторов смысла жизни.

3. Качественные характеристики смысла жизни

Философское определение истины, ценности, социально-психологического понятия «установка» не дает возможности экспериментально, наглядно ответить на вопрос — в чем состоит смысл жизни?

Анализ значительного объема материала как отечественных, так и зарубежных исследователей позволяет, на наш взгляд, утверждать, что исходной характеристикой смысла жизни является цель — принцип, которым руководствуется человек, что позволяет ему придерживаться устойчивых, жизненно важных ориентиров, в известной мере, конечной, венчающей жизнь высокой осмысленной цели, не зависящей от ситуативных процессов в жизни общества и человека. Согласно А. Шюцу, смысл может быть связан как с научным, теоретическим познанием мира, желанием достичь истины, так и с жизнепрактиче-

скими установками и ориентациями, обладающими непосредственной очевидностью и сочетанием различных форм опыта, в том числе и исторического (курсив мой. — Ж. Т.) [33: 89]. «Ценности, как правило наследуются, передаются по традиции, смыслы всегда современны (своевременны)» [24: 804].

Смысл — это мера, своеобразный, навигатор, по которым человек сопоставляет свои цели-принципы с нормами и требованиями окружающего его общества, сравнивает и согласовывает их с другими участниками жизненного мира.

Смысл жизни предполагает, что человек отдает себе отчет о сущности и содержании своего поведения (деятельности) осознанно или неосознанно, стихийно, о том, как и каким образом он будет удовлетворять свои потребности и интересы.

Смысл предполагает понимание человеком своего предназначения и / или назначения окружающих его социальных институтов (государства, семьи, образования, религии и др.), внутреннее приятие и осознание сущностного содержания своих действий и акций окружающих его организаций. Это процесс созидания и своеобразный компас, которым руководствуется человек в общественной и личной жизни, опираясь на исторический и индивидуальный опыт. Иными словами, это конкретное выражение определенной жизненной стратегии как поиска реализации своей личности в жизни [1].

Очень важная характеристика смысла — его превращение во внутреннюю активность [30: 7], жизненную необходимость, без реализации которой человек не представляет свое дальнейшее развитие и функционирование. Необходимость оправдывает достижение желаемых целей, к которым на основе глубокой внутренней мотивации стремится человек.

Смысл включает в себя не только осознание цели-принципа, учитывающего ценностные ориентации и установки, но и активное участие в их реализации. Подчеркнем, не просто готовность к реализации, а сам процесс превращение цели-принципа в созидательную, творческую деятельность [22: 26]. И что особенно важно, смысл не может существовать вне согласования с действиями других участников: он постоянно сопоставляется со смыслами других людей и в соответствии с этим принимается решение (открыто или латентно) — следовать принятой цели, вносить корректизы или отказаться от нее.

Об этом в свое время говорил еще Гуссерль, когда утверждал, что понимание социальной реальности и соответственно жизненного мира зависит от того, насколько пересекаются смысловые поля участников взаимодействия. По его мнению, между сознанием и реальностью лежит «подлинная бездна смысла» [11: 115].

Некоторые исследователи указывают на связь трактовки смысла с культурой, подчеркивая, что она, а не национальность, не гражданство, определяет его основное содержание [24: 802–805]. Вместе с тем, по мнению В. К. Карпинского, есть люди, которые не имели смысла жизни или имели что-то иллюзорное вместо него, потому что они живут, не беспокоясь о сути своего существования и не понимая, о чем идет речь, хотя на интуитивном уровне он в той или иной степени у них проявляется. Это кризис бессмыслинности существования, это кризис смыслоутраты (невозможность восстановить смысл своего существования), а также кризис неоптимального смысла жизни [17]. Такое понимание смыслов имеет большое значение для социологов — для понимания и определения полноты и качества жизненного мира.

В настоящее время социологическая мысль стоит перед большой сложной задачей, которую предстоит решить: смыслы часто скрыты, неочевидны, функционируют на уровне «сознательной бессознательности» и нередко в условиях специальных усилий для сокрытия его истинного предназначения. Так, смысл обладания властью нельзя уловить при помощи традиционных социологических методов, особенно когда исследование ограничивается одним-двумя методами. Так весьма затруднительно выявить среди стремящихся попасть на государственную службу тех, кто намерен сделать ее ступенью для карьеры и устройства в «выгодные» места трудоустройства. Однако такие затруднения не уменьшают значения социологического анализа того, что составляет сущность социологии жизни — смысла жизненного мира и его основных компонентов — общественного, группового и индивидуального сознания, поведения (деятельности) и социальной среды, в которой функционируют сознание и поведение.

И все же если попытаться дать определение понятия «смысл жизни», то под ним следует понимать цели–принципы, которые базируются на наиболее существенных, наиболее важных ценностных ориентациях, образующих ядро установок и определяющих стремление сознания и поведения людей по достижению целей, составляю-

ищих основополагающее, внутреннее содержание жизни. В известной мере — это основная, конечная цель, которая может выступать как обобщенная ценность, так и в качестве ведущей в основных видах деятельности. Такой подход не исключает иерархию смыслов, которую можно представить в виде пирамиды, образующей несколько уровней, которые могут быть производными от основного смысла и в ряде случаев по тем или иным причинам отклоняться от него.

В то же время смысл не сводится только к одной, хотя и ключевой, основополагающей цели-принципу, он в процессе рационального познания окружающей действительности может быть достигнут через более конкретные цели, обычно отражающие ориентации и установки определенных видов деятельности, действий, поступков.

4. Опыт анализа многообразия смыслов жизни

В целом, многообразие смыслов жизни — общественных, групповых, личных и т. д., образует пирамиду (или иерархию), отражающую следующую логику.

Основу этой пирамиды (иерархии), во-первых, образует *основной смысл жизни, то, что определяет его сущность, главные ориентации, а также средства их достижения*.

Во-вторых, он воплощается в значимых и определяющих, хотя и производных жизненных смыслах, отражающих главные институциональные позиции человека как гражданина (уровень общества), как жителя (уровень территориальной общности) и как индивида (уровень социального микроокружения). На уровне общества значимы смыслы мировоззренческого (идеологического) характера, которые во многом предопределяют основные установки при осуществлении деятельности социальных групп как в рамках всего общества, так и на других уровнях его социальной организации. Эти смыслы реализуются в целях-принципах, которыми люди руководствуются и которые они хотели бы осуществить в своих взаимоотношениях с обществом и государством.

В-третьих, огромную роль приобретают смыслы, определяющие жизненные цели, имеющие наибольшую ценность и характеризующие главные функции деятельности в основных сферах современного общества — как экономического, социального, политического и духовно-культурного человека.

И наконец, использование смысла в социологии жизни позволяет с особой наглядностью продемонстрировать реализацию принципов конструктивизма, использующего смысложизненные ориентации: «результат жизни» (отношение к пройденному жизненному пути), «процесс жизни» (отношение к настоящему) и цели–принципы жизни (отношение к будущему) [3: 105; 22: 106; 30: 19]. Поэтому, на наш взгляд, чтобы всесторонне и полно охарактеризовать сущность жизненного мира как предмета социологии жизни, анализ общественно-го сознания, поведения и среды, необходимо завершить выявлением его основного смысла, а также образующих его таких характеристик, которые определяют главные социально-экономические, социально-политические и социально-культурные позиции людей в их взаимоотношении с внешним миром и своим осознаваемым внутренним предназначением.

При выяснении смысла жизненного мира мы не можем полагаться только на рационалистический подход. Обратим внимание на тот факт, что еще Гуссерль видел ограниченность привычной формы рационализма. Он полагал, что европейский рационализм Нового времени страдает односторонностью, вытесняет духовное, смысловое начало из области научного познания. Но, на наш взгляд, рационализм вытесняется и из реального содержания жизненного мира. Разве можно прийти к единому толкованию смысла проводимых в настоящее время либерально-рыночных реформ, которые по-разному трактуются различными социальными силами, нередко с взаимоисключающими позиций? В современном мире все отчетливей становится и научная и практическая очевидность, что теория рационального выбора в применении к анализу жизненного мира теряет свою значимость, ибо социальная реальность в ее современном турбулентном воплощении все больше отходит и от провозглашенных постулатов и заменяется так называемым иррациональным выбором [15: 3].

Попытка уяснения сущности смысла приводит к заслуживающему внимания выводу: «нет ...смыслов вне материальных носителей, информационного поля — вне физического пространства» Именно этим утверждением «отвергается спиритуализм, объективный идеализм, крайняя форма субъективного идеализма (солипсизм) вся дуалистическая метафизика» и добавим, современные формы постмодернизма [28: 67].

На анализе основного(ых) смысла(ов) жизни сосредоточим внимание на данных социологических исследований, проведенных как автором, так и коллегами за четверть века.

5. Главные смыслы жизненного мира современного россиянина

Характеристику основных смыслов жизни современного россиянина начнем с анализа тех целей–ценностей, которые являются принципиальной установкой, определяющей его сознание и деятельность и сопоставимой с его социальным опытом. Основные смыслы обуславливают его главные взаимоотношения с внешним миром и с пониманием своего личностного предназначения.

Такими главными смыслами, определяющими жизненный мир россиян, всю совокупность основных видов их деятельности являются, на наш взгляд, стремление к социальной справедливости, социальной безопасности и защищенности, желанию понять, какое общество строится в России.

Что касается социальной справедливости, то она понимается людьми по-разному, в зависимости от многих условий и факторов. Иначе говоря, в их сознании существует много представлений — и самых разных — о справедливости. Общим является то, как человек воспринимает и оценивает отношение к нему со стороны государства и общества, какое миросознание формируется у него при взаимодействии с той организацией, в которой он работает, учится и / или периодически контактирует, а также с теми, с кем он непосредственно общается в повседневной жизни.

На наш взгляд, таким индикатором справедливости является мнение о том, какое будущее люди желают России в первую очередь. В исследовании «Жизненный мир россиян» (здесь и в дальнейшем ЖМ-2014²) 63,2 % россиян связывают это будущее с соблюдением государством справедливости, равных прав для всех. Это желание пре-

² Всероссийское исследование «Жизненный мир россиян: эволюция форм их участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990–2010-е годы)» проведено 25–30 октября 2014 г. Опрошено 1750 человек в 18 регионах страны с учетом репрезентативной выборки по полу, образованию, семейному положению, месту жительства, формам собственности и трудовому стажу во всех экономических районах страны, представляющих Центральную Россию, Поволжье, Юг Страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток, а также два мегаполиса — Москву и С.-Петербург. — Примечание автора.

вышает все другие ориентации, даже такие важные как «обеспечение стабильности в обществе, без войн и революций» (55 %) и «возвращение России статуса великой державы» (47,2 %). Нужно отметить, что представления о справедливости как первостепенной задаче государства фиксируют и другие исследователи (Институт социологии РАН, ИСПИ РАН, Левада-Центр³, ВЦИОМ). На наш взгляд, это все-охватывающая нацеленность людей, которая стала ведущей в структуре их ориентаций, могла бы стать той национальной идеей, частью государственной идеологии, которая понятна, желаема и убедительна для большинства, и полностью бы совпадала как в официальном, так и в сугубо личностном плане. В этой связи интересны данные о жизненных приоритетах, о социальном настроении, которое колебалось в незначительном объеме за все годы наблюдений с начала 1990-х годов, несмотря на кризисные и другие перипетии в жизни государства [9; 20; 21].

Не менее показательна такая характеристика смысла жизни как *социальные гарантии, социальная защищенность*, которые выражены во многих значениях — как личная безопасность, как гарантии благополучия. И здесь дела обстоят не так благополучно, как этого бы хотелось: отсутствие личной безопасности тревожит, по данным ЖМ-2014, 90,2 % людей. А это значит, что человек измеряет гарантии там, где он живет и работает, а не в каком-то глобальном масштабе. Поэтому, хотя основной центр обеспечения этой безопасности лежит на уровне регионального и муниципального управления, гарантии все же призваны дать государственно-правовые органы, обеспечив право гражданина на существование без опасения за свою жизнь и обеспеченную устойчивость трудовой и повседневной жизни.

Наконец, в основе определяющих ориентаций в жизненном мире россиян прямо или косвенно фигурирует стремление обрести социальную устойчивость, что, на наш взгляд, связано с желанием понять то, какое же государство строится в России. Заявленная норма в Конституции РФ, что это социальное государство, мало кого убеждает, так как оно определяется расплывчато и мало понятно для большинства людей. Или оно трактуется очень произвольно. В этой связи стоит об-

³ Современное российское законодательство требует указывать, что АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента». — Примечание отв. ред.

ратить внимание на то, что в исследовании ЖМ-2014 выявлено устойчивое стремление 55 % россиян жить в стабильном обществе. Причем, эта нацеленность на стабильность, устойчивость касается всех без исключения уровней образовательной подготовки (минимальное значение у имеющих начальное образование — 46,3 % и максимум — 60,9 % у лиц с высшим образованием); типов поселения (от 48,5 % у проживающих в поселках городского типа до 57,6 % у жителей областных (краевых) и республиканских центров). Что касается возраста, то 51,5 % 18–29-летних и 56,3 % тех, кто старше 60-лет ратуют за стабильность в развитии государства и общества. Анализ этих данных позволяет обратить внимание на то, что старшее поколение, имея большой опыт проживания в годы войны, в том числе и холодной, острее реагирует на угрозы безопасности, чем более молодые поколения.

Это желание целесообразно сравнить с тем, а как оценивают ситуацию в России в настоящее время, т. е. реальное, а не проектируемое ее положение. Исследование показало, что существуют две противостоящие друг другу позиции, образуя антиномичную характеристику: 39,8 % оценивали эту ситуацию как обычную и 6,6 % как благоприятную при 36,6 % оценивающих ее как кризисную плюс 5,3 % как катастрофическую. Раскол общественного сознания налицо, олицетворяя сложившуюся к нем антиномию, когда в нем присутствуют взаимоисключающие смыслы. И каждая группа носителей этих смыслов имеет убедительные аргументы, чтобы доказать свою правоту и свою оценку.

Так как очень часто в выступлениях политиков и некоторых политологов звучат слова о России как демократическом государстве, то важно эти слова соотнести с суждениями населения России. А реальность такова, что почти одна треть (29,3 %) не удовлетворена, и 55,7 % частично удовлетворены состоянием демократии в России. Это значительно меньше того, что было в общественном сознании в начале 1990-х годов, когда демократичность развития признавалась многими, за нее ратовало большинство населения. Она была лозунгом и ориентиром для тех, кто жаждал позитивных изменений и отвергал советское ее понимание. Но как показывают данные, достижение смысла демократии оказалось далеко не таким, как ожидалось.

Анализ главных смыслов жизненного мира россиян показывает, что за четверть века произошли кардинальные изменения в полити-

ческой и экономической сфере общества, а соответственно в социальной и духовной. Это истина общеизвестная, не требующая доказательств. Совсем другое дело, в каком направлении произошли эти изменения, как они оказались на жизни людей и насколько они кардинально повлияли на их отношения с окружающим миром, на сущностную характеристику смысла жизни.

Эти главные смыслы дополняются смыслами — целями-принципами, имеющими наибольшую ценность для человека и его деятельности в основных сферах российского общества — в политике, в экономике, в социальной и духовной сферах. Так, в экономической сфере основные смыслы социально-экономических ориентаций современных россиян сводятся к оценке благополучия, благосостояния, достойных, по представлениям людей, условий труда и отдыха. Они также проявляются в удовлетворенности трудоустройством, жилищными условиями, коммунальными услугами и экологической обстановкой [16: 38–40]. Что касается социальной сферы, то в ней роль смыслов сводится к достижению определенного социального положения, социального статуса, в обеспечении и заботе о здоровом образе жизни, что коррелирует с оценкой *роли места и роли ближайшего окружения (как производственного, так и повседневного)*. Смыслы жизнедеятельности человека в политической сфере — это понимание и осознание себя *гражданином, причастным к главным событиям в своей стране, выражющим свою заинтересованность в налаживании политической устойчивости*. Сюда ряд исследователей относят и *идентификацию с патриотизмом, выражющим гордость за принадлежность к обществу и своему народу*. И наконец, в духовно-культурной сфере реализуется один из главных смыслов жизни — быть духовно богатым человеком и иметь достойное общество, в котором люди живут, содействовать культурному сплочению людей, достойному образу жизни и духовому спокойствию во имя личного и общественного будущего.

* * *

Итак, жизненсмысловые основы отражают идеальное содержание, предназначение, а также стремление людей ориентироваться на достижение приемлемых и одобряемых ими целей, в которых органически соединяются общее, особенное (специфическое) и индивидуаль-

ное в их сопоставлении с требованиями окружающей действительности и всем многообразием общественной жизни.

С точки зрения социологии жизни, теоретическое и эмпирическое значение понятия «смысл жизни» позволяет при исследовании жизни общества не описывать или умножать бесконечное число показателей и индикаторов публичной и частной (общественной и личной) жизни, что вполне приемлемо для всестороннего анализа, а выделить главное, основное, что определяет ее сущность и содержание. Более того, можно предположить, что «проблема смысла жизни — это проблема существования человека и человечества. Приоритетной составляющей смысла жизни должно стать чувство гражданина и сознание того, что от тебя зависит жизнь, порядок, благополучие всех тех, кто составляет это человеческое общество» [30: 18].

Таким образом, жизненный мир и его смыслы являются, во-первых теоретически новаторскими и эвристически ценными понятиями, позволяющими более обстоятельно и глубоко ответить на злободневные проблемы развития общества с позиций концепции социологии жизни. Во-вторых, жизненный мир и его смыслы — это новые и значимые эмпирически измеряемые показатели и индикаторы, обеспечивающие более полное отражение сущности и содержания жизни общества и представляющих его людей. В-третьих, жизненный мир и его смыслы являются показателями и ориентирами, максимально удобными для использования в управлеченческой практике на всех уровнях социальной организации обществ во всех без исключения организациях как экономического и политического, так и социального и духовно-культурного профиля.

Литература

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М., 1991.
2. Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М., 2013.
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
4. Бауман З. Текущая современность, М., 2008.
5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995.
6. Бикбов А. Т. Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М., 2014.

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранное. М., 1990.
8. Головин Н. А. К основам понятия смысла: актуализация вклада А. Шюца в теоретическую социологию // Социология жизни: теоретические основания и социальные практики. М., 2016.
9. Горицков М. К., Седова Н. Н. «Самодостаточные» россияне и их жизненные приоритеты // Социологические исследования. 2015. № 12.
10. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004.
11. Гуссерль Э. Картезианские размышления. М., 2001.
12. Дилигенский Г. Г. В поисках смысла и цели: проблемы массового сознания современного капиталистического общества. М., 1986.
13. Длугач Т. Б. Здравый смысл как философская идея французских просветителей // Философские науки. 2015. № 9.
14. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
15. Зафировский М. Вне рационального выбора: элементы «теории иррационального выбора» // Социологические исследования. 2014. № 3.
16. Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х — середина 2010-х гг.) / под ред. Ж. Т. Тощенко. М., 2016.
17. Карпинский К. В. Неконгруэнтный смысл жизни и смысложизненный кризис в развитии личности // Актуальные проблемы психологии личности. Ч. 2. Гродно, 2012.
18. Константиновский Д. Л. и др. (ред). Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет исследования. М., 2015.
19. Лапин Н. И. Гуманитарный выбор населения России и центры внимания российской социологии // Социологические исследования. 2016. № 5.
20. Левада Ю. А. Ищем человека. Социологические очерки. 2000–2005. М., 2006.
21. Левашов В. К. Реформы и кризис: тридцать лет спустя // Социологические исследования. 2015. № 10.
22. Леонтьев Д. А. Психология смысла. М., 1999.
23. Маршак А. Л. Культура: Социальные смыслы и социальные реалии. М., 2013.
24. Межуев В. М. Ценности и смыслы в контексте культуры // Международные Лихачевские научные чтения. Глобализация и диалог культур. Избр. доклады (1995–2015). СПб., 2015.
25. Смирнова Н. М. Социальная философия в изучении современного общества. М., 2009.
26. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

27. Тощенко Ж. Т. Смысл жизни: опыт анализа с позиций социологии жизни // Социологические исследования. 2016. № 11.
28. Фатенков А. Н. Экзистенциальный реализм в смыслах и лицах // Философские науки. 2015. № 9.
29. Франк С. Л. Духовные основы: общества // Русское зарубежье. Л., 1991.
30. Чудновский С. А. Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX–XX вв. М., 2015.
31. Штомпка П. Социология: анализ современного общества / пер. спольского С. М. Червонной. М., 2007.
32. Шюц А. Избранное: мир, освященный смыслом. / сост. и пер. Н. М. Смирновой. М., 2004.
33. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. М., 2002.

**Раздел II
(Выпуск 14)**

**АКТУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Д. В. Иванов, Ю. В. Асочаков, К. П. Гулькина¹

ТЕОРЕТИЧСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ХХI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ ФРАГМЕНТАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ²

Введение: дискурс кризиса и логика развития социологии

С момента публикации знаменитой работы Э. Гоулднера в 1970 г. [4] дискурс кризиса в социологии разросся и в последние десятилетия стал постоянным компонентом теоретико-методологических дебатов. Однако применение этого дискурса очень рознится среди исследователей, и их оценки кризиса флуктуируют от констатации его вымышенности до пророчеств о грядущей смерти дисциплины [2; 6; 30; 41; 46; 76]. Устойчивую популярность кризисного дискурса можно вслед за британским теоретиком Джерардом Деланти объяснить тем, что постоянная самопроблематизация вплоть до провозглашения «конца социологии» является частью ее самокритичной натуры [34]. Но эта концепция не объясняет флуктуаций дискурса. История социологии показывает, что они обусловлены тем, что научная дисциплина все-таки развивается и прогрессирует, но не линейно [8]. В истории современной социологии чередуются периоды резкого теоретико-методологического размежевания, фрагментации и периоды стремления к интегрированности, повышения связности. Периодические кризисы в итоге открывают путь и для обсуждений гипотетического конца социологии, и для реальных сдвигов к ее новому развитию. Актуальные сейчас источники нового теоретизирования можно найти в этой волнообразной исторической динамике социологии. В данной статье делается попытка обрисовать позитивные перспективы развития на ближайшие годы, исходя из анализа периодов интеграции и фрагментации в истории социологии за два столетия.

¹ Иванов Дмитрий Владиславович — профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ); Асочаков Юрий Валентинович — доцент факультета социологии СПбГУ; Гулькина Ксения Павловна — младший научный сотрудник факультета социологии СПбГУ.

² Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00261 (<https://rscf.ru/project/24-18-00261/>).

История социологии сквозь призму фрагментации и интеграции

Начальные этапы истории социологии как современной науки были временем фрагментации, когда доминировал акцент на уходе от старого, на поиске различий и нарастило разнообразие идей и подходов. В 1820-х — 1870-х гг. позитивизм О. Конта, эволюционизм Г. Спенсера, исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса и другие по-добные проекты науки об обществе провозглашали разрыв с философской традицией, фокусировались на конфликтном развитии промышленного общества, выдвигали альтернативные проекты лучшего общества. Несмотря на намеренно анти-философскую постановку проблемы создания науки об обществе и на заложенные ими концептуальные основы развития социологии, концепции Конта, Маркса, Спенсера и др. не были еще собственно социологией. Их исследовательским подходом оставалось выведение универсального закона развития человечества в рамках мировоззренческой доктрины, охватывающей все бытие и все познание. Это была *протосоциология*, поскольку совокупность созданных в середине XIX века проектов науки об обществе и неразрывно связанных с ними утопических проектов «подлинно социальной» жизни оставалась на границе между научным знанием и философскими и мировоззренческими доктринами.

На протяжении 1880-х — 1910-х гг. период фрагментации продолжался, и в стремлении найти и продемонстрировать общие для социологов предмет и метод Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель, Ф. Тен-нис, В. Зомбарт, В. Парето, представители Чикагской школы А. Смолл, У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Берджес создали работы, акцентирующие различия: разделение на реализм и номинализм, на теоретическую и эмпирическую социологию, между традиционностью и современностью в социальной жизни. Эти работы, многократно критиковавшиеся за схематизм и наивность теоретических построений и эмпирических обобщений, теперь ценятся за их вклад в формирование стандартов научной работы социологов и стали образцами, то есть классикой для последующих поколений исследователей. Это был этап *классической социологии*, поскольку совокупность исследований, созданных в конце XIX — начале XX века, предопределила развитие социологии как научной дисциплины, имеющей собственную предметную область и собственные методы исследовательской работы.

Благодаря классикам впервые возникли отчетливые признаки социологии, но и возникло разнообразие видов социологии, от которых ведут свое происхождение современные научные школы и направления. Разные виды социологии — результат разного видения предметной области и методологии. Дюркгейм с его социологизмом, Вебер с понимающей социологией, Зиммель и Теннис с формальной социологией, европейские школы теоретической социологии и Чикагская школа эмпирической социологии стремились сконструировать и легитимировать социологию разными путями.

Умножая разнообразие общих концепций предмета и методов в социологии и углубляя различия между ними, классики одновременно фрагментировали изучаемую социальную реальность в собственных исследованиях конкретных явлений. Классическая социология — это еще и *классифицирующая социология*, превращающая исследование любого явления в дифференциацию его на типы, виды, классы, кластеры и т. п. Ныне этот исследовательский паттерн обеспечивает социологическим работам элементарный уровень научности и профессионализма, а введен этот паттерн в социологию был в образцовых работах рубежа XIX–XX вв., чтобы отделить современный тип социальности от традиционного. Это различие ожидаемо можно найти у пропагандиста собственно методологии идеальных типов Вебера в его противопоставлении традиционного и рационального действия и хозяйства, но есть он и у последовательного позитивиста Дюркгейма с его различием механической и органической солидарностью, альтруистического и эгоистического самоубийства, и у волюнтариста Тенниса с его сопоставлением общины и общества, и даже у эмпириков Томаса и Знанецкого в их сравнительном анализе крестьянского быта в Европе и городской жизни в Америке. Таким образом, общество как целостность, как единый организм остался у протосоциологов и классиков социологии либо общей метафорой, либо утопическим горизонтом теоретизирования, а социальная реальность в исследованиях фрагментирована и предстает разрастающимся множеством структур и процессов, тяготеющим к контрастирующим типам социальности.

В 1920-х — 1950-х гг. характер развития социологии кардинально переменился: впервые в ее истории период фрагментации сменился периодом интеграции. Дискуссии предшествующего периода о том,

какой должна быть социология, что является ее предметом и каковы методы, сформировали концептуальную традицию и определили специфику социологии, ее автономное положение в ряду других социогуманитарных дисциплин — философии, истории, экономики, психологии. Но созданные первыми классиками типологии и классификации форм социального взаимодействия, социальной интеграции и солидарности, социальных общностей и т. д. не образовывали единой концептуальной системы, то есть теории. С другой стороны, в ходе эмпирических исследований шло накопление фактического материала, объем и разнообразие которого росли и требовали систематизации. Поэтому актуальной стала проблематика теоретического синтеза, ведущего к созданию общесоциологической теории, которая объединяла бы концептуальные достижения классиков и обобщала бы результаты, получаемые эмпирической социологией. В объединенных новой повесткой социологических работах доминировала ориентация на рост связности, акцентировалась поиски общности и актуализация наследия. В результате эти работы образовали *первую интегративную волну и стали неоклассической социологией*.

Идеей создания общесоциологической теории, объясняющей весь комплекс социальных явлений и интегрирующей прежние и новые научные достижения, пронизаны самые выдающиеся теоретические работы середины прошлого века: «Современные социологические теории» [69] и «Социальная и культурная динамика» [71] П. Сорокина, «Структура социального действия» [62] и «Социальная система» [61] Т. Парсонса, «Традиционная и критическая теория» М. Хоркхаймера [47] и его совместная с Т. Адорно «Диалектика просвещения» [13]. В этом движении к «большой» теории участвовали даже те, кто скептически относились к всеохватным абстрактным схемам, как, например, Р. Мертон или П. Лазарсфельд. Мертон предлагал развивать теории среднего уровня как эмпирически обоснованные теории отдельных социальных явлений и процессов для того, чтобы общесоциологическая теория сложилась «естественным путем» в результате интеграции уже верифицированных теорий среднего уровня [58]. Лазарсфельд создавал изощренные техники операционализации и измерения, которые могли бы сделать «большую» теорию рабочим инструментом исследователя [53].

Результатом стремления к созданию концептуально интегрированной и методологически сильной социологии стали не только большие теории (Сорокин, Парсонс, Франкфуртская школа), но и большие эмпирические проекты, длившиеся по несколько лет и генерировавшие гигантские массивы данных, использовавшихся для решения крупных практических задач в бизнесе, госуправлении, социальной политике. Среди первых «гигантов» эмпирической и прикладной социологии можно выделить социальное картографирование Чикаго под руководством Э. Берджеса, Хотторнские эксперименты с участием Э. Мэйо, исследование массмедиа П. Лазарсфельдом, проект «Авторитарная личность», возглавляемый Т. Адорно.

Интегративная логика, характерная для больших теорий и больших эмпирических проектов середины XX в., отчетливо проявилась и в подходах к социальным изменениям. На смену концепциям, рисующим разные траектории развития общества как пути разрыва с прошлым, исходя из разных образов будущего, пришли концепции единой современности (Modernity). Эта общая модель социальной динамики представлена в теориях модернизации М. Леви и Т. Парсонса [54; 60], в идее П. Сорокина о конвергенции «западного» и «восточного» социокультурных типов [70], в концепции единого индустриального общества Р. АRONA [22], в критике общей для развитых стран технологической рациональности у Г. Маркузе [56].

В 1960-х — 1970-х гг. произошел *парадигмальный кризис*, положивший конец первой интегративной волне в развитии социологии. Новый период фрагментации открылся взрывным ростом критики господствовавших макросоциологических, позитивистских и объективистских представлений о предмете, методах и предназначении социологии. А с созданием множества альтернативных концепций, претендующих на статус парадигмы, исследовательская деятельность социологов стала развиваться не в направлении ожидавшегося в перспективе теоретико-методологического консенсуса, а в направлении дробления социологического сообщества на группы, придерживающиеся альтернативных подходов.

Эта тенденция противоречила образу «нормальной» науки, закрепившемуся в сознании социологов под влиянием концепции Т. Куна [12]. Поэтому обострение теоретико-методологических дебатов, отдаляющих социологию от создания одной, объединяющей научное

сообщество парадигмы традиционно представляется началом затяжного кризиса социологии. Однако, если принять во внимание, что, вопреки Куну, в любой науке всегда есть множество альтернативных теорий, не редуцируемых одна к другой и адекватных только в областях, определенных их граничными условиями, то тенденции 60–70-х гг. прошлого века предстают не фундаментальным кризисом научной дисциплины, а скорее переломом тренда, удалявшего социологию от нормальности. Рост микросоциологических, интерпретативных и активистских концепций в этот период фрагментации перевел научную дисциплину на этап *постклассической социологии*, увеличив теоретико-методологическое разнообразие и при этом восстановив баланс, нарушенный на этапе *неоклассической социологии* экспансией макросоциологических и позитивистских подходов.

Присутствовавшая в социологии еще со временем Дж. Г. Мида, М. Вебера, А. Шюца идея изучения человеческого действия в 1960-х гг. была превращена новым поколением исследователей в орудие борьбы против больших теорий, обличаемых за сосредоточенность на макроуровне социальной реальности и за неспособность объяснить элементарное взаимодействие людей. Дж. Хоманс с теорией социального обмена [45], А. Турен с социологией действия [73], Г. Блумер с символическим интеракционизмом [26], П. Бергер и Т. Лукман с феноменологической социологией [25], И. Гофман с драматургическим подходом [43], Г. Гарфинкель с этнографией [38] пытались реконструировать социологию, сделав ее наукой на микроуровне человеческого действия. И обращение все большего числа исследователей к такого рода микросоциологическим подходам подорвало господство макросоциологических теорий.

В это же время излюбленным объектом критики стала так называемая «квантофрения» социологии. Это саркастическое определение стремления все социологические данные и выводы сводить к статистическим выкладкам, а социологический анализ к манипулированию цифрами, было введено еще в 1930-х гг. П. Сорокиным. Но лишь в 1960–70-х гг. такого рода критика получила широкую поддержку в социологическом сообществе и превратилась в идейную основу развития в противовес позитивистским, «жестким» количественным методам «мягких» качественных методов. Качественные методы, построенные на интерпретации не подвергаемых статистическим про-

цедурам данных о смыслах, которые люди придают событиям, больше отвечают той концепции социологии как науки о взаимодействиях людей, которую продвигали Г. Блумер, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, И. Гофман и их последователи. С этого времени большие исследовательские проекты, основанные на уверенности в объективности структур, формирующие гигантские массивы данных и представляющие социальную реальность на формальном языке статистического анализа, стали все чаще замещаться исследованиями, сконцентрированными на субъектности людей и реализуемыми в столь популярном ныне формате обоснованной теории (*grounded theory*), сводящимся к созданию нарратива — предания о социальном на обыденном языке.

Позитивизм подвергался критике не только за неадекватность методов исследовательской работы, но и за объективистскую позицию исследователя как независимого наблюдателя социальных процессов. Критика традиционной теории, предпринятая Франкфуртской школой еще в 1930-х гг., нашла отклик в социологическом сообществе только через три десятилетия. Обличение «конформизма» традиционной теории, ориентированной на согласование своих положений с существующим положением дел (фактами) и на позитивную оценку равновесия социальной системы, стало трендом. В те годы концепции «критически-рефлексивной» социологии, развенчивающей объективистские притязания больших теорий, развивали такие исследователи нового поколения, как Ч. Р. Миллс и Э. Гоулднер, не связанные непосредственно с неомарксизмом, но явно испытавшие его влияние. А наиболее радикальной версией не объективистской, но активистской позиции социолога стала созданная А. Туреном концепция социального акционизма [73]. Ее сторонники в 1970-х гг. активно участвовали в деятельности социальных движений, в том числе экстремистских, применяя, тем самым, метод социологической интервенции — вмешательства в социальные процессы с целью выявить и развить «историчность» социальных движений.

Три тенденции — рост числа микросоциологических теорий с претензиями на парадигмальность, рост популярности антипозитивистской качественной методологии, рост внимания к активистским доктрина姆 критической социологии, — образуют общее движение к гуманизации социологии. Именно повестка этого движения, тре-

бующая сделать социологию наукой о людях, создаваемую для людей и силами самих людей, мотивировала социологов возобновить дебаты о предмете (объективные структуры или интеракции в повседневной жизни) и методе («жесткие», количественные или качественные, «мягкие») и вновь обострить расхождение позиций, которые за полвека до этого уже проявились как «реализм» и «номинализм» и давно не считались антагонистическими. Как следствие в ходе развернувшихся дискуссий о том, что, как, для чего и для кого должны изучать социологи, сложилась ситуация множественности парадигм. Каждая из конкурирующих парадигм претендовала в глазах своих сторонников на роль общесоциологической теории и методологии, но объединяла вокруг определенного видения предмета и методов исследования лишь часть социологического сообщества.

Тенденции фрагментации в период парадигмального кризиса, помимо внутрисоциологических разделений по линиям «макро / микро» и «структура / действие», «количественное / качественное», выразились в стремлении к радикальному разрыву с социологической традицией в целом. Постмодернистская теория, созданная М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотаром, Ж. Бодрийяром [23; 37; 55] и предлагающая идеи «декентрации субъекта», «исчезновения человека», «конца социального» и т. п., подводит к выводам о полном исчезновении предмета всех микро- и макро-теорий, и о симуляционном характере современных социальных наук. В теоретическом манифесте Лиотара «Состояние постмодерна» [55] уходящей вместе с XX веком современности как эпохе доминирования в общественной жизни и в науке системности и целостности противопоставляется постсовременность с характерными для нее распадом социальных агрегатов, эклектичностью, умножением разнонаправленных малых нарративов. Постмодернизм оказался очень сильным вызовом, открыв одновременно и разнообразные перспективы исследовать привычный предмет социологии совершенно по-новому, и угрожающую перспективу диссоциации предметности и утраты исследователями привычного научного статуса.

В период 1980-х — 1990-х гг. после «битвы парадигм» двух прошлых десятилетий в социологии набрала силу *вторая интегративная волна*. С конца 1970-х гг. ослабло стремление к поиску принципиально новой, наилучшей парадигмы социологического знания и рас-

пространились идеи создания единой парадигмы путем согласования между собой уже существующих альтернативных подходов. Общая тенденция к теоретико-методологической интеграции отчетливо видна в таких трендах конца прошлого века, как распространение теорий, призванных стать объединительными парадигмами, возникновение такого специфического направления как метатеоретизирование, мода на новое прочтение теоретического наследия, породившая целый ряд «ренессансов» классиков, а также бум концепций глобализации и связанных с ними проектов глобальной социологии, преодолевающей все национально-государственные и национально-культурные барьеры.

Стремлением к интеграции структуралистских и агентностных, позитивистских и интерпретативных, объективистских и активистских подходов, ранее считавшихся взаимоисключающими, отмечены наиболее значительные теоретические разработки 1980-х гг.: теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса [44], теория структурации Э.Гидденса [40], конструктивистский структурализм П.Бурдье [28]. Эти интегративные парадигмы на базе релятивизации и увязки разнородных теорий стали «мягкой» формой постмодернизма в социологии, иногда даже вопреки интенциям самих авторов, как, например, в случае Хабермаса, яростно отрицавшего. Но ироничная логика постмодернизма проявилась в том, что, несмотря на популярность, которую приобрели в социологическом сообществе теории Хабермаса, Гидденса, Бурдье, их усилия по разрешению дилеммы «структуры или действия» и тем самым по интеграции теоретической социологии привели лишь к усугублению ситуации мультипарадигмальности. Прежде созданные парадигмы не утратили влияния, просто к макро-социологическим и микросоциологическим теориям теперь добавились еще и межуровневые или мезосоциологические теории.

Другим проявлением «мягкого» постмодернизма в теоретической социологии стали ренессансы классиков, новое прочтение которых стало трендом, благодаря распространению в научном сообществе типично постмодернистской установки на релятивизацию и уравнивание значимости «современного» и «архаичного». Ярким проявлением таких устремлений стал так называемый веберовский ренессанс. В конце 1970-х — 1980-х гг. новое прочтение, раскрывающее актуальность идей Макса Вебера, не просто породило большое чи-

ло научных публикаций, но превратилось в особую разновидность профессиональной деятельности [3]. Под влиянием веберовского ренессанса в конце 1980-х — начале 1990-х гг. интенсивному новому прочтению были подвергнуты труды другого классика социологии — Зиммеля [80]. А затем начался ренессанс даже главного объекта критики 1960-х Парсонса, ставшего источником вдохновения для неофункционализма [17].

Ренессансы классиков и практика построения интегративных теорий на основе выявления взаимодополнительности уже ставших традиционными концепций способствовали превращению реинтерпретации в основной тип теоретической работы. Она позволяет выявить неочевидные логические структуры, лежащие «глубже» авторского уровня анализа, а интеграция этих логических структур в единый концептуальный порядок позволяет создать общесоциологическую теоретическую систему, логические связи в которой перекрывают привычные расхождения между существующими теориями. Этот подход к теоретизированию хорошо просматривается в серии работ, определивших видение социологами своей дисциплины после дебатов 1960-х — 70-х гг.: «Социология: мультипарадигмальная наука» Дж. Ритцера [65], «Структура социологической теории» Дж. Тернера [74], «Социологические дилеммы» П. Штомпки [72], «Теоретическая логика в социологии» Дж. Александера [18]. Здесь наиболее отчетливо проявилась установка «мягкого» постмодернизма на плурализм и релятивизм — относительную ценность и взаимодополнительность альтернативных теоретико-методологических позиций, на легитимацию мультипарадигмальности в социологии.

Новый тип теоретической работы, названный Дж. Ритцером метатеоретизированием [64], с начала 1980-х гг. постепенно стал преобладающей формой в социологии, где теперь создается меньше принципиально новых теорий и больше концептуальных схем, по-новому объясняющих сложившуюся теоретическую ситуацию. Согласно Ритцеру, метатеоретизирование является рефлексивной концептуализацией, направленной не на развитие собственно(й) теории, а на создание «комфортной среды» в теоретической социологии в целом путем 1) прояснения оснований и логики уже созданных теорий, 2) создания предпосылок для развития теорий, 3) установления межтеоретических отношений, задающих общую перспективу «поверх»

различий и противоречий среди отдельных теорий. Метатеоретизирование в исполнении Ритцера, Александера, Штомпки и др. представило фрагментацию, раздробленность социологии в позитивном свете: как логичную структуру общего «пространства возможностей», где есть исследовательские ниши для сторонников всех социологических школ и направлений.

Та же логика открытия или конструирования общего пространства возможностей, а заодно проблем, конфликтов и путей их разрешения, обнаруживается и самом популярном среди социологов тренде конца прошлого столетия — исследованиях глобализации. Концепции глобализации Р. Робертсона, Л. Склэра, М. Албrou, Э. Гидденса, У. Бека, представляющие макроструктуры как связную систему планетарного масштаба, а макроструктуры как открытый и мультикультуральный жизненный мир, поглотили постмодернистскую перспективу социальных изменений и заменили ее новой, предлагающей движение к глобальной современности [16; 24; 39; 66; 68]. Возникновение новой общей предметности, независимо от того, принималась ли реальность глобализации позитивно, как в работах Р. Робертсона и М. Албrou, или критически, как в работах Дж. Ритцера и И. Валлерстайна [63; 78], было воспринято как основание для перехода научного сообщества к новому этапу существования и развития дисциплины — к *глобальной социологии*, всеохватной, единой, мультикультуральной, открытой и избавленной от прежних барьеров между исследователями из разных стран.

Этап глобальной социологии, вопреки ожиданиям, оказался очень недолгим, и сменился новым периодом дезинтеграции и фрагментации уже в 2000-х — 2010-х гг. В это время в социологии развился *метапарадигмальный кризис*, вызванный сдвигом от стабилизационного метатеоретизирования в духе Дж. Ритцера, упорядочивающего множество структуральных и агентностных теорий, к трансформационному, нацеленному на концептуальную «революцию» и на открытие в сетях и потоках новых объектностей для социологии. Этот кризис обострился в условиях обозначившегося во втором десятилетии XXI в. поворота к постглобализации [1; 9], когда глобализационная метапарадигма не выглядит уже надежной концептуальной платформой для исследований, а наблюдаемый рост разрывов, барьеров и конфликтов в «общем пространстве возможностей» побуждает все большее число

социологов развивать постколониальный дискурс, стигматизировать западную классику, создавать теоретические альтернативы доминированию «глобального Севера» в производстве знания.

Трансформационное метатеоретизирование рубежа XX–XXI вв. переориентировалось с рефлексивной работы с другими теориями на работу с другой реальностью. Б. Латур, М. Кастельс, Дж. Урри, А. Аппадураи, К. Кнорр-Цетина акцентировали концептуальный разрыв между классической социальностью структур и действий и постсоциальной реальностью сетей и потоков [20; 31; 48; 49; 50; 51; 52; 75]. Латур и последователи его акторно-сетевой теории противопоставляют прежней «социологии социального» свои исследования гибридной реальности. Актор-сети являются одновременно и социально-материальными структурами, объединяющими разнородные объекты, включая людей и вещи, и формами агентности, превращающими и тех и других в «актантов». Режим существования этой реальности интеробъектиность, что выводит ее за привычные рамки теоретико-методологического выбора между объективностью институтов как тотальных нормативных структур и интерсубъективностью смыслов, конструируемых (взаимо)действующими агентами.

Концептуализация мобильностей и потоковых структур в работах Урри и Кнорр-Цетины вводит представление еще об одном режиме существования реальности «постсоциальных отношений» между людьми и материальными объектами. Это трансобъективность мобильностей и потоков, чья реальность воспринимается и переживается только в движении сквозь привычные структуры, через территориальные, институциональные, групповые, культурные и символические границы. Традиционные для социологического взгляда предметы — социальные структуры представляют собой разграничения, фиксирующие зоны и диапазоны разных взаимодействий. Через эти границы, структурирующие привычную социальность, и идет, привлекающее внимание исследователей движение — перемещение вещей, людей, идей и т. д.

В то время как в западной социологии, на «глобальном Севере» метатеоретизирование направлено на поиск концептуальных схем для новой гибридной и темпоральной реальности — актор-сетей, потоков, мобильностей, ассемблажей и т. п., на «глобальном Юге» возникла совершенно иная разновидность трансформационного

метатеоретизирования, которое фрагментирует социологию посредством постколониального дискурса. Это интеллектуальное движение развивает критику доминирования западных теорий, неадекватности и нерелевантности западных концептов в контексте незападных обществ и культур [14; 15; 33; 57]. Проекты постколониальной теории варьируются от создания специфических инструментов изучения аборигенных социокультурных феноменов, выражающих опыт сообществ в бывших колониях до превращения «южной теории» в инструмент концептуального противостояния и в альтернативный ресурс развития мировой социологии, призванный изменить баланс глобального производства знания в пользу «Юга» [32; 33].

Идеи создания особых теорий, объясняющих локальные феномены и порывающих с зависимостью от западного социологического канона, созвучны критике европоцентризма и претензий на универсальность и объективность социальной теории, получившей распространение среди европейских и американских исследователей с конца 1990-х гг. [57; 77]. Такая релятивизация концептуальных основ «северной теории», а затем дистанцирование от классических форм академической и прикладной науки в проекте публичной социологии [29] стимулировали появление радикального дискурса «отмены» классической социологии. Теоретическое наследие сторонниками этой идеи представляется как отжившие дискурсы, Маркс, Вебер, Дюркгейм обличаются как «расисты» и «империалисты», как носители европоцентристского и патриархально-маскулинного подхода, превращающего теорию в идеологию дискриминации, подавления социокультурного разнообразия и исключения меньшинств [41; 42; 59].

В русле метапарадигмального кризиса, ведущего к общей фрагментации представлений о социальном мире, сменился доминирующий подход к социальной динамике. Заложенные в теориях глобализации ожидания прихода консолидированного и открытого всемирного общества или глобальной социальности не оправдались. В контексте постглобализации на смену идеи глобальности пришла идея множественности, и социологи стали практиковать подход, предложенный Ш. Айзенштадтом еще в конце прошлого века [35; 36], но обретший второе дыхание именно сейчас. Концепция множественных современностей предполагает, что современность (*Modernity*) как тип социальной жизни может и должна принимать различные формы.

Поэтому обнаруживаемые в разных странах расхождения с классическими паттернами индустриализации, демократизации, секуляризации, индивидуализации социологам следует трактовать не как отставание в развитии или отклонение от общей модели, а как цивилизационную специфику одной из множественных современностей.

Современная фрагментация в социологии в условиях постглобализации — это кризис на пути предшествующего развития, но и открытие возможностей на новом пути. Новые социальные онтологии, постколониальная теория, разделения по линиям «Север / Юг» и «академическая / публичная», концепции множественных современностей ничуть не отменяют прежнюю социологию, а лишь расширяют, усложняют предметное поле и структуру социологии и мотивируют совладать с этой разноречивой сложностью. В ситуации метапарадигмального кризиса логично ожидать в ближайшие годы прихода следующей интегративной волны. Первая интегративная волна в истории социологии была в 1920-х — 1950-х гг. и ярче всего проявилась в «больших» теориях П. Сорокина, Т. Парсонса, Франкфуртской школы, связавших разнородные идеи классиков в моделях общества как системы. После парадигмального кризиса 1960–70-х гг. и распространения постмодернистского дискурса возникла вторая интегративная волна, воплотившаяся в связавших макро- и микросоциологические подходы теориях Хабермаса, Гидденса, Бурдье и в метатеоретизировании Ритцера, Штомпки, Александера. Третья интегративная волна должна к середине века по-своему решить те же проблемы устранения разрывов и создания связности в концептуальном и инструментальном многообразии современной социологии.

Теоретико-методологическая повестка новой интегративной волны в социологии

Третья интегративная волна, преодолевая нынешние тенденции дезинтеграции, дискриминации, возникновения разрывов и возведения барьеров должна обеспечить движение по трем направлениям: 1) к связности представлений о формах социальности (типах и уровнях социальной реальности); 2) к связности моделей социальных изменений и развития; 3) к связности концептуальной и инструментальной составляющих социологии, ее академических и внеакадемических целей и средств.

После модного в последние 20–30 лет противопоставления сетей и потоков привычным институтам и интеракциям приходит время для теорий, продолжающих логику интегративных моделей габитуса и структуризации. Предметом этих постбурдьевистских и постгайдденсовских теорий должны стать формы взаимообусловленности и взаимопроникновения всех четырех типов социальности, а не только макроструктур и микроагентностей. Нужны теоретические модели, создающие связность в сложившейся конфигурации четырех разных типов социальных структур: институтов, интеракций, сетей и потоков.

Конфигурация предметного поля теоретической социологии накануне третьей интегративной волны выглядит так: есть четыре главных типа структур, образующих четыре разных типа социальности — тотальную социальность институтов, частную и ситуативную социальность интеракций, относительную социальность сетей, альтерсоциальность потоков. Институты традиционно предстают как идеально социальные структуры. Они интегрируют множество индивидуальных объектов (будь то люди, их действия или их вещи) в большие общности и обеспечивают скоординированность объектов в общностях за счет постоянных и единых для всех норм. Интеракции являются не столь социальными структурами, как институты. Интеракции интегрируют объекты в ситуативную общность, и их координация гарантируется не универсальной нормативностью, а креативностью попавших в данную ситуацию участников, которые вырабатывают адаптивные решения в зависимости от того, как прочитывают (или просчитывают) действия и атрибутику друг друга, создавая частную социальность здесь и сейчас.

Социальность сетей можно назвать относительной, поскольку основой координации объектов является не интеграция их всех, а осуществляемая в ходе коммуникации селекция тех из них, которые идентифицируются как «свои» на фоне «остальных». Наличие этого фона исключаемых, обусловленность доступа в сеть идентичностью и коммуникативность как гарантия социальности являются характерными чертами любых сетевых структур. Потоки, как и сети, представляют собой тип координации объектов на основе селекции. Но отбор объектов в поток происходит не в силу их фиксированной идентичности, а в силу их подвижности — пространственной, культурной, физической, интеллектуальной и т. п. Координация объектов

в потоке обеспечивается постоянным движением через пространственные, институциональные и групповые границы — генерированием новых трендов, ивентов, проектов и т. д. Социальность в потоках обеспечивается не повторяемостью паттернов или устойчивостью связей, а совместной мобильностью. Движения и изменения создают другую, альтернативную социальность.

Фокусируясь на разных формах социальности — на нормативности, выделяемой в институтах, креативности — в интеракциях, коммуникативности — в сетях, мобильности — в потоках, социологи создали конкурирующие представления о социальной реальности. Четыре разных режима существования социальной реальности — это ее объективность в работах Дюркгейма, интерсубъективность у последователей Шюца, интеробъективность по Латру, трансобъективность в русле идей Урри. Конфигурация четырех разных социальностей образует ту общую реальность, с которой теперь приходится иметь дело социологическому сообществу.

От второй интегративной волны сегодняшняя социология унаследовала теории, связавшие первый и второй типы социальности — институты и интеракции. Интегративные парадигмы, создававшиеся с конца 1970-х гг. Ю. Хабермасом [44], Э. Гидденсом [40], М. Арчер [21], П. Бурдье [28], были нацелены на установление взаимообусловленности и связности структур и действий, то есть на объединение тотальной социальности институциональных, нормативных порядков и частной, ситуативной социальности порядков интеракций. Совмещение структурного и агентностного взглядов на социальную реальность сформировало специфическую оптику, в которой и институты, и интеракции видятся одинаково: как *поля структураций* — объективно существующие комплексы интерсубъективно конструируемых отношений. При всех терминологических различиях между концепциями коммуникативного действия, структурации, морфогенезиса, габитуса, все они предлагают модели того, как взаимно (вос)производятся локализованные в пространстве-времени условия (ресурсы и нормы, капиталы и символическое насилие и т. п.) и разнообразные по степени рефлексивности процессы освоения и (пере)оформления имеющихся условий (действия, практики и т. п.). Поэтому связка из бурдьевистского термина «поле» и гидденсовского термина «структурация» вполне уместна, поскольку она адекватно представ-

ляет исследованный в интегративных теориях второй волны общий предмет: поля структураций.

Решение проблемы объединения структурного и агентностного подходов, макро- и микроуровней социальности по формуле «институты + интеракции = поля структураций» сейчас выглядит лишь частичным. Проблематика теоретической интеграции выглядит иной в контексте поисков, начиная с 1990-х гг., новых объектностей и разработки новых метафор и концептуальных схем М. Кастельсом, Дж. Урри, Б. Латуром, А. Аппадураи, К. Кнорр-Цетиной. Противопоставляя старым формам социальности — институтам и интеракциям, новые — сети и потоки, Кастельс, Латур, Урри, Аппадураи, Кнорр-Цетина и их последователи релятивизировали результаты, достигнутые в интегративных теориях Хабермаса, Гидденса, Арчер, Бурдье.

Сейчас, в 2020-х гг., уже понятно, что представления об иных фундаментальных типах социальности — сетевых и потоковых структурах не отменяют классические представления и прежнюю социологию. Кастельс, Латур, Урри, Аппадураи, Кнорр-Цетина не конституировали «постсоциальную науку», но расширили предметное поле социологии и дополнили ее теоретическую проблематику новыми вопросами соотнесения привычных и новых форм социальности. Поскольку вновь открытыми структурами не устраниются и не заменяются полностью прежде освоенные структуры, актуальной становится новая теоретическая повестка: продолжить интегративное теоретизирование и дополнить поля структураций другими формами связности еще по пяти линиям сопряжения и взаимообусловленности разных типов социальностей (рис. 1).

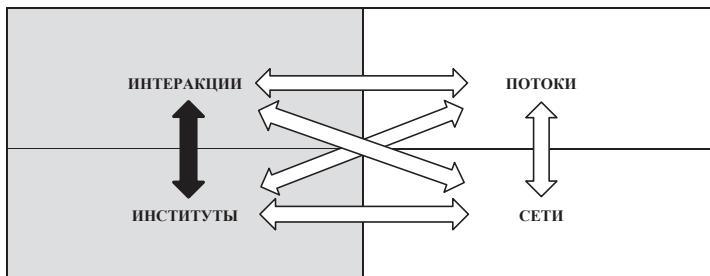


Рис. 1. Аналитическое пространство социальных структур в актуальной социологии

Наряду с интегративной формулой «институты + интеракции = поля структураций», релевантной для сопряжения привычных структур (закрашенные зоны на рис. 1), нужны аналитические решения, которые связывают старые и новые формы социальности. Взаимообусловленность интеракций и сетевых структур проявляется в коммуникациях. Развитие и влияние сетей побуждает индивидов превращать обмен действиями в режиме «лицом к лицу» в дистанционный обмен сообщениями, но в то же время сети воспроизводятся и расширяются за счет креативности коммуникативных действий, направленных на поддержание межиндивидуальных и внутригрупповых отношений. Участие в коммуникациях от лица множества виртуальных персонажей, эксперименты с множественными и изменчивыми идентичностями, создание ботов (алгоритмов симуляции общения с реальным человеком) становятся распространенными практиками в социальных сетях. Формула «интеракции + сети = коммуникации» не только раскрывает логику взаимодополнительности на стыке двух типов социальности, но и объясняет популярное среди социологов, исследующих современный феномен коммуникаций, совмещение микросоциологических, конструкционистских подходов и формально-структурристского сетевого анализа.

Анализ структурных эффектов на стыке институтов и сетей показывает, что в конце прошлого века развитие сетевых структур с их селективной социальностью релятивизировало тотальную социальность институтов, снизило роль их нормативности, сформировало свободное от институтов виртуальное пространство и вызвало виртуализацию самих институтов [7; 31]. Однако в начале нынешнего столетия виртуализация институтов пошла в направлении создания цифровых платформ, которые путем алгоритмизации нормируют сетевые структуры, коммерциализируют и бюрократизируют сетевые связи. Коммуникации в социальных сетях и мессенджерах, на маркетплейсах и агрегаторах, в мобильных приложениях и на порталах различных фирм и учреждений все в большей степени подчинены обезличенным нормам, обуславливаются предоставлением персональных данных и жестко регулируются. Виртуализация институтов оборачивается платформизацией сетей. Перевод большей части интернет-коммуникаций на подконтрольные крупным корпорациям и государству платформы — это тенденция конвергентного развития

социальных структур, которое идет по формуле «институты + сети = платформы».

На линии сопряжения между институтами и потоковыми структурами определенность и упорядоченность социальных процессов все чаще обеспечивают проекты, в которых свойственное институтам повторение привычных образцов (паттернов) заменяется характерным для потоковых структур непрерывным обновлением целей, перемещением ресурсов, сменой зон активности. Проектная логика жизни характерна теперь не только для бизнесменов, но для большинства людей, вовлеченных в диктуемую культурой потребления — консюмеризмом гонку за показателями успешности. Проекты как ограниченные по времени целевые программы деятельности быстро сменяют один другой и задают тот режим краткосрочных фаз активности и вовлеченности, в котором индивиды и группы стремятся к результатам в карьере, образовании, отдыхе, развлечениях и даже в семейной жизни. На общественно-политических аренах проектная логика, ранее отличавшая социальные движения от рутинного функционирования правительств, министерств, бюрократических структур всех уровней, теперь все больше проникает в государственную власть и в публичное управление. Их перевод в формат проектов, варьирующихся по масштабам от национальных программ развития до муниципального благоустройства, является наглядной реализацией формулы взаимообусловленности структур: «институты + потоки = проекты». В проектах институты динамизируются потоками, а потоки нормализуются институтами.

Сопряжение структур на линии интеракции—потоки проявляется в буме ивентов. Вместо регулярных и рутинных контактов между индивидами в постоянных по составу и месту функционирования группах соприсутствие и сопричастность обеспечиваются сериями разовых, но зато креативных и интенсивных событий. Насыщенные разнообразными активностями ивенты объединяют людей и обеспечивают сильную идентичность в условиях постоянных трансформаций технологий и паттернов интеракций. Двигаясь в потоках ивентов, люди компенсируют дефицит социальности, возникший в результате виртуализации привычных интеракций и групп, функционировавших в режиме «лицом к лицу». Таким образом, организуемые для работников компаний мероприятия по поддержанию корпоративного духа,

тематические встречи друзей, фестивали, конкурсы, выставки, концерты, коллективные перформансы, флэш-мобы и даже брутальные акции протеста и устрашения превращаются в особую разновидность структур, реализующих формулу «интеракции + потоки = ивенты».

Взаимообусловленность структур по линии сети-потоки изначально концептуализирована в теориях Кастельса, Латура, Аппадураи, Урри [20; 31; 52; 75]. Нужно лишь обобщить их представления о том, что сети и потоки являются двумя аспектами одной реальности. Сети задают топологию процессов, обеспечивают направления для потоков, а потоки придают сетям процессность, обеспечивают соединение узлов. Соединяемые в целостности сети и потоки предстают как интеробъективно существующие гибридные комплексы трансъективно формирующихся текучих сборок. Упрощенно это сопряжение сетевых и потоковых структур можно передать формулой: «сети + потоки = скейпы ассемблажей».

Неологизм скейп (*scape*), введенный А. Аппадураи [19] для обозначения пространств-потоков и подхваченный Дж. Урри, М. Уотерсом [75; 79] и другими исследователями, отсылает сразу к двум значениям — пространственной определенности ландшафта, местности (по-английски *landscape*) и текучести, ускользания через границы мест (по-английски *escape*). Популяризованный Б. Латуром и его последователями термин «сборка» (по-французски *assemblage*) создает коннотации и с техническими операциями соединения деталей, и с социальными процессами организации собраний и формирования объединений.

Скейпы ассемблажей, поля структураций, коммуникации, платформы, проекты, ивенты в совокупности образуют актуальный предмет для теоретической социологии и перспективный полигон для эмпирических исследований. Взаимопроникновение структур, которые раньше противопоставлялись или по крайней мере разграничивались, позволяет сегодня называть социальную реальность дополненной. Метафора дополненной реальности (по-английски *augmented reality*), взятая из ИТ-технологий, где цифровые объекты встраиваются в одно пространство с физическими, хорошо схватывает те гибридные реальности, которые возникают на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков. Дополненная социальная реальность не замена прежним концепциям, но интегральный итог развития теоре-

тических представлений о социальной реальности со времен Дюркгейма до наших дней.

Единая и объективная реальность, представленная Э. Дюркгеймом, уже к середине прошлого века стала выглядеть недостаточной. Предложенная А. Шюцем иерархия множественных реальностей с выделенным особым статусом повседневной реальности выглядела хорошим решением вплоть до конца XX столетия. Затем пришло время для концепций дезагрегирования: исчезновение объективной реальности и рост медийной гиперреальности по Ж. Бодрияру и плюралистичность реальностей в версиях Ш. Айзенштадта, У. Бека, Р. Коннелл. С развитием в начале XXI века идей Б. Латура, Дж. Урри, К. Кнорр-Цетины о гибридности и темпоральности реальностей оформились предпосылки для интегральной концепции дополненной реальности, в которой взаимно проникают и взаимно обусловливают одна другую объективная реальность институтов, интерсубъективная реальность интеракций, интеробъективная реальность сетей, трансобъективная реальность потоков.

Наряду с достижением связности представлений о формах социальности (типа и уровнях социальной реальности), концепция развития структур на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков открывает перспективу теоретической интеграции в исследованиях социальной динамики. Достижение связности разноплановых моделей социальных изменений и развития возможно в концепции дополненной современности (*augmented Modernity*). После бума конкурирующих моделей глобальной современности, конца современности и множественных современностей актуальной становится идея общественного развития, преодолевающая конститутивные для социологии конца прошлого столетия разделения на локальное и глобальное, ядро и периферию, систему и жизненный мир, публичное и приватное, материальное и символическое, аналоговое и цифровое, реальное и виртуальное, модернистское и постмодернистское и т. д.

В концепции дополненной современности привычные со времен модернизации структуры — институты и интеракции, не исчезают, а совмещаются с вновь возникающими сетями и потоками. Социальность теперь представлена в конфигурации разных структур, выступающих в качестве взаимодополнительных и взаимопроникающих форм координации и организации совместной жизни людей.

Социальная жизнь во взаимопроникающих реальностях — это насыщенное киберфизическим опытом, интенсивное, креативное и мобильное участие в создании, поддержании и развитии полей структураций, скейпов ассемблажей, платформ, коммуникаций, проектов, ивентов. Развитие дополненной социальной реальности — позитивная перспектива, которую можно видеть сегодня в крупнейших очагах постиндустриальной экономики — двух-трех сотнях глобальных мегаполисов, отличающихся высокими уровнем жизни и качеством жизни, а также и наполненностью жизни. Здесь высокие показатели уровня доходов / потребления, доступности социальных сервисов и комфорtnости среды свидетельствуют о развитости привычных институтов и интеракций индустриальной эпохи, а высокие показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством — о развитости сетевых и потоковых структур постиндустриального типа и о возникновении гибридных структур на стыках разных типов социальности.

Однако позитивная перспектива дополненной современности соседствует с негативными эффектами концентрации новых форм социальности в мегаполисах. Насыщенная, интенсивная и турбулентная социальность в крупных городах и мегагородах все больше контрастирует с социальной жизнью в малых городах и в сельской местности, которые теряют ресурсы, в первую очередь человеческие, которые «вымываются» потоками, идущими в направлении суперурбанизированных анклавов дополненной современности. За пределами мегаполисов упадок характерных для развитого индустриального общества институтов так называемого «социального государства» (welfare state), демонтированных в ходе неолиберальных реформ, и уменьшение числа и разнообразия интеракций, вызванное оттоком наиболее социально активного населения, приводит к «истощению» социальности. Вместо ожидавшегося всеобщего распространения и умножения форм социальности, порожденных модернизацией, и возникновения глобальной современности [39; 66] сейчас можно наблюдать скорее нарастающий разрыв между дополненной современностью в суперурбанизированных анклавах и переходом социальной жизни в режим истощенной современности (*exhausted Modernity*) за их пределами.

Контраст между дополненной и истощенной современностями требует переосмыслить доминировавшие до сих пор концепции социальных изменений и социального развития.

Во-первых, больше не актуальны теории глобализации, превращающиеся в идеологизированные утопии на фоне наблюдаемых тенденций постглобализации. Происходит локализация глобальности, то есть избавленной от барьеров, мобильной и мультикультурной жизни, в сети мегаполисов. Нарастают разрывы в уровне, качестве, стиле жизни между суперурбанизированными анклавами глобальности и остальными территориями и сообществами. Вызовом неолиберальному глобализму становится национал-популизм, ведущий к возведению разнообразных барьеров (санкции, карантины, анти-миграционные стены, военная конфронтация и т. д.) для «нежелательных» транснациональных сетей и потоков.

Во-вторых, теряют актуальность теории виртуализации и цифровизации. Виртуализация, будучи замещением реальных вещей и действий образами и коммуникациями, «взламывала» реальность привычных институтов и порядков интеракций в конце прошлого века. Сейчас перепроизводство образов и коммуникаций приводит к их обесцениванию, а цифровизация сейчас не инновация, а социальная рутина и апpropriация сетевых и потоковых структур корпоративными и государственными платформами. Рутинность цифровых технологий и тотальность контроля провоцируют поворот к «новой материальности»: ценностью становится физическое присутствие, непосредственный опыт, тактильность, «аналоговое» в противовес «цифровому», и активисты и бизнесмены создают в новых общественных пространствах проекты и ивенты, функция которых — быть точками доступа к реальности.

Поворот от глобализации к глокализации [67] и от виртуализации к созданию точек доступа к реальности [9] показывает, что нарастает отчуждение от структур, формируемых корпоративным менеджментом и государственной бюрократией по моделям общественного развития в русле глобалистского, мир-системного подходов и цифровизационного подходов. Новые формы отчуждения и новые неравенства и конфликты, рассматриваемые в целом как проявления фундаментальной диалектики дополненной и истощенной современности, делают вновь актуальной критическую теорию общества. Актуальна

не односторонняя критика в нео- или постмарксистском духе, а интегральная критическая теория, рассматривающая диалектику современности как источник сопротивления отчуждению и борьбы за социальную справедливость, а противостояние контролю и господству как источник и перспективу развития новых социальных структур.

Интегральной идеей для разных форм сопротивления, борьбы, активизма сейчас является неотчужденность как аутентичность [10; 27]. Аутентичность — это то, что пытаются отстаивать и критически осмысливающие мировые проблемы интеллектуалы, и решающие свои повседневные проблемы обыватели, и правоконсервативные популисты, и леволиберальные активисты. Для одних аутентичность — это, в первую очередь, свободная идентичность, самобытность, противопоставляемые угнетению, колонизации. Для других — подлинность, натуральность, спонтанность, противопоставляемые фейкам, искусственности, алгоритмизации. Для третьих — историчность и инновационность, противопоставляемые фальсификациям и имитациям. Стремление к аутентичности — общий ответ на противоречия дополненной и истощенной современности и фундаментальный драйвер социального развития на ближайшие годы и десятилетия. Борьба за определение аутентичности и за ее воплощение в жизнь задает общественно-политическую метаповестку, от которой не должна сегодня отстать социология.

Третьим направлением интеграции в социологии, после связности форм социальности и связности моделей социального развития, является движение к связности концептуальной и инструментальной составляющих социологии. Методы сбора и анализа эмпирических данных в своем развитии прошли за полтора столетия путь от простых анкет к изощренным шкалам, а затем к качественным методам, смешанным методам (*mix method*) и к стратегии множественных методов (*multimethod*), включающей дополнительно к текстовым и числовым еще и визуальные методы. В последние два десятилетия этот инструментарий дополняется технологиями «больших данных» (*big data*) и попытками роботизации сбора и анализа социологической информации.

Конфигурация методов эмпирических исследований в социологии воспроизводит конфигурацию типов социальности. Каждому типу социальности соответствует наиболее релевантный метод сбора

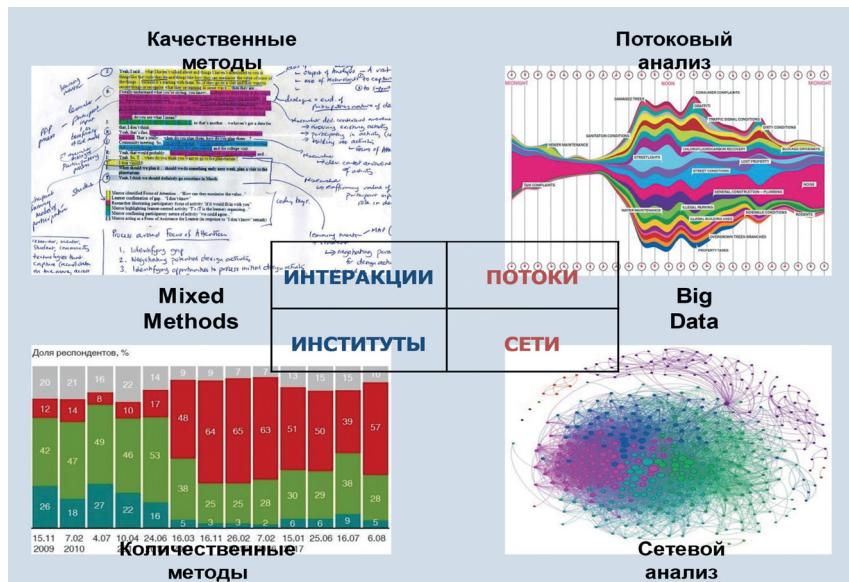


Рис. 2. Конфигурация методов исследований в современной социологии

и анализа данных. Качественные методы, в первую очередь мас-совые опросы, эффективны при изучении установок на стандарти-зированное поведение, выражающих объективную нормативность, обеспечиваемую институтами. Качественные методы, особенно глубинное интервью и включенное наблюдение, релевантны при ис-следовании интерсубъективных смыслов и значений, возникающих в интеракциях. Технологии больших данных и методы построения и визуализации графов активно применяются в анализе сетевых структур. В том же направлении использования больших данных и визуализации идет развитие анализа плотности и интенсивности физических и символических потоков.

Методологические инновации активно развиваются на линиях сопряжения между четырьмя типами исследований, соответствую-щих четырем типам структур — институтам, интеракциям, сетям, потокам (рис. 2). Основной тренд последних лет здесь — примене-ние стратегии смешанных методов, интегрирующей количественные и качественные компоненты так же, как концепции полей структу-раций интегрируют нормативность институтов и креативность ин-

теракций. Ожидавшийся в связи с появлением технологий больших данных переворот во всех социальных исследованиях пока не произошел, но для выявления и презентации скейпов ассемблажей большие данные используются с большим успехом. Набирают популярность среди исследователей и приобретают статус инновационных и перспективных участвующее наблюдение, визуальные методы, социологические прогулки (*sociological walk*), критический дискурс-анализ, партисипаторные методы. Эти и другие подобные методологические разработки и методические решения находят применение там, где полигонами для них становятся платформы, коммуникации, иVENTы, проекты. Таким образом, формирование дополненных социальных реальностей в результате взаимопроникновения разных структур стимулирует развитие гибридных методов в качестве инновационных инструментов исследовательской работы.

Интегративная волна в эмпирических исследованиях должна закрепить принципы микширования методов и омниканальности в коммуникациях между исследователями и их объектами. Письменная и устная, речевая и визуальная, аналоговая и цифровая, дистанционная и осуществляемая в режиме «лицом к лицу» формы коммуникации должны дополнять одна другую в одних и тех же исследованиях, соответствуя логике изучаемой дополненной социальной реальности.

В контексте показанных перспектив теоретической и методологической интеграции по-новому предстает модель разделения социологического труда, которую предложил М. Буравой [29]. Обеспечивающие создание, соответственно, инструментального и рефлексивного знания профессиональная социология и критическая социология — две ветви для «внутреннего» использования академическим сообществом. Еще две ветви ориентированы на внеакадемические аудитории. Политическая социология (в русскоязычной науке привычнее называть эту социологию прикладной) обеспечивает инструментальное знание для корпораций и правительства, а обобщая, для институтов. Публичная социология обеспечивает рефлексивное знание для сообществ, то есть для участников интеракций. Модель Буравого явно построена на базе представлений о социальной реальности середины прошлого века, которые необходимо дополнить представлениями о новых сетевых и потоковых структурах. Но это не означает,

что нужно фрагментировать социологию, выделяя в ней новые расходящиеся ветви.

Для различных аудиторий знание может быть ценно по-разному: как представление реальности, как конструирование реальности или как исполнение реальности. Но для несоциологов, которых в этом мире подавляющее большинство, социологическое знание по-прежнему может быть ценным, если оно является опытом трансформации реальности, в котором инструментальность и рефлексивность знания не разделяются. Именно как трансформативное знание социология проектировалась О. Контом. Принцип трансформативности знания можно разными способами редуцировать, как К. Маркс, сужавший тезис об изменении мира до революционной миссии пролетариата, вскоре поглощенного обществом потребления, или как М. Буравой, адресующий «публичную социологию» традиционному гражданскому обществу, сейчас все более вытесняемому клиентскими сообществами, формируемыми государственной бюрократией и корпоративным бизнесом. А можно дать интегральную трактовку: трансформативное знание — это знание для тех и силами тех, чей образ жизни — общественные изменения.

Трансформативная социология сегодня возникает и артикулируется в структурах, образуемых на стыках институтов, интеракций, сетей и потоков полями структураций, скейпами ассемблажей, коммуникациями, платформами, проектами, ивентами. Предметное поле и инструментарий трансформативной социологии можно постоянно обогащать прорывными проектами на стыке бизнеса и культуры, волонтерскими движениями на грани опасной работы и вдохновляющего досуга, контр-культурными коммуникациями и протестными ивентами на стыке политики и поп-арта, потребительскими трендами на стыке высоких технологий и повседневного быта, исследовательскими инициативами на грани глобального академизма и локального активизма и т. д.

Заключение: интегративная перспектива развития социологии

Анализ динамики развития социологии и возникших в ней предметных и методологических конфигураций приводит к идее, что третья интегративная волна должна к середине нашего века по-своему решить те же проблемы устранения разрывов и создания связности

в концептуальном и инструментальном многообразии современной социологии, которые решались в ходе первой (в 1920-е — 1950-е гг.) и второй (в 1980-е — 1990-е гг.) волн. Приход третьей интегративной волны логичен, но не является неизбежным. Он зависит от интенций и усилий множества теоретиков и исследователей-практиков. И в отличие от предшествующей интегративной волны, не стоит сейчас чрезмерно уповать на западных социологов, травмированных критикой европоцентризма и постколониальным дискурсом. Миссия новой концептуальной и инструментальной интеграции не может быть возложена на европейскую и американскую социологию в ее нынешнем состоянии. Разработку интегралистской повестки сложно ожидать и от аморфного, вялого, склонного к инерционным сценариям мирового социологического сообщества, каким оно предстало на недавних конгрессах в Торонто (2018) и Мельбурне (2023) Международной социологической ассоциации (ISA). Степень осознания актуальности теоретической интеграции и развития в направлении дополненной современности в истеблишменте и в массе членов ISA пока не высока.

Если развитие социологии и ее выход из нынешнего состояния фрагментированности актуальны, то принимающим эту повестку социологам придется решать эти проблемы в локальных контекстах и в обход привычных центров академического доминирования. Из этого вовсе не следует, что нужно принять ретроградные и изоляционистские проекты суворенизации социологии в России [5; 11]. Суворенность не достигается в рамках «рабского сознания» (*captive mind*), склонного к низкой самооценке и потому воспринимающего сильные идеи извне как угрозу для своей самобытности. Подлинная суворенность в науке базируется на продвинутости и лидерстве в сети международных обменов идеями и результатами исследований. Ориентироваться следует на лучшие отечественные образцы вклада в развитие мировой социологии. М. Ковалевский, Н. Тимашев и особенно П. Сорокин, успешно интегрировали зарубежные и русские идеи, снискали международное признание своими работами и никогда не идентифицировали себя как представителей научной периферии и жертв несправедливого глобального порядка интеллектуального производства.

Единая и могучая в своем многообразии научная социология способна пережить и радикальные дискурсы постколониализма, и про-

жекты «суверенной социологии» так же, как естественные науки в прошлом пережили известные лженаучные изоляционистские течения. Современная западная социология останется в мировой науке в качестве этапа истории и в качестве основы для дальнейшего научного развития, а «суверенную социологию» ждет судьба отставшей от релятивистской и квантовой теорий «арийской физики» Ф. Ленарда и отставшей от молекулярной генетики «мичуринской агробиологии» Т. Лысенко.

Ориентиром для теоретиков и исследователей-практиков в середине XXI века должна быть не постколониальная, не суверенная, а аутентичная социология. Аутентичность социологии — ее специфическое качество оставаться собой — научным и гуманистическим проектом из европейского прошлого и вместе с тем перманентно актуализируемым движением рефлексивного и инструментального знания в общемировом настоящем.

Ожидаемая третья интегративная волна не решит раз и навсегда все проблемы социологии. Представленная выше краткая история социологии показывает, что в ней ничего не бывает навсегда и ничто не принимает повсюду одинаковые формы. Возможная в ближайшем будущем интегративная волна со временем скорее всего сменится следующим периодом фрагментации. Но это будет продолжением развития социологии уже на ином достигнутом уровне. Так что смена нынешней фрагментации интегративной волной — это безусловно позитивная перспектива движения. На это и следует ориентироваться тем, кто от положительного решения общего вопроса об актуальности теоретико-методологической интеграции переходит к детальным вопросам о том, как именно интегрировать представления о разных структурах, процессах, методах.

Литература

1. Асочаков Ю. В. Постглобализация и новые контуры будущей современности // Телескоп. 2019. № 1.
2. Бэр П. Социология остановлена // Социологические исследования. 2020. № 9.
3. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М., 1991.
4. Гоулднер Э. Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003.

5. Дугин А. Г. Евразийство как незападная эпистема российских гуманистических наук // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2022. Т. 22. № 1.
6. Дудина В. И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // Социологические исследования. 2013. № 10.
7. Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб., 2000.
8. Иванов Д. В. Ворчание «стариков», нытье «молодых» и прогресс социологии // Социологические исследования. 2022. № 2.
9. Иванов Д. В. Дополненная современность: эффекты постглобализации и поствиртуализации // Социологические исследования. 2020. № 5.
10. Иванов Д. В., Асочаков Ю. В. Цифровизация и критическая теория общества // Социологические исследования. 2023. № 6.
11. Кравченко С. А. Геополитические вызовы и отечественная социология // Социологические исследования. 2023. № 2.
12. Кун Т. Структура научных революций. М., 2003.
13. Adorno T., Horkheimer M. Dialektik der Aufklärung. Amsterdam, 1947.
14. Akiwowo A. Indigenous Sociologies: Extending the Scope of the Argument // International Sociology. 1999. No. 2.
15. Alatas S. Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism. New Dehli, 2006.
16. Albrow M., King E. Globalization, knowledge and society. London, 1990.
17. Alexander J. (Ed.) Neo-Functionalism. Newbury Park, 1985.
18. Alexander J. Theoretical Logic in Sociology. London, 1982.
19. Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity. London, 1990.
20. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996.
21. Archer M. Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory, Cambridge, 1988.
22. Aron R. Trois essais sur l'age industriel. Paris, 1966.
23. Baudrillard J. À l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social. Paris, 1978.
24. Beck U. Was ist Globalisierung? Frankfurt a. M., 1997.
25. Berger P., Luckmann T. Social Construction of Reality. New York, 1966.
26. Blumer H. Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs, 1969.
27. Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, 1999.
28. Bourdieu P. Choses dites. Paris, 1987.
29. Burawoy M. For Public Sociology // American Sociological Review. 2005. Vol. 70 (February).

30. *Campbell C.* Has Sociology Progressed? Reflections of an Accidental Academic. Cham, 2019.
31. *Castells M.* The Rise of the Network Society. Oxford, UK, 1996.
32. *Comaroff J., Comaroff J.* Theory from the South, or How Euro-America Is Evolving toward Africa. Boulder, 2012.
33. *Connell R.* Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Cambridge, 2007.
34. *Delanty G., Mascareno A.* Social theory: Legacies and future directions — An interview with Gerard Delanty // European Journal of Social Theory. 2023. Vol. 26(3).
35. *Eisenstadt S.* Multiple Modernities // *Daedalus*. 2000. Vol. 129. No. 1.
36. *Eisenstadt S.* Patterns of Modernity. Vol. 1, 2. New York, 1987.
37. *Foucault M.* Les Mots et les Choses. Paris, 1966.
38. *Garfinkel H.* Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, 1967.
39. *Giddens A.* The Consequences of Modernity. Cambridge, 1990.
40. *Giddens A.* The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, 1984.
41. *Go J.* Race, Empire, and Epistemic Exclusion: Or the Structures of Sociological Thought // *Sociological Theory*. 2020. Vol. 38. Issue 2.
42. *Go J., Lawson G.* Global Historical Sociology. Cambridge, 2017.
43. *Gofman E.* The Presentation of Self in Everyday Life. New York, 1959.
44. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, 2. Frankfurt a. M., 1981.
45. *Homans G.* Social Behavior: Its Elementary Forms. New York, 1961.
46. *House J. S.* Culminating Crisis in American Sociology and its Role in Social Sciences and Public Policy: An Autobiographical, Multimethod, Reflexive Perspective // *Annual Review of Sociology*. 2019. Vol. 45. No. 1.
47. *Horkheimer M.* Traditionelle und kritische Theorie // *Zeitschrift für Sozialforschung*. 1937. Jg. 6. H. 2.
48. *Knorr Cetina K.* Sociality with objects: social relations in postsocial knowledge societies // *Theory, culture & society*. 1997. Vol. 14(4).
49. *Knorr Cetina K.* The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World // *Symbolic Interaction*. 2009. Vol. 32. Issue 1.
50. *Knorr Cetina K., Preda A.* The Temporalization of Financial Markets: From Network to Flow // *Theory, Culture & Society*. 2007. Vol. 24. No. 7–8.
51. *Latour B.* On Interobjectivity // *Mind, Culture, and Activity*. 1996. Vol. 3. No. 4.
52. *Latour B.* Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford, 2005.
53. *Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H.* The People's Choice: How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York, 1944.

54. Levy M. *Modernization and the Structure of Societies*. Princeton, 1966.
55. Lyotard J.-F. *La condition postmoderne*. Paris, 1979.
56. Marcuse H. *One-Dimensional Man*. Boston, 1964.
57. McLennan G. Sociology, Eurocentrism and Postcolonial Theory // *European Journal of Social Theory*. 2003. No. 1.
58. Merton R. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe, 1957.
59. Patil V. The Heterosexual Matrix as Imperial Effect // *Sociological Theory*. 2018. Vol. 36 (1).
60. Parsons T. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs, 1966.
61. Parsons T. *The Social System*. Glencoe, 1951.
62. Parsons T. *The Structure of Social Action*. New York, 1937.
63. Ritzer G. *The Globalization of Nothing*. London, 2004.
64. Ritzer G. Metatheorizing in Sociology // *Sociological Forum*. 1990. Vol. 5. No. 1.
65. Ritzer G. Sociology: A Multiple Paradigm Science // *The American Sociologist*. 1975. Vol. 10. No. 3.
66. Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London, 1992.
67. Robertson R. *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity* // Featherstone M., S. Lash and R. Robertson (eds.) *Global Modernities*. London, 1995.
68. Sklair L. *Sociology of the Global System*. Baltimore, 1991.
69. Sorokin P. *Contemporary Sociological Theories*. New York, 1928.
70. Sorokin P. *Russia and the United States*. New York, 1944.
71. Sorokin P. *Social and Cultural Dynamics*. Vol. 1. New York, 1937.
72. Sztompka P. *Sociological Dilemmas: Toward a Dialectic Paradigm*. New York, 1979.
73. Touraine A. *Sociologie de l'action*. Paris, 1965.
74. Turner J. *The Structure of Sociological Theory*. Homewood, IL, 1978.
75. Urry J. *Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century*. London, 2000.
76. Vandenberghe F., Fuchs S. On the Coming End of Sociology // *Canadian Review of Sociology*. 2019. Vol. 56. No. 1.
77. Wallerstein I. Eurocentrism and its avatars: the dilemmas of social science // *New Left Review*. 1997. Vol. 226.
78. Wallerstein I. Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World System // *International Sociology*. 2000. Vol. 15 (2).
79. Waters M. *Globalization*. London, 1995.
80. Weinstein D., Weinstein M. *Postmodern(ized) Simmel*. London, 1993.

Л. Г. Титаренко¹

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ И МИРЕ

О важности теории можно говорить бесконечно долго. Проблема в том, что мыслящие люди не могут не признавать ее, даже если сиюминутные выгоды от фундаментальных теоретических знаний не очевидны. Как утверждал классик психологии Курт Левин, нет ничего более практического, чем хорошая теория. Почему же тогда сегодня принято считать, что теоретическая социология определяется как «топтание на месте», и это мнение часто распространяется как на глобальную, так и на отечественную социологию? Полагаю, важнее решить вопрос, как можно в этих условиях осуществить продвижение теоретической социологии, чем разбираться, в чем причины нынешнего застоя (а теоретический застой все же имеет место). Название статьи подчеркивает особое значение, придаваемое российской социологии в процессе развития современной теоретической социологии (возможно, не наличествующее в реальности, но желаемое).

По мнению многих отечественных и зарубежных социологов, в настоящее время можно говорить о продолжающемся теоретическом кризисе в социологии, хотя его трактовки разнятся. Причины кризиса, как и дальнейшие перспективы науки, постоянно обсуждаются на протяжении многих лет в России и за рубежом [1; 2; 3; 4; 5; 6], как бы подытоживаясь выводом о необходимости «теории кризиса» [7]. Это означает, прежде всего, признание отсутствия новых макросоциологических подходов и теорий, которые могли бы выполнять функции общесоциологической теории (здесь и далее — OCT) и обеспечить научное описание и объяснение всего многообразия происходящих трансформаций, а также предложить сценарии, по которым глобальное общество может развиваться дальше. Фактически, все значимые (или считающиеся таковыми) теоретические концептуализации относятся к прошлому (в лучшем случае к концу XX в.). В то же время в экономической теории заявки на создание новых значимых теорий были сделаны [8]. В истории также известны подобные, пусть

¹ Титаренко Лариса Григорьевна — д-р социол. наук, профессор кафедры социологии Белорусского государственного университета.

и не совсем удачные попытки генерализации и новых обобщений [9]. В философии еще недавно была в ходу теория постмодерна, хотя известный социальный теоретик Н. С. Розов полагает, что постмодерн вообще не закончился, а перешел в «Модернизацию-3» [10]. Чуть позже стала распространяться теория трансгуманизма, претендовавшая на инновационный подход [11].

Иная картина в социологии. В XXI в. было предложено много теоретических «поворотов», описывающих отдельные значимые черты развития общества, которые базировались на признании социологии мультипарадигмальной дисциплиной, позволяющей конструировать разные подходы к объяснению общества. Теоретический плюрализм связан с отсутствием единого (общепринятого среди социологов и используемого для практических целей) методологического подхода к характеристике современной эпохи. Поэтому одни авторы настаивали на том, что мир еще находится на стадии индустриализма; другие определяли настоящее время модерном или поздним модерном; третьи утверждали, что человечество уже преодолело постмодерн и движется в неизвестном новом направлении. Отсюда — разнообразие рекомендаций, касающихся социальной политики, будущего демократии, наций, государства и т. д. Подчеркнем, что речь идет о взглядах признанных лидеров современной социологии, хорошо знающих историю науки и заинтересованно ищащих консенсус в этом вопросе. Однако ни синтетическая попытка преодоления противоположности субъективизма и объективизма и интеллектуальной фрагментации знаний в социологии, предпринятая Э. Гидденсом, ни оригинальная интегралистская концепция П. Бурдье, ни попытки других социологов (теория коммуникативного действия Ю. Хабермана, системная теория Н. Лумана) не были восприняты в мировой социологии как приемлемые.

В целом, в социологии в конце XX в. произошел ощутимый сдвиг от картины социального развития к социальному становлению, в рамках которой был сделан акцент на исторических сценариях с открытым исходом, движимым выбором, но также контингентными, случайными феноменами. Это направление лучше всего представлено «исторической социологией» в работах Ч. Тилли, Т. Скочпол, П. Штомпки [12; 13; 14; 15]. Социология по-прежнему остается «открытым проектом», незавершенность которого не тождественна

низкому уровню развития науки, хотя и не позволяет считать теоретико-методологический кризис преодоленным. Однако сама эта «открытость» понимается и трактуется социологами по-разному.

Не изменили эту общую неопределенную картину и выдвинутые разными авторами «повороты», которые стали характерной чертой современного этапа социологии. Главная причина появления в социологии поворотов — резкое усложнение социума, который стал во многом непредсказуемым, не поддающимся управлению рациональными субъектами, постоянно меняющимся миром. Изучение этого социума предполагает использование новых теоретических и методологических подходов, причем самых разнообразных, а значит, и изменения формы и содержания самой социологии.

Один из поворотов, начавшийся несколько десятилетий назад, — поворот к повседневности. П. Штомпка, продвигающий идею поворота к изучению повседневности, используя методы наблюдения и визуальной социологии, утверждает, что поворот к повседневности — «явный признак подлинно парадигмального сдвига», социология задает «новый угол зрения на известные проблемы» [16: 3] По мнению Штомпки этот поворот продвинул исследование общества на основе качественных подходов. Штомпка перечисляет эти качественные подходы и методы, дающие возможность получить приращение нового знания: наблюдение, кейс-стади, глубинные интервью, интерпретация «эго-документов», т. е. непреднамеренно созданных личных свидетельств пережитого — писем, жизненных историй, семейных фото. Он также называет плодотворным анализ социальной иконосферы как особо интересного инновационного метода.

В конце XX в. логическим продолжением лингвистического поворота, начавшегося еще в 1970-е гг. через продвижение интерпретативных моделей в теоретическую социологию, стал так называемый культуральный поворот, который связан с именем Дж. Александера, создавшего новую, культуральную социологию [17]. Этот поворот означал переосмысление роли культуры в обществе как автономной детерминанты социальных изменений. Пример теоретизирования Дж. Александера (переход от неофункционализма к культуральной социологии) наглядно показывает, что один и тот же ученый может быть участником или инициатором ряда поворотов в социологии,

если к этому есть достаточные основания в развитии самого общества и уровня его осмысления в науке.

В начале нынешнего века проблему поворотов в социологии глубоко анализировал английский социолог Джон Урри [6; 18], который выделил три поворота: сложности, ресурсности и мобильности. При этом главными оказались два последних. Так, Урри выступил за ресурсный поворот к развитию посткарбонной социологии и созданию посткарбонного общества [19: 16]. Что касается поворота к социологии мобильностей, он был осуществлен на основе постдисциплинарного подхода, который автор применил к процессу создания новой парадигмы и значительную лепту в который внес сам [20]. В целом, введение в научный оборот социологии указанных поворотов — это индикатор турбулентности современного общества, заставляющий социологов очень тщательно исследовать его новые свойства и характеристики.

Рассматривая под критическим углом зрения повороты Урри, С. А. Кравченко сделал другой акцент. Он обосновал необходимость развития, на основе поворота к сложности, новой парадигмы сложности: «Для анализа сложного социума необходим синтез естественнонаучного, социального и гуманитарного знания, результатом которого явилась бы парадигма сложности, имеющая социологический стержень» [21: 28]. Данная парадигма мыслится С. А. Кравченко не как рядоположенная с имеющимися общесоциологическими парадигмами; скорее, она должна акцентировать необходимость в любом исследовании использовать междисциплинарность, сохраняя фокус на гуманистической направленности научных исследований, Несколько годами позже тот же автор аргументировал необходимость «поворота ригидности» для устойчивого развития общества [22: 12]. Теоретическая мысль постоянно выдвигает новые подходы к анализу общества, которые формулируются как «повороты». Поставить точку в этом процессе не представляется возможным ввиду постоянного развития общества, однако повторим: новой целостной картины социума повороты не создают.

Французские социологи Люк Болтански и Лоран Тевено выдвинули теорию общества, ознаменовавшую «прагматический поворот» в социологии, связанный с «возвращением субъекта» во французские социальные науки в 1990-е гг. В работе «Критика и обоснование спра-

ведливости» [23] авторы уделяют главное внимание анализу конкретных ситуаций споров и конфликтов в повседневной жизни людей, жителей города, при этом делается акцент на анализе тех аргументов, которые участники конфликтов чаще всего используют для обоснования справедливости своих позиций в этих спорах, т. е. на притязаниях на справедливость.

Среди поворотов последних десятилетий кроме вышеназванных, особо выделяют также повороты к теориям риска, постмодернистский поворот, материалистический и др. Эти сдвиги и повороты, как считают их сторонники, были подготовлены самим развитием социологии, то есть внутренними интеллектуальными процессами развития в этой науке, попытками осознать сложность и противоречивость современного общества, и прежде всего осмыслиения жизненного мира повседневности, в который погружены и социологи, и простые люди.

Число возможных поворотов в будущем не ограничено, поскольку нынешнее общество находится в турбулентном, неопределенном периоде своего развития, и появление новых феноменов и процессов может стимулировать появление новых поворотов в науке. Некоторые авторы полагают, что повороты — свидетельство теоретического кризиса и невозможности создания новых общих теорий [24], другие считают, что повороты знаменуют постоянный поиск нового в теоретическом дискурсе, и поэтому их появление неизбежно и позитивно [11]. Принимая во внимание переходный характер глобального общества и невозможность точного определения того, в каком направлении оно движется, оптимальным представляется создание нескольких сценариев, или теоретических моделей возможного развития общества. Это не будет социальное прогнозирование, основанное на точных знаниях и расчетах, скорее, оно может быть похожим на футурологические предвидения для нынешнего этапа развития наподобие работ А. Тоффлера [25], которые во многом воплотились в реальность позднее, а в момент их появления представлялись уточническими.

Возможные теоретические модели развития общества могут строиться на таких феноменах, как цифровизация (включая такие ее проявления, как роботизация, автоматизация, бурное развитие искусственного интеллекта). Феномен цифровизации, изначально

фетишизируемый экономистами, историками, к настоящему времени проявил свою двойственность. Выявились его негативные стороны, связанные с ростом дегуманизации труда и трудовых стрессов, технологической безработицей, которые приводят к разочарованию в научно-технологических инновациях. Очевидно, этот феномен требует дальнейшего глубокого теоретического осмысления. По мнению многих ученых, наиболее плодотворным для этих целей является марксистский и неомарксистский подходы, которыми и пользуются российские авторы [26; 27], хотя это не закрывает возможностей использовать другие подходы, включая междисциплинарный.

Указанные выше подходы показали свою плодотворность для анализа функционирования цифровизации в современном обществе. В то же время авторы, давая глубокое осмысление многогранным процессам цифровизации в рамках этих подходов, не выходят на концептуальный уровень, позволяющий претендовать на новую ОСТ. В будущем, следуя этим путем, критическое теоретизирование может подняться на уровень общей теории, и чем скорее это случится, тем больше шансов выйти из неопределенного нынешнего состояния.

Многообразие поворотов и сдвигов в современной социологии можно интерпретировать как множественность новых теоретических и методологических подходов к объяснению усложнившегося социума, прежде всего к пониманию его взаимоотношений с природной средой, что и обусловило необходимость обогащения социологии знаниями биологии, географии, генетики и других естественных наук, не говоря уже о знаниях, почерпнутых из родственных социальных и гуманитарных дисциплин. Поэтому значительно возросла роль междисциплинарных исследований, где социология становится частью системного подхода к обществу, когда появляются возможности создавать новое знание на стыке дисциплин. Очевидно, что междисциплинарность исследований, сближение социологии с другими науками, включая естественные и технические, но прежде всего социально-гуманитарные, будет и дальше продолжаться, поскольку обладает эвристическим потенциалом.

Зарубежные авторы, работающие в русле критической теории, вносят немалый вклад в анализ современного общества и его противоречий. В отличие от российских социологов, западные представители критической теории уверены в том, что развитие общества

тормозится господствующей системой современного капитализма: этот строй остается эксплуататорским и сдерживает не только социальное развитие, но и его осмысление в новых теоретических рамках, поскольку постоянно продуцирует новые кризисы. В этой связи интересна работа Н. Фрейзер и Р. Джегги, в которой дан критический рациональный марксистский подход к современному капитализму. Авторы утверждают, что «углубляющуюся турбулентность вокруг нас можно рассматривать именно как кризис капиталистического общества» [28: ix]. По их мнению, именно нынешний институционализированный капиталистический порядок лежит в основе всех непреодолимых трудностей в обществе, поскольку в его рамках весь мир рассматривается как источник прибылей и богатства. Например, ключом к пониманию широко рекламируемой цифровой трансформации труда в капиталистическом обществе и быстрому внедрению искусственного интеллекта во все сферы деятельности является признание того, что большинство цифровых изменений «в основном связаны с ростом технологической мощи и экономического доминирования, а не с процветанием людей, занятых производительным трудом». Люди могут адаптироваться к современному цифровому обществу, следя путем инструментализации трудовых ценностей. Иными словами, речь идет о приспособлении к новым формам отчуждения и эксплуатации. Авторы, предлагая честный взгляд на современное западное общество, выражают обеспокоенность тем, что капитализм ведет это общество к «обесцениванию человеческого труда» и человеческой личности. Вместе с тем, авторы считают, что их критика поможет продвижению к «лучшему обществу» без конструирования нового теоретического подхода: критической теории для объяснения современного капитализма вполне достаточно.

Возможно, творческое развитие критической теории поможет и российским социологам в более глубоком объяснении того, как трансформируется российское общество. Пока еще в рамках российской социологии, как и за ее пределами, не появилось новой ОСТ, которая бы получила признание или распространение в социологическом сообществе. Отдельные глубокие работы, посвященные важным проблемам, были написаны, но общей ситуации они не изменили. Возможно, историческая эпоха, имеющая переходный характер, не способствовала созданию новой ОСТ, однако, как показывает про-

шлое, переходные эпохи чаще и порождают новые теории как ответ на глобальные вызовы.

Нельзя не отметить, что российские социологи выступают критиками выдвигаемых в глобальном мире теоретических подходов, которые можно считать и продолжением того, что уже было (например, постмодерна) и новым шагом в ответ на глобальные вызовы эпохи. Так, И. Катерный представил анализ феномена постгуманизма, который характеризуется им как этап развития социальной мысли и самого общества, постулирующий отказ от прежнего понимания социальности и даже отказ от человекацентризма. Как поясняет автор, исторической эпохе *Homo Sapiens* пришел конец, на смену ей идет эра постчеловечности, т. е. существования человека с андроидами, неживыми (*non-human*) объектами, что радикально изменяет все общество: систему взаимоотношений, ценности и нормы общества, социальный статус и роли человека, представление о социальной реальности [11]. В этой реальности особо важная роль отводится тем же продуктам дигитальной революции, которые уже отмечались — роботы, интеллектуальные технологии [11: 99–100]. По этому поводу другой российский автор Н. В. Романовский указывает, что «революционный характер соединения реальности с реальностями дополненной и виртуальной разворачивается посредством больших данных, идущих на смену данным аналоговой эпохи. Тотальная датификация переводит явления и процессы в количественную форму выражения. Массовым сознанием пока этот факт не осознан» [29: 163]. Можно констатировать, что хотя становление новой социальности происходит и фиксируется в постгуманизме, вряд ли он может претендовать на роль привлекательной теоретической перспективы в социологии.

Н. С. Розов считает отсутствие значимых теоретических достижений российской социологии причиной снижения статуса и престижа социологии в целом. Он утверждает, что отсутствие собственных оригинальных теорий и даже развития на российской почве чужих, заимствованных на Западе теорий не позволило до настоящего времени самостоятельно осмыслить современное развитие России, создать новые подходы и концепции, которые могли бы решать насущные познавательные и практические задачи общества. По мнению Н. С. Розова, даже если российские авторы публикуют важные теоретические работы, они остаются на Западе незамеченными и поэтому не полу-

чают должного внимания и оценки и в России, которая во многом ранее ориентировалась на западные оценки. «Чтобы такие работы были поняты и признаны на Западе, они должны трактовать (развивать, обогащать, либо опровергать) признанные и наиболее активно обсуждаемые западные же теории и модели» [24]. Другими словами, автор не постулирует необходимости сугубо российских теорий, поскольку более важной задачей представляется интеграция наиболее ценных и адекватных идей, выдвигаемых любыми авторами, их творческий синтез и проверка выдвинутых теоретических гипотез на эмпирическом материале исследований в стране. Данный вывод был сделан достаточно давно, но он и сегодня остается актуальным и при этом нереализованным.

Несколько возможных подходов к созданию новых теорий был предложен С. А. Кравченко: он последовательно развивал и теорию травмы, и перехода к концепции *Homo Ludens*, и цифровой социологии. Все это отражает реальные феномены развития, но не выводит на уровень общего теоретического понимания трансформации социума. Такие отдельные интерпретации тех или иных феноменов, как считает Н. С. Розов, не отрицают друг друга, поскольку они делаются на разных теоретических фундаментах, но и не приближают к ОСТ. По этой причине новые интерпретации могут плодиться бесконечно, не продвигая социологию на новый уровень. Действительно, в последние десятилетия в российской социологии были созданы различные интерпретации важных социальных процессов и явлений (теория институциональных матриц С. Кирдиной, модернизации Н. Лапина, этнонационализма Л. Дробижевой и др.). Эти теории отражали специфику социальных процессов в России, но ни одна из них не получила широкого признания зарубежных авторов и не пополнила мировой теоретический мейнстрим. Видимо, поэтому Н. С. Розов писал о периферийности российской социальной философии и социологии, которую невозможно преодолеть, если не поставить себе таких целей. От себя добавлю, что «российским социологам не нужно отказываться от западной или глобальной социологии: сегодня они могут продолжать черпать оттуда идеи, занимаясь решением собственных социально-культурных проблем» [30: 10].

Во фрейме данного подхода, интегрирующего зарубежные и российские идеи, на наш взгляд, активно работает Д. В. Иванов. Ана-

лизируя теоретический уровень современной социологии и вводя в этот анализ рассмотрение наиболее важных с точки зрения автора новых феноменов (мегаполисы, потоки и сети, цифровизация и т. п.), Д. Иванов стремится к созданию теоретической рамки исследований, которая позволила бы совершить новую теоретическую интеграцию и использовать адекватные ей методы исследования. По его мнению, в социологии «актуальными становятся теории, создающие связную конфигурацию четырех типов социальных структур: институтов, интеракций, сетей и потоков» [31: 24]. Не вдаваясь в детали предложенного подхода, кратко отметим, что автор доказывает устарелость теорий глобализации, виртуализации и цифровизации и выдвигает собственную модель роста наполненности жизни, которая учитывает рост сетевых и потоковых структур, позволяет замерять субъективные факторы оценки уровня развития [32]. Можно заметить, что автору необходимо прояснить, в какой степени он считает свою теорию достаточной для вывода, что предлагаемая модель развития общества действительно знаменует новую интеграцию в теоретической социологии. Возможно, сохраняются лакуны, еще требующие своего теоретического заполнения. Автор оперирует понятием «дополненная современность» как адекватным для интегральной характеристики той ступени развития общества, переход на которую представляется нелегким, но неизбежным к середине XXI века [31: 32]. Данный тезис также требует дальнейшей разработки.

Возможно, для успешного продвижения к конструированию ОСТ было бы целесообразным первоначально сфокусироваться на конструировании специальных социологических теорий (ССТ) высокого уровня, которые бы не только обобщали и сравнивали новые данные, но и предложили теоретический фундамент для анализа и причинного объяснения эмпирического материала. Подобные ССТ могут стать важным шагом на пути к созданию ОСТ. В качестве примера можно сослаться на теорию восточноазиатской цивилизации модерна, созданную П. Арнасоном [33], которая разработана в рамках общей теории мультидемернов Ш. Айзенштадта. В отечественной социологии на такой уровень претендуют теории цивилизационного развития России, с определенным успехом создаваемые разными авторами, включая и теории, на фундаменте которых авторы организуют собственные региональные и локальные исследования [34]. Пока подоб-

ные теории по разным причинам не получают широкого признания, несмотря на их эвристичность.

Поскольку речь идет не только о российских поисках новой теории общества, нельзя обойти молчанием попытки развития на уровне международной социологической ассоциации идеи глобального диалога как основы будущей интеграции фрагментированных социологий, существующих сегодня в регионах, называемых прежде первым, вторым и третьим миром. Идея «глобального диалога», пропагандируемая прежним и нынешним президентами МСА С. Ханафи и Д. Плейерсом, актуальна ввиду ее ориентированности на конструирование единой глобальной социологии [35]. Для нынешних лидеров МСА глобальный диалог — это платформа для объединения в рамках единого поля социологов разных регионов. Автоматически это означает отказ от европоцентризма (западоцентризма), превращения европейской социологии в регионально-провинциальную, которая хотя бы формально будет не выше по статусу, чем социология стран третьего мира, или постколониальных стран. Вряд ли данная задача может быть практически решена, и тем более нереально, чтобы социологи разных регионов могли бы совместно разработать или хотя бы признать единую для всех ОСТ. Идеи глобального диалога развиваются и в российской социологии [36], хотя в нынешних geopolитических условиях многообразных антироссийских санкций они также остаются утопическими.

Ввиду общей неопределенности будущего сохраняет неопределенность и имидж будущей теоретической социологии. Можно предположить, что вряд ли западная социология сможет выдвинуть в ближайшие годы новые фундированные ОСТ. В перспективе можно скорее ожидать углубления и уточнения некоторых существующих теорий (от постмодерна и трансгуманизма до информационного общества в новых версиях), нежели радикально новых концептуализаций общества в условиях многообразия текущих трансформаций.

Повторю выводы, уже сделанные мной ранее: «В условиях обострения противостояния на мировой арене российские социологи-теоретики могут взять на себя смелость в конструировании новых общих и специальных теорий, которые, представляя вероятностные модели для России, одновременно позиционировались бы как возможные ориентиры развития стран не-западного мира» [30: 10].

Данный процесс является во многом болезненным, поскольку предполагает пересмотр и собственных прежних теорий, и корректировку известных универсальных зарубежных моделей. Теоретическим принципом в нем должна стать опора на проверенные временем идеи при «сохранении собственного культурного наследия» [37: 15].

Литература

1. Зборовский Г. Е. Метапарадигмальная модель теоретической социологии // Социологические исследования. 2008. № 4.
2. Романовский Н. В. Социология сегодня и завтра // Социологические исследования 2012. № 10.
3. Тоиценко Ж. Т. Новые лики деятельности: имитация // Социологические исследования. 2012. № 12.
4. Кравченко С. А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования. 2012. № 5.
5. Бауман З. Текущая повседневность. СПб., 2010.
6. Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. М., 2012.
7. Катерный И. В. Развитие теории кризиса в социологии: эволюция идей и современность // Социологические исследования. 2023. № 10.
8. Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard, 2014.
9. Harari Y. N. Sapiens: A Brief History of Humankind. London, 2014.
10. Розов Н. С. Когда началась эпоха модерна и закончилась ли она? // Сибирский философский журнал. 2018. Т. 16. № 2.
11. Катерный И. В. Постгуманизм. Человек в эпоху новой социальности: метаморфозы, нарративы, дileммы. М., 2021.
12. Sztompka P. Society in Action: A Theory of Social Becoming. Cambridge, 1991.
13. Sztompka P. The Sociology of Social Change. Oxford, 1996.
14. Tilly Ch. Contentious Performances. New York, 2008.
15. Skocpol Th. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge, 1979.
16. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии // Социологические исследования. 2009. № 8.
17. Alexander J. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford, 2003.
18. Urry J. Global Complexity. Cambridge, 2003.
19. Urry J. Climate Change and Society. Cambridge, 2011.
20. Урри Дж. Мобильности. М., 2012.
21. Кравченко С. А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования. 2012. № 5.

22. Кравченко С. А. Востребованность «поворота ригидности» для устойчивого развития: контуры концепции // Социологические исследования. 2021. № 10.
23. Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов. М., 2013.
24. Розов Н. С. Стагнация социологии как выражение общего недуга российского обществознания // Институт социологии ФНИСЦ РАН: https://www.isras.ru/index.php?page_id=908&printmode (дата обращения: 01.11.2024).
25. Toffler A. The Third Wave. N. Y., 1980.
26. Кравченко С. А. Амбивалентности цифровизации: востребованность ее культурно-национальной модели для устойчивого развития // Социологические исследования. 2022. № 9.
27. Иванов Д. В., Асочаков Ю. В. Цифровизация и критическая теория общества // Социологические исследования. 2023. № 6.
28. Fraser N., Jaeggi R. Capitalism: A Conversation in Critical Theory. N. Y., 2018.
29. Романовский Н. В. Люди. Общество, Социология (о книге И. В. Катерногого) // Социологические исследования. 2022. № 8.
30. Титаренко Л. Г. Отечественное социологическое наследие: уточнение оценочной оптики // Социологические исследования. 2023. № 11.
31. Иванов Д. В. Третья интегративная волна в развитии социологии. Часть II. Теории и методы для дополненной социальной реальности // Социологические исследования. 2024. № 7.
32. Иванов Д. В. Новый подход к оценке социального развития // Социологические исследования. 2021. № 1.
33. Arnason P. East Asian Modernity Revisited // Essays in honor of Irmela Kirschner on the occasion of her 60th birthday. München, 2008.
34. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / отв. ред. В. В. Козловский. М.; СПб., 2021.
35. Pleyers G. Global Sociology as a Renewed Global Dialogue // Global Dialogue. 2023. Vol. 13 (1).
36. Кирдина-Чэндлер С. Г. Запрос на глобальный диалог (заметки с юбилейного социологического конгресса) // Социологические исследования. 2023. № 12.
37. Титаренко Л. Г. Российская социология в поиске ответов на теоретические вызовы // Социологические исследования. 2023. № 5.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ: Интервью с проф. НИКОЛАЕМ ГЕНОВЫМ¹

Н. А. Головин: Уважаемый проф. Генов, Вы — социолог-теоретик, давно и плодотворно работающий в глобальной социологии. Вы начали карьеру в небольшой восточноевропейской стране и затем стали одним из лидеров международного научного сообщества. Около четырехсот Ваших научных работ опубликовано в 29 странах и хорошо известны исследователям, в том числе и в России. Поэтому обращаюсь к Вам как к эксперту, прекрасно знакомому с долгосрочными трендами и имеющему свой взгляд на мировую социологию, хочу задать Вам серию вопросов о современном состоянии теоретической социологии в общемировом и европейском контекстах, о проблемах и перспективах ее развития, а также о том, какова тематика Ваших исследовательских проектов в последние 2–3 года, какие теоретические подходы в рамках этих проектов Вы используете, разрабатываете, считаете перспективными на ближайшие годы. И первый вопрос — Как Вы оцениваете состояние теоретической социологии в конце первой четверти XXI века?

Н. Генов: Сердечное спасибо коллегам — социологам из Санкт-Петербургского государственного университета за идею дать синтетический обзор состояния и перспектив теоретической социологии. Это приглашение к обсуждению является настоящим интеллектуальным вызовом. Основной из них — это вечно новая проблема научного статуса социологии.

Социология упорно и успешно сопротивляется тому представлению о научных дисциплинах, которое утвердилось в дискуссиях

¹ Николай Генов (р. 1946) — болгарский социолог, плодотворно работавший во многих странах Европы и получивший всемирное признание. В настоящее время является заслуженным профессором (professor emeritus) в Свободном университете Берлина (Германия). Беседовал с Н. Геновым профессор Факультета социологии СПбГУ Н. А. Головин. Интервью прошло в режиме онлайн в сентябре 2024 г. — Примечание отв. ред.

о научных революциях. В результате этих дискуссий научную дисциплину характеризуют развитием знания путем научных революций. Таких революций в социологии не бывает. Революционные смены социологических парадигм бывают лишь в воображении некоторых теоретиков социологии. Реальность другая и ей нужно смотреть в глазах. Социология является мультипарадигмальной научной дисциплиной. «Новые» социологические парадигмы выпускают в свет, а «старые» парадигмы не выбрасывают. В социологии господствует дух солидарности — «новые» и «старые» парадигмы живут в условно «мирном» сосуществовании. Такую ситуацию следует оценивать высоко в моральном отношении, а с точки зрения кумулятивного развития социологического знания — это катастрофа.

Ввиду сложной интеллектуальной ситуации, в которой находится теоретическая социология, чрезмерный оптимизм неуместен. Социология останется мультипарадигмальной научной дисциплиной, которой сопутствует сомнение, что она на самом деле не является наукой, а просто комплексом знаний с претензией на научность. Дело обстоит еще хуже: я уверен, что дифференциация социологических парадигм будет продолжаться, а кумулятивности развития социологического знания будет еще труднее достичь. Следовательно, надо действовать здесь и сейчас. Этой цели посвящена моя монография «Парадигма социального взаимодействия», опубликованная в 2022 году [5].

Задача монографии состояла в том, чтобы осуществить синтез некоторых влиятельных социологических парадигм и использовать результат для дальнейших исследований, используя парадигму социального взаимодействия. Решение этой задачи стало возможно лишь после аналитического обоснования трех компонентов социального взаимодействия — акторы, отношения и процессы. Вторая основная объяснительная схема включает группы факторов, которые детерминируют социальные взаимодействия. Теоретический анализ и опыт эмпирических исследований привели к обоснованию пяти основных кластеров детерминации ситуаций социального взаимодействия — это экологические, технологические, экономические, политические, и культурные детерминанты.

Н. А. Головин: Вы сослались на свой опыт эмпирических исследований. Как в Вашей концептуализации глобальных трансформаций отразилось знание специфики болгарского общества и социальных

процессов в других постсоциалистических странах, с которыми Вы хорошо знакомы?

Н. Генов: Глубокие постсоциалистические перемены в Восточной Европе создали условия для развития глобальной социологии, но она в целом была не готова объяснять процессы такого типа. Прямой перенос объяснительных моделей транзита от диктатур к демократическим формам управления в Южной Европе и в Латинской Америке не сработал в объяснении процессов в Восточной Европе. В регионе действовала переменная, которой не было в Южной Европе и Южной Америке — доминирующая государственная собственность в экономике. Надо было разработать и применять теоретические модели социальной трансформации. Эти модели были разработаны и успешно применялись к объяснительным процессам в Восточной Европе.

Удовлетворение этим достижением не было долгим. В ходе работы стало ясно, что объяснительные возможности модели социальной трансформации довольно ограничены. В мире происходили процессы, в которые были глубоко погружены все восточноевропейские страны. Это были процессы глобального характера, поэтому основной задачей социальной трансформации стало активное и эффективное приспособление к ним. Речь идет о глобальных трендах социального развития.

Н. А. Головин: *Что Вы имеете в виду, говоря о глобальных трендах? Это те процессы, которые уже более 30 лет изучают в рамках глобализационной парадигмы?*

Н. Генов: Ключевой вопрос, возникающий в связи со сменой интересов исследований, касается преемственности и непрерывности в изучении глобализации. До сих пор нет общепринятого определения глобальных трендов. Феномен обычно понимают как долговременный социальный процесс, в который вовлечено большое количество людей и стран. Таким образом, представление о глобальных трендах рассматривается как неразрывно связанное с построением, воспроизводством и изменением глобального общества сегодня и с подготовкой глобального общества завтрашнего дня [3]. Эксперты уделяют пристальное внимание проявлениям, последствиям и управлению такими долговременными и крупномасштабными процессами [10]. Результаты исследований помогают лицам, принимающим решения, в управлении внутренней политикой и международными

отношениями [7]. Растущий объем знаний о глобальных трендах способствует просвещению широкой аудитории, при этом ожидается, что образованные граждане и неправительственные общественные организации будут хорошо информированы о них [1].

Международные организации и национальные правительства, аналитические центры и консалтинговые агентства вносят свой вклад во впечатляющее количество публикаций, посвященных глобальным трендам. Темы, которые исследуются в этом контексте, довольно разнообразны. Они включают исследования о достижениях и ограничениях технологического развития, глобальных демографических процессах, проблемах глобального неравенства, глобальной урбанизации и т. д. [8].

Несмотря на специфику целей этих публикаций, содержание большинства весьма схоже в одном аспекте. Как правило, серьезные авторы предвидят неопределенности и угрозы, потому что глобализированный мир «столкнется с более интенсивными и каскадными глобальными вызовами, начиная от болезней и изменения климата и заканчивая сбоями в работе новых технологий и финансовыми кризисами» [7: 1]. Можно соглашаться или нет с таким предупреждением, но главное ясно: изучение глобальных трендов имеет большое значение для развития знаний в области социальных наук. Эти знания необходимы для разработки обоснованных диагнозов и прогнозов процессов в населенных пунктах, странах, регионах и в глобальном обществе. Это является предпосылкой для эффективного управления стратегическими социальными процессами.

Именно в этом заключается причина роста количества, качества и актуальности исследований глобальных трендов [6]. В связи с этим дискуссии активизировались, сосредоточив внимание участников на идеологических, теоретических, методологических и прагматических параметрах и проблемах. Дискуссии показали, что авторы исследований трендов в глобальном обществе пока отдают предпочтение описанию процессов. Намеренно или нет, но они избегают теоретического анализа и интерпретации причин, процессов и следствий глобальных трендов. Попытки разработать систематическое объяснение глобальных тенденций все еще являются исключениями из правил [9].

Причины преобладания описательного стиля в исследованиях глобальных трендов вполне понятны. Авторы хотели бы сделать по-

знатательное содержание и практические рекомендации, основанные на их исследованиях, интеллектуально доступными широкой аудитории. На самом деле хорошо организованные описательные исследования являются ценными источниками информации; богатое когнитивное содержание, которое часто сопровождается ориентациями и рекомендациями, направлено на практическую деятельность. Тем не менее, описательный анализ и аргументация недостаточны для когнитивного прогресса или решения практических проблем. Они провоцируют поиск объяснений социальных структур и процессов. Различные объяснительные схемы обеспечивают наилучшую поддержку для высококачественного принятия и реализации решений, направленных на практические действия.

Н. А. Головин: Следует ли понимать Вас так, что изучение глобальных трендов является приоритетным предметом глобальной социологии?

Н. Генов: Это не относится к какой-либо конкретной общественной науке. Доклады о глобальных трендах готовятся мультидисциплинарными командами с преобладанием экономистов, демографов и политологов. Тем не менее, социологи должны задать себе вопрос, что и как они должны изучать в области глобальных трендов, чтобы обеспечить и сохранить зрелость своей дисциплины. Социологи, специализирующиеся на этой теме, делают акцент на социальных действиях, определяемых экономическими, политическими или культурными структурами и на формируемых ими глобальных процессах. Такой подход находится в полном согласии с традиционным каноном социологического исследования. Под ним понимается процесс обучения по классической схеме: наблюдение — описание — гипотезы — объяснительные модели — построение теории — прогнозирование — практические рекомендации. Чего не хватает, так это построения концепций и концептуальных рамок. Можно задаться вопросом: как функционирует данная стратегия в разработке объяснительных моделей и теорий формирования, использования и достижения результатов глобальных трендов? Свой ответ на этот вопрос я подробно развел в новой книге о диагнозе социальной ситуации. Ответ включает теорию четырех глобальных трендов: *повышение рациональности организаций, индивидуализация, распространение ин-*

струментального активизма и гомогенизация культуры. Книга скоро выйдет в свет на английском языке.

Н. А. Головин: Хотелось бы подробнее обсудить каждый из названных Вами четырех трендов. В чем, например, выражается глобальный тренд повышения рациональности организаций?

Н. Генов: В современных обществах доминируют организации, а будущее общества зависит от решений и действий организаций. Организации, которые эффективно адаптируются к требованиям среды, процветают и будут процветать. Те из них, которые неэффективны в адаптации к окружающей среде, обречены на провал. Повышение или снижение организационной рациональности является универсальным критерием оценки ситуации и перспектив акторов в глобальном обществе.

Идентификация участвующих формальных организаций является первым шагом в определении любой социальной ситуации в современных обществах. Краткая спецификация организации — это качество ее рациональности. Этот вопрос касается способности принимать ответственные решения и реализовывать их в условиях неопределенности и просчетов рисков. Рациональность организаций колеблется из-за изменений во внешних условиях решения проблем и эффектов внутреннего процесса обучения.

Глобальный тренд повышения рациональности организаций делает прозрачным изменение эффективности использования ресурсов организациями. Ключевыми показателями конструктивных изменений рациональности организации являются качество ее адаптации к организационной среде, а также ее результативность в решении проблем. Ожидаемый результат когнитивного прогресса в улучшении качества и количества достижения целей организации является самой сутью глобального тренда повышения рациональности организаций. Глобальный тренд проявляется в деятельности организаций во всех сферах деятельности и на всех структурных уровнях социальности, включая уровень глобального общества, как было показано мною на материале проявления глобальных трендов в восточноевропейском контексте [4: 41–80].

Существует большое разнообразие способов использования знаний и навыков для достижения желаемого повышения рациональности организаций. Самая простая, но иногда удивительно эффектив-

ная мера — смена главного менеджера (по-английски Chief Executive Officer — CEO). Повышение организационной эффективности может быть результатом лучшего распределения прав и обязанностей между функциональными подразделениями организации. Еще одно решение может касаться преобразования ее иерархической структуры в «плоскую» системную интеграцию. Наиболее глубокие изменения обычно происходят под влиянием улучшения информационной базы организаций и последующего наращивания их инновационного потенциала: «трансформация теперь стала обычным делом».

Открытие новых, дифференцированных или более широких социальных пространств для обучения, повышения квалификации и инициатив среди сотрудников организации считается особенно эффективной инвестицией, когда речь идет о повышении ее рациональности. Чем более дифференцированные и обширные социальные пространства находят или умудряются приобрести индивиды для своих автономных ориентаций, решений и действий в организационных структурах, тем более существенным является повышение организационной рациональности. Кроме того, чем больше сотрудники мотивированы на повышение адекватности и автономности своих социальных и трудовых ориентаций, решений и действий, тем более существенным является повышение организационной рациональности. В силу материальных интересов или ценностно-нормативной направленности одни и те же условия могут порождать и воспроизводить конструктивные или деструктивные ориентации, решения и действия и, как следствие, повышать или снижать организационной рациональности.

Основными структурными механизмами, реализующими глобальный тренд повышения рациональности организаций, являются дифференциация и интеграция организационных единиц и видов деятельности. Широко распространено заблуждение, что дифференциация служит только положительной интеграции. На самом деле дифференциация организационных структур и функций может привести как к интеграции, так и к дезинтеграции, повышению и деградации рациональности организаций. Учитывая большое разнообразие структурных и деятельностных факторов, влияющих на организационные процессы, тенденция к повышению организационной рациональности никогда не характеризуется только положительными

эффектами. Организационные акторы, отношения и процессы могут стать источником организационных рациональностей, иррациональностей и факторов их воспроизведения. Таким образом, рассматриваемый глобальный тренд по своей сути является противоречивым. При определенных обстоятельствах организационные патологии (дисфункции) выступают как побочные продукты модернизации организационной рациональности, но *могут также доминировать в определенной исторической ситуации*.

Н. А. Головин: *Если продолжить эту тему «побочных продуктов» повышения рациональности, то хотелось бы прояснить вопрос о соотношении рационального и иррационального в современных организациях. Являемся ли мы здесь свидетелями того, что Вебер когда-то назвал «стальным панцирем» рационализации?*

Н. Генов: Модернизация когнитивного компонента организационной рациональности происходит в двух направлениях. С одной стороны, организационные решения и их реализация становятся все более дифференцированными и все более обоснованными. С другой стороны, реализация организационных решений и результаты процесса становятся все более эффективными и результативными. Ни одно из этих утверждений не подразумевает телеологической или одномерной интерпретации организационной рациональности. Напротив, в истории много случаев, когда организации теряли когнитивные ресурсы из-за неадекватных организационных решений и действий, а также снижения организационной эффективности. Люди и их организации способны учиться, сохранять, улучшать, применять и корректировать свои уроки. Результаты обучения помогают преодолеть организационные неудачи и, таким образом, достичь все более высоких уровней рациональности организационных моделей в долгосрочной перспективе. Конкуренция играет основополагающую роль в этом процессе [13].

В историческом плане организационные решения и их реализации становятся более дифференцированными: соотношения рациональности и иррациональности систем и субсистем, краткосрочной и долгосрочной рациональности и иррациональности, индивидуальной и коллективной рациональности и иррациональности, и т. д. Случаи потери когнитивных ресурсов, необходимых для принятия организационных решений и действий, широко распространены в истории.

Н. А. Головин: Вы назвали вслед за рационализацией организации глобальный тренд индивидуализации. Как они связаны и как соотносятся организационная рационализация и индивидуальные решения, то есть человеческий фактор?

Н. Генов: Повседневный опыт дает множество аргументов в пользу растущей значимости человеческого фактора в формировании социальных изменений. Некоторые показатели этого процесса очевидны. Издательский дом «Forbes», например, предлагает деловым людям 17 стратегий привлечения и удержания топовых талантов. Это предложение прямо напоминает известный лозунг сталинской эпохи «Кадры решают всё». Аналитическая концепция индивидуализации предоставляет исследователям и практикам устойчивую основу для выявления, интерпретации и стратегического управления конструктивными и деструктивными проявлениями глобального тренда индивидуализации [4: 81–124; 2].

Этот тренд имеет два ключевых аспекта. *Структурное измерение* связано с эволюционным появлением более широких или лучше дифференцированных социальных пространств для автономных ориентаций, решений, действий и оценки результатов действий индивидов. Новые или более крупные социальные пространства для автономных ориентаций, решений и действий индивидов могут быть результатом эволюционной дифференциации или расширения существующих социальных структур. Но открытие новых структурных пространств для индивидуального развития и реализации все чаще является результатом целенаправленных действий индивидов для улучшения условий для своей деятельности. Эта борьба за личную автономию, права, свободы и достижения является *деятельностным измерением* индивидуализации.

Индивидуализация — противоречивый процесс. Она имеет глубокие исторические корни, но празднует свой нынешний исторический триумф в глобальном господстве на рынках и в демократической политике. Демократическое правление получило импульс от распространения идеологии и практики прав и свобод человека. В то же время становится все более очевидным, что рост прав и свобод человека связан также с ростом индивидуальных обязанностей. Растущая социальная значимость индивидуализации представляет собой серьезный вызов различным формам и самой возможности

достижения общего блага, доверия или солидарности. Кроме того, достижения в области технологического развития и растущая изощренность организационных структур, функций и изменений накладывают ограничения на автономию индивидов, которые, наряду с организациями, действуют под этим давлением, чтобы справиться как с конструктивными, так и с разрушительными последствиями индивидуализации. Неспособность отдельных лиц и организаций справиться с вызовами глобального тренда индивидуализации приводит к напряженности и конфликтам внутри затронутых индивидов и организаций.

Более пристальный взгляд на цепочки детерминации в широкой области индивидуализации обнаруживает сложную картину. Содержание и скорость индивидуализации в некоторых обществах экзистенциально зависят от воздействия природной и антропогенной среды. Пандемия COVID-19 является примером глобального ухудшения условий для конструктивной индивидуализации. Антропогенное глобальное изменение климата оказывает аналогичное воздействие на каждый отдельный случай индивидуализации, а также на местные, региональные и глобальные проявления глобального тренда индивидуализации. Участие различных групп людей в глобально значимых технологических инновациях, которые представляют собой усилия по поддержанию экономического баланса и политической управляемости, находится на пути к тому, чтобы стать наиболее привлекательной областью для исследований и принятия практических решений.

Большое разнообразие общих и специфических результатов индивидуализации вытекает из истории современных обществ. Главным положительным эффектом их развития с начала промышленной революции является повышение ценности индивида в социальных отношениях. От индивидуумов ожидается активность, рефлексивность, творчество, ответственность. Эти ожидания реализуется по-разному в странах с разным уровнем экономического развития и разнообразным политическим устройством. Но глобальный тренд индивидуализации способствует также отчуждению индивидов от общих целей и совместной деятельности внутри сообществ. Связи отдельных лиц с моделями солидарности в сообществах и организациях уменьшились по количеству и интенсивности. Эти идеи подробно разработаны в моей монографии «Вызовы индивидуализации» [2].

Таким образом, индивидуализация является глобальным явлением, влияющим на решения, поступки и жизненные траектории индивидов и коллективов. Стремление к личным достижениям определяет выбор и решения относительно образовательного пути, места работы, семейных предпочтений, места жительства и т. д. Глобализированные модели в стремлении к индивидуализации определяют содержание предпринимательской или политической деятельности, культурные интересы и поведение сотен миллионов людей. Лидеры мнений и политики, администраторы и педагоги находятся под большим давлением, чтобы адаптироваться к этим глобальным процессам.

Взаимосвязь между мышлением и поведением индивидуумов, с одной стороны, и глобальной тенденцией индивидуализации, с другой, полна хороших обещаний, но также сопряжена с напряженностью, конфликтами и парадоксами. «Индивидуализация» стала символом борьбы за освобождение, человеческой рефлексивности, ответственности, творчества и т. д. Тем не менее, существуют противостояния между отдельными людьми и глобальными трендами. Уровень потенциального радикализма в глобальном тренде индивидуализации слишком высок для одних индивидов и слишком низок для других. Для некоторых групп скорость этого глобального тренда слишком высока, в то время как для других скорость кажется слишком медленной. Четкая позиция в отношении оценок этого тренда является предпосылкой для организации многомерной дискуссии.

Н. А. Головин: Описание Вами трендов рационализации и индивидуализации создает впечатление удачного применения идей Макса Вебера, модернизированных в современном контексте. Третий из названных Вами глобальных трендов распространение инструментального активизма также рассматривается, исходя из веберовских идей?

Н. Генов: Макс Вебер сформулировал гипотезу о том, что под влиянием религиозных принципов протестантизма в Западной Европе происходит сдвиг в ценностно-нормативных условиях действия и в самом действии. Стремление к денежному успеху стало ключевым фактором ориентаций, решений, действий и контроля за действиями индивидуальных и коллективных акторов в регионе. В новой ценностно-нормативной системе существенная часть духовной власти Бога заменена материальной властью денег, которая преобразована в руководящую ценностную величину. Вместо того, чтобы выполнять

свою традиционную функцию обслуживания других экономических, политических и культурных ориентаций и действий в качестве фактора, поддерживающего их эффективность, деньги стали ценностно-нормативным центром современных обществ. Следуя идеям Вебера, Талкотт Парсонс назвал это явление *инструментальным активизмом*. Это модель мышления и действия, которая заставляет людей посвящать себя деятельности, рационально направленной на получение денег [11]. Распространение инструментального активизма — это процесс, имеющий глубокие корни в социальной эволюции, но он наиболее типичен для капиталистической организации экономик и обществ.

Начиная с Западной Европы, капиталистическая система ценностного регулирования распространилась по всему миру. Распространение инструментального активизма является глобальным трендом, формирующим ориентации, решения, действия и оценки действий среди индивидуальных и коллективных акторов [4: 125–168]. Для этого процесса характерно явное доминирование двух групп причин и следствий. Их условно называют «коммерциализацией» и «консьюмеризмом». В качестве двух измерений этого глобального тренда они определяют структурные и ориентированные на действия параметры современного распространения инструментального активизма.

Коммерциализация в смысле универсальных рыночных расчетов стала ключевым механизмом организации и мобилизации индивидуумов и коллективов в модернизированных обществах. Акторы рационально просчитывают условия, процессы и результаты своих действий, делая акцент на их эффективности с точки зрения денежных показателей. Деньги являются универсальным средством вознаграждения за достижения и наказания за неудачи [12].

Коммерциализация не могла бы быть столь влиятельной без растущей глобальной значимости *консьюмеризма* в смысле мотивации и действий в направлении чрезмерного потребления товаров и услуг, выходящих за рамки обычных потребностей в пище, одежде и жилье. С этой точки зрения, консьюмеризм является мощным фактором мотивации, ориентированной на достижение и, следовательно, на прогресс во всех сферах деятельности. В то же время потребительство является фактором, подрывающим экономическую, политическую и культурную устойчивость из-за злоупотребления ресурсами при

нерациональном потреблении. Чрезмерное внимание к потреблению столь же разрушительно и для индивидов.

Совокупные эффекты коммерциализации и консьюмеризма на глобальном уровне весьма противоречивы. С одной стороны, и то, и другое способствует удовлетворению потребностей *нарастающей* аудитории. Типичными способами достижения этой цели являются привлечение сырья из самых отдаленных уголков земного шара или стимулирование рыночного предложения медицинских услуг. Исследования обоих процессов способствуют детальному анализу и расчету ресурсов, вложенных в производство и услуги. Распространение инструментального активизма часто сопровождается успехами бизнеса в количественном и качественном отношении человеческой деятельности. Однако, чем выше успех, тем тяжелее вред для экологической, технологической, экономической, политической и культурной устойчивости, вызванный крайностями коммерциализации.

В таких сферах деятельности, как образование, здравоохранение, искусство и наука, есть примеры чрезмерной коммерциализации и крайностей потребительства. Результатом этого является подрыв социальной солидарности из-за давления на неограниченную рыночную активность. Рыночная конкуренция способствует позитивному отбору персонала и инвестированию ресурсов, но также приводит к ситуациям радикального нарушения моральных и правовых норм. За этим часто следует ценностно-нормативное напряжение и конфликт. Мировые финансовые рынки расширяются гораздо быстрее по сравнению с рынками товаров и услуг. Это неравенство оказалось критически важным для дестабилизации мировой финансово-экономической системы в 2008–2009 годах.

Таким образом, ценностно-нормативный и поведенческий сдвиг от религиозных ценностных ориентаций к инструментальным рыночным ориентациям привел к огромному прогрессу в управлении природным и социальным миром отдельными лицами и организациями. В современном глобальном обществе это преобладающая модель мышления и поведения. Консьюмеризм эволюционно подготовливался ориентацией человеческого мышления и поведения на материальное потребление на протяжении всей человеческой истории. Развитые общества имеют материальную основу для массового чрезмерного потребления. Сформулированы и применены кластеры

индикаторов для выявления и измерения распространения инструментального активизма с учетом специфики данного исторического типа общества. Исследования глобального общественного сознания содержат относительно четкий диагноз результатов экспансии инструментального активизма.

Н.А. Головин: Вы называете современное общество глобальным и рассматриваете тренд «гомогенизации глобальной культуры». Насколько прочными являются основания для такой терминологии сейчас, когда экономические и политические кризисы, возникающие барьеры и разрывы, развертывающиеся культурно-идеологические и даже военные конфронтации побуждают многих аналитиков говорить о конце глобализации и постглобальном будущем?

Н. Генов: Давайте посмотрим движение знания, ценностей и норм в долгосрочной перспективе после периода холодной войны. В 1990-е годы было достигнуто уникальное культурное единство человеческой цивилизации. Казалось, что происходит глобализация знаний, ценностей и норм и одновременно успешно функционируют связанные с ней практики мировой науки и технологического развития, которые являются условиями глобальной устойчивости и всеобщих прав человека.

Сейчас кажется, что только наука все еще движется в направлении глобальной универсализации понятий, целей и инструментов научных исследований. Но проблемы национальных традиций в исследованиях и специфика локального применения результатов научных исследований остаются. Взаимодействие глобализации и локализации в развитии научного знания является чрезвычайно важной исследовательской темой, имеющей высокую практическую актуальность в современных обществах знаний. Но экзистенциально важные дискуссии об изменении климата продемонстрировали очень высокий уровень общественного недоверия к современной науке [6: 25].

Третья глобальная волна демократизации в 1990-е годы сделала тему всеобщих прав человека мощным фактором глобализации ценностно-нормативных систем. Идея всеобщих прав человека и связанных с ними практик стала в тот период частью конституций многих государств. Казалось, что построение глобальной системы ценностного регулирования, состоящей из двух основных компонентов — устойчивости и прав человека, находится в пределах достижимости.

Существенные изменения в мировой политической и культурной ситуации в начале нового столетия оказали сильное влияние на интеллектуальную привлекательность и практическую актуальность концепций устойчивости и прав человека. Межэтническая и межрелигиозная напряженность и конфликты показали, что не забыты традиционно разделяющие ценности и попытки навязать их оппонентам с помощью насилия. Вместо экономической и политической глобализации в последние годы появились примеры крайнего экономического протекционизма и политического национализма.

Религиозный фундаментализм получил возможность показать уязвимость универсализации ценностно-нормативных систем. Мнение о том, что устойчивость и права человека приносят пользу отдельным лицам, организациям, национальным обществам и глобальному обществу, больше не разделяется. Вместо этого возобладало противоположное мнение о том, что они в основном вредны для отдельных людей, организаций и обществ, тем самым усиливая волну деглобализации. Тем не менее, общий опыт глобализации и угрожающие глобальные процессы, такие как изменение климата, диктуют поиск общих моральных и поведенческих моделей во всем мире. На этом фоне предпринимаются усилия по укреплению идей и практик глобальной гомогенизации моральных идей и моделей практического поведения. Но в изменяющихся условиях глобальная тенденция к гомогенизации ценностно-нормативных систем неизбежно встречает сопротивление. Столкновения с местными культурными традициями или местными интересами практически неизбежны. Эта тенденция вступает в противоречие и с процессом спецификации ценностно-нормативных предпочтений в связи с прогрессирующей структурной и функциональной дифференциацией сфер действия. Нельзя недооценивать пропаганду этнического и религиозного экстремизма против идеи и практики гомогенизации ценностно-нормативных систем.

Достаточно доказательств тому, что идеей всеобщих прав человека и устойчивости можно злоупотреблять для давления на страны и для их подчинения могущественным иностранным интересам. Растущее разнообразие моделей разделения труда, социального статуса, групповых интересов, культурных предпочтений и образа жизни порождает и поддерживает партикуляристские ценностно-нормативные системы.

мативные ориентации и организационные патологии. Но примеры этики работы с генетическими материалами, моральных оснований международного права, моральных норм освоения космического пространства и многие другие доказывают возможность и необходимость глобальной ценностно-нормативной организации. Сам процесс сопровождается напряженностью и конфликтами. События 11 сентября 2001 года (атака террористов, захвативших пассажирские авиалайнеры, на небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке) стала доказательством того, что эта напряженность может перерости в конфликты высокой интенсивности с далеко идущими последствиями.

Дискуссии об интеграции и дифференциации ценностно-нормативных систем не являются интеллектуальными упражнениями в одиночку. Многообещающей отправной точкой для такой дискуссии может стать быстро растущая интенсивность взаимодействий в ходе технологической, экономической, политической и культурной глобализации. Можно отметить, как культурные особенности питания в Китае и Японии и моды в Италии и Франции распространяются и принимаются в глобальном масштабе. Но нет сомнения, что национальные, региональные и глобальные столкновения культур не исчезнут в условиях происходящей глобализации. Причины могут быть самые разные — противоречия религиозных догм, ограничения энергоресурсов, территориальные претензии, и т. д.

Есть глубокие различия в сложности культурных противоречий сто лет назад и сегодня. Никогда прежде местным цивилизациям не удавалось уничтожить всё человечество. В настоящее время это вполне возможно в связи со «столкновением цивилизаций» или в связи со столкновением экономических и политических интересов, которое интерпретируется как столкновение ценностей и норм. В последнем случае рациональная координация интересов могла бы быть условием мирного ценностно-нормативному существованию цивилизаций и культурной гомогенизации.

Н. А. Головин: Исходя из предложенного Вами видения глобальных трендов, что надо сделать в области теоретической социологии?

Н. Генов: Важнейшей задачей теоретических дискуссий в социологии является разработка концептуального инструментария для постановки системной диагностики современности. Проверка об-

щепринятых знаний о глобальных трендах проливает свет на сложность ситуации. Несмотря на информативность и практическую пользу имеющихся публикаций, у них есть один общий недостаток. Он состоит в том, что лишь немногие из исследований глобальных трендов содержат попытки теоретически обоснованного описания, объяснения или прогнозирования. Следовательно, качество когнитивной подготовки усилий по объяснению и прогнозированию процессов на общественном и глобальном уровне, как правило, оставляет желать лучшего.

Надо в плане критики отметить, что реальное состояние теоретического знания в социологии не позволяет дать рациональное обоснование практических решений и действий на уровне глобального общества. Предлагаемое здесь решение этой фундаментальной проблемы исходит из предпосылки, что такой результат невозможно достичь на основе понятий структур и структурирования, актора и деятельности, функции и функционирования. Наше предложение состоит в том, что можно и нужно использовать объяснительный, прогностический и прагматический потенциал концепции *RISC* (аббревиатура на базе английской формулы: upgrading the Rationality of organizations, Individualization, Spread of instrumental activism, and homogenization of Culture), что в русском переводе означает повышение рациональности организаций, индивидуализацию, распространение инструментального активизма и гомогенизацию культур. С другой точки зрения, каждый из четырех глобальных трендов и их взаимодействие определяются природными, технологическими, экономическими, политическими и культурными условиями и соответствующими институциональными рамками исследуемой исторической ситуации.

Концепция *RISC* применяется как аналитический инструмент для когнитивной редукции глобальной сверх-комплексности. Так были выявлены ограничения методологического и эпистемологического реализма социологического мейнстрима. Становится возможным преодолеть ограничения и открыть перспективы творческой свободы в построении и использовании теоретических концепций. Предлагаемый подход позволяет избежать крайностей как традиционного реализма в построении и применении социологической теории, так и принципа «все дозволено» (everything goes) методологического

и эпистемологического анархизма. Такой подход к построению теории основан на опыте исследований глобальных тенденций в социальных трансформациях и в развитии регионов мира [4].

Анализ причин, проявлений и следствий каждого из четырех глобальных трендов и их конфигураций в современной глобализации проливает свет на достаточно сложную ситуацию. Каждый тренд функционирует в условиях глобальной неопределенности и рисков. Это означает, что эффект функционирования этих трендов может как повысить, так и ухудшить рациональность организаций, участвующих в их взаимодействии. Противоречивые процессы в каждом глобальном тренде оказывают влияние на динамические взаимосвязи между всеми четырьмя трендами. С другой точки зрения, решения о содержательном разделении при организации исследования четко различимых акторов, отношений и процессов приводят к тому, что вновь приобретенные знания организуются по тем же шаблонам.

Противоречивые процессы и эффекты активности каждого глобального тренда влияют и на остальные. Их взаимное влияние в настоящее время трудно изучить из-за огромной сложности таких процессов. Но исследования довольно важны как для диагностики современности, так и для управления условиями человеческой деятельности. Эта задача должна иметь приоритет среди исследований будущего развития общества. Учитывая высокую интенсивность противоречий, характерную для каждой из четырех трендов, можно предположить интенсивность и напряженность конфликтов во взаимодействии между всеми четырьмя глобальными трендами или между некоторыми из них. Вопросы макроуровня исследований аналогичны и на микроуровне взаимодействия индивидов. Сильные личности готовы бороться за позиции, которые дают им больше самостоятельности в профессиональной деятельности. Но стремление индивидов к все большей и большей автономии может иметь и разрушительные последствия для рациональности экономических организаций или для эффективности инструментального активизма. Повышение рациональности данной экономической организации может спровоцировать или поддержать конструктивные изменения в содержании и траектории индивидуализации.

С методологической точки зрения поворот от концентрации внимания на системах и структурах к глобальным трендам как концепту-

альным инструментам декомпозиции современной глобальной сложности оказывается продуктивным. Выделяя четыре глобальных тренда, их внутреннюю динамику и напряженность, а также их взаимное усиление или препятствование, мы делаем современную социальную динамику более прозрачной. В качестве предпосылки качественного прогнозирования можно прийти к адекватному описанию и объяснению происходящих процессов. Это необходимый фон для хорошо обоснованных ориентиров для принятия решений и действий. К настоящему времени можно предположить, что мы знаем основной механизм этого процесса. Это эволюция четырех глобальных трендов и их противоречивое взаимное влияние. Упомянутые примеры в основном относятся к конструктивным процессам и их эффектам. В действительности глобальные тренды внутренне противоречивы и порождают как созидательные, так и деструктивные процессы и последствия. Концептуализация этого динамического взаимодействия глобальных трендов лежит в основе противоречивого диагноза глобальной ситуации.

Н.А. Головин: Большое спасибо! Надеюсь, что читатели нашего сборника «Проблемы теоретической социологии» извлекут пользу из рассказа о Вашем научном творчестве. Благодарим за подробные ответы и внимание, которое Вы нам уделили.

Литература

1. *Bailey R., Tupy M. L. Ten global trends that every smart person needs to know: And many other trends you will find interesting.* Washington, D.C.: Cato Institute, 2020.
2. *Genov N. Challenges of individualization.* London: Palgrave Macmillan, 2018.
3. *Genov N. Four global trends: Rise and limitations // International sociology.* 1997. No. 4. P.409–428.
4. *Genov N. Global trends in Eastern Europe.* New York and London: Routledge, 2010, 2016.
5. *Genov N. The paradigm of social interaction.* London and New York: Routledge, 2022.
6. *Global trends 2023. A new world disorder? Navigating a polycrisis.* Paris: Ipsos, 2023.
7. *Global trends 2040: A more contested world.* Washington D.C.: National Intelligence Council, 2021.

8. Global trends to 2040: Choosing Europe's future / ESPAS. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen, 2024.
9. Meyer J. W. World society, institutional theories, and the actor // Annual Review of Sociology. 2010. No. 36. P. 1–20.
10. Monaco E. Global trends compendium / An essential guide to socio-economic and environmental change. Singapore: Springer Singapore, 2024.
11. Parsons T., Lidz V. Death in American society // Shneidman E. (Ed.) Essays in Self-Destruction. New York: Science House, 1967. P. 133–170.
12. Stehr N., Voss D. Geld. Eine Gesellschaftstheorie der Moderne. Weilerwist-Metternich: Velbrück Wissenschaft, 2019.
13. Viale R. (Ed.). Routledge handbook of bounded rationality. Abingdon and New York: Routledge. 2021.

Д. Г. Подвойский, А. К. Спиркина¹

**ЦВЕТОК НА ЛУГУ,
ИЛИ КАК КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРОРАСТАЕТ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
(к социологическому портрету общества модерна)**

Проблема «индивиду / общество» — своего рода магический кристалл социологии: ее множественные грани и смысловые оттенки пропускают свет, попадая в самое сердце нашей дисциплины, преломляясь самыми разными красками. Как и почему атомарный человеческий материал скрепляется, склеивается, образуя молекулы социальности как структуры *sui generis*? — вопрос, остающийся страшной тайной и головоломкой для социологов (до сих пор на него не получено однозначного и всех устраивающего ответа). Сама тема «индивиду / общество», взятая вместе с ее почти бесчисленными коннотациями и теоретико-методологическими импликациями, слишком уж полисемична, чтобы рассуждать о ней «в общем и целом», без риска перевода разговора в область «дурной метафизики». Один из пластов этой темы, на который мы хотели бы обратить внимание читателей в настоящей статье: присутствие или бытование коллективного в индивидуальном в обществах современного типа, обычно, как минимум, на уровне деклараций апеллирующих к человеческой личности как непреходящей ценности и основополагающему культурному благу.

Мы рождаемся, проживаем свои жизни со своими индивидуальными телами и мыслями во дворцах или хижинах, коммуналках, общежитиях или отдельных квартирах, сохраняем разный уровень публичного и приватного, умираем, оставляем о себе память как более или менее значимые отдельные личности со своими именами и фами-

¹ Подвойский Денис Глебович — канд. филос. наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета Московского государственного университета; доцент кафедры социологии РУДН им. Патрика Лумумбы; ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; Спиркина Анастасия Константиновна — старший лаборант Института социологии ФНИСЦ РАН; преподаватель Социологического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.

лиями, кличками и прозвищами. Мы, или вернее было бы сказать, ... каждый из нас.

Человек в традиционных (и особенно первобытных) обществах соотносился с коллективом иначе, чем человек эпохи модерна. Он чувствовал себя частью сообщества, прежде всего локального — большой семьи, фратрии, клана, племени и т. п. Но и он имел свою личностную идентичность, поскольку имел собственные ноги и руки, мог самостоятельно разговаривать, в его голове водились его собственные мысли, а сердце наполняли его собственные чувства (пускай нехитрые, и подсказывавшие ему всякий раз, что он является членом коллектива, сущности более древней, могущественной и фундаментальной, чем любое индивидуальное Я). Впоследствии, как показывает, например, Норберт Элиас [6], баланс Я и Мы смещается в сторону Я. Модерн рождает индивидуализм как специфическую установку сознания. Отдельный человек теперь не просто выделяет себя из общества, не хочет растворяться без остатка в своем широком и узком окружении, порой он даже прямо противопоставляет себя ему. Человек начинает воспринимать себя как автономного Субъекта. Именно такую модель человека концептуализировали Р. Декарт и И. Кант. Правда социология, и в частности социология знания, позднее показала, что подобная модель была лишь абстракцией, созданной классической гносеологией Нового времени, причем созданной при определенных исторических обстоятельствах. Общество модерна лишь удлинило поводок, но отнюдь не выпустило его из рук. Свободный индивид определяется в современных обществах (прежде всего либерального типа) как величина исключительная по своей значимости, наделяемая, если угодно, сакральным статусом. Однако право на сакрализацию всякого культурного объекта, как учил Э. Дюркгейм, принадлежит именно коллективу. За ширмой сакрального скрывается социальное. Общество нового типа как машина, творящая богов, соразмерных его величию и амбициям, само возносит человека на недостижаемую высоту. Говоря шире, конкретно-исторический образ индивидуального Я, человеческой личности всегда является фокусом, преломлением, проекцией общества, его породившего ...

В названии настоящей статьи одновременно заложен как парадокс — о том, что нечто индивидуальное может быть коллективным, — так и интуиция фундаментальной связи «индивидуального»

и «коллективного». Субъективное ощущение личной обособленности от некоторых конкретных людей или даже от общества в целом, как и ощущение причастности к нему, присутствует в индивидуальном опыте почти каждого человека. Но почему эти, казалось бы, взаимоисключающие состояния сосуществуют в одном сознании — иногда в разное время и в разных ситуациях, а иногда и одновременно?

Данный парадокс, с нашей точки зрения, сформирован самой парадоксальностью общества (позднего модерна), в котором нам приходится жить. С одной стороны, модерн создает индивида, который более всех людей предшествующих эпох ощущает свои неотчуждаемые личные права, обеспеченные всей мощью государства, ценность самого себя как субъекта действия, способного и даже должного менять мир, указывать направления его развития. С другой стороны, современное общество рождает и современную науку, умеряющую претензии «свободной воли» более или менее жестким детерминизмом в объяснении природного и (позже) человеческого мира. Ключевая интенция социологии, как одной из таких наук, заключается в раскрытии фундаментальной общественной обусловленности человеческого действия и мышления: включая веру, мотивацию и связи, в которые люди вступают друг с другом. Для социологии в обществе нет ничего обособленного и в этом смысле нет ничего индивидуального. В тех странах, где сильнее процессы индивидуализации, там обычно громче слышен «неудобный» голос социологии, которая постоянно напоминает людям, что весь их образ жизни основан на том, что обществу как целому было угодно им дать в качестве каналов и институтов действия и моделей мышления. Мы могли бы назвать этот эффект «заблуждением индивидуальности», неустанно развеивать которое входит в задачи социологии.

Кроме того, вероятно, что сознание современного человека в большой мере сформировано популярной психологией и психологическими представлениями о себе, базирующимися на индивидуальном биографическом опыте (часто, детстве), кризисах или даже травмах индивидуального прошлого и ведущими к индивидуальным, личным проблемам, которые человек вынужден решать самостоятельно или с помощью врача-психотерапевта. Психологические особенности могут формировать образ жизни, стратегии общения, а психические заболевания — существенным образом определять

меру контакта с другими людьми. Некоторые исследователи отмечают, что т. н. «субъективный поворот», происходящий в социальных науках в связи с серьезным ростом индивидуализации и некоей «зацикленности человека на себе», может стать угрозой классическим социологическим исследованиям [7: 2]. Тем не менее, не стоит преувеличивать значение психологических факторов в интерсубъективном пространстве, в том числе способность людей влиять на ход социальной ситуации, где один вынужден понимать другого и доносить собственные сообщения до партнера по интеракции.

Вопрос связи индивида и общества является одним из фундаментальных в социологии и неоднократно обсуждался еще в классический период ее развития. Нам представляется показательным как эту проблему объясняет Эмиль Дюркгейм в тексте об определении моральных фактов. Он говорит, общество — это единственный возможный источник как собственно морали, так и вообще любого священного. Поэтому тот факт, что индивид в современном обществе обладает невероятной ценностью и тщательно оберегает от профанации сам себя и чаще всего (в приличном обществе) других людей, говорит лишь о том, что общество наделило индивида таким высоким значением и поддерживает эти коллективные представления актуальными. Что важно для нашей темы: общество, говорит Дюркгейм, «создает из него [индивидуа] явление, уважаемое прежде всего остального. Поэтому прогрессирующее освобождение индивида предполагает не ослабление, а трансформацию социальной связи. Индивид не отрывается от общества; он привязывается к нему иначе, чем в былье времена, и это происходит потому, что оно его воспринимает и стремится к нему не так, как это было когда-то» [2: 62]. Дело в том, что социальная связь становится в индивидуализированных обществах меньше похожа на собственно связь, но это вовсе не означает ни ее исчезновение, ни ослабевание. Связь индивида и коллектива в современном обществе, согласно позиции Дюркгейма, возможно, становится даже сильнее, так как именно от общества зависит, что будет вознесено на пьедестал и оценено выше всего прочего. Полагаем, здесь классик социологии подразумевает различие в типах солидарности, где исторически более поздний — органический — определяется как тот, в который вступают принципиально гетерогенные индивиды, непохожие на других, ценные каждый сам по себе, в своих

особенностях и отличиях от других, и только в таком качестве способные сформировать органическую связь.

Эти соображения Дюркгейма касаются среди прочего той почтительности, которую люди проявляют по отношению друг к другу. Например, И. Гофман, используя в названии одной из самых известных своих работ оборот «ритуал взаимодействия», имеет в виду как раз коллективно установленный способ обращения со священными объектами, в частности, человека с самим собой и с другими людьми. Каким бы светским ни было взаимодействие, оно «представляет собой способ, которым индивид вынужден охранять и выстраивать символический подтекст своих действий в непосредственном присутствии объекта, который имеет для него особую ценность... Если бы индивид мог сам обеспечить себе то почитание, которое он хочет, существовала бы тенденция к дезинтеграции общества на островки, населённые одинокими людьми, служителями собственного культа вечного самопоклонения» [1: 75–76]. Роли, принимаемые людьми в определенной ситуации, как бы сами по себе призывают индивидов поддерживать свою значимость. Это хорошо видно на примере служебной или военной субординации. И, в особенности, тогда, когда рабочая коммуникация окончена, и тот же человек, которому днем отдавали честь, вечером спокойно терпит, и даже получает удовольствие от шутливых насмешек над собой от друзей или членов семьи.

«В некотором отношении этот светский мир не столь нерелигиозен, как мы могли бы думать. Со многими богами покончено, но сам индивид упорно остается «божеством» значительной важности. Он ходит с определенным достоинством и принимает много мелких подношений... Быть может, человек — столь жизнеспособный «бог» потому, что может действительно понять церемониальную значимость способа, которым к нему относятся, и вполне самостоятельно ответить на то, что ему предлагается. В контактах между такими «божествами» нет нужды в посредниках; каждый из этих «богов» может служить собственным жрецом» [3]. Конечно, нам знакомо множество исторических примеров, когда оскорбление, нанесенное человеку, могло приводить к трагическим последствиям и в Средневековье, и даже в древние времена. Но особенностью современности является невиданная прежде массовость такого «взаимного культа». Каждый человек (если речь идет об эпохе Просвещения) теоретически может

получить образование и стать великим инженером или ученым — и тем самым стать значимой частью общества. Следуя «американской мечте», *каждый* мог бы, приложив должные (но принципиально посильные, реальные!) усилия, вырваться из бедности и добиться успеха в бизнесе. В этом и был смысл свободы и равенства, за которые боролись либерально-демократические революции по всему миру. Почитание же человека высокого сословия в развитых традиционных обществах легко теряется в почитании самого статуса, самой социальной характеристики, притом почти всегда приписанной, получающей без всякого личного участия.

С другой стороны, человек далеко не всегда представляет собой априори ценное и интересное создание. Порой ценность ему придает как раз *его отсутствие*, так как священный объект не может быть в доступе круглосуточно, ибо в таком случае он неизбежно профанируется. Замечательно эту ситуацию описывает Генри Торо: «Людское общество обычно чересчур доступно. Мы встречаемся слишком часто, не успевая приобрести друг для друга новой ценности. Мы трижды в день сходимся за столом и угощаем друг друга каждый раз все тем же старым заплесневелым сыром — нашей собственной особой. Чтобы сделать терпимыми эти частые встречи нам пришлось договориться о некоторых правилах, именуемых приличиями и этикетом, которые не дают нам вступить в бой. ... Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга и от этого, мне думается, теряем друг к другу уважение. Для подлинно важного и сердечного общения такая частота не нужна» [5: 161–162]. По мысли Торо, время, проведенное в плодотворном одиночестве и / или молчании, конвертируется впоследствии в качество будущих бесед, увеличивая их ценность. Такт и правила приличия — это то немногое, что заставляет людей молчать, когда они находятся в обществе, пусть и под внешне-объективным давлением, и при этом удовлетворять свою тягу к воспроизведству коллективных норм.

Существуют сотни больших и малых областей жизненного опыта, на примере которых можно было бы продемонстрировать коллективно детерминированный характер феноменов, традиционно ассоциирующихся с человеческой индивидуальностью. Рассмотрим в иллюстративных целях две такие сферы: молчание как специфически социальную практику (ведь сосудом или резервуаром молчания

обычно оказывается конкретный человек с его личными побуждениями и установками) и смерть как финальное событие индивидуального биографического цикла (умирает, в конечном счете, всегда каждый поодиночке). «Молчание» и «смерть» — особые регионы человеческого опыта, которые не только часто субъективно сопровождаются чувствами одиночества и обособления от коллектива, но и, как правило, предстают в культуре как события / действия, полные индивидуального драматизма. Фокусировка внимания на том, что традиционно ассоциируется с разрывом социальной связи, и потому с «индивидуальным», сугубо личным и интимным, приоткрывает для социологии стратегии производства социальности в «пограничных зонах» коллективности.

Помолчим, давай помолчим: индивидуальное молчание как коллективная практика

Выше мы указали, что одним из концептуальных решений проблемы индивидуализации могут выступать теория сакрального Э. Дюркгейма и более поздняя ее рецепция в анализе «ритуала взаимодействия», предпринятым И. Гофманом. На примере социальных практик молчания, как действий, которым часто приписывается высокая мера осмыслинности, интенциональности и «намеренности», идущих непосредственно от самого молчащего индивида, стратегии и модели индивидуализации видны наиболее четко.

Молчание в разговоре, в ситуации, когда не находится темы для него или неясности какую реплику можно было бы произнести следующей, именно потому часто оценивается людьми как неловкое, болезненное, смущающее, потому что ритуал взаимодействия важно провести хорошо — так как «почтительность» и «умение себя вести» (в частности, способность поддерживать разговор) как раз и составляют характеристику человека как священного объекта. По этой же причине мы стараемся помочь другим заполнить паузу, если собеседник не справляется, — все дело в чрезвычайно важной задаче «сохранения лица», являющегося по существу как раз ядром социального «культа» (не человек сам по себе, а «лицо», личность, — то есть, его социальные характеристики). В конверс-аналитических исследованиях на обширном эмпирическом материале аудиозаписей различных разговоров было показано, что основой такого «ритуала» является смена

реплик, которая в идеале должна происходить без длительных пауз и заминок [3].

Итак, индивидуализация является следствием развития современного общества. С началом эпохи модерна человек начинает ощущать свою ценность, а потому и ценность того, чтобы «заниматься собой», своими собственными достижениями. Возникает т. н. «культ продуктивности» и личной эффективности. Человек, «включенный в прогресс культуры», начинает использовать (или, по крайней мере, стремится использовать) общественные институты как инструменты или каналы самореализации². По большому счету иначе как через общественные институты достичь этой цели трудно. Но, кроме того, реализуются ли люди в карьере, как родители или на духовном пути, они используют социальные институты не только как каналы, способы, возможности самореализации, но и как источники для формирования представлений о себе (как о том, кто должен реализоваться) и формулирования собственных идеалов. Таким образом, превращение себя в «лучшую версию себя», вероятно, тоже продиктованы человеку извне, являются социальными, общими для многих других людей и осуществляется похожими средствами.

Например, стремительно распространяющаяся сегодня молчаливая медитация в секуляризированном обществе (как и высокая потребность в молчаливом уединении и тишине в целом) представляет собой как раз технику достижения личной продуктивности, саморазвития на пути к раскрытию своего личностного потенциала³. На основе западных исследований движения випассаны (курс 10-дневной оклобуддистской молчаливой медитации) установлено, что интерес подобная практика вызывает прежде всего у представителей верхних слоев среднего класса, атеистов с высшим образованием, занятых чаще всего высокоспециализированным интеллектуальным трудом.

² Серьезного размышления требуют вопросы о том, действительно ли возможна самореализация и кто именно (какая часть личности) и какими стратегиями «реализуется».

³ Популярность буддийской медитации заставляет нас, кроме того, заново проблематизировать «расколдованность» мира. Является ли это новым расцветом религиозного и мистического поиска (религия не отходит, но трансформируется в более индивидуализированные формы) или, наоборот, стремлением к рационализации через религиозно-кастрированную практику, от которой ждут только психотерапевтического эффекта? [8: 576].

Например, медитация в Америке коррелирует с уровнем образования и доходом (бедные и черные медитируют намного реже). Гендерное разделение так же интересно — практикуют больше женщины, но среди лидеров в большинстве мужчины, причем богатые, влиятельные и образованные. Медитация для западных людей не является ни религиозной практикой, ни тем более — способом достижения нирваны. Техника, которую они используют, в том числе отстранение от собственного Я, — это техника повышения собственной продуктивности, эффективности сознания в конечном счете для лучшего выполнения своих *мирских* задач [8: 571–589].

Общество сообщило человеку, к чему он должен стремиться, и можно утверждать, что чем упорнее он исполняет это свое призвание, тем, очевидно, выше влияние на него общества. Пример известных пустынников и молчальников, людей, которые с религиозным мотивом на долгое время покидали общество и отказывались от общения, тоже обнаруживает эвристическую ценность дюркгеймовского понимания того, что богов придумывает общество. Когда одни боги теряют авторитет, на смену им приходят другие, а тумблер-переключатель режимов авторитета для разных категорий индивидов находится в руках общества как высшей моральной инстанции. С данной точки зрения практики религиозного отшельничества и молчания являются не отказом от общества, а поиском личной свободы через механизмы, которые общество предлагает.

Это фундаментальное понимание важно и для разговора, основанного на микросоциологической традиции. Исследование молчания в рамках последней представляет собой работу с наблюдаемым здесь и сейчас молчанием, и, в сущности, является исследованием места стыковки индивидуального и коллективного, выражющегося в теле, про-странственно-временной определенности и речи (или ее отсутствии). Работа с микроуровнем социальной жизни упрощает разговор о соотношении индивидуального и коллективного в рамках социологии, так как наглядные проявления индивидуального поведения представляют иллюстрацию к тем социальным процессам (в том числе «общественным» процессам), о которых привыкли говорить социологи — в отличие от той ситуации, когда индивиды «отсутствуют» в социологических текстах в принципе и разговор ведется только о характеристиках общества, т. е. о социальном уровне коллективной жизни.

Приведем здесь следующий пример. Ребенок, играя с другими детьми в молчанку, молчит сам, сам испытывает на прочность свою эмоциональную устойчивость. Однако, вне контекста игры его молчание ничего бы не стоило. В игре оно приобретает ценность, становится ставкой, которая может обеспечить победу. Как только один заговорит, игра закончится и молчание второго в ту же секунду потеряет прежний смысл. Таким образом, «молчанку» можно рассматривать как индивидуальный игровой самоконтроль ребенка, который развивается через коллективную практику игры и продуктивно возможен только во взаимодействии с другими. Молчанка так же является одним из множества способов социализации — процесса, исходящего из интуиции фундаментальной связи «индивидуального» и «коллективного».

Представление о том, что молчание есть личный выбор, способ активного самовыражения, к тому же, как бы встающего в оппозицию к обществу, к коммуникации, основанной на словах, довольно распространено в обществе. Так же объяснения, которые люди дают свои паузам и молчанию в повседневном разговоре часто принадлежат личной, pragmaticальной или психологической сферам. С точки зрения же микросоциологии диалог представляет собой относительно устойчивую структуру взаимодействия, и паузы и молчание так же имеют свой микроструктурный смысл и открывают возможность заговорить другому или, наоборот, являются «естественной» остановкой, которую нужно выждать и дать продолжить говорить тому человеку, который сделал эту паузу. Потому никакое молчание в диалоге не существует само по себе или лишь только в связи с самим молчащим. Придание слишком большого значения осознанному личному решению молчать является вариантом «заблуждения индивидуальности».

Идея четкого различения и разграничения «индивидуального» и «коллективного» («внутреннего» и «внешнего») основана не только и, может быть, не столько на умозрительных конструктах социальных философов и социологов, сколько на рутинных интерпретациях людьми собственных действий. Разделение психических процессов и социальных действий используется в повседневных объяснениях спорадически, от случая к случаю — иногда как «неосознанных» и «осознанных», иногда как «личных» и «публичных». Однако, нереф-

лексивность и неосмысленность в своей направленности на общество, с которой человек совершает в обществе обыденные действия, не переводит их в разряд исключительно внутренних психических процессов. В этом смысле молчание в социологии рассматривается как социальное действие, по своей природе направленное на общество, с реконструируемым предполагаемым смыслом.

Но есть ли социальность в таком молчании, когда человек находится один? Здесь, разумеется, уже приходится говорить не о непосредственном влиянии конкретных присутствующих людей, а об опосредованном эффекте социальности, в частности, о процессе и результатах его социализации. Во-первых, с точки зрения приличного общества, находясь в одиночестве, человек и должен молчать — это социальная норма. Если он будет говорить сам с собой, и его кто-то за этим «застукает», то ему самому и случайным свидетелям, будет неловко. Во-вторых, выполнение некоторого основного действия, пусть даже самого бытового и рутинного, в котором присутствует фоновое молчание, все равно нельзя назвать индивидуальным если оно упорядочено, осмыслено и социально оформлено.

Общество на страже бессмертия

Общество модерна распознает своих членов как конкретных человеческих личностей с конкретными (хотя и типическими) социальными характеристиками. Человек имеет имя и фамилию, документы, в которых зафиксированы основные вехи его жизненного пути (день рождения, именные дипломы, сертификаты, свидетельства (например, об образовании, о браке, наличии детей и т. п.), историю болезни, всевозможные справки, опять же выданные на конкретное имя. При всей анонимности и абстрактности специфически модернистского отношения к человеку действует принцип: каждый индивид уникален и может претендовать хотя бы на иллюзию отношения к нему других как к отдельной личности, обладающей набором неповторимых черт — особой внешностью, особыми биографическими признаками. Человек, которого перепутали с кем-то другим, всегда может заявить с обидой в голосе: Я вам не тот, я этот, ... не чей-то, а *свой собственный* (мальчик).

К своей последней черте индивид тоже подходит сам. Умирать каждому приходится в одиночку, даже в случаях, если рядом в большом

количестве умирают другие (как это происходит на войне). Общество модерна «в норме»⁴ обеспечивает каждому достойный и приличествующий статусу человеческой личности уход из жизни. Человек, отошедший в мир иной, может быть кому угодно, но факт смерти сам по себе возвышает и облагораживает. *De mortuis aut bene, aut nihil*⁵. Мертвые сраму не имут! Остап Бендер, Балаганов и Козлевич провожают в последний путь Паниковского⁶, — человека, не имевшего даже паспорта, — воздают ему скромные ситуативно уместные почести, хотя покойный и «не был нравственным человеком»...

Один современный поэт задается вопросом: к чему забота об умерших, когда нет дела до живых? И, действительно, в определенном смысле заботиться об умерших проще. Они отходят в лучший мир, который выступает своего рода проекцией коллективных представлений, циркулирующих в конкретном обществе. Своих покойников общество по возможности не третирует, они занимают в его священном номосе свое почетное место. Хоронят, разумеется, по ранжиру — кого в дорогих гробах, с морем цветов, венками от организаций и трудовых коллективов, воинскими почестями, а кого и попроще. Забыть рядового или выдающегося покойника можно очень быстро, назавтра, но все же не сегодня, когда он лежит вот здесь, перед всеми в гробу в помещении ритуального зала. Сегодня он / она — главное действующее лицо в высоко ритуализированном исполненном пафоса событии. Церемония похорон в некотором роде выступает апофеозом, высшей и финальной точкой персональной биографии индивида в современных обществах. Общество громко кричит или тихо нашептывает усопшему: спи спокойно, дорогой друг, ты был одним из нас, мы тебя ценили и уважали, и продолжаем ценить и уважать сейчас, в скорбный момент прощания, возможно, больше чем когда-либо, и ты был Личностью и прожил свою жизнь не зря. И даже если все это вранье и лицемерие, мертвцы спокойно лежат и слуша-

⁴ Поточно-технологическое истребление людей в концлагерях и организацию массовых захоронений погибших, братских могил без списков погребенных стоит рассматривать как особые случаи, правда, так же существенно связанные с проектом модерна (ср., напр.: Холокост как своего рода «изнанка» общества модерна).

⁵ О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.) — Примечание отв. ред.

⁶ Персонажи романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», впервые опубликованного в 1930 г. — Примечание отв. ред.

ют такие речи, делая вид, что все это правда. Живые тоже верят, не рискуя усомниться в серьезности социальной инсценировки и искренности чувств присутствующих, тем более что и каждого из них подобное театрализованное действие ждет в будущем (надо готовиться и разучивать роли).

Весьма показательно, что сакрализация личности, отошедшей в вечность, сохраняется и в атеистически-коллективистских культурах, каковой была советская культура. Символические практики почитания мертвых (точнее, «вечно живых») были важной частью коммунистического идеологического проекта. Такие практики обосновывались, по-видимому, не столько доктринальными соображениями, скорее они были реакцией формирующейся культурной системы на социальный запрос: общество не могло нормально функционировать без богов, праведников и мучеников. Иконоборческая установка должна была смениться новой интенцией иконопочитания. Имена и лики вождей настоящего и прошлого буквально наводняли повседневность советского человека, сопровождали его в будни и праздники. Ленин и дети, ходоки разговаривают с Владимиром Ильичом, Ильич с бревном на субботнике, Ленин слушает Аппассионату, Сталин с девочкой на руках, Берия в гостях у ликующей пионерии. Мученики и страстотерпцы: лейтенант Шмидт, Бауман, Урицкий, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Щорс и Лазо, Чапаев и Котовский, 26 Бакинских комиссаров, Воровский, Сакко и Ванцетти, Киров и т. п. — Коммунистический пантеон-мартиролог имел сложную структуру и постоянно пополнялся, включал в себя не только людей, уже окончивших свой жизненный путь (умерших своей смертью или убитых), но и возвеличенных при жизни. К почитанию вождей и героев мировой и российской революций прибавлялось почитание героев Гражданской и Отечественной войн.

Материалистически-атеистическая установка, вмонтированная в структуру советской идеологии, предполагала признание того, что человек, умирая, «превращается в ничто» [4]. Но от человека (по крайней мере, потенциально) остается доброе имя и благодарная память потомков. Прямой способ обрести личное бессмертие в такой картине мира — это быть общественно полезным при жизни (как своего рода плюсик в карму строителя коммунизма). Герои и подвижники новой веры не умирают, их идеи и дела не растворяются бесследно

в их собственном времени. Они будут жить в веках, они отдали свои жизни за счастье будущих поколений. Вот посмотрите на Ильича (для этого не обязательно ходить в мавзолей): он везде и повсюду, с кепкой и без, он зовет, ведет в будущее, указывает путь. Поэтому Ленин живее всех живых, а его великое дело живет и побеждает. В общем, вездесущее сакральное-социальное работало в атеистической культуре *mutatis mutandis*⁷ не хуже, чем в культурах, основанных на вере в существование загробного мира.

* * *

Бесхитростная, если угодно, сермяжная правда методологического индивидуализма гласит: реальная эмпирическая сцена социальной жизни конституирована взаимообусловленными поступками, чувствами, мыслями и высказываниями конкретных людей, и ничем больше. Туман эссециализма, гипостазирующего мнимые сущности, рассеивается. Институты и структуры общества не существуют сами по себе, независимо от деятельности воляющих, думающих, чувствующих и говорящих представителей вида *homo sapiens*. Однако, с другой стороны, объяснить, что (и как) эти индивиды делают, о чем думают, к чему стремятся, какие слова используют... невозможно из них самих взятых по отдельности, в отрыве от исторически сложившихся и быстро или медленно меняющихся форм коллективности, их совместной жизни как специфически социальных существ.

Модерн открывает новую страницу в отношениях индивидуального и коллективного в глобальной социально-эволюционной перспективе. Общество, как бы мы ни определяли его онтологический статус, возводит на пьедестал отдельную человеческую личность в ее суверенности и автономии. Цветок вбирает в себя красоту поляны, как часть вмещает в себя видоизмененную и выступающую в особой, «индивидуализированной» форме структуру целого. Противоречие между холизмом и сингуляризмом на этом пути превращения или преображения коллективного в индивидуальное частично преодолевается (говоря по-гегельянски, «снимается»), а сами они предстают как две стороны одной медали.

⁷ Изменив то, что следует изменить (лат.) — Примечание отв. ред.

Литература

1. Гофман Э. [Гофман И.] Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / под ред. Н. Н. Богомоловой, Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2009.
2. Дюркгейм Э. Определение моральных фактов / Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. / сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 1. С. 25–69.
3. Сакс Х., Щегloff Э., Джейферсон Г. Простейшая систематика организации очередности в разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 142–202.
4. Соколова А. Д. Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР. М.: НЛО, 2022.
5. Торо Г. Д. Уолден, или жизнь в лесу. М.: Наука, 1979.
6. Элиас Н. Общество индивидов. М.: Практис, 2001.
7. Pagis M. Inward: Vipassana Meditation and the Embodiment of the Self. Chicago: The University of Chicago Press, 2019.
8. Pagis M. Sociology of meditation // The Oxford Handbook of Meditation / M. Farias, D. Brazier, M. Lalljee (Eds.). N. Y.: Oxford University Press, 2019. P. 571–589.

М. В. Ломоносова, А. С. Быков¹

ВОЙНА КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В НАУЧНЫХ ТРУДАХ ПИТИРИМА СОРОКИНА И НИКОЛАЯ ГОЛОВИНА: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Социология войны представляет собой специальную отрасль социологических знаний, становление которой происходило на протяжении XX века. Именно российские ученые, оказавшиеся после Русской революции 1917 года в эмиграции, Питирим Александрович Сорокин и Николай Николаевич Головин заложили фундамент и внесли неоспоримый вклад в развитие социологии войны как отдельной отрасли научного знания. Трагические события Первой мировой войны, приблизившие революционные преобразования российской государственности, а также последующую Гражданскую войну, безусловно повлияли на их позицию как исследователей, имеющих непосредственный опыт участия и наблюдения за войной и ее последствиями. В отличие от «кабинетных ученых», постигающих те или иные события на основе кропотливого анализа научных трудов и эмпирических данных, П. А. Сорокин и Н. Н. Головин были вовлечены в самый эпицентр трагических страниц истории Российского общества в состоянии войны и революции. В годы Первой мировой и Гражданской войны они смотрели на войну и воспринимали это бедствие с разных сторон: П. А. Сорокин со стороны общества и с позиций социологии, а Н. Н. Головин со стороны армии и военной науки. Спустя годы, оказавшись в эмиграции, несмотря на разные политические взгляды относительно прошлого, настоящего и будущего России, они смогли дистанцироваться от своих личных убеждений в вопросе изучения войны как социального явления и подошли к ее анализу с позиций исторической социологии, что и позволило им стать основоположниками новой отрасли социологического знания.

¹ Ломоносова Марина Васильевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета; Быков Александр Сергеевич — аспирант Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

В середине прошлого столетия П. А. Сорокин доказал, что «историческая судьба любого общества складывается так, что периоды его сравнительного благополучия и периоды бедствий постоянно сменяют друг друга. В какой-то определённый период общество наслаждается миром, порядком, процветанием и отсутствием явных катастроф. В другой период его жизнь омрачается бедствиями. И так это чередование происходит в течение всей истории» [8: 17].

Роль войны в истории общества нельзя недооценивать, она оказывает влияние не только на политический и социальный строй того или иного общества и государства, но и на развитие социальных наук. Европейская социология в её национальных вариантах была связана с изучением экономических, политических и социальных конфликтов, потрясавших Европу XIX века. При этом, именно российским ученым принадлежит приоритет во введении в научный обиход термина «военная социология», определении ее предметной области и постановке вопроса об институционализации данной отрасли научных знаний [5]. К сожалению, многое из накопленного на рубеже XIX–XX вв. научного теоретического и эмпирического наследия российских ученых оказалось утраченным или невостребованным в последующие годы развития военной социологии.

Военные конфликты первых десятилетий XXI века свидетельствуют о том, что в современном обществе люди не застрахованы от войн, несмотря на провозглашение принципов гуманизма в законодательстве практически всех стран мира и в международном праве. Это ещё раз доказывает, что на протяжении долгих лет в социальных науках комплексное знание о войнах было отодвинуто на обочину несмотря на то, что изучение военных событий прошлого и настоящего через призму историко-социологического анализа открывает большие эвристические возможности в понимании событий дня сегодняшнего.

В этой связи стоит обратить особое внимание на наследие П. А. Сорокина и Н. Н. Головина в области изучения войны которое по сегодняшний день остается недостаточно осмысленным научным сообществом и требует тщательного рассмотрения с целью поиска ответов на такие вопросы, как что такое современное понимание войны, чем война отличается от других видов военных конфликтов, может ли анализ войн современности базироваться на традиционных теоретических основах и в рамках какой дисциплины стоит ее изучать? Без-

условно, что изучение войны требует междисциплинарного подхода, так как его использование в исследованиях войны, с одной стороны, способствует многогранному восприятию и широте используемых методов анализа данного феномена, однако, с другой стороны, как утверждает И. В. Образцов, «размывает границы собственно социологического анализа» [6].

Ещё один важный посыл состоит в необходимости изучения и анализа истории становления отраслевой дисциплины социологии войны, ее теоретических основ и эвристических возможностей. Важно понимать те идеологические и методологические ограничения, которые могут возникнуть не только при изучении истории войн какой-либо отдельной страны, но и в контексте решения глобальных проблем человечества. Современное общество, вопреки мнению Питирима Сорокина о том, что «социальное согласие является одним из главных показателей качества человеческого существования», продолжает сталкиваться со множеством новых проблем и противоречий. Доказательством этому служат новые типы войны — информационная, гибридная, экономическая и др. Экономисты, ученые и политики все чаще говорят о наступлении новой эры знаний и информации, однако такие социальные бедствия, как войны, революции, голод, эпидемии и по сегодняшний день нарушают привычный уклад жизни.

В средствах массовой информации в рамках военно-политического дискурса понятие войны все чаще вытесняется, уступая место таким понятиям, как вооруженный конфликт и военный конфликт. Таким образом, в общественном сознании происходит подмена понятий, а военные действия как способ решения социальных, политических и экономических противоречий начинают восприниматься как легитимные. Это находит отражение как в международных правовых документах, так и в российских, например, военная доктрина России определяет понятие «военный конфликт» следующим образом: «Форма разрешения межгосударственных и внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, включая и крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты)» [1]. Как отмечают современные исследователи в области военных наук, в условиях глубоких и всеохватывающих социальных трансформа-

ций XXI века стало появляться много научных терминов и понятий, не имеющих признанных связей и соотношений с процессами войны и вооруженной борьбы.

О значимости историко-социологического осмысления войн и степени разработанности данной тематики писал итальянский историк А. Грациози, который отмечал важность работ П. А. Сорокина в данной отрасли. А. Грациози пытался произвести теоретическую реконструкцию военных событий европейской истории и отыскать причины зарождения авторитарных режимов в СССР и Германии (а также во множестве национальных социалистических систем, возвращенных в «третьем мире»), а в анализе их характерных признаков ключи к пониманию более общих и менее явно выраженных феноменов. П. А. Сорокин был одним из ученых, оказавших влияние на конструирование А. Грациози интерпретаций войн и революций в работе «Война и революция в Европе 1905–1956» [3]. Рассматривая понятие тоталитаризма применительно к режимам, возникшим в Европе между двумя мировыми войнами, А. Грациози отмечает своеобразные черты советской истории, прослеживает корни общих проблем, стоявших перед различными режимами после Первой мировой войны, и анализирует «предыстории» событий, разворачивающихся в Европе сегодня [3]. В настоящее время в обществе высокую популярность набрал дискурс об итогах Второй мировой войны и событиях современной истории, зародившейся на пепелище конфликтов прошлого. Такие термины, как свобода, национализм, патриотизм и другие, часто встречаются в СМИ, выступая в простых и сложных конструкциях с понятиями «война», «военный конфликт» или «вооруженный конфликт».

Одни из вышеперечисленных терминов быстро теряют научный смысл и исчезают из практической деятельности, другие получают более широкое распространение, а некоторые внедряются с определенной долей дезинформации и навязывания нежизненных фантастических идей, стирая определенность и грань между истинным и ложным пониманием войны. В итоге исчезают границы той объективной реальности, которую данный термин призван отражать [9]. Подобное обращение с понятием «война» приводит к фальсификации не только событий уже далекого прошлого, но и к ложному пониманию объективных социальных процессов современности. В этой ситуации

особую ценность приобретают междисциплинарные историко-социологические исследования, позволяющие обратить внимание ученых и общественности на наиболее актуальные задачи современной социологии в решении проблем века настоящего и способствующие консолидации научного профессионального сообщества, объединяя специалистов из разных областей, занимающихся в данном случае таким сложным и многогранным социальным явлением, как война.

Российский исследователь в области военной социологии И. В. Образцов утверждает, что Первая мировая война должна бы привлечь внимание социологов и стать объектом их изучения [6]. Однако, цитируя современных европейских исследователей в области военной социологии, И. В. Образцов признает, что этого не произошло, и, как утверждал итальянский социолог В. Катеста, классики европейской социологии просто выражали поддержку правящим классам во имя патриотизма либо с позиции гуманистического Просвещения (Э. Дюркгейм), либо с позиции национализма (М. Вебер, Г. Зиммель, М. Шеллер) и поэтому «не сумели внести значимого вклада в ее изучение» [10]. Проведя историко-социологическое исследование и подробный анализ научных работ мировых социологов, так или иначе исследовавших феномен войны, И. В. Образцов, ссылаясь на французского учёного Г. Дюпра [11], приходит к выводу, что «легитимация этого направления социологических исследований произошла в 1930 г. в Женеве на 10-м конгрессе Международного института социологии с повесткой “Социология войны и мира”» [6]. Здесь И. В. Образцов ссылается на оценку данного конгресса Н. Н. Головиным: «Социологи подходят со всех сторон к войне, стремятся изучить все явления, которые ей предшествуют, ее окружают и за ней следуют, но не изучают только одного — саму войну... а без [этого] нельзя объективно понять те явления, которые происходят на ее периферии» [2]. Именно в середине 1930-х гг., когда Н. Н. Головин работал над созданием своего фундаментального труда «Наука о войне», он предложил научному сообществу создать кафедру по «социологии войны» на базе социологического факультета одного из университетов, либо в лучшем случае учредить международный институт по социологическому осмыслению войны, но призывы учёного не были услышаны [6]. Что характерно, именно в двадцатые-тридцатые годы XX века появилось значительное количество работ, посвященных социологии-

ческому изучению войны, в том числе работы П. А. Сорокина и самого Н. Н. Головина, а также начала активно развиваться новая наука о войне — полемология. П. П. Кротов и А. Ю. Долгов справедливо отмечают, что именно П. А. Сорокиным впервые в социологической науке была определена методология изучения войн, что позволило не только определить место войны в системе общественных отношений, но и провести сравнительный анализ войн [4].

Рассматривая феномен войны вне рамок идеологических оценок и исторических особенностей каждого военного конфликта, позволило П. А. Сорокину выдвинуть «в качестве показателей серию абсолютных и относительных переменных, характеризующих размеры армий и их долю в населении государств, количество потерь в ходе войн, наконец, количество вооруженных конфликтов, регистрируемых в течение столетия» [4: 24–25]. Именно эти критерии и показатели легли в основу сбора эмпирического материала во время работы П. А. Сорокина и Н. Н. Головина над третьим томом фундаментального исследования П. А. Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937–1941), большая часть которого была посвящена флюктуациям общественных отношений и частоты и масштабов войн и революций [7]. В эти же годы Н. Н. Головин издает книгу «Наука о войне. О социологическом изучении войны» (1938). Это сотрудничество привело к взаимодействию двух учёных по изучению войны как социального явления и процесса, которое практически сошло на нет после начала Второй мировой войны.

Стоит отметить, что научные работы Питирима Сорокина и Николая Головина по социологии войны достаточно известны, но современные исследователи чаще всего обращаются только к уже вышеобозначенным трудам ученых: «Социальной и культурной динамике» и «Науке о войне. О социологическом изучении войны». Многие другие работы, особенно те, что были написаны П. А. Сорокиным и Н. Н. Головиным до их эмиграции из России, как правило не фигурируют в современных социологических источниках, а также редко рассматриваются кейсы научного сотрудничества П. А. Сорокина и Н. Н. Головина с учеными, жившими с ними в одну эпоху и также занимавшимися изучением феномена войны. Анализ научной литературы говорит о том, что многие социологи и историки мало осведомлены о взаимодействии П. А. Сорокина и Н. Н. Головина со многи-

ми учеными-военачальниками конца XIX — начала XX вв., заложившими основы историко-социологического осмысления войны.

Безусловно, что в рамках историко-социологической реконструкции социологии войны, как отраслевой дисциплины может представлять особый исследовательский интерес изучение всего многообразия работ по данной теме. В том числе будет полезно объединить данные из доступных в настоящее время работ П. А. Сорокина, Н. Н. Головина и других ученых по социологии войны, а также обратиться к архивным данным для выявления неизвестных до настоящего времени документов, релевантных теме исследования. Но если говорить о практических задачах современной социологии, то нужно прежде всего ответить на вопрос о том, насколько теория социальной и культурной динамики П. А. Сорокина, определившая методологический подход к анализу войны, и концепция социологии войны Н. Н. Головина могут быть полезны современным исследователям. Или если переформулировать этот вопрос, то насколько утратили свой эвристический потенциал теории П. А. Сорокина и Н. Н. Головина, разработанные в первой половине XX века?

Исследования в области социологии войны требуют особозвешенного подхода к источникам, как традиционным, так и историографическим. Поэтому стоит сразу отметить, что П. А. Сорокин оказал значительное влияние на работу Н. Н. Головина «Наука о войне» и, как следствие, на институционализацию «социологии войны» как отдельной отрасли социологического знания. В то же время Н. Н. Головин предоставил П. А. Сорокину важные данные для создания раздела, посвященному войне и её флюктуациям в «Социальной и культурной динамике». Оба ученых разделяли общие онтологические принципы социологического реализма, поскольку апеллировали к историческим и социологическим категориям и понятиям, носящим надындивидуальный характер: война, государство, общество, армия. Кроме того, они использовали при изучении войны как социального явления и процесса историко-социологический подход, а также некоторые критерии и принципы научного анализа системного и комплексного подхода. Причем характерно, что спустя почти столетие именно к этим методологическим основам чаще всего обращаются социологи при изучении войны.

Опуская пересказ содержания работ П. А. Сорокина и Н. Н. Головина, сфокусируем внимание на поставленном выше вопросе о том, насколько высок эвристический потенциал разработанной ими методологии и релевантна ли она при изучении войн и военных конфликтов современности? С этой целью, опираясь на теорию и методологию П. А. Сорокина и Н. Н. Головина, проанализируем открытые количественные данные, абсолютные и относительные переменные, характеризующие количество потерь в ходе войн и их продолжительность, позволяющие в итоге осуществить систематизацию и типологизацию военных конфликтов. Иными словами, используя программу исследования П. А. Сорокина, в качестве объекта исследования обозначим войны и военные конфликты, начавшиеся первые два десятилетия XXI века. Стоит специально отметить, что поскольку многие войны и военные конфликты современности носят затянувшийся характер, в условиях военной цензуры количественные данные практически невозможно собрать, поэтому некоторые показатели и критерии, как и ряд войн и военных конфликтов не были включены в общий массив эмпирических данных. Понятно, что важной и болезненной темой для отечественного научного сообщества и для общественности в России являются боевые действия, определяемые российским политическим руководством как специальная военная операция (СВО). Этот военный конфликт мы пока оставляем за хронологическими рамками нашего обзора с тем, чтобы разработанный теоретико-методологический подход стал бы в ближайшем будущем основой для взвешенного и корректного анализа и этого сложного в настоящее время предмета.

На основе анализа данных о военных конфликтах, начавшихся в период с 2001 по 2020 г. была составлена таблица, включающая в себя общие данные о военных конфликтах начала XXI века (табл. 1), указывающие на масштабы вовлечения в военные действия национальных государств и негосударственных акторов, включая транснациональные организации и движения, а также на размеры людских потерь.

Используя данные о процессах разрешения конфликтов за период с 1975 по 2021 г., содержащиеся в аналитических работах П. Валленстена [31; 32], мы создали типологию вооруженных конфликтов и определили количество конфликтов каждого типа (табл. 2). Систематизация и типология военных конфликтов позволили сформули-

**Таблица 1. Обзор военных конфликтов начала XXI века:
участники, длительность и человеческие потери**

Название конфликта	Страны/группировки, участвующие	Дата	Число потерпевших
Война в Афганистане	США, НАТО, Афганистан против Талибана	2001–2021	176,000–212,191 и более [12]
Конфликт в Магрибе	Алжир, Ливия, Мали, Тунис, Нигер, Мавритания и другие страны Магриба и Сахеля и межнациональные коалиции против “Аль-Каиды в Исламском Магрибе” (AQIM), “Исламское государство в Великой Сахаре” (ISGS)	2002–н. в.	70,000 и более
Война в Ираке	США, Великобритания, Ирак	2003–2011	281,000–315,000 и более [13] (из них более 210,000 жертв — мирное население) [14]
Дарфурский конфликт	SRF (Суданский Революционный фронт) и союзники против Судана и союзников против ЮНАМИД	2003–н. в.	300,000 и более [15]
Конфликт в Конго	ДР Конго, Милиция Май-Май, Миротворческие силы ООН, Наёмники из бывшего СССР, Национальный конгресс народной обороны, Движение 23 марта, Союзные демократические силы, ИГИЛ, Демократические силы освобождения Руанды	2004–н. в.	100,000 и более
Конфликт в Вазиристане	Пакистан, США и Великобритания против террористических группировок	2004–н. в.	49,122–79,410 [16]
Наркоконфликт в Мексике	Мексика и её союзники против наркокартелей (мексиканские организованные преступные группировки)	2006–н. в.	126,818 [17]

Продолжение табл. 1

Название конфликта	Страны/группировки, участвующие	Дата	Число погр.
Конфликт «Боко Харам»	Многонациональная объединенная оперативная группа (Multinational Joint Task Force (MNJTF)) против Боко Харам и Виляят Западная Африка	2009–н. в.	350,000 и более, среди них убитых напрямую 35,000 [18, 19]
Сирийская гражданская война	Сирийское правительство, Россия, Иран против различных повстанческих групп	2011–н. в.	580,000 [20] – 617,910 и более [21]
Ливийская гражданская война	Различные военизированные группировки, Правительство национального согласия, Ливийская национальная армия	2011–н. в.	21,201 и более [22]
Гражданская война в Южном Судане	Южный Судан против Суданского народно-освободительного движения в оппозиции	2013–2020	383,000 и более [23]
Война в Ираке (2013–2017)	Ирак и союзники против ИГИЛ	2013–2017	187,174 — 210,639 и более [24]
Война на севере Мали	Правительство Мали против различных вооруженных группировок	2012–н. в.	5,700 и более [25]
Конфликт в Йемене	Правительство Йемена и коалиция во главе с Саудовской Аравией против хуситов	2014–н. в.	233,000 [26] – 377,000 и более [27]
Война в Тыграе	Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил, Эфиопия, Эритрея	2020–2022	518,000 в среднем [28], по другим данным — 162,000–378,000 [29]
Война в Нагорном Карабахе (2020)	Армения против Азербайджана	2020–2024	8,000 и более [30]

Таблица 2. Типы вооруженного конфликта и их количество, 1975–2021

	1975–1988	1989–1999	2000–2010	2011–2021
Тип конфликта	Количество			
Межгосударственный вооруженный конфликт	16	8	4	7
Внутригосударственный конфликт за власть	40	52	37	39
Внутригосударственный конфликт за территорию	31	50	32	64
Общее количество	87	110	73	110

ровать основные выводы как методологического, так и прикладного характера.

По итогам проведенного исследования можно сделать несколько основных выводов относительно характера современных войн и конфликтов:

1. Как и в прошлом, большинство современных конфликтов продолжаются многие годы, что указывает на сложность достижения мира и устойчивость этих конфликтов, а число потерь обычно варьируется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. На вопрос: «Что ожидает нас в будущем?», П. А. Сорокин отвечал, что «поскольку до сих пор не было линейной тенденции ни к усилению, ни к ослаблению войн, маловероятно, что она появится в будущем и продолжится «вечно». Более вероятно, что кривая тяжести войны по-прежнему будет делать свои «неровные» движения вверх и вниз, как это было в прошлом. Хотя в XX в. она подскочила до чрезвычайно высокого уровня, нет оснований утверждать, что она будет продолжать свой подъем вечно <...> как это уже неоднократно случалось прежде, после необычайно кровопролитной мировой войны относительно долгий мир благословит наше поколение. А может быть, скоро снова вспыхнет большой пожар» [7: 713].

2. Участниками современных войн и военных конфликтов, являются как государства, так и негосударственные акторы, включая террористические группировки, наркокартели и международные коалиции. Это демонстрирует сложность современных военных конфликт-

тов, где сталкиваются интересы различных сил. Наблюдается разнообразие типов конфликтов, от межгосударственных войн до гражданских войн, территориальных споров, нарковойн и противоборства государств с террористическими группировками. Это подчеркивает многообразие причин вооруженных столкновений, включая политические, этнические, религиозные и экономические факторы. Во многих конфликтах присутствует элемент международного вмешательства, будь то через прямую военную поддержку, миротворческие миссии ООН или международные коалиции. Это указывает на сложность достижения мира без внешней поддержки и одновременно на риски эскалации конфликтов на более высокий международный уровень.

3. Огромное количество человеческих потерь и страданий является общим для всех военных конфликтов как прошлого, так и настоящего. Это подчеркивает необходимость активных усилий международного сообщества по предотвращению конфликтов, защите гражданского населения и поиску мирных решений.

4. Питирим Сорокин различал войны, возникающие в рамках идеациональных и чувственных культур, указывая на то, что первые чаще всего носят религиозный характер, в то время как последние связаны с экономическими, империалистическими и утилитарными целями: «Такие войны ведутся за “место под солнцем”, за “господство белого человека”, сохранение высокого уровня жизни, эксплуатацию богатых природных ресурсов, которые не используются местными дикарями, за политическую независимость и т. п.» [7: 720]. Современные конфликты демонстрируют, что войны могут возникать на основе комбинации этих факторов, что свидетельствует о сложности современной реальности в условиях глобализации и развития новых информационных технологий, где переплетаются идеациональные и чувственные мотивы. П. А. Сорокин также утверждал, что периоды перехода между культурными фазами сопровождаются повышением военной активности. Современные конфликты, особенно в регионах, переживающих культурные, политические и технологические изменения, подтверждают эту гипотезу. Примеры «Арабской весны» и цветных революций показывают, как в переходные периоды происходят вспышки войн и беспорядков. Кроме того, современные конфликты характеризуются значительным влиянием информационных войн и применения новых технологий. Это подтверждает предполо-

жение о том, что цивилизационные конфликты могут включать в себя не столько традиционные военные столкновения, сколько борьбу на уровне информации и технологий.

5. Как утверждает П. А. Сорокин: «Периоды перехода от идеациональной фазы культуры к чувственной или от чувственной к идеациональной являются периодами, когда заметно повышается военная активность и войны становятся более значительными. Устоявшаяся и упорядоченная культура обоих типов — идеациональная и чувственная — сравнительно миролюбивы (если нет вмешательства какого-нибудь сильного внешнего фактора), когда их система ценностей и сеть общественных отношений прочна и сильна, тогда как периоды перехода от одного типа культуры к другому должны быть, по логике вещей, периодами сравнительно больших вспышек войн» [7: 720]. Этот теоретический вывод П. А. Сорокина находит подтверждение в динамике и количественных показателях современных войн и конфликтов. Можно заметить, что многие военные конфликты возникают или усиливаются в периоды значительных культурных, политических, социальных или технологических переходов, которые могут быть интерпретированы в категориях теории социальной и культурной динамики П. А. Сорокина.

Таким образом, отвечая на вопрос о том, насколько актуальны научные исследования П. А. Сорокина и Н. Н. Головина в области военной социологии при анализе войн и военных конфликтов современности можно утверждать, что их теории и методологический подход безусловно обладает высоким эвристическим потенциалом. Это связано с тем, что война как фактор, деформирующий и разрушающий всю структуру социальных отношений, сохраняет свои сущностные признаки и качества практически без изменений на протяжении всей истории человечества. При этом важное место в изучении войн и военных конфликтов несомненно должны занимать историко-социологические исследования, поскольку по причине чувствительности проблематики и недоступности достоверных источников информации в разгар любой гуманитарной катастрофы, война требует определенной дистанции для качественного и главное — репрезентативного исследования. Эту дистанцию могут обеспечить историко-социологические исследования, так как обращение к типологическим явлениям и событиям недалекого исторического прошлого обладает не

только научной актуальностью, но и практической значимостью, что и подтвердили результаты изучения войн современности сквозь призму методологии Питирима Сорокина и Николая Головина.

Литература

1. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976). URL: <http://www.base.garant.ru/70830556> (дата обращения: 01.04.2024).
2. Головин Н. Н. Наука о войне. О социологическом изучении войны. Париж: Изд-во газеты «Сигнал», 1938.
3. Грациози А. Война и революция в Европе: 1905–1956 / пер. с ит. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005.
4. Кротов П. П., Долгов А. Ю. От войны к миру: у истоков теории созиадельного альтруизма Питирима Сорокина. Сыктывкар, Вологда: Древности Севера, 2011.
5. Образцов И. В. Военная социология в России: история, современное состояние и перспективы // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том 1. № 3. С. 91–107.
6. Образцов И. В. Война как объект социологического анализа // Социологические исследования. 2020. Том 46. № 10. С. 106–116.
7. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В. В. Сапова. М.: Астрель, 2006.
8. Сорокин П. А. Человек и общество в условиях бедствий: Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь / пер. с англ., вступ. ст. и примеч. В. В. Сапова; отв. ред. И. А. Федоров. СПб.: Изд. Дом «Миръ», 2012.
9. Чекинов С. Г., Богданов С. А. Эволюция сущности и содержания понятия «война» в XXI столетии // Военная мысль. 2017. № 1. С. 31–41.
10. Cotesta V. Classical Sociology and the First World War: Weber, Durkheim, Simmel and Scheler in the Trenches // History: The Journal of the Historical Association. 2017. Vol. 102. No. 351. P. 432–449.
11. Duprat G. L. (ed.) Sociologie de la guerre et de la paix. Paris: Marcel Girad, 1932.

Источники данных

12. Human and Budgetary Costs to Date of the U.S. War in Afghanistan, 2001–2022 // Costs of War. International & Public Affairs Watson Institute Brown University. URL: <https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human->

- and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001–2022 (дата обращения: 01.04.2024).
13. Human Cost of Post-9/11 Wars. // Costs of War. International & Public Affairs Watson Institute Brown University. URL: <https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/WarDeathToll> (дата обращения: 01.04.2024).
 14. <https://www.statista.com/statistics/269729/documenting-civilian-deaths-in-iraq-war-since-2003/> (дата обращения: 01.04.2024).
 15. Degomme O., Guha-Sapir D. Patterns of mortality rates in Darfur conflict // The Lancet. URL: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(09\)61967-X/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61967-X/abstract) section-3d6acba1-acea-4be2-8dc9-b7e14e5b6583 (дата обращения: 01.04.2024).
 16. https://web.archive.org/web/20130430155253/http://costsofwar.org/sites/default/files/HMCHART_2.pdf (дата обращения: 01.04.2024).
 17. <https://ucdp.uu.se/country/70> (дата обращения: 01.04.2024).
 18. Northeast Nigeria insurgency has killed almost 350,000 — UN // Reuters. URL: <https://www.reuters.com/world/africa/northeast-nigeria-insurgency-has-killed-almost-350000-un-2021-06-24/> (дата обращения: 01.04.2024).
 19. Nigeria // Global Centre for the Responsibility to Protect. URL: <https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/ :~:text=More%20than%2035%2C000%20people%20are,attacks%20between%202009%20and%202020>. (дата обращения: 01.04.2024).
 20. Syria // GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT. URL: <https://www.globalr2p.org/countries/syria/> (дата обращения: 01.04.2024).
 21. Syrian Revolution 13 years on // SOHR (The Syrian Observatory for Human Rights). URL: <https://www.syriahr.com/en/328044/> (дата обращения: 01.04.2024).
 22. Libya Crisis // ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project). URL: <https://acleddata.com/crisis-profile/libya-crisis/> (дата обращения: 01.04.2024).
 23. Study estimates 190,000 people killed in South Sudan's civil war // Reuters. URL: <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest-toll/study-estimates-190000-people-killed-in-south-sudans-civil-war-idUSKCN1M626R/> (дата обращения: 01.04.2024).
 24. <https://www.iraqbodycount.org/database/> (дата обращения: 01.04.2024).
 25. Battle-related deaths (number of people) — Mali // The World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/VC.BTL.DETH?end=2022&locations=ML&start=1990&view=chart> (дата обращения: 01.04.2024).
 26. UN Humanitarian Office Puts Yemen War Dead at 233,000, Mostly from 'Indirect Causes' // The United Nations. URL: <https://news.un.org/en/story/2020/12/1078972> (дата обращения: 01.04.2024).

27. Yemen war deaths will reach 377,000 by end of the year: UN // Al Jazeera. URL: <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/un-yemen-recovery-possible-in-one-generation-if-war-stops-now> (дата обращения: 01.04.2024).
28. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/casualtyrecording/cfis/hrc-res-50-11/subm-casualty-recording-academia-ghent-university-51.docx&ved=2ahUKEwiP1JTB97CFAxWahP0HHRy4C0QQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw3pz4X7dVQ9qPIftFzzqFf7> (дата обращения: 01.10.2024).
29. *Plaut M.* Updated assessment of civilian starvation deaths during the Tigray war. URL: <https://martinplaut.com/2023/05/24/updated-assessment-of-civilian-starvation-deaths-during-the-tigray-war/> (дата обращения: 01.04.2024).
30. Estimated number of battle fatalities in Nagorno-Karabakh from 1991 to 2022. URL: <https://www.statista.com/statistics/1416116/nagorno-karabakh-fatalities/> (дата обращения: 01.04.2024).
31. *Wallensteen P.* Quality Peace and Contemporary Scholarship // Quality Peace: Strategic Peacebuilding and World Order. Studies in Strategic Peacebuilding. Oxford Academic, 2015. URL: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190215545.003.0002>. (дата обращения: 01.10.2024).
32. *Wallensteen P.* Understanding Conflict Resolution. 6-е изд. SAGE Publications, 2023. URL: <https://www.perlego.com/book/4261355/understanding-conflict-resolution-pdf>. (дата обращения: 01.10.2024).

Н. А. Головин¹

АМИТОЛОГИЯ ПРОТИВ ОНТОЛОГИИ ВРАЖДЫ: ЭТИКА ПИТИРИМА СОРОКИНА И ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КАРЛА ШМИТТА КАК КАРТИНЫ МИРА

Вводные историко-научные замечания

Юрист и теоретик политики К. Шмитт и социолог П. А. Сорокин являются классиками политической теории и политической этики. При этом теория политического Шмитта, определявшего сущность политики как различение друга и врага, гораздо известнее, нежели предложенная Сорокиным особая наука об обучении общества товарищеским, дружественным и даже братским отношениям — *амитология*. Оба учения сопоставлены здесь в их онтологических и логических основаниях. Доказано, что они представляют собой противоположные мировоззрения, картины мира, создающие ситуацию выбора участников большой политики и всего общества, присущую современной продолжительной переходной эпохе в динамике европейской культуры.

В 1990-е гг. в русском переводе опубликована журнальная статья «Понятие политического» (1927), ставшая затем брошюрой, классика политической теории и политической философии немецкого теоретика политики права К. Шмитта (1888–1985). Она привлекла внимание специалистов прежде всего децизионистской мировоззренческой установкой, согласно которой политическое бытие и принимаемые политиком решения в чрезвычайных исторических обстоятельствах являются судьбоносными для политической общности, государства, общества, страны. Так оно и было в кризисные 1990-е гг. в России. В 1990-е гг. из нее даже стали пытаться извлекать уроки [1]. Затем были изданы другие теоретически сочинения Шмитта, так что его политическая философия стала доступной в полном объеме широкому кругу интересующихся. Децизионистская историческая ситуация и сегодня (в 2024 г.) поддерживает интерес к его творчеству.

¹ Головин Николай Александрович — д-р социол. наук, профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Труды российско-американского классика социологии П. А. Сорокина (1889–1968) также становятся всё более доступны широкому кругу читателей благодаря изданию его собрания сочинений в тридцати томах, из которых к настоящему моменту вышли в свет тринадцать, охватывающие почти все его творчество в российский период его научной биографии. Они уже позволяют довольно точно определить траекторию движения его мысли от заметного антифилософского аффекта, столь характерного для классического позитивизма, в книге «Система социологии» (1920), ко все большему углублению в проблемы социальной философии, так что книга «Социальные философии в век кризиса» (1943) стала дополнением [6: 9] к книге «Современные социологические теории» (1928), автор которой за четверть века до того не считал нужным философский анализ социологической мысли. В дальнейшем он нашел свою философию — *интегрализм*.

Свою научную программу Сорокин полностью реализовал в разработке политической этики, включая теорию и практику изменения общественных отношений по типу семейных и дружеских. Знаковой здесь является книга «Пути и могущество любви» (1954) [7], однако еще раньше, в 1951 г., он лапидарно сформулировал конкретный план перевоспитания человечества на основе альтруизма (человеколюбия) в статье об амитологии для юбилейного сборника, посвященного его другу германскому социологу Л. фон Визе. В этой статье Сорокин предложил научно-исследовательскую программу, противостоящую враждебности в социальных и политических отношениях. Эти события создают основание сопоставить политическую теорию друга и врага К. Шмитта и амитологию П. А. Сорокина с тем, чтобы оценить их мировоззренческие основания и практические перспективы реализации.

Теоретическое обоснование онтологического понятийного статуса вражды К. Шмиттом

Одним из поводов появления сочинения Шмитта о существе политики является научная дискуссия 1920–1930-х гг. о политическом плюрализме, в том числе о тезисе видного английского социалиста Г. Дж. Ласки о том, что государство является лишь одной из общественных организаций, не представляющей собой сущностно иной формы общности, нежели другие общественные объединения. По-

этому за ним невозможно признать всеобъемлющий политический авторитет.

Шмитт противопоставил тезису Ласки идею безусловного приоритета политического единства в форме государства как всеохватывающей, авторитарно управляемой политической целостности. Следствием стала критика политического плюрализма, характерного для режима Веймарской республики, существовавшего в Германии в 1918–1933 гг. Согласно этой критике, в условиях плюрализма партии и профсоюзы монополизируют политику и терпят правительство лишь постольку, поскольку государство является объектом их эксплуатации. Они расчленяют общенародную волю на несколько потоков и тем самым обращают ее в ничто. Депутаты парламента уже не соответствуют принципу представительства, так как представляют не народ, а политические группы с их корыстными интересами. Парламентские дискуссии становится фарсом, а сам парламент — фикцией. В итоге государство слабеет, превращается в формальную, количественную, а не качественную целостность, которая «становится, в лучшем случае, придатком этих партий» [4: 329]. В конечном итоге политический процесс устремляется к анархии. Критика плюрализма Шмиттом дополняется оправданием политической диктатуры, которую он считал формой правления, наиболее отвечающей существу политики. Он приветствовал захват власти нацистами в 1933 г. в Германии и сочувственно отнесся к установлению пролетарской диктатуры в России в 1917 г.

Парадоксальность критики политического плюрализма Шмиттом состоит в том, что она проводится с позиций «плюрализма», но в ином значении этого термина: философском и мировоззренческом. Такой плюрализм отрицает идею единства мира и признает множество его начал и видов бытия. Заострение этой философской позиции состоит в признании политического бытия главным его видом, имеющим судьбоносное значение в отличие, например, от марксистского тезиса о приоритности экономики. Согласно Шмитту «правильнее было бы сказать, что судьбой, как и прежде, остается политика, а ново только то, что хозяйство стало политическим (Politikum), и потому — “судьбой”». [4: 355–356].

Здесь — философское начало разработки его учения о политическом бытии и политике: «Специфически политическое различие,

к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различие *друга и врага*. Оно дает определение понятия в смысле критерия, а не через исчерпывающую его дефиницию или извещение о содержании понятия. Поскольку это различие не выводимо из иных критериев, оно, для политического, аналогично относительно самостоятельным критериям других противоположностей: добруму и злому в моральном; прекрасному и безобразному в эстетическом и т. д. Во всяком случае, оно самостоятельно не в том смысле, что здесь собственная новая предметная область, но в том, что оно не может быть основано на одной из иных указанных противоположностей или на ряде их, не может оно и быть сведено к ним.» [4: 301–302].

Именно использованная форма определения этого понятия (различие) обеспечивает онтологизацию вражды. Так, рассуждая о войне, Шмитт утверждает: «Война следует из вражды, ибо эта последняя есть бытийственное отрицание чужого бытия. Война есть только крайняя реализация вражды. Она не обязательно есть нечто повседневное, нормальное; ее и не надо воспринимать как нечто идеальное или желательное, но она, скорее, должна наличествовать как реальная возможность, пока имеет смысл понятие врага» [4: 308]. Причем, «даваемая здесь дефиниция политического не является ни беллицистской или милитаристской, ни империалистической, ни пацифистской» [4: 308], то есть она просто соответствует бытию.

Онтологическая характеристика бытия — вражда, иначе невозможно объяснить логику рассуждений Шмитта, согласно которой способность сгруппировать людей на друзей и врагов является специфическим критерием «политического», основанием внутриполитического антиплорализма. Анализ картины политического мира в целом, которая вырисовывается при рассмотрении Шмиттом политических отношений в рамках всего человечества, подтверждает онтологический статус понятия вражды.

Согласно Шмитту, по отношению к миру в целом характер политического существования совершенно иной. «Человечество как таковое не может вести войну, ибо у него нет никакого врага, по меньшей мере, на этой планете», — пишет он [4: 331]. Он не ищет врага на других планетах, а продолжает логику рассуждений, следующую из онтологического характера вражды: если допустить правомерность понятия человечества в либеральном значении этого термина,

рассуждает он, то тогда врага следует объявить нечеловеком, что абсурдно и приводит к ужесточению войн, так как врага больше не считают человеком.

Теоретически мыслим и другой вариант — отказаться от онтологического статуса понятия вражды. Однако этот вариант вошел бы в противоречие с представлением Шмитта о бытийном статусе вражды. Поэтому эта логика рассуждений им исследуется лишь как теоретически мыслимая возможность. Шмитт заключает: «...не может быть мирового государства. Политический мир — это не универсум, а плюриверсум» [4: 330]. Действительно, единый политический мир как универсум несовместим с онтологическим статусом понятия вражды, а политический «плюриверсум», напротив, следует из него. Дальнейшие рассуждения приводят к утверждению об абсурдности понятий мировой войны и «мирового мира». «...Поскольку война между великими державами легко перерастает в «мировую войну», то и окончание этой войны должно представлять собой «мир во всем мире» и тем самым — идиллическое состояние полной и окончательной деполитизации», — с иронией утверждает Шмитт [4: 330–331]. Из его иронии следует критическое отношение к международным миротворческим организациям, Лиге Наций, а также к разоружению и демилитаризации. Таким образом, понятие вражды является онтологическим, является мировоззренческой основой политической теории Шмитта.

Плюрализм политического мира в целом, следующий из бытийного статуса вражды, возможен и логически неизбежен при реальном наличии качественно разных видов политического бытия, что с необходимостью ведет, согласно Шмитту, к отклонению внутриполитического плюрализма ради внутриполитического единства. Он заключает: «...Из понятия политического следуют плюралистические выводы, но не в том смысле, что внутри одного и того же политического единства плюрализм мог бы заступить место самого главного разделения на группы друзей и врагов, причем вместе с единством не было бы разрушено и само политическое» [4: 320]. Так путем возведения вражды в статус онтологической характеристики бытия были заложены истоки обоснования образа врага как в международных отношениях, так и во внутренней политике, оправдание авторитарной политической власти и ее диктатуры.

Политическая этика П. Сорокина как иная картина мира

Политическая этика П. Сорокина содержит иную картину социального мира (общества), основанную на результатах его исследования социальной и культурной динамики европейского и в целом западного общества. После самой разрушительной Второй мировой войны он обратился в своих исследованиях, прежде всего, к достижению цели восстановления человеколюбия в обществе.

Согласно Сорокину, западный человек склонен к разрушению, потому что его культура, социальные институты и личность чувственны. Не веря в ценность сверхчувственной реальности, человек яростно борется за материальные и чувственные ценности, количества которых ограниченно. Неизбежным следствием отсюда является война. Выход из такого положения, укорененного в культуре общества, состоит в том, чтобы чувственную культуру заменить на идеациональную гармоничную культуру, одновременно создавая гуманистическую основу социальных отношений. Эта идея выражена в его работах, опубликованных после создания «Социальной и культурной динамики» (1937–1941): «Кризис нашего времени» (1941), «Человек и общество в условиях бедствий» (1942) и «Восстановление человечества» (1948) и других. Они отличаются от обычных исследовательских работ его американских коллег-современников масштабностью проблематики, за что эти сочинения нередко подвергались резкой критике с их стороны. Иной прием ожидал эти книги в послевоенной Германии после низложения нацизма.

Воспользовавшись поводом издания юбилейного сборника статей, посвященного другу немецкому социологу Л. фон Визе, работавшему в Кёльне, Сорокин лапидарно сформулировал научно-исследовательскую программу амитологии — науки о любви, представляющую собой путь воссоздания потерявшего себя человечества. В отличие от политической философии Шмитта у Сорокина здесь не выражено онтологическое содержание понятий любви и вражды. Он не связывает свою мысль с наиболее известным учением о любви и вражде древнегреческого философа Эмпедокла: что миром правят две противоборствующие силы: любовь соединяет, а вражда разъединяет Вселенную, ведет ее к гибели. У него иное мировоззренческое начало. Его обнаружил знаток культур немецкий социолог М. Вебер,

который писал о православной культуре России, что в ней живет идея «акосмической любви»: «особенная, мистическая, неисчезающая (по-немецки: unverlierbar) на земле Востока вера, где братская любовь, любовь к ближнему, так своеобразна и предстает перед нами такими непостижимыми человеческими отношениями, что прославляются великими религиями спасения. Эта вера прокладывает дорогу... к постижению смысла мира, к мистическому отношению с Богом. Все это известно из Толстого, который неоднократно обращался к этой мистической вере» [8: 468–469].

Правда, в социологии Сорокина не удается отыскать следов мистики или религиозно-философскую составляющую либо хотя бы влияние на его творчество русской религиозной философии начала XX в. Его социология скорее атеистична (в начале XX в. в России среди публики с высшим образованием было много атеистов), но место любви в ней соотносимо с культурным своеобразием православия, отмеченным Вебером. Его истоки — в общинном, включая религиозную общину, типе социума, хорошо известном ему.

В «Предисловии» к сочинению немецкого социолога Ф. Тённиса «Община и общность», изданном на английском языке по инициативе Сорокина (1940), он дает этическую оценку названного сочинения немецкого классика: нравственностью наполнены прежде всего семейные отношения, столь же морально добры отношения в религиозной общине. Примечательно, что в «Предисловии» много отсылок к деятельности основателей монастырей с подчеркнутыми братскими отношениями монахов. Высоко оценены религиозные учения Блаженного Августина и Иоахима Флорского с его учением о пришествии земного царства, основанного на любви, вдохновлявшего религиозные движения Средневековья. Отсюда видно, что высшие ценности для Сорокина — человеколюбие, доверие и солидарность. Семья и община, основанные на любви, должны стать основанием нового общества [3]. Амитология и эмпирическая социология должны сыграть здесь первостепенную роль.

Американский исследователь Л. Николз удивляется тому, что Сорокин обратился к амитологии лишь на пенсии: «Почему он не посвятил себя альтруизму раньше?», — удивляется он и переходу Сорокина от революционной борьбы (в Петрограде в 1917 г. Сорокин носил при себе револьвер) к проповеди альтруистической любви [2: 126]. Ответ

состоит в том, что социология для Сорокина изначально и в конечном счете лишь научный инструмент для переделки общества на основе гуманных отношений, альтруистической любви.

Рассмотрим программу амитологии, сформулированную в 1951 г., подробнее. Общеизвестно, что дружеские и враждебные отношения есть везде, но именно их следует разделить и трансформировать вражду в дружбу, ведь все хотят жить в мире и любви, а не в ненависти и вражде, особенно после войны. «Мы все желаем мира, любви, конструктивной созидательности» [5: 277]. Как этого добиться, мы пока знаем мало. Поэтому нужна амитология — наука о производстве дружелюбия, бескорыстной любви, безмолвной помощи в личных и межгрупповых отношениях ради будущего биологического вида *homo sapiens*.

«Какого сорта наукой является амитология?». Ответ Сорокина: «Основная цель — возвращение созидательных дружеских отношений, прежде всего, анализ главных аспектов, свойств и основных форм альтруистических отношений и энергии любви...». Дружба состоит из: 1) субъектов отношений — двух и более индивидов или социальных групп (по-английски: *the subjects of amicable interaction or relationships*); 2) собственно дружеских отношений, проявляющихся в действиях-реакциях и инструментах участников контактов; 3) других людей, ощутимо влияющих на субъектов дружеских связей; 4) космической, жизненной и социокультурной среды, в которой они встречаются [5: 277].

Структура амитологии включает четыре компонента. Во-первых, это теория «структуры и мышления для культивации созидательной дружбы». Во-вторых, разработка методик и техник альтруистического перевоспитания человека: Сорокин полагал, что «это важная и наиболее сложная часть амитологии» [5: 278]. В-третьих, изучение роли социального окружения в усилении либо торможении развития созидательной и бескорыстной любви среди участников социальных отношений. В-четвертых, исследование космического, биологического и социокультурного окружающего мира для максимизации дружеских отношений [5: 278]. Таковы составные части, они же главные задачи амитологии.

Следовательно, амитология — прикладная наука в отношении морального и созидательного поведения. Для реализации этой цели

Сорокиным был создан Гарвардский исследовательский Центр по изучению созидающего альтруизма (1949). В связи с этим интересно и теоретически значимо сорокинское определение понятия любви и ее характеристик как социального феномена:

- 1) «Любовь — сила, дающая жизнь, необходимая для физического, ментального и морального здоровья.
- 2) Альтруисты живут дольше эгоистов.
- 3) У детей, лишенных любви, проявляется тенденция к моральным и социальным дефектам.
- 4) Любовь — мощный антидот против криминальных, патологических и суицидальных тенденций; против ненависти, страха и психоневрозов.
- 5) Она — неотъемлемое условие глубокого и длительного счастья.
- 6) Доброта и свобода в своей возвышенности — самая суть, сердце и душа всех моральных и религиозных ценностей.
- 7) Любовь обладает важными когнитивными и эстетическими функциями.
- 8) Вместе с истиной и красотой она может свободно, без всякого принуждения, контролировать врожденные и приобретенные влечения человека, его сознание и поведение.
- 9) В этом смысле любовь — самая возвышенная и мощная сила просвещения и облагораживания человечества.
- 10) Минимум любви — абсолютная необходимость для длительного существования любого общества, особенно для гармоничного социального порядка и созидающего прогресса.
- 11) Наконец, во время исторической катастрофы рост “производства, накопления и оборота энергии любви”, то есть рост альтруизации индивидов и групп, институтов и культуры — потенциально единственное эффективное средство предотвращения новых мировых войн, снижения запредельного уровня индивидуальных и межгрупповых конфликтов» [5: 279].

Итоги сравнения двух теорий

Последний пункт понятийного определения любви как социальной силы показывает, что Сорокину есть что противопоставить онтологическому понятийному и теоретическому статусу вражды Шмитта и его, на первый взгляд верному, прогнозу о том, что из того,

что нынешние войны легко становятся мировыми, не следует, что после их окончания наступит «мировой мир». Действительно, этого не случилось после Великой Войны (1914–1918). Некоторые историки даже считают Вторую мировую войну ее продолжением. По окончании Второй мировой войны сразу же началось противостояние двух сверхдержав, подтверждающее, казалось бы, вывод Шмитта о том, что вооруженный нейтралитет — предел возможного в международных отношениях.

Возможное возражение Сорокина Шмитту состояло бы в том, что «человечество не производит того необходимого минимума энергии любви для своего благополучия, и не знает, как применить эту благородную силу, чтобы облегчить грехи человеческие и выстроить достойную, мудрую, добрую вселенную человека» [5: 279]. Однако Шмитт, который был одним из известнейших немецких теоретиков политики, даже не упомянут в вышеназванных трудах Сорокина. Возражение Сорокина было бы подкреплено итогами его исследования социальной и культурной динамики Европы, согласно которым путь к общественной гармонии лежит через продолжительную переходную эпоху в сто—двести лет. Ее начало достоверно известно: 28.07.1914 г. — дата начала Великой войны, но точное время окончания переходной эпохи никто не знает.

Возражение Шмитта Сорокину (книги которого выходили в свет в Веймарской Германии, но, по-видимому, Шмитта они не интересовали) состояло бы в том, что «В добром мире среди добрых людей господствуют, конечно, лишь мир, безопасность и гармония всех со всеми, священники и теологи здесь столь же излишни, как политики и государственные мужи» [4: 342]. Да, теоретически допустимо мировое общество без политики: «Если различные народы, религии, классы и другие группы обитающих на Земле людей окажутся в целом объединены таким образом, что борьба между ними будет немыслима и невозможна, то и гражданская война внутри охватывающей всю Землю империи даже как нечто возможное никогда уже не будет фактически приниматься в расчет, то есть различие друга и врага прекратится даже в смысле чистой эвентуальности, тогда будет лишь свободное от политики мировоззрение, культура, цивилизация, хозяйство, мораль, право, искусство, развлечения и т. д., но не будет ни политики, ни государства. Наступит ли такое состояние на земле и

у человечества, и если наступит, то когда, я не знаю. Но пока что его нет» [4: 330].

Проверить обе теории пока невозможно, но выбор сценариев развития будет за обществом, его политической элитой при активном участии социальных наук. Они — истинный творец правильного общества по Сорокину. Амитология Сорокина и онтология вражды Шмитта представляют собой альтернативные возможности этого выбора.

Литература

1. Дугин А. Г. Карл Шмитт: пять уроков для России // Наш современник. 1992. № 8. С. 129–135.
2. Николз Л. Т. «Долгий путь» Питирима Сорокина к альтруизму: интегрируя науку, духовность и служение // Наследие. 2018. № 1(12). С. 125–143.
3. Сорокин П. А. «Предисловие» к первому американскому изданию сочинения Ф. Тённиса «Общность и общество» / пер. с англ., примечания и комментарии Н. А. Головина // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 1. С. 150–156.
4. Шмитт К. Понятие политического // Шмитт К. Понятие политического / пер. с нем. под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016. С. 293–356.
5. Sorokin P. Amitology as an applied science of amity and unselfish love // Soziologische Forschung in unserer Zeit; ein Sammelwerk Leopold von Wiese zum 75. Geburtstag / ed. by K. G. Specht. Köln: Springer, 1951. P. 277–279.
6. Sorokin P. Social philosophies of an age of crisis. London: A. & C. Black, 1952.
7. Sorokin P. A. The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation. Boston (MA): Beacon press, 1954.
8. Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen: Mohr, 1988.

С. А. Федорова¹

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОНТОЛОГИИ А. Н. УАЙТХЕДА И Б. ЛАТУРА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Введение

Создание эмпирических онтологий, провозглашенное Б. Латуром в его главных теоретических проектах ANT² и AIME³, представляет собой не столько глубоко продуманную и четко проработанную метафизику, сколько попытку нащупать новые подступы к проблемам акторов, способам их существования и взаимоотношений. Здесь теоретическая социология на новом витке своего развития вновь обращается к концептуальному потенциалу философии, от которой многократно дистанцировалась со временем критики метафизики О. Контом и К. Марксом. Этим отчасти объясняется концентрированное включение Латуром в собственные исследования различных онтологических схем других авторов, которые он активно применяет для достижения тех или иных своих научных целей. В разное время и в разных текстах он обращается к таким авторам, как Г. Тард, У. Джеймс, А. Н. Уайтхед, Ж. Делез и др. Полагаем, что успех аналитики эмпирических проектов самого Латура во многом зависит от прояснения основных идей и концептов тех философских работ, на которые он опирается в ходе разработки своей методологии. В данной статье нас будут интересовать интенсивные точки вхождения в исследования Латура философских идей и концептов создателя философии процесса А. Н. Уайтхеда. Философия Уайтхеда рассматривается здесь в качестве философского проекта, который будет проанализирован с точки зрения его влияния на эмпирическую онтологию Латура.

Актуальность подобного сравнительного анализа объясняется следующим: во-первых, в философии Уайтхеда исследуются структу-

¹ Федорова Светлана Александровна — социолог-исследователь, выпускница аспирантуры факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

² Actor-network theory (ANT) или акторно-сетевая теория (ACT).

³ An Inquiry into Modes of Existence (AIME) или философия модусов существования.

ры непосредственного эмпирического опыта. Во-вторых, в философии процесса на первый план выходит объективность, а фокус внимания переводится на эстетическое измерение существования вещей. В-третьих, разрабатывается проблема взаимоотношения организма и окружающей среды, а также исследуется сущность эволюционных процессов. Все перечисленные темы разрабатываются и в эмпирических проектах Латура.

Для начала зададим то общее проблемное поле, в котором станет возможным прочертить концептуальные линии, по которым далее будет разворачиваться сравнительная аналитика всей сложной структуры эмпирического опыта двух философских проектов. Полагаем, что в качестве такого проблемного поля должна выступить сама зона эмпирических онтологий. Для удобства анализа наше исследование будет разбито на два параграфа. В первом параграфе мы обратимся к зоне событийности и рассмотрим процесс становления события. В эмпирической социологии Латура эта концептуальная зона соответствует уровню ANT. Второй параграф будет посвящен аналитике процессуальных зон связи или переходов между событиями. У Латура эти процессы исследуются в работе AIME.

Зона событийности

Точки влияния философии процесса Уайтхеда на эмпирический проект Латура, выявляются уже в самом начале, на этапе определения принципов построения метафизических проектов. Речь идет об устраниении понятия субстанции и обращении внимания на процессы становления. На место субстанции заступает процесс, а фокус философского интереса смешается на событие, процессы событийных трансформаций и взаимоотношений.

5 февраля 2008 года в Лондонской школе экономики и политических наук состоялся симпозиум «Обозрение Хармана: эмпирическая метафизика Бруно Латура» [1], на котором главным предметом обсуждения стала рукопись американского философа Грэма Хармана «Принц сетей» [2], посвященная вкладу Латура в философию. В ходе дебатов был затронут ряд вопросов, которые напрямую касались понимания Латуром природы эмпирического опыта. Нас сейчас будет интересовать дискуссия, развернувшаяся между двумя философами — Харманом и Латуром — вокруг определения природы отдель-

ных объектов или событий, а также возможности их взаимодействия и изменения.

Анализируя объекты, или акторов, у Латура, Харман обращает внимание на их сущностное сходство с актуальными событиями или актуальными сущностями в философии Уайтхеда. Как и актуальные сущности, акторы предельно конкретны. Они не существуют от момента к моменту, каждое последующее мгновение дает изменившуюся сущность и перед нами уже совершенно иное «действующее лицо». И для Уайтхеда, и для Латура до становления события времени и пространства не существует, они производятся самими акторами. Время — это результирующая процесса становления, а не его причина. Для иллюстрации этого положения Харман обращается к примеру Латура с теоремой Ферма, которая на протяжении многих веков не имела решения, но как только решение появилось, сразу произошло что-то необратимое — время создалось.

Каждое конкретное событие таково, каково оно есть, вместе со всеми своими отношениями и качествами и не содержит в себе ничего в потенции. Основные вопросы, которые Харман адресует Латуру в связи с этим утверждением, это вопрос, касающийся возможности изменения событий, и вопрос о взаимодействии акторов. Кроме того, Харман, опираясь на свою объектно-ориентированную философию, говорит о том, что в объекте всегда есть нечто устойчивое, что никак не зависит от вариации его качеств и отношений с другими объектами. Это устойчивое Харман иногда называет ядром вещей. Сравнивая, в связи с этим заявлением, философию Латура и Уайтхеда, Харман отмечает, что и в философии процесса, и в акторно-сетевой теории вещь полностью исчерпывается своими отношениями, теряя при этом свою сингулярность.

На последнюю реплику Хармана по поводу первичности отношений Латур отвечает удивлением, заявляя, что для него, напротив, каждое событие / актор является сингулярностью, что каждая индивидуальность атомарна по своей природе. И именно по причине несводимости каждой конкретной сущности друг к другу становятся возможными переводы или медиации, а о самом исследовании можно говорить, как об эмпирическом прослеживании изменяющихся деталей опыта. Проблема изменения вещей проясняется посредством процедуры «перевода».

Вопрос о взаимодействии акторов Латур переводит в поле модусов существования, заявляя, что проблема не в том, как объекты вступают в отношения, а в том, что самих способов этих отношений может быть много и важно заняться этим вопросом. Т.е. важно выявить, сколько способов есть у сущностей, чтобы удерживать себя в существовании и сколько существует типов их связи друг с другом. Эти вопросы будут рассматриваться нами ниже, когда мы перейдем на уровень модальной логики траекторий или логики модусов существования. Сейчас же мы находимся на уровне акторно-сетевой теории, где проблема вариативности событийной связи еще не ставится Латуром. А потому речь пока идет только о проблеме сетевой циркуляции сущностей, аналитике ассоциаций, описании процессов модификации сетевых событийных связей и т. п.

Прежде чем перейти к аналитике событийности в философии процесса Уайтхеда, скажем еще буквально несколько слов о понимании Латуром природы акторов. Для этого обратимся к его тексту 2005 года «Пересборка социального» [3]. В этом тексте Латур подробно исследует природу социального, понимая его как циркулирующий поток, становящиеся ассоциации, процесс трансформации связей в нестабильных и подвижных системах координат и др. В зоне категориальной проблематизации оказываются гетерогенные акторы, которые рассматриваются как молекулярные силовые скопления, неоднородные множественности, подвижные альянсы и др. Означенные множественности имеют различную природу и обладают сложной структурной организацией.

Обратимся теперь к пониманию событийности в эмпирической метафизике Уайтхеда. В своей работе «Наука и современный мир» (1925 год) [4] Уайтхед, описывая сущность процесса прогрессивного осуществления природных событий, вводит понятие «охватывающей унификации» [4: 127]. В соответствии с этим понятием природа определяется им как «... процесс экспансивного развития, с необходимостью переходящего от одного охватывания к другому» [4: 130]. Позже, в этой же работе, подробно рассмотрев означенный процесс и проанализировав его структурные составляющие, он отказывается от данного понятия, поставив на его место явление, событие, вещь.

Для прояснения концепции прогрессивного осуществления природных событий Уайтхед проводит аналогию с понятиями субстан-

ции и модусов Спинозы. В основе каждой актуализации, по Уайтхеду, лежит вечная энергия, индивидуализирующаяся в событиях и эволюционирующая в процессе их становления. Эта энергия именуется им как «вечная основополагающая активность» или «субстанциальная активность». В той же работе «Наука и современный мир», в главе «Бог», Уайтхед дает следующее определение основополагающей активности: «Это общая метафизическая определенность, она лежит в основе всех явлений, в специфическом модусе для каждого явления. Нет ничего, с чем можно было бы сравнить ее; она напоминает бесконечную субстанцию Спинозы. Ее атрибутами являются способность к индивидуализации во множестве модусов и область вечных объектов, синтезирующихся различными способами в этих модусах. Таким образом, вечная возможность и модальная дифференциация в индивидуальном многообразии являются атрибутами одной субстанции. Фактически каждый общий элемент метафизической ситуации является атрибутом этой субстанциальной деятельности» [4: 239]. Иными словами, каждое событие можно рассматривать как некое положение дел, получающее свою актуализацию в процессе индивидуализирующейся субстанциальной активности.

Рассматривая основополагающую активность вне процесса актуализации, Уайтхед представляет ее в виде трех образов: вечных объектов, возможных ценностей, взятых в виде синтетической области вечных объектов, а также фактов действительности, реализация которых предполагается в событии в будущем. «Итак, — по словам Уайтхеда, — исходным конкретным фактом является прогрессивное развитие природы. Первичный анализ разделил его на лежащую в основании активность охватывания и осуществленные охватываемые события» [4: 127–128].

В книге «Процесс и реальность» (1929 год) [5]⁴, развивая далее свою эмпирическую метафизику, Уайтхед разрабатывает подробную систему категорий, углубляющую понимание механизмов актуализации природных событий. Здесь он обращается к философии Локка [4: 296], в которой его интересуют два вида становления в природе: «сращение» — внутреннее конституирование актуальной сущности,

⁴ Далее мы будем ссылааться на исправленное издание этой книги под редакцией D. Griffin and D. Sherburne [8], а также на перевод двух глав, опубликованных в русском переводе в книге Уайтхеда «Избранные работы по философии» [4].

характеризующееся атомарностью и дискретностью; и «переход» — движение от одного актуально сущего к другому, характеризующийся непрерывностью. Эти два вида становления, по Уайтхеду, позволяют описывать изменяющийся мир. Сам философ определяет эти процессы как макроскопический и микроскопический, где первый понимается как «переход», а второй — как «сращение». Уайтхед пишет, что «...каждая актуальная сущность сама по себе может быть описана только как органический процесс. Она повторяет в микрокосме то, чем в макрокосме является вселенная» [4: 303]. В качестве предварительной гипотезы предположим, что в ходе анализа двух видов становления станет возможным соотнести процесс «сращения» с понятием актор-сеть в акторно-сетевой теории Латура, а процесс «перехода», или перемещения между событиями, с траекториями морусов существования.

Пока же продолжим аналитику категории «события», обратившись к процессу внутреннего становления актуальных сущностей или процессу «сращения» многообразного в единое. Для этого рассмотрим структуру эмпирического опыта. Описывая данную структуру в своей работе «Приключение идей» (1933 год) [4], Уайтхед говорит о субъект-объектной конструкции отношений. Однако в философии процесса субъект-объектная конструкция реализуется особым образом. Становление действительного происшествия или события включает в себя два полюса: полюс субъективного «беспокойства» об объекте, благодаря которому происходит вхождение объекта в субъективный опыт; и объективный полюс, представляющий собой «данность» вещи, и вызывающий особую активность в субъекте. Эта особая активность называется у Уайтхеда схватыванием (prehension). «Оно (схватывание. — С. Ф.), — пишет Уайтхед, — включает в себя три фактора: событие опыта, в рамках которого схватывание является элементом активности; данное, чья значимость стимулирует схватывание; это данное есть схваченный объект; наконец, субъективная форма, представляющая собой эмоциональную окраску, детерминирующую эффективность схватывания в данном событии опыта. Как образуется сам опыт, зависит от комплекса его субъективных форм» [4: 576–577].

В становлении индивидуальных событий опыта или актуальных сущностей принимают участие объекты, да и сами события опыта, как говорит Уайтхед, являются объектами для других событий. Одна-

ко как факт самореализации или как особый индивидуальный опыт, включающий в себя объективно данное, событие представляет собой субъективное эмоциональное единство. Следует особо отметить, что это субъективное единство или субъективность, формируется в процессе каждого схватывания. До акта схватывания субъективность еще не оформлена, ее становление происходит и завершается лишь в самом схватывающем процессе, является его результатом. Можно сказать, что объективная данность создает и структурирует субъективность.

Что же происходит на втором, объективном, полюсе становления индивидуального опыта? Метафизика Уайтхеда задает особую перспективу для постижения актуальных событий через их соотнесенность с потенциальной областью чувственных объектов. Эта потенциальная область представляет собой комплекс отношений, реализующийся в актуальных событиях. Уайтхед говорит, что для того, чтобы некая объективная сущность или вещь стала «данной» или «вешла» в процесс становления конкретного индивидуального опыта, она должна этому опыту предшествовать. Иными словами, объекты или вещи должны быть данными до всякого опыта. Именно в таком виде осуществляется «вхождение» чувственных объектов в сложный процесс чувственного восприятия или актуализация потенциальности. Направление вектора схватывания идет от объективной данности к формированию субъективности.

Модальная актуализация или, как говорит Уайтхед, локализация чувственных объектов, вводит нас в пространственно-временное поле событийности. Самостоятельное рассмотрение абстрактной области чувственных объектов позволяет пренебречь пространственно-временным континуумом. Но процесс индивидуализации приводит к тому, что действительный ход событий, выражаящийся в терминах пространственно-временных отношений, накладывает определенные ограничения на эту абстрактную область. Каждое актуальное событие ограничивает потенциальность, т. к. представляет собой актуализацию лишь ограниченного числа возможных аспектов или отношений вечных объектов. Вне этого ограничения любая возможность «...охватывает пространственно-временной континуум в каждой альтернативной пространственной ситуации и во всех “альтернативных временах”» [4: 223].

Описание сложного процесса осуществления события, его актуализации как осуществляющейся целостности, немыслимо без обращения к ценностной составляющей. Ценность — это то, что входит в структуру события как его ограничение, создающее вот этот конкретный действительный факт или внутреннюю реальность события. Этот факт предстает как результат вариативного выбора, происходящий в потенциальной области вечных объектов, и реализующийся в данной конкретной форме. Устойчивость, которую приобретает событие посредством осуществляющейся в нем ценности, позволяет событию оказывать влияние на трансформацию окружающей среды [4: 180–181]. Вне такой реализации в действительности мы можем говорить только о ценностных идеалах присущих вневременным вечным объектам, но не имеющих реального воплощения в действительности. Вечные объекты сами по себе не наделены ценностным смыслом. Только их модальная актуализация в действительном *здесь и теперь* задает ценностный регистр. Каждый индивидуальный факт не существует изолированно, но вмещает в себя всю событийную совокупность вселенной.

Заключительный этап в становлении актуальной сущности определяется Уайтхедом как стадия «удовлетворения» или «сатисфакции». На этом этапе происходит объективация актуальной сущности и создание условий для ее вхождения в другие схватывания.

Добавим несколько слов о пространственно-временном континууме. Как мы видели, в процессе становления индивидуальной сущности происходит вхождение вневременных вечных объектов в пространственно-временное поле событийности. Выше уже отмечалось, что пространственно-временные отношения не даются до начала процесса становления. По словам Уайтхеда, они представляют собой «общую схему взаимосцепленных отношений» [4: 130] между событиями, становящуюся в самом процессе событийной актуализации. Каждое действительное происшествие включено в целостную событийную всеобщность вселенной как его неисключимая часть, обладающая той же степенью реальности, что и вся эта целостность. Ж. Делез в своей работе «Складка. Лейбниц и барокко» [6], анализируя философию процесса, обращается к сравнению двух пространственно-временных миров — Лейбница и Уайтхеда. Относительно философии Лейбница он говорит, что все его монады выражают один

и тот же мир, который реализовался в действительности и получил принцип своей организации от Бога⁵. В этом мире невозможно одновременное сосуществование нес возможных друг другу событий. «У Лейбница, — пишет Делез, — как мы видели — бифуркации, дивергенции серий — это настоящие границы между нес возможными друг другу мирами, так что существующие монады интегральным образом включают в себя возможный мир, доводя его до существования» [6: 142]. По иному разворачивается ситуация у Уайтхеда: «Для Уайтхеда же (как и для многих современных философов) бифуркации, дивергенции, нес возможности, несогласованности, наоборот, принадлежат к одному и тому же «пестрому» миру, который уже не может быть включенным в экспрессивные единства, но может только твориться или разрушаться сообразно схватывающим единствам и изменчивым конфигурациям или меняющимся «захватам»» [6: 142]. Говоря иначе, в эмпирической онтологии Уайтхеда возможно одновременное сосуществование нес возможных событий, к примеру, согрешившего и не согрешившего Адама. Можно сказать, что это уже не множественность точек зрения на один единственный мир, но множество самих миров или способов бытия сущностей.

Для дальнейшего анализа влияния эмпирической онтологии Уайтхеда на понимание событийности в проекте Латура необходимо переместить фокус нашего внимания на категорию «пропозиции». Это объясняется следующим обстоятельством. В 1999 году в своей работе «Надежда Пандоры» [7] Латур вводит в эмпирическое поле акторно-сетевой теории эту новую категорию, перенятую им у Уайтхеда, и начинает использовать ее вместо термина актор-сеть. Исключение составляет только текст 2005 года «Пересборка социального», где концепт актор-сеть появляется вновь. Такое категориальное обновление объясняется более радикальным подходом Латура к проблеме корреляционизма бытия и сознания.

Здесь мы изменим логику нашего анализа, обратившись сначала к пониманию природы «пропозиции» в эмпирической метафизике Уайтхеда, а затем в акторно-сетевом проекте Латура.

Наиболее полную дефиницию понятия «пропозиции» Уайтхед дает в работе «Процесс и реальность» [8]. Разъясняя значение кате-

⁵ Эта тема подробно рассмотрена в статье [11].

горий объяснения, он следующим образом определяет пропозицию: «Пропозиция (proposition) есть единство некоторых актуальных сущностей, обладающих способностью к формированию соединения с его возможной взаимосвязанностью, частично определяемой некоторыми вечными объектами, едиными в одном составном вечном объекте. Вовлеченные актуальные сущности называются “логическими субъектами”, сложный вечный объект есть “предикат”» [8: 24]. Данное определение пропозиции включает в себя две составляющие: вечные объекты и актуальные сущности. Из анализа структуры эмпирического опыта Уайтхеда мы знаем, что вечные объекты принадлежат к области чистой возможности, что делает их как бы «вынесенными» или отделенными от мира актуализирующихся сущностей или действительных происшествий. Под категорию актуальных сущностей подпадают все реальные вещи, из которых состоит мир.

Пропозиции, по словам Уайтхеда, «...не являются ни чистыми потенциальностями, ни чистыми фактами; они способ потенциальной связи, включающий и чистые потенциальности, и чистые реальности» [8: 188]. Иначе, пропозиции — это возможность воплощения в опыте некой абстрактной связи актуальных событий и вечного объекта, где вечный объект берется в момент его реализации или вхождения в актуальное событие. Так как пропозициональная ситуация разворачивается на уровне процесса актуализации, Уайтхед говорит, что пропозиции существуют всегда только в опыте [4: 647]. В другом месте Уайтхед пишет: «Пропозиция не имеет ни особенности чувства, ни реальности связи. Она находится в исходной точке чувства и ожидает субъекта, который ее почтует. Ее релевантность реальному миру посредством своих логических субъектов делает ее соблазном для чувств. На самом деле многие субъекты могут ощущать ее разными чувствами и с разнообразными чувствами» [8: 259]. Поясним, о чем здесь идет речь. Имеется в виду соотнесенность пропозиции с той или иной субъективной формой. Существует вариативность субъективных форм, которые схватывают пропозиции. Уайтхед называет это явление «полутеневым комплексом альтернатив». Суть в том, что одна и та же пропозиция может актуализироваться или схватываться различающимися сущностями, имеющими разные актуальные миры. Поэтому, несмотря на то что состав пропозиции в таких случаях остается неизменным, мы все же говорим о различающихся пропозициях.

Если в актуальном мире реальной сущности, схватывающей данную пропозицию, нет тех логических субъектов, которые эта пропозиция содержит, то пропозиция не будет существовать для этой конкретной реальной сущности.

Причастность пропозиции к реальным фактам или актуальным событиям позволяет Уайтхеду определить ее как нечистую возможность, в отличие от вечных объектов, принадлежащих области чистой возможности. И в природе вечных объектов, и в природе пропозиций заложена неопределенность. Эта неопределенность выражается в не-предсказуемости, в каких именно актуальных событиях они воплощаются. Отличием вечных объектов в данной ситуации является то, что их область может быть рассмотрена и проанализирована отдельно от процесса актуализации.

Обратимся теперь к эмпирическому проекту Латура. Как уже было сказано выше, термин пропозиция впервые вводится Латуром в акторно-сетевую теорию в тексте 1999 года «Надежда Пандоры». Именно там он получает концептуальную разработку. Поэтому в целях аналитики означенной категории логично будет использовать именно этот текст. Сразу уточним, что мы не будем останавливаться на детальном анализе причин такого обновления категориального аппарата ANT. Этот вопрос подробно рассматривается в диссертации С. С. Астахова «Проблема контингентности в акторно-сетевой теории» [9: 41]. Нас будет интересовать, как изменяется природа пропозиции при переводе ее из поля эмпирической онтологии Уайтхеда в поле акторно-сетевой теории Латура.

В отличие от философии процесса, где пропозиция представляет собой способ потенциальной связи, хотя и происходящий только в опыте; в эмпирическом проекте Латура пропозиция — это становящаяся актуальная связь. Что же связывает пропозиция и с чем она имеет дело? Прежде всего, пропозиция обращается к актуальной событийности, а точнее, к проблеме событийной связи в условиях отсутствия Бога. Эта связь, или связывание, актуализируется на уровне внутреннего становления события или, используя язык философии процесса Уайтхеда, на уровне процесса «сращения» актуальной сущности. Кстати, и сам Латур в тексте «Надежда Пандоры», исследуя историчность своих акторов или историчность пропозиций, обращается к термину Уайтхеда «сращение». Под «сращением» он, как

и Уайтхед, понимает изменение всех компонентов или обстоятельств события, приводящее в итоге к его уникальности и неповторимости. Латур говорит, что каждое событие или, актор, представляют собой пропозицию. В качестве примеров пропозиций приводятся Пастер, молочная кислота, фермент, лаборатория. Пропозиция преодолевает разрыв между природным и языковым миром, переводя все сущности в единую плоскость эмпирической онтологии. Латур дает следующее определение категории пропозиции: «Они (пропозиции . — С. Ф.) не положения, вещи, субстанции или сущности, относящиеся к природе, состоящей из немых объектов, обращенных к говорящему уму, но возможности, предоставленные различным сущностям для вступления в контакт. Эти возможности взаимодействия позволяют сущностям изменять свои определения в ходе события — в данном случае в ходе эксперимента» [7: 141].

Как мы помним, в философии Уайтхеда завершение процесса становления или «сращения» актуальной сущности происходило на стадии сатисфакции или удовлетворения. Именно здесь актуальная сущность представляла полностью объективированной в мире для других сущностей, получала индивидуальность и была готова для вхождения в новые событийные альянсы. Процесс объективации происходил по мере вхождения вечных объектов в зоны действительности или актуализации. Очевидно, что в эмпирическом поле акторно-сетевой теории также происходит завершение процесса становления сущности. Однако здесь дело обходится без потенциальной области вечных объектов. Латур решает проблему становления независимой субстанции посредством понятия артикуляции. В терминологическом словаре, составленном к тексту «Надежда Пандоры», он говорит об артикуляции как об онтологическом свойстве вселенной [7: 303]. Между пропозициями устанавливаются отношения, называемые «артикуляцией».

Сущностной природой пропозиций является их свойство вступать в связи друг с другом, приводящие к их трансформации и обновлению. При этом реализация этих связей исключает необходимость существования человеческого или божественного ума. Артикуляция пропозиций происходит в ходе интенсивной работы по трансформации, уточнению, переопределению изначально невнятной, невыраженной субстанции. Процесс трансформации предполагает вклю-

чение действующих лиц пропозиции в новые соединения, альянсы, уточнение определений формирующейся сущности, что в итоге и дает новую сущность. Описывая в работе «Надежда Пандоры» участие Пастера в становлении «молочной закваски», Латур делает явленным процесс становления новой субстанции. Он пишет: «Чем больше работы делает Пастер, тем более независимой становится молочнокислая закваска, поскольку она теперь гораздо лучше артикулирована благодаря искусственной среде лаборатории, пропозиция, которая ни в коей мере не похожа на фермент. Молочнокислая закваска теперь существует как отдельная сущность, потому что она ясно сформулирована столькими людьми, в стольких активных и искусственных условиях» [7: 144].

Заявление Латура о том, что в качестве пропозиций могут быть рассмотрены любые акторы, позволило Харману утверждать, что в отсутствие людей множественные пропозиции продолжали бы связываться друг с другом, порождая новые типы акторов. Приведем здесь цитату из его работы «Принц сетей»: «Если бы Пастер и все остальное человечество были уничтожены, на сцене все равно остались бы многочисленные акторы; предположительно, различные материалы продолжали бы бродить в наше отсутствие. ...Могут быть “пропозиции”, связывающие химические вещества с другими химическими веществами и деревянными бочками спустя много времени после того, как великая ядерная катастрофа уничтожит всех людей» [2: 83].

В следующем своем проекте «Модусы существования» [10] Латур вводит новое понятие «препозиция» (preposition), которое будет задавать особые векторы для пропозиционных связей, зависящие от того модального режима, в котором данные пропозиции будут реализовываться.

Подведем итоги анализа влияния философии Уайтхеда на акторно-сетевую теорию Латура в части процесса становления событийности. Мы подробно рассмотрели понятийные области двух эмпирических онтологий: акторно-сетевой теории Латура и философии процесса Уайтхеда. В фокус нашего внимания попали следующие категории: актор-сеть, социальное, взаимодействие и изменение событий, перевод (Латур); а также событие, процесс становления актуальной сущности, или «сращение», структура эмпирического опыта,

пространственно-временной континуум, область вечных объектов, субстанциональная активность, пропозиция (Уайтхед). Детальный анализ позволил определить как области пересечения, так и зоны расхождения концептуальных уровней.

Обратимся сначала к зонам концептуального сходства. Следует сказать, что и эмпирическая философия Уайтхеда, и акторно-сетевая теория Латура исходят в своих изначальных посылках из процесса становления. На место вечной и неизменной субстанции заступает процесс, что приводит к смещению интереса на уровень событийности.

Сходны оба автора и в понимании природы событийности. И действительные происшествия Уайтхеда, и акторы Латура характеризуются предельной конкретностью и одномоментностью, а процесс их становления описывается как «сращение» многое в единое. Конституирование пространственно-временного континуума происходит по мере становления событий, что приводит к множественности пространственно-временных миров.

Теперь перейдем к различиям. Основные различия выявились на уровне структуры эмпирического опыта. Это, прежде всего, потенциальная область вечных или чувственных объектов, которые есть у Уайтхеда и отсутствуют у Латура. Логика разворачивания акторно-сетевой теории Латура предполагает исключение чувственных объектов из эмпирического поля. Не находим мы в ANT и субстанциональной активности, или Бога, лежащего в основании всех действительных событий и вечных объектов и ответственного за процессы изменения и взаимоотношения событий, а также за их обновление или новизну. В ANT мы имеем дело только с уровнем актуальных происшествий, не предполагающим зону потенциального. Однако именно зона потенциального в философии Уайтхеда сообщала событиям устойчивость и повторяемость. Посредством чего же обеспечивается устойчивость, воспроизведение и стабильность событий в сетевой логике Латура? Эту функцию у него берут на себя институты стандартизации, учебные пособия и т. п. Для существования сетей ведется постоянная работа акторов по поддержанию внутрисетевых связей, соблюдается строгое воспроизведение правил эксперимента, обеспечивается точное перенесение практики из одной локации в другую и многое другое. Все это требует больших денежных затрат. По сути,

из процессуальной области вечных объектов Латур спускается в интенсивные зоны чистой событийности.

Убирая Бога из своей эмпирической онтологии, Латур возлагает всю ответственность за локальные взаимодействия на посредников, в роли которых теперь может выступать любая сущность. В своей работе «Принц сетей» Харман определяет проект Латура как «светский оккизионализм», сущность которого заключается в том, что актанты или локальные посредники приводят в контакт различающиеся сущности, обеспечивая их связь и трансформацию. До Латура привилегия взаимосвязи событий принадлежала либо Богу, либо человеческому сознанию, в котором все вещи уже заранее были связаны в те или иные союзы посредством привычки.

Выделяющейся фигурой в вопросе о возможном взаимодействии вещей, по мнению Хармана, является Уайтхед. Полагая вещи как актуальные сущности, философ говорит о том, что они полностью определяются своими отношениями, которые он называет схватываниями или внутренней реальностью вещи. Уайтхед выделяет два уровня реальности: уровень действительности, представленный актуальными событиями и уровень возможности или потенциальности, представленный вечными объектами. Именно через вечные объекты, которые находятся в Боге, происходит взаимодействие или сообщение вещей. Т. о., делает вывод Харман, решение Уайтхеда тоже можно обозначить как оккизионалистское, хотя, безусловно, и имеющее обновленный характер.

Впервые фигуру Бога из области взаимодействия вещей убирает Латур, заявляя, что отныне любая сущность может связать любые другие сущности между собой. Именно в этом и заключается светскость или локальность оккизионализма его теории.

Зона процессуальности: уровень траекторий

Концептуальные констелляции AIME переводят вопрос о влиянии философии Уайтхеда на Латура в подвижные зоны ценностных траекторий, которые обеспечивают процессы становления связей между событиями, а также их трансформацию. Как мы предположили выше, этот уровень, по всей вероятности, близок к тому, что Уайтхед называет процессом «перехода» или перемещения между событи-

ями. Рассмотрим подробнее означенный процесс «перехода», как он понимается Уайтхедом.

Говоря о «переходе», Уайтхед имеет в виду внешние отношения события. Размышляя над тем, каким образом объективированные актуальные сущности, полученные в процессе «сращения», могут выступать конституирующими элементами для новых событий, он говорит о креативности. С креативностью ситуации становления нового события тесно связано понятие «актуального мира» этого события. Речь идет о том, что еще до своего «вхождения» в зону актуализирующейся событийности объекты восприятия, или сформировавшиеся актуальные сущности, определенным образом комбинируются, т. е. приобретают внутреннее единство, которое будет отличать именно это событие опыта. В таком виде образовавшаяся комбинация представляет собой актуальный мир, обладающий творческой активностью и реализующийся в становящемся событии опыта. «Некакие две актуальные сущности, — пишет Уайтхед, — не возникают в одинаковом универсуме; хотя различие между двумя универсумами состоит только в некоторых актуальных сущностях, присутствующих только в одном из универсумов, и в производных сущностях, которые каждая актуальная сущность привносит в мир» [8: 22–23].

Категория «перехода» открывает возможность движения в сторону аналитики эволюционных процессов в универсуме, а также понимания взаимообусловленности организмов и окружающей среды. Взаимопроникновение или взаимодействие событий в философии процесса становится возможным через посредство вечных объектов. Благодаря модальному вхождению в актуальные события вечные объекты могут принадлежать в каком-либо из своих аспектов одному событию, и в то же самое время участвовать через этот же или иной аспект в оформлении другого события. Именно через вечные объекты происходит взаимодействие или сообщение вещей. Аспекты чувственных объектов формируют событийную структуру, а также запускают процессы ее изменения. С областью вечных объектов связано свойство событий, которое Уайтхед называет устойчивостью. Устойчивость — это повторение структуры события, в которой сохраняется изначальная его целостность с тем же соотношением и следованием частей. Об этом уже шла речь выше, когда мы описывали процесс «сращения». Теперь же добавим, что свойством устой-

чивости обладает не только внутренняя, конституирующая событие структура отношений (уровень «сращения»), но также и внешняя, выступающая для данного события в качестве его окружения или актуального мира (уровень «перехода»). Т. о., событие встраивается в общий порядок иных событий, которые могут его изменять.

Каждая актуальная сущность, будучи включенной в более глобальную структуру как ее часть, содержит в себе аспекты этой общей структуры. Изменения, происходящие на уровне большего структурного образования, трансформируют также бытие каждой входящей в него индивидуальной сущности. «Согласно этой теории, эволюция законов природы совпадает с эволюцией устойчивой структуры. Ибо общее состояние универсума, наблюдаемое в настоящий момент, частично определяет каждое состояние сущностей, способ функционирования которых выражают эти законы. Общий принцип состоит в том, что в новой окружающей среде происходит эволюция старых сущностей и переход их в новые формы» [4: 167]. Каждое событие имеет свою собственную историю, которая включает в себя предшествующую комбинацию условий внешней среды.

Итак, мы рассмотрели процесс установления связей между событиями, а также сказали о взаимообусловленности организмов и окружающей среды в философии Уайтхеда. Теперь перейдем к проекту модусов существования Латура. Главные вопросы, которые задаются Латуром в связи с его попыткой перехода от теории сетей к концептуальному полю модальных режимов существования, звучат следующим образом: как в условиях отсутствия единой субстанции происходит удержание вещами своего существования, сколько способов существования вещей мы можем обнаружить, сколько существует типов связи между вещами? А также, какова природа ценностных траекторий, которые обеспечивают связь событий внутри модальных логик? Ответы на эти вопросы требуют обращения к описанию проблемных зон эмпирического поля модусов существования.

В ходе эмпирических исследований Латуром и его коллегами было выявлено 15 различных модальных режимов. Все эти режимы были протестированы на способы, которыми сущности удерживают себя в существовании, а также на типы связи между разнородными элементами в сериях модальных ассоциаций. По Латуру каждый модус предлагает свои особые способы поддержания бытия. Кроме того,

каждый модус устанавливает свои специфические способы определения условий или порядков истинности опыта.

Модусы конституированы следующими концептами: траекториями изменений, препозициями, альтерациями, хиатусами, бытием-как-иным, условиями успешности / неуспешности бытия, включающими различие между истинным и ложным; категориальными ошибками, ценностями, институтами. Перечисленные понятия, по утверждению Латура, также были обнаружены эмпирическим путем и изменялись в зависимости от модальности.

Все модусы характеризуются особыми циркуляциями, именуемыми траекториями изменений. В ANT Латура мы уже имели дело с циркуляциями. Однако там речь шла о сетях, представляющих собой трансформирующиеся серии разнородных элементов или ситуаций, в которых актанты связывались друг с другом посредством процедуры, получившей название перевода. Именно перевод осуществлял транспортировку трансформаций в той или иной сети. Однако в ходе многочисленных исследований различных ассоциаций были обнаружены пределы или ограничения сетевого анализа. Выяснилось, что с помощью анализа сетей можно обнаружить множество нетривиальных серий ассоциаций в любой области эмпирического опыта, но невозможно выявить уникальность и разнообразие способов изменения этих ассоциаций, способов связей характерных для их элементов, множественность онтологических режимов разворачивания эмпирического опыта. Сеть обнаруживала изменения, но ничего не говорила об их специфике. Кроме того, сетевые процессы оказались закрытыми и стандартизованными.

В работе «Исследование модусов существования» [10] Латур рассматривает сеть как один из модусов среди прочих. Теперь он проводит различие между типами циркулирующих в сети ценностей, задающих особые типы связей, и разнообразием ассоциаций, собирающих сеть. В AIME циркуляции или модальные траектории, приобретают ценностный аспект и становятся ответственными за установление особых специфических связей или переходов между событиями, что сообщает неповторимость каждому модальному режиму и позволяет говорить о множественных онтологиях. Ценностные циркуляции определяют тип связей, характерный для траекторий того или иного модуса; принципы суждений, позволяющие решать вопрос об истине

внутри модуса; а также задают траекториям непрерывность. Любая ситуация или событие получают свое значение в зависимости от того способа связей, который задан ценностными циркуляциями в конкретном модусе. Поэтому одна и та же ситуация может быть понята по-разному в разных модальных режимах.

Резюмируя сказанное, Латур говорит о возможности понимания любой ситуации с помощью двух типов данных: «... во-первых, очень общих данных типа (NET), которые не говорят нам ничего, кроме того, что мы должны пройти через неожиданные ассоциации; и, во-вторых, что в каждом случае мы должны добавлять что-то к этим данным, что позволит нам определить качество рассматриваемой деятельности. Первый тип данных позволит исследовать необычайное разнообразие ассоциаций, определяющих приключения современников; второй — разнообразие ценностей, которые они, кажется, лелеют. Первый список не определен, как и объекты, которые могут быть связаны в сети; второй конечен, как и ценности, которые современники научились защищать» [10: 42]. Прочтение ситуации в сетевом срезе становится возможным благодаря тому, что все модальные траектории циркулируют по законам логики сетей. Здесь по-прежнему сохраняется различие между тем что циркулирует и сплетением гетерогенных элементов, делающих эту циркуляцию возможной. Ценностные циркуляции так же, как и сети имеют скачки, прерывания, разрывы. Однако, в отличие от сетей, они приводят не столько к возникновению разнородных списков коллективов, сколько к определенному типу непрерывности, создаваемому, к примеру, юридическими средствами / процедурами в праве или доказательствами существования явления в науке. Режим ценностных циркуляций позволяет выявить что-то такое в каждой модальности, что характеризует ее и что сохраняется, несмотря на все происходящие преобразования.

Обратимся к анализу конкретных режимов ценностных циркуляций, что позволит нам приблизиться к пониманию эмпирической природы множественных бытийных модальностей. Выберем для анализа четыре модуса: модус препозиции (PRE), модус привычки (HAB), модус организации (ORG) и модус права (LAW). Начнем с модуса организации (ORG). Латур приступает к аналитике данного модуса (ORG) после того, как сталкивается с тремя разрывами в опре-

делении понятия института Экономики, которое дают информанты [10: 386–388]. Бессвязность, которая обнаруживается в определениях информантов, позволяет Латуру предположить, что речь здесь идет о трех различающихся модальных логиках: интереса или привязанности (ATT), организации (ORG) и морали (MOR). Иными словами, понимание природы экономической области формируется на пересечении трех модальных режимов.

Ключом или предпосылкой, позволяющей определить вектор или тональность каждого модального режима, его *как*, является модус (PRE), предлог или препозиция. Именно этот модус задает направление или ключ для интерпретации конкретной модальности, а также позволяет нам сравнивать способы или типы соединений, характерные для того или иного модуса. Каждый раз, подступаясь к новой онтологической модальности, Латур начинает с поиска предлога (PRE), который задает ключ к пониманию общей смысловой настройки модуса и позволяет определить направление модальной траектории.

Категорией, тесно связанной с модусом препозиции (PRE), является категориальная ошибка. Латур говорит о двух видах возможных ошибок: об ошибках первой степени, к ним относятся ошибки чувств; и ошибках второй степени, здесь речь идет о выборе ошибочного направления для интерпретации того или иного события. Иными словами, во втором случае происходит сбой при выборе нужного модального режима, соотносясь с логикой которого событие следует понимать. Под вопросом оказывается порядок истинности, устанавливающийся в результате определения принципов суждения, характерных для данного модуса.

Для нахождения предлога (PRE) для модуса организации (ORG) Латур задается следующим вопросом: что значит действовать и говорить организационно? [10: 389]. При этом он, как и в исследовании других модусов, предостерегает нас от неверного хода в анализе новой траектории: от обращения к «организованным существам» вместо прослеживания самого проскальзывающего организующего акта или действия. В данном случае под организующим актом понимается конкретная эмпирическая ситуация встречи двух друзей Петра и Павла на Лионском вокзале. Именно эта встреча в течение некоторого времени будет организовывать жизнь двух людей и определять все их действия. Латур называет этот организующий акт сценарием

или циркуляцией сценариев. Траектории, прорисовываемые такими сценариями, отличаются от иных модальных траекторий, т. к. задают свои специфические условия истинности и успешности / неуспешности бытия. Здесь показателем успешности сценария или критерием истинности будет состоявшаяся встреча двух друзей. Именно момент встречи будет означать полную реализацию сценария. Латур пишет, что процесс становления сценариев имеет прерывистый ритм и характер и, что через серию разрывов и нестыковок между ними, реализуется инобытие организующего акта.

Непрерывность сценарная траектория получает только после прохождения через серию разрывов. Она выстраивается путем сложнойстыковки и подгонки множества различающихся и несинхронных сценарных вариаций. Можно сказать, что именно изначальная сценарная дезорганизация порождает в итоге новую непрерывность. Еще раз повторимся, что траектории модального режима организации (ORG) конституируются организующим актом или сценарными циркуляциями. Организации объясняются сценарными траекториями, а также способностью сценариев соединяться между собой. Именно сценарные траектории поддерживают сами организации в существовании. Сценарий, в данном случае, исполняет роль первоформатива. Ключевая фраза конкретного сценария запускает ситуацию конкретного сценарного события. Траектории сценариев задают ритм, упорядочивают, визуализируют. Чтобы почувствовать непрерывность модальной траектории организации, нужно суметь оказаться внутри хаотичного потока сценариев, почувствовать его ход, циркуляцию.

Как мы видим, внимание к разрывам, которые слышались в определениях современного института Экономики, позволило Латуре развернуть аналитику данного института на совершенно иных онтологических основаниях, используя логику модусов существования или циркуляцию ценностных траекторий. Работа в означенной логике дала Латуре возможность сделать улавливаемым «определенное количество тональностей или длин волн» нового эмпирического опыта, явить саму живую ткань этого опыта. Результатом проделанной работы стала трансформация сущности современной Экономической институции, понимание того, что ее становление происходит на пересечении нескольких модальных режимов.

Следует сказать, что в модальной логике Латура за установление непрерывности траекторий отвечает особый модус — модус привычки (HAB). Способность чувствовать эту непрерывность, тесно связана с фигурой эксперта модального режима, для которого эта непрерывность становится очевидной благодаря его прохождению через серию разрывов. Именно навык непрерывного и осмысленного движения по заданной траектории отличает фигуру эксперта. Для непосвященных — модальная траектория постоянно прерывается (hiatus), переходы от момента к моменту лишены взятной связи, действия экспертов вызывают подозрения. Возможность экспертного поведения задается особой чувствительностью или способностью подключаться к ценностным циркуляциям конкретного модуса. Непрерывность траекторий — результат постоянного перехода между ситуациями через разрывы. Внутренняя непрерывность траекторий, а также чувствительность экспертов к этой непрерывности, обеспечивают возможность преемственности в модусе. Т.о., постоянные модальные трансформации, тем не менее, позволяют говорить о возможном сохранении уникальной и непрерывной природы каждого модуса. И эта возможность обеспечивается модусом (HAB), отвечающим за преемственность. Именно модус привычки (HAB) гарантирует институциональное закрепление ценностей, а также содержит потенцию на возможные институциональные изменения под воздействием изменяющихся ценностных циркуляций.

Полагаем, что на понятии преемственности следует остановиться подробнее. Как это ни парадоксально, но разговору о преемственности Латур предпосыпает разговор о конкретных изменениях, которые являются своего рода результирующей процессов переходов и разрывов, и извлекаются из бытия-как-иного. Переходы и перерывы завершаются созданием моментов *до* и *после* конкретного события. Между *до* и *после* вставлен хиазм или разрыв, который необходимо обязательно пересечь, чтобы получить непрерывность траектории. Именно переход через конкретную прерывность позволяет получить на выходе непрерывную модальную траекторию или сформироваться привычке. Латур говорит, что особенностью всех модальных режимов является то, что они «... не архивируют свои последовательные сдвиги или переводы. Они, конечно, оставляют после себя следы; они начинаются снова, каждый использует предыдущие, но они не воз-

вращаются назад, чтобы сохранить следы своих движений. Предшественники исчезают, как только преемники вступают в права. Вот что они делают: они передают; они указывают путь» [10: 369].

Из сказанного возникает вопрос, как же в таком случае возможна преемственность? И Латур отвечает *как*. Покажем это на примере модуса права (LAW): «Чтобы обеспечить преемственность, несмотря на прерывность, закон связывает друг с другом различные уровни, которые, смещаясь вовне, продолжают множиться» [10: 369]. Именно на закон возложена миссия присоединения и стыковки различных уровней, высказываний, действий, текстов, не вызывающая рассеяния систем. Закон — это вопрос о возможности пути или перехода от высказывания к высказыванию, от события к событию. Закон в правовой циркуляции — это то, что циркулирует внутри юридических переходов и позволяет в конечном итоге экспертам права усматривать непрерывность там, где другие видят только разрывы и смещения. «Хотя на самом деле нет ни реальной преемственности направлений действий, ни стабильности субъектов, закон успешно производит чудо продолжения действия, как если бы мы были соединены определенными связями с тем, что мы говорим и что делаем. То, что вы сделали, подписали, сказали, пообещали, дали, вовлекает вас. Вот как закон умудряется сохранять следы всех способов действия, при условии, что он сохраняет как можно меньше» [10: 370]. Можно сказать, что в понятие закона вписана «процедурность» правового режима, включающая в себя такие события как подпись, вменение, квалификация, ответственность, вина, полномочия и др. Закон связывает персонажей с их действиями, делая первых виновными, ответственными, наделенными полномочиями и т. п. «И это дает нам право, — говорит Латур, — сказать, что “без закона” источник высказывания было бы просто невозможно распознать» [10: 370–371].

Подведем итоги. Основными концептами, которые конституируют поле множественных модальностей в AIME, являются ценностные траектории и модус препозиции (PRE), задающий траекториям направление, вектор, тип колебаний и др. Полагаем, что наше предположение о том, что траектории Латура — это то, что Уайтхед называет «переходом» между событиями имеет под собой основание: модальные траектории представляют собой вариативность связей и движе-

ний между событиями опыта, сообщают опыту непрерывность и отличаются для каждой конкретной модальности.

Рассмотрев в первом параграфе точки влияния философии Уайтхеда на акторно-сетевую теорию Латура, мы выяснили, что из АСТ исключена потенциальная область вечных объектов. Что касается проекта AIME, полагаем, что вечные объекты все же нашли в нем свое место. Это циркулирующие модальные траектории, которые обеспечивают связь и переходы в интенсивной зоне событийности. Мы помним, что в философии процесса область вечных объектов понималась Уайтхедом как процессуальная и, следовательно, как способная к изменениям. Ценностные траектории Латура также характеризуются изменчивостью и способностью к трансформациям. Можно сказать, что траектории изменений — это перспектива или горизонт для актуализаций событийности, реализация которого происходит в разных направлениях, по множественным векторам и одновременно с событиями. Помимо изменений, потенциальная область вечных объектов — это то, что сообщает устойчивость в философии процесса Уайтхеда. Латуру также нужна область, которая обеспечивала бы стабильность и преемственность ценностей, но в то же время была открыта изменениям. Поэтому он и перенимает у Уайтхеда те импульсы и характеристики потенциальности, которые характеризуют вечные объекты.

Отношение ценностных модальных траекторий с фигурой эксперта, возможность подключения эксперта к циркулирующей траектории отсылает нас к темам взаимообусловленности организмов и окружающей среды и эволюционных процессов в философии Уайтхеда. В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что ценностные траектории Латура по своей природе могут быть соотнесены также и с понятием виртуального Делеза. Но это тема для отдельного исследования.

Заключение

В заключение кратко суммируем те выводы, которые были сделаны в конце двух параграфов, посвященных исследованию событийности и процессуальных зон перехода между событиями, и которые позволили подвести итог сравнительного анализа и выявить концеп-

туальные зоны вхождения в эмпирический проект Латура философских идей и концептов метафизики Уайтхеда.

Прежде всего, отметим, что и в философии процесса Уайтхеда, и в эмпирических проектах Латура на первый план выходит объективность. И у Уайтхеда, и у Латура устраняется понятие субстанции, и в зону философского интереса попадает категория события. Анализ понятийных комплексов акторно-сетевой теории развернулась на уровне исследования процесса становления событийности. В ходе работы с концептуальным аппаратом ANT, был сделан вывод о том, что Латур, заимствуя отдельные категории и онтологические схемы из философии процесса Уайтхеда, исключил из своего проекта субстанциональную активность Бога и потенциальную область вечных объектов. Это вывело его онтологию на уровень актуальной событийности и поставило перед необходимостью поиска средств, которые смогли бы обеспечить сетям устойчивость, повторяемость и стабильность. Исключение Бога из эмпирической онтологии привело также к тому, что за процессы взаимодействия и трансформации в сетях стали отвечать сами акторы, что позволило Харману определить проект Латура как «светский окказионализм».

Понятийный аппарат АИМЕ перевел анализ в зоны модальных траекторий и связей, и переходов между событиями. На этом уровне анализа было высказано предположение о существенном сходстве потенциальной области вечных объектов Уайтхеда и ценностных траекторий Латура и нахождении места для области потенциальности в онтологическом проекте модусов существования. Также, в качестве рабочей гипотезы, было сделано предположение, что ценностные траектории по своей природе соотносимы с категорией виртуального Делеза. Кроме того, в ходе нашего исследования нашла свое подтверждение гипотеза о сопоставимости разрабатываемых в философии процесса Уайтхеда категорий «сращения» и «перехода» с понятиями актор-сеть и ценностными траекториями Латура.

Литература

1. *Latour B., Harman G., Erdelyi P. The Prince and the Wolf: Latour and Harman at the LSE. UK: Winchester; 2011.*
2. *Harman G. Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics. Melbourne; 2009.*

3. *Latour B. Reassembling the social: An introduction to Actor-network theory.* New York: Oxford University Press, 2005.
4. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии / общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. М.: Прогресс, 1990.
5. *Whitehead A. N. Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927–1928.* New York: Macmillan Publishing Co.; 1929.
6. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко / Общ. Ред. и послесл. В. А. Подороги. М.: Логос, 1997.
7. *Latour B. Pandora's hope: essays on the reality of science studies.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 1999.
8. *Whitehead A. N. Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927–1928 / eds D. Griffin and D. Sherburne.* New York: Macmillan Publishing Co.; 1978.
9. Астахов С. С. Проблема контингентности в акторно-сетевой теории. Диссертация. М., 2017.
10. *Latour B. An Inquiry into Modes of Existence.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 2013.
11. Федорова С. А. Актанто-ризомная онтология Б. Латура // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 37. С. 250–252.

П. П. Дерюгин, Л. А. Лебединцева, Е. А. Камышина, С. Д. Куражев¹

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ МОБИЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ²

Актуальность

Со времен П. А. Сорокина проблема мобильности в социологии признана одним из центральных направлений развития социологической теории. Эта тематика, не только не теряет своей актуальности, но и приобретает новый интерес и набирает все большую популярность. Существует множество школ, направлений и точек зрения на природу и характеристики мобильности, где сложились особые взгляды и принципы изучения ее исследования. Наиболее радикальное понимание роли социальной мобильности в современном обществе, пожалуй, представлено позицией, в рамках которой разнообразие форм трансформаций и изменений признается экзистенциальным условием развития глобального общества. Так, по определению Дж. Урри, мобильность — это феномен, который затрагивает все центральные вопросы множества дискуссий и уже давно выходит за рамки собственно науки, вторгается во все другие сферы жизни общества — экономику, культуру, политику [1: 199]. В современных исследованиях мобильность рассматривается как растущие гигантские перемещения и изменения всех сторон жизни различных обществ, охватывающие все элементы и сегменты социумов.

Важен прикладной момент изучения мобильности, связанный с решением практических задач социально-экономического развития и государственного управления. В некоторых российских регионах фиксируется невысокая мобильность, которая характерна для

¹ Дерюгин Павел Петрович — д-р социол. наук, профессор Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ); Лебединцева Любовь Александровна — д-р социол. наук, профессор Факультета социологии СПбГУ; Камышина Елена Александровна — канд. социол. наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); Куражев Сергей Дмитриевич — аспирант СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

² Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00261 (<https://rscf.ru/project/24-18-00261/>).

аграрных и традиционных обществ. На уровне государственного управления проблема обсуждается как острая и требующая особого внимания, а также обсуждаются и ведутся разработки новых технологий ее решения, в частности для развития предпринимательства в восточных и северных районах страны [2]. Экспертное сообщество считает, что экономика России в случае повышения социальной мобильности на 10 % могла бы возрасти на 4 % от прогнозируемого ВВП по паритету покупательной способности [3]. Это важно как в отношении освоения новых географических российских пространств, так и в отношении профессиональной, академической и других форм мобильностей, включая стимулирование эффективности национальной экономики [4].

Практическая проблема мобильности россиян дополняется трудностями научного понимания вопроса и характерными особенностями теоретизирования. Как отмечается в специальных публикациях, можно сказать, что такие исследования осуществляются с меньшей интенсивностью, чем это характерно, например, для западной социологии, и с определенным отставанием. Наряду с этим очевидно, что разработка проблемы социальной мобильности особенно важна сегодня, когда идет стремительная информатизация общества, бурно развивается цифровая экономика, изменяющая само понимание мобильности [5: 49]. В особенности, анализ эволюции и контуров исследования мобильности в полной мере важен для характеристики трансформаций тех социальных и профессиональных групп, которые формируют новые тренды интеграции социального пространства — для ИТ-специалистов [6].

Методологическая рамка

Методологическая рамка предлагаемого исследования динамики публикаций о мобильности в российской социальной науке сформирована на основе концепции профессора Санкт-Петербургского государственного университета Д. В. Иванова об элементной конфигурации реалий современного социума [7]. На основе систематизации фундаментальных идей социологии о современных трендах интеграции общества автором сделан вывод о наличии ряда составляющих множественной современности. Общая структура этих составляющих показана на рис. 1. Как видно, в современном российском

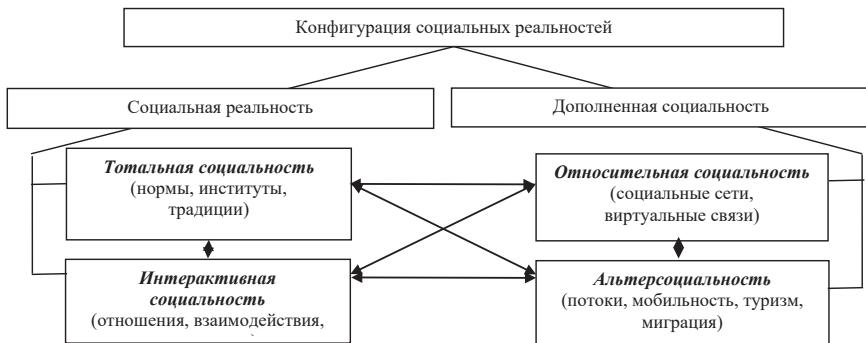


Рис. 1. Элементы конфигурации современного социума
(на основе работ проф. Д. В. Иванова)

обществе формируются две составляющие интеграции: социальная реальность и дополненная социальность, которые в свою очередь складываются из *тотальной социальности*, *частной социальности*, *относительной социальности* и *альтерсоциальности*, т. е. из элементов, в которых в различной степени связываются-интегрируются социальные феномены. В полной мере это касается и мобильности.

Моделирование трендов исследований мобильности в российской социальной науке

В рамках *концепций тотальной социальности* признается, что социальные институты определяют основные векторы и траектории мобильности [8]. С точки зрения институциональной парадигмы мобильность «цементируется» социальными институтами [9] и зависит от этого цементирующего основания [10: 312], которое в том числе формирует внутренний мир человека — его Я, а также и потенциал мобильности личности [11: 17], направления и тренды этой мобильности. Тотальные институции (И. Гоффман) проектируют потоки мобильности через «преднамеренно согласованные действия, направленные на некий суммарный результат» [12: 175]

Обстоятельный анализ характеристик социальной мобильности в институциональных условиях представлен в сборнике «Социальная мобильность в традиционном обществе» [13]. Исходя из анализа материалов, можно говорить, что центральными характеристиками мобильности в концептуальных рамках институциональной па-

дигмы являются положения об объективном характере мобильности [14: 419]; о возникновении новых социальных групп как результате мобильности [15]; о меритократическом включении в разряд элиты людей с развитыми личностными характеристиками [16]. Показанные и другие точки зрения на мобильность в условиях институциональной среды раскрывают, что в данном случае мобильность понимается как феномен, проявляющийся «под влиянием» внешних обстоятельств, и в главных, в основных характеристиках мобильность определяется этими обстоятельствами.

Институционалистский подход к изучению мобильности широко представлен в современных исследованиях. Чтобы удостовериться в этом, достаточно оценить интенсивность исследований по проблематике связи мобильности и институционалистской традиции с помощью частотных характеристик (рис. 2).

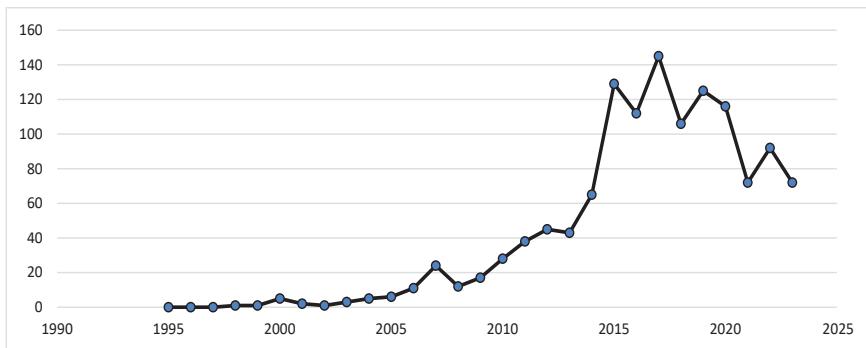


Рис. 2. Активность исследований сопряженности пары тегов «мобильность и социальные институты» в публикациях научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за последние 30 лет (число единиц цитирования)

График показывает, что институциональное объяснение природы мобильности остается одним из важных направлений исследований этого феномена. В частности, можно привести характерный пример институционального подхода к исследованиям мобильности, показанный в монографии М. Б. Баликаевой. Автор подчеркивает, что концепция профессиональной мобильности будущих инженеров рассматривается как зависимая от социально-культурной среды вуза, «включающую методологическую основу, понятийно-термино-

логический аппарат, закономерности, принципы, систему и модель» [17: 3].

Очевидно и другое, начиная с 2016 года интенсивность таких исследований несколько снижается, за последние восемь лет проблемам мобильности в рамках институциональной парадигмы уделяется внимание в два раза меньше, чем это было немногим ранее.

Мобильность в терминах интеракциональной составляющей социума рассматривается как перемещения и трансформации, наступающие в результате социальных взаимодействий. В анализе конфигурации социальных реалий в концепции Д. В. Иванова интеракционистская составляющая характеризуется как «частичная», или «частная социальность». Этим подчеркивается, что мобильность в таких условиях складывается в результате смешения различных форм взаимодействия и отношений, нередко как результат «сложения», «наложения» или «конфликтов» ценностей, поскольку сама «частная социальная» возникает на почве субъективных отношений людей друг к другу и допускает большую, определенную степень свободы, например, при переходах из страты в страту, определенную независимость социальных групп и индивидов [18: 151]. В настоящем случае актуально понимание ценностей взаимодействующих акторов, характер и переплетение которых создает новые источники и новые направления мобильности [19]. В частности, такая понимающая основа анализа мобильности рассматривается в объяснении стремлений к перемещениям и изменениям М. Вебером, Г. Зиммелем, Р. Бендиксом, Р. Коллинзом, М. Манном и др. Центральными категориями этой концепции выступают «социальное действие» и «взаимодействие» являющиеся ведущими и остающимися неизменными в объяснении социальных реалий [20: 84]. В данном случае мобильность рассматривается как более плотно связанная с субъективными характеристиками, например, такими как габитус, мотивационный репертуар мобильности, интеграция социального и культурного капиталов и другими личностными феноменами [21].

Как показывает анализ публикаций в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU за последние 30 лет, интеракционистская методологическая позиция, направленная на исследование пары категорией мобильность и социальные взаимодействия, используется все реже (рис. 3).

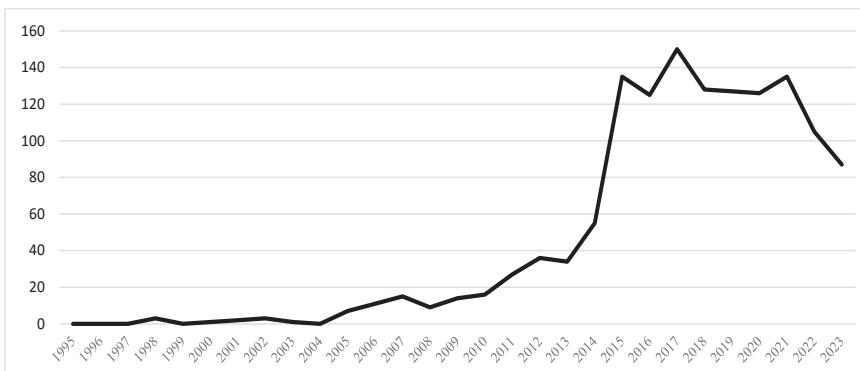


Рис. 3. Активность исследований сопряженности пары тегов «мобильность и социальные взаимодействия» в публикациях научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за последние 30 лет (единиц цитирования)

В концепциях *сетевых структур* нет распространяемой на все ситуации тотальной нормативности институтов [22], которые жестко определяли бы характер мобильности. Здесь мобильность значительно более независима от характера связей и отношений между людьми. Сети — это уже не фактическая, а дополненная социальность, социальность, формирующаяся в реальных и социальных связях [23]. Здесь мобильность может осуществляться динамично и мало зависеть от всех иных обстоятельств, в частности в виртуальных сетях. Виртуальные сети не существуют физически, но от этого их социальная роль и значение для мобильности нельзя недооценивать: виртуальное потенциально всегда может стать реальностью, опосредованно и косвенно влиять на характеристики мобильности [24]. Малые и большие сетевые группы все чаще становятся физически мобильными, когда, например, участники виртуальной сети организуют съезды, проводят слеты и конференции, перемещаясь по реальному пространству. Как показывает М. Кастельс, сетевой мир — мир искусственной социальности, мир принципиально иной социальности, где «общество, социальная структура которого состоит из сетей, работающих на основе информационных и коммуникационных технологий, основанных на микроэлектронике» [25: 3–4].

Роль сетевого общества в современном мире заключается в его превращении в комплекс социальных структур, влияние которых

активно распространяется на все стороны жизнедеятельности современных людей мотивируя и побуждая к различным мобильностям [26: 140–141]. Это социальность, созданная и масштабируемая деятельностью ИТ-специалистов — результат их усилий и их труда, результат реализации потребностей и ценностей этих профессионалов. В этой социальности, где мое «Я» и мир моих ценностей, дополнены информационными технологиями и микроэлектроникой, может складываться максимум возможностей для мобильности [27]. Примером такого социального феномена в значительной степени служит «цифровое кочевничество» — новая форма социальной мобильности, к которой проявляется все большее внимание [28; 29; 30; 31].



Рис. 4. Активность исследований сопряженной пары тегов «сети и мобильность» в публикациях научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за последние 30 лет (единиц цитирования)

Как видно на графике (рис. 4) сопряженность тегов мобильность — сети за последние двадцать лет выросла в десятки раз (с 4 публикаций в 2003 г. до 161 в 2023 г.)

Стратегии исследований социальной мобильности и их эволюция

Проведенный анализ показывает, что начало исследований мобильности как характеристики современного социума было положено в 1990-е г., когда понимание потока вышло за рамки изучения «структур», «взаимодействий» и «сетей» [22: 9–11]. В этот период потоки начинают рассматривать в качестве центрального атрибута

социальности: их начинают признавать новой интегрирующей силой социума (С. Лэш и Дж. Урри). Потоки — альтернативное измерение интеграции, — «альтерсоциальный» мир, — мир абсолютной свободы и изменений [32], где даже сами люди могут рассматриваться не как фиксированные сущности, но как непрерывные изменения (Б. Латтур). При этом виртуальные и материальные потоки одновременно и пространственны, и темпоральны [33]. Отсюда и критерии изучения потоковой социальности, которые определяются у Д. В. Иванова как способность к изменениям, как темпы встраивания в глобальные потоки, как «векторы», «вязкость» и «степень материальности» [22: 10]. Похожие выводы делает Дж. Урри. Автор выделяет временные и динамичные параметры изменений, а в качестве индикаторов мобильности рассматривает направленность, плотность и интенсивность потоков [34]. В отличие от предыдущих концептуальных подходов и позиций потоковые характеристики общества актуальны не расширением или более объемным охватом участников социума, центральной характеристикой «потоковости» выступает *скорость изменений и динамизм трансформаций — бесконечные формы мобильности* [35].

В естественных науках время и скорость изменений определяют как «четвертое» измерение. Аналогично такое определение может быть использовано и в социологии, где скорость непрерывно меняющихся связей может быть представлена как основная характеристика мобильности (рис. 5).

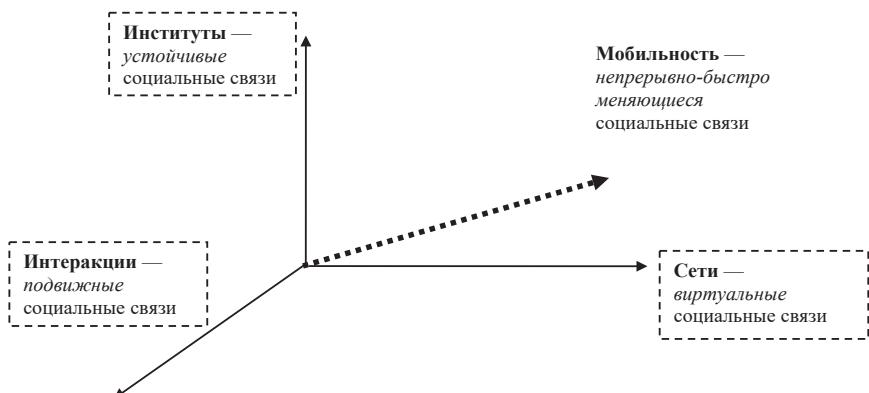


Рис. 5. Потоковые характеристики как четвертое измерение социальных реалий

Одновременно в рамках показанных контуров сопряжения потоковости с другими элементами социальной реальности, можно выделить узловые позиции, которые раскрывают эволюцию научных взглядов на социальную мобильность, которые следует определить как различные этапы исследования данного предмета:

1. В 70-х гг. XIX века мобильность рассматривается как результат действующей внешней силы и обстоятельств — социальных институтов, диктующих направленность и интенсивность мобильности преимущественно экономическими интересами;

2. На рубеже XX века объяснение источников мобильности трактуется как результат столкновения отношений, интересов и отставания ценностей — интеракций;

3. С 1930-х гг. методологический интеграционный поход объясняет мобильность как синтез разнообразных факторов, включая материальные и духовные, объективные и субъективные обстоятельства;

4. С 70-х гг. прошлого века, мобильность связывается со статусными и ролевыми позициями личности, изменение которых способствует приспособлению к условиям социальной обстановки;

5. Примерно в этот же период начинаются широкомасштабные исследования вертикальной мобильности и множества гипотетических предположений о ее источниках и мотивах. Центральные места в этих исследованиях занимают предположения о растущей роли технологической подготовки в интенсификации мобильности и влияние на социальные перемещения передовых профессиональных групп в социальной структуре;

6. В условиях XXI столетия исследования мобильности смещаются в направлении интересов карьерных устремлений представителей новых профессий, прежде всего профессий, возникающих в социальных сетях;

7. В этот же период возникает новая теория мобильности, объясняющая социальную структуру общества как динамическую мобильность и мобильность его основных элементов, измеряемых временными параметрами.

По существу, теоретические подходы к исследованиям мобильности сводятся к ряду парадигмальных позиций, которые фиксируют разнонаправленные методологические принципы конструирования стратегий исследований мобильности:

- а) дифференцированного (институты и интеракции) / интеграционного исследования мобильности;
- б) объяснения структурных / функциональных особенностей мобильности;
- в) статусных / ролевых изменений;
- г) элементного / системного подхода к пониманию трансформаций;
- д) изменения характера мобильности в координатах традиционного / модернистского (например, информационного) общества;
- е) осознания мобильности, определяющейся внешними/внутренними факторами;
- ж) оценки времени и скорости изменений / статичности как основного параметра в характеристике мобильности.

Таковы основные выводы об эволюции подходов в исследованиях мобильности в европейской социологии.

Заключение

Подводя итог анализу концептуальных подходов к мобильности как научной проблеме в социологии, следует зафиксировать основные выводы. Объективно социальная мобильность не просто сопровождает развитие социума всю историю человечества, начиная с доцивилизационных времен, *мобильность выступает имманентной характеристикой любого социума* [36]. В разные эпохи процессы социальной мобильности протекают по-разному: социальная мобильность в традиционном обществе, в кастовой и сословной социальных системах ограничена, она активизируется в индустриальном обществе и становится одной из основных характеристик постиндустриального общества.

Существует множество видов социальной мобильности (политическая, экономическая, культурная, моральная, информационная пр.). Тип и вид социальной мобильности определяется характером общества и характером деятельности субъектов и объектов мобильности. По-особому складывается мобильность новых профессиональных групп. Специфика мобильности новых профессиональных групп связана с появлением профессий, т. е. с деятельностью, которая предполагает получение заработка на основе специальной теоретической и практической подготовки в определенных сферах труда.

Профессиональная мобильность связана и влияет на другие виды мобильностей. Сформированные новые профессиональные ценности по-разному влияют на другие социальные ценности. Изменения и переходы, обусловленные профессиональной мобильностью, неизбежно становятся социальным механизмом переноса всех иных ценностей, которыми обладают их носители — люди, организации, продукты их трудовой деятельности. Между профессиональными ценностями и ценностями других видов формируются как единство и гармония, так и конфликты и противопоставления.

В традиционном обществе профессиональные мобильности менее развиты в силу невысокого уровня дифференциации трудовой деятельности. В индустриальном и постиндустриальном обществе на основе множественного разделения труда профессиональная мобильность приобретает более очерченные характеристики в соответствии с характером трудовой деятельности (физический — умственный, управление — исполнение и пр.). Переходы из профессии в профессию с одной стороны, становятся все более затрудненными и ограниченными, с другой — изменения на рынке труда востребует все более часто осуществлять профессиональную мобильность. Профессиональная мобильность, как внутрипрофессиональная, так и межпрофессиональная мобильность, приобретает все более массовый характер. В постиндустриальном обществе профессиональная мобильность рассматривается как устойчивая и нарастающая по интенсивности закономерность, охватывающая все большее число акторов.

Проведенный анализ концептуальных ориентаций исследования мобильности в российской социальной науке на наш взгляд подтверждает актуальность разработок тематики проблем динамики постиндустриального общества в направлении дополненной современности [37: 23] и фактически подтверждает оценку этих исследований как инновационного направления, и как перспективы позволяющей преодолевать понятийные и методические противоречия и противопоставления, характерные для некоторых теорий мобильности.

Литература

1. Урри Дж. Мобильности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 5 (111).

2. Лебединцева Л. А., Дерюгин П. П. Бизнес и социальное предпринимательство: обзор основных теоретических моделей // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19/ № 1.
3. Индекс социальной мобильности: индикатор равенства возможностей — ECONS.ONLINE. <https://econs.online/articles/details/indeks-sotsialnoy-mobilnosti-indikator-ravenstva-vozmojnosti/>.
4. Малоподвижность россиян вредит национальной экономике <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-teoretiko-metodologicheskikh-podhodov-k-issledovaniyu-sotsialnoy-mobilnosti-v-zarubezhnoy-sotsiologii-kratkiy-obzor> (дата обращения: 17.10.2024).
5. Самитдинов И. З. Развитие теоретико-методологических подходов к исследованию социальной мобильности в зарубежной социологии: краткий обзор // Социодинамика. 2023. № 6.
6. 12 профессий с восходящей мобильностью (плюс рабочие обязанности и оплата) <https://buom.ru/12-professij-s-voshodyashhej-mobilnostyu-plyus-rabochie-obyazannosti-i-oplata/> (дата обращения: 01.08.2024).
7. Иванов Д. В., Асочаков Ю. В., Богомягкова Е. С. Включенность в интернет-коммуникации и креативность в социальных сетях как показатели социального развития // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. № 2.
8. Голенкова З. Т., Сушко П. Е., Стрельникова А. В. Территориальная мобильность в контексте социально-статусных изменений // Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты / отв. ред. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, П. Е. Сушко. М., 2019.
9. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М., 2005.
10. Андреева Т. А. Оценка роли институциональных механизмов в формировании и функционировании мезоэкономических систем на примере кластерных образований // Журнал СФУ. Гуманитарные науки. 2023. № 10.
11. Власова О. А. Социология человека Ирвинга Гофмана: личность как со- противление социальному в теориях стигматизации и тотальных институций // Социологический журнал. 2011. № 4.
12. Goffman E. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs, N.J., 1963.
13. Социальная мобильность в традиционном обществе: сборник научных статей / под ред. Ю. А. Павлова. Хабаровск, 2012.
14. Рахманов А. Б. Социальная философия К. Маркса и Ф. Энгельса и ее антиномии. М., 2012.
15. Черныш М. Ф. Социальная мобильность среднего класса // Управленческое консультирование. 2007. № 1.

16. Дука А. В. Мобильность и эндогенность региональных политико-административных элит // Власть и элиты. 2021. № 1.
17. Баликаева М. Б. Развитие профессиональной мобильности будущих инженеров в социально-культурной среде вуза: теоретико-методологические основы. Том. Часть I. Тюмень, 2017.
18. Титаренко Л. Г. Зачем социологии нужна новая интегративная парадигма? // Социологический журнал. 2022. № 3.
19. Катаев Д. В. Категории «смысла» и «понимания» как интеграция обыденного и теоретического знания в социологической парадигме Макса Вебера // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1(29).
20. Шпакова Р. «Завтра было вчера» // Социологическое обозрение. 2003. № 3.
21. Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты / отв. ред. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, П. Е. Сушко. М., 2019.
22. Иванов Д. В. К теории потоковых структур // Социологические исследования. 2012. № 4.
23. Кужелева-Саган И. П., Сучкова Н. А. Онтология сетевого общества и культура цифровых кочевников: методологические подходы // Вестник Томского государственного университета. 2019.
24. Дерюгин П. П., Лебединцева Л. А., Ярмак О. В., Травин Р. А. Ценности и человеческий капитал сотрудников корпорации: опыт сетевой диагностики // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 4.
25. Castells M. Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint // The network society: a cross-cultural perspective / ed. by M. Castells. Cheltenham; Northampton, MA, 2004.
26. Саяпин В. О. Сетевое общество как матрица современной структуры социальной виртуальности // Манускрипт. 2016. № 1 (63).
27. Добринская Д. Е. Цифровое общество в социологической перспективе // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2019. № 25 (4).
28. Арпентьевева М. Р. Цифровойnomадизм и идентичность // Сборник материалов III Международной трансдисциплинарной научно-практической WEB-конференции «Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский тренд». Томск, 2017.
29. Кужелева-Саган И. П. Бизнес-коммуникации в условиях цифрового кочевничества // Наука о коммуникации как дисциплина и область знания в современном мире: диалог подходов: сб. ст. по материалам международной научной конференции. М., 2015.

30. Кужелева-Саган И. П. Культура цифровых кочевников и возможные подходы к её изучению // Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский тренд. Сборник материалов III Международной трансдисциплинарной научно-практической WEB-конференции. Томск, 2017.
31. Яковлева Е. Л., Селиверстова Н. С., Григорьева О. В. Концепция электронного кочевника: риски развития цифровой экономики // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 4.
32. Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Модерн и процесс индивидуализации: исторические судьбы индивида модерна. М., 2017.
33. Shields R. Flow as a new paradigm, Space and Culture. 1997. No. 1.
34. Urry J. Mobile Sociology // British Journal of Sociology. 2000a. Vol. 51. No. 1.
35. Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. М., 2012.
36. Freudendal-Pedersen M. Mobility in daily life: Between freedom and unfreedom. London, 2016.
37. Иванов Д. В. Третья интегративная волна в развитии социологии. Ч. 2. Теории и методы для дополненной социальной реальности // Социологические исследования. 2024. № 7.

E. A. Oрех¹

ЕЩЕ РАЗ О ПРЕДМЕТЕ ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

В современном мире, где циркулирует огромное количество информации, где значительный объём этой информации представлен с помощью изображений, наблюдается повышенный интерес к сфере визуальных образов и презентаций. Не ослабевает интерес к визуальным материалам и среди социальных учёных. С одной стороны, визуальные документы являются потенциальным источником знаний, весьма доступным и в то же время масштабным; с другой стороны, поиск верифицируемых способов сбора, обработки и анализа такого специфического вида информации остаётся актуальной задачей, результаты имеющихся исследований достаточно скромны. Одна из неразрешённых проблем направления, закрепившегося в отечественной науке под названием «визуальная социология», связана, как ни странно, с отправной точкой разговора о визуальных исследованиях в социологии — с определением её предмета.

На сегодняшний день в этой сфере исследований у отечественных авторов сложилась довольно специфическая ситуация. Если проанализировать данные из базы статей РИНЦ, суммировав по годам научные статьи, содержащие в названии и ключевых словах словосочетание «визуальная социология», то мы увидим, что после всплеска интереса в 2014 году число публикаций остаётся достаточно стабильным, не растёт, но и не сильно падает, оставаясь в целом сравнительно небольшим². Вероятно, такая динамика характеризует периферийность визуальной проблематики, продолжающей тем не менее привлекать стабильное внимание исследователей-социологов. Трудно ответить на вопрос, с чем связана устойчивость запроса на проблематику визуальной социологии при выборе исследовательских вопросов: с возможностью ли несложной публикации в «мутной воде» неразберихи в терминологии и методах, или всё же в том, что

¹ Орех Екатерина Александровна — канд. социол. наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

² Так, публикации начинаются с 2007 года, первые три года выходят от одной до четырёх статей в год. Всплеск фиксируется в 2014 году — 18 упоминаний словосочетания «визуальная социология» в названиях статей и ключевых словах. Затем подобные всплески случались в 2018 году (23 статьи) и в 2021 году (16 статей).

желание привлечь и задействовать такой богатый и доступный объём визуального материала продолжает бередить умы отечественных специалистов.

Для любого исследовательского направления, претендующего на обособленность от общей социологической проблематики, важнейшим является вопрос оригинальности предмета исследования. Чем занимается визуальная социология? Есть ли у неё свой собственный специфический предмет? Иными словами, легитимно ли выделение визуальной социологии в отдельное исследовательское направление, или все попытки этого выделения являются не более чем спекуляциями?

Предварить рассуждения на этот счёт хотелось бы констатацией того факта, что само словосочетание «визуальная социология» закрепилось в отечественной социальной науке с подачи Петра Штомпки при выходе его одноименного учебника в 2007 году [1]. Термин «визуальная социология», может быть, и не является идеальным в плане передачи смысловой составляющей на русском языке. Так, не совсем понятно, какая социология могла бы не являться визуальной — аудиальная? вербальная? текстовая? Но тем не менее, в определённой степени описывает исследовательскую область. При этом потребность в обособлении исследований, основанных на обращении к визуальным материалам, в отечественной социологии существовала и продолжает существовать, периодически обозначаясь в научных публикациях. Так, недавним запросом подобного рода явились статьи, предлагающие говорить не общо о визуальной, а о «видеосоциологии» [2; 3]. Обратившись к опыту западных коллег, мы увидим тенденцию использовать вместо словосочетания «визуальная социология» близкие по значению определения — «социология изображений». Так, например, поступают исследователи университетов Швейцарии [4]. При этом стремлении использовать синонимичные определения отказа от использования словосочетания «визуальная социология» не происходит.

Уместно будет вспомнить и тот факт, что в социологии есть области и исследовательские направления, определение предмета и основных терминов которых сталкивалось с определёнными сложностями и продолжает оставаться дискуссионным. Достаточно упомянуть политическую социологию. Дискуссию о том, что именно является «политическим», а также в чём специфика «политической сферы» в отли-

чие от других, начал ещё известный философ Карл Шмитт [5]. Так, он обращает наше внимание на то, что «политическим» при соблюдении определённых условий может стать абсолютно любой вопрос, поэтому говорить об одноимённой сфере, проводя параллели, например, со сферой экономической социологии или социологии семьи некорректно. Вышедший в 2012 году перевод текста Бруно Латура продолжает традицию критического разбора терминологии, предлагая читателю подумать о как минимум пяти определениях «политического», соответствующих различным теоретическим направлениям [6]. Тем не менее всё это не мешало и не мешает нам говорить о социологии политики как обоснованной сфере исследовательского интереса, полноценной области исследований.

Вернёмся к предмету визуальной социологии. Как его обозначают исследователи? Начать следует с вышеупомянутого Петра Штомпки как первооткрывателя визуальной социологии для нашей отечественной социологической аудитории. Он констатирует: «Визуальные представления плюс визуальные проявления совместно образуют визуальный универсум общества, иначе говоря, «общественную иконосферу», что, собственно, и является предметом визуальной социологии» [1: 1]. Понятия «визуальных представлений» и «визуальных проявлений» требуют дополнительных разъяснений: речь идет об образах как уже существующих вокруг нас, так и тех, которые могут быть целенаправленно созданы исследователем, стремящимся заметить зрительно и запечатлеть различные аспекты социального взаимодействия [1: 12]. Мы видим, что Штомпка даёт достаточно конкретное определение, хотя это определение не столько предмета, сколько объекта визуальной социологии: речь будет идти об образах, так или иначе связанных с человеческим существованием, являющихся продуктом этого существования.

Однако, как справедливо отмечают критики тезиса о самостоятельности направления «визуальная социология», любая из отраслей исследования, любая из сфер жизни включают образную (визуальную) составляющую [7]. Отсюда возникает вопрос, в чем же всё-таки заключается специфика исследовательского направления. Посмотрим на другие попытки её обозначить.

Так, в одной из первых статей, посвящённых новому для отечественной науки направлению исследований, Ольга Сергеева отмечает,

что визуальная социология анализирует общество и культуру, используя изображения и другие визуальные объекты [8]. Наталья Захарова начинает свой текст с утверждения, что визуальная социология — это метод, который является одним из качественных методов в социологии [9]. Из текста Елены Рождественской можно вывести определение визуальной социологии как направления исследований, концентрирующихся на анализе визуальных источников, прежде всего фотографии, но и видео тоже [10]. В статье Юлии Грибер мы видим тезис о том, что визуальная социология является особым способом расшифровки изображений, переводящим данные наблюдений на язык вербальных аналитических суждений [11]. Наталья Нарская говорит, что визуальная социология интересна в первую очередь своим подходом к рассмотрению социальной действительности через артефакты, познаваемые визуально [12]. В обзорном тексте Екатерины Исаевой, посвящённом суммированию идей о теоретических основах визуальной социологии, значится, что её цель — использование визуальных образов в качестве достоверных данных о социальной реальности [13].

Все перечисленные варианты через фиксацию специфики объекта (визуальные материалы) или метода (работы с изображениями) говорят нам, по сути, об одном и том же. Мы видим, что визуальная социология трактуется не только как исследовательская сфера, сколько как подход к исследованию, концентрирующийся на особого рода материалах для анализа. В таком случае получается, что у визуальной социологии нет своей специфики — ведь она занимается тем, что и социология в целом, фиксируя внимание на определённых (визуальных) источниках, то есть, её будет отличать объект анализа и, возможно, методы, но не предмет. Перечень статей, придерживающихся именно такого понимания визуальной социологии, легко продолжить.

И всё-таки позволим себе не согласиться с такой точкой зрения на предмет. Обратим внимание на один из первых текстов в поле отечественных работ по визуальной социологии, в котором Оксана Запорожец так говорит о «новом» направлении анализа: «Исследовательская перспектива визуальной социологии потенциально двойственна: это изучение социального посредством визуального и самого визуального как социального конструкта» [14]. Этот тезис имеет, на наш взгляд, принципиальное значение: мы изучаем не только образы как отра-

жение социальных представлений, мы должны анализировать визуальное как таковое, включая социальные предпосылки способности человека оперировать своими глазами, распознавая образы, создавая их, прочитывая, и, наконец, попадая под их влияние. Анализ позиции наблюдателя, процесса видения, рассматривания и т. п. важен как минимум потому, что исследователю, анализирующему изображения, необходимо отдавать себе отчет о том, что он видит, что влияет на его оценки, как он сам влияет на наблюдаемое.

Возможно ли сформулировать предметную область визуальной социологии так, чтобы говорить не только об изображениях как призме изучения социального, но и о социальных аспектах взгляда, видения, изображения? Выше мы отметили, что помимо разговора о содержании образов важно и то, как эти образы проходят через взгляд исследователя, как они могут быть собраны, в чем специфика такого сбора данных, как именно эти образы расшифровывать, от чего будет зависеть результат расшифровки, как контекст влияет на интерпретацию этих образов и т. д. Иными словами, визуальная социология — это полноценное направление исследований. При исследовательской работе в рамках этого направления следует думать и говорить не только про образы как новую призму социального анализа, но и про социальное опосредование в способности смотреть и распознавать, про обучение видению, про формирование определённого угла зрения. Следует постоянно держать в поле зрения специфику визуальной коммуникации и её последствия. Визуальная социология изучает практики, связанные с определённым видением.

Предлагаем рассматривать в качестве предмета визуальной социологии феномен «визуального опыта». Этот феномен пока ещё мало интересовал социологов, однако он активно упоминается культурологами, историками искусств, психологами. Так, привлекает внимание диссертация по культурологии, посвящённая визуальному опыту в современной культуре. Её автор Марина Крышталёва обозначает визуальный опыт как совокупность практик видения, которыми обладает человек в конкретную историческую эпоху [15: 6]. Психологи же определяют визуальный опыт как восприятие мира через зрение, синонимом в данном случае является «визуальное восприятие». С одной стороны, этот опыт основывается на видимом мире, на том, что доступно зорнию. С другой стороны, которая является принципиаль-

ной для нас как социологов, визуальный опыт зависит от человеческих предпочтений, формируемых социальной средой. Что-то мы хотим видеть, а что-то не хотим, что-то мгновенно распознаём, видим, схватываем взглядом, а что-то опускаем, пропускаем, не распознаём.

Оба эти определения отвечают интересам социологии лишь отчасти. Касательно первого определения можно отметить, что для социологов визуальный опыт — нечто большее, чем только практики видения. Говоря об определении психологов, надо понимать, что оно схватывает только аспект реализации человеческой способности видеть. Однако нам представляется важным говорить о визуальном опыте не только как о том, что реализуется здесь и сейчас, но и как о том, что формируется и изменяется, накапливается, корректируется, углубляется благодаря коммуникации, целенаправленным действиям, познанию.

Визуальный опыт следует рассмотреть как социокультурный багаж, накапливающийся у человека в связи с его физической способностью видеть. Как мы упомянули выше, он включает в себя не только практики видения в конкретную эпоху. Он, скорее, включает сформировавшиеся у человека визуальные практики вообще. Человек осваивает практики смотрения на предметы, визуального распознавания информации, оценивания увиденного. Визуальные практики включают практики прочтения образа (поверхностного или глубокого, но всегда на основе социокультурного багажа зрителя) равно как и практики его создания (как фотографирование в своём собственном индивидуальном стиле, который тем не менее детерминирован социально). Также визуальные практики — это практики визуализации (например, рисования), просмотра кинофильмов, съёмки видео. Визуальный опыт будет формироваться на пересечении совокупности усвоенных навыков. Как отмечает Марина Крышталёва, рассмотрение визуального опыта как видения, «пропущенного» через культурный контекст, близко осмыслению категории опыта в феноменологии [16].

Относится ли к предметному полю визуальной социологии такой феномен, как *лукизм*, понимаемый как дискриминация человека по внешнему виду [17]? На первый взгляд, это сфера исследований социального неравенства. В то же время если мы не рассмотрим *лукизм* в контексте социальных аспектов формирования образа мышления, способа смотрения на окружающих, мы не сможем понять, почему

му люди начинают говорить о неравенстве подобного рода лишь на определённом этапе социальной истории, на основе чего формируется очередной разрыв в восприятии людей как более ценных или менее ценных и т. д.

В смысловой связке с визуальными исследованиями и визуальной социологией идет понятие визуальных методов. Прежде всего применительно к социологии встает вопрос о соотношении «визуальных методов» и других методов социологического исследования. Встречается точка зрения, что выделение «визуальных методов» в самостоятельную терминологическую и смысловую единицу не оправдывает себя ввиду того, что в их основе лежат не что иное, как уже давно известные ключевые методы социологического обследования: наблюдение, эксперимент, опрос и анализ документов. Справедливым выглядит замечание, что многие из существующих в наше время традиционных методов исследования потенциально могут применяться при работе как с визуальными источниками информации, так и с техникой для визуальной регистрации данных [18]. Действительно, понятие «визуальных методов» не выглядит самым удачным наименованием. Тем не менее мы вполне можем говорить о группе методов, основанной на привлечении изображений в исследовательский процесс. Когда идет речь о визуальных методах в социологическом исследовании, имеются в виду способы сбора и анализа данных, базирующиеся на использовании визуальных материалов в качестве источника информации или исследовательского инструмента, позволяющего её получить.

Изображения как источник информации незаменимы в тех случаях, когда образ может передать информацию более точно, чем слово. Так, очень трудно выразить словами личностное восприятие социального пространства города, но если попросить респондента изобразить его собственный опыт (например, перемещения по городу на общественном транспорте или в инвалидной коляске) в виде своеобразной карты, то можно провести такой анализ. В исследованиях, посвященных функционированию и распространению визуальных артефактов — например, в случае изучения того, как воспринимается визуальная реклама или как с помощью фотографий конструируется идентичность, — без анализа содержания изображений исчезает возможность вести речь о предмете изучения.

В других случаях изображения будут ценным источником информации тогда, когда визуальный образ представляет собой альтернативу слову, проявляя специфическое субъективное восприятие окружающего мира. Выраженным посредством изображения может стать нечто, ускользавшее от внимания социологов, ранее неизвестное им — например, проблемы того или иного сообщества, способы взаимодействия внутри маргинальной социальной группы. Конечно, можно задать респонденту вопрос, но лишь о том, о чем социолог имеет представление; анализ серии изображений, созданных человеком, может «рассказать» о его жизненном мире гораздо лучше слов, предоставить исследователю новую, порой неожиданную информацию. В случае, когда принципиальное значение имеет субъективный опыт члена исследуемой социальной общности — опыт, отличающийся от опыта исследователя, — изображение (вместе со словесными комментариями, а иногда даже и само по себе) может проявить, сделать доступными пониманию скрытые смыслы и значения. Изображения, работающие в качестве исследовательского инструмента, могут выступать своеобразным стимулом, направляющим внимание респондента на интересующие исследователя вопросы (например, когда они инициируют понимание темы в интервью или способствуют процессу воспоминаний).

Существуют представления о том, что исследования, основанные на привлечении визуальных свидетельств, страдают субъективизмом. Когда интерпретируется изображение, велика вероятность ошибиться, понять его смысл неправильно, что-то упустить или, напротив, додумать, привнести дополнительное значение. То, что увидит на картине (фотографии, рекламном плакате) один человек, совершенно не обязательно будет очевидным для другого. Это — результат огромного количества смысловых оттенков, которые могут быть переданы с помощью изображения. В то же самое время это — следствия визуального опыта, «насмотренности», социокультурного влияния на зрителя.

Выше был очерчен круг ситуаций, в рамках которых применение визуальных методов является обоснованным. Визуальные методы являются подвидом качественных методов социологического исследования, этим определяется их специфика — круг решаемых с их помощью задач и характер получаемых результатов. Можно использовать эти методы при рассмотрении новых явлений или ситуаций,

для описания которых пока отсутствуют признанные теории и разработанные понятия. Также необходимо понимать, что полученные результаты исследования будут носить вероятностный характер. Следует отметить, что тематика социологических исследований, предполагающих обращение к визуальным методам, не очень широка. Визуальные методы применяются в двух основных тематических направлениях: в исследованиях культуры (например, при изучении идеологической составляющей визуальных артефактов, при исследовании ценностных оснований субкультур) и в исследованиях субъективной перспективы видения мира (например, при изучении городского пространства с точки зрения горожан, исследовании повседневных практик и т. п.).

Визуальные методы могут быть классифицированы в зависимости от цели, с которой визуальные документы привлекаются в процесс исследования (как вспомогательный материал, позволяющий получить более полные данные, или как самостоятельный источник социологической информации). Также можно говорить о визуальных методах в широком смысле слова, имея в виду любой вариант обращения к визуальным свидетельствам в процессе исследования, и более узко — применительно к методам, которые предполагают использование визуальных документов на одном из этапов работы с респондентом. Отдельно следует сказать о методах «прочтения» изображений. Последние не являются специфически социологическими и применяются во многих гуманитарных науках.

Отдельным вопросом, нуждающимся в комментарии, является специфика научных результатов, характер получаемых в ходе визуальных исследований данных. Стоит обратить внимание на тот факт, что по итогу анализа визуальных образов мы сможем говорить не о социальной реальности как таковой, а только о представлениях о ней. Занимаемся ли мы картированием с респондентами, или просим их высказаться с помощью фоторассказа, изучаем ли мы кинотексты или фотографии — мы не выйдем за рамки представлений всех тех людей, которые предоставили нам возможность работать с их визуальными материалами. Правда, популярна идея, ярко описанная ещё Петром Штомпкой в его учебнике, что, например, фотография как документ позволяет нам выявлять некие социальные связи и отношения, причём фотографирующий (чаще всего сам исследователь)

выступает здесь не в роли субъекта, выбирающего предмет съемки и неизбежно под влиянием своего видения искажающего реальность, а в виде якобы нейтрального наблюдателя и исполнителя [1: 72–76]. В качестве типичного примера таких представлений можно привести исследование рассадки членов Учёного совета [19]. Автор действительно предъявляет зрителям фотографии, их анализирует и приходит к выводу о ранжировании и неравенстве, проявляющихся в том, какие места занимают те или иные члены Совета. Однако социальным исследователям не нужна визуальная социология и фотографирование для того, чтобы сказать, что у членов Учёного совета есть своя иерархия. А основываться на фотографии в прикладных целях чёткого определения статусных позиций конкретных людей всё же не представляется надёжным методом.

Таким образом, несмотря на то, что в отечественной визуальной социологии попытки определить её исследовательский предмет сводятся к анализу социального сквозь призму презентаций, что лишает это направление претензий на самостоятельность и обоснование от других направлений, мы считаем, что специфичность и аутентичность этого вида социологических исследований становится очевидной при иначе сформулированном предмете. Визуальный опыт — категория, которая даёт нам возможность иначе взглянуть на исследовательское поле визуальной социологии. Развитие этой категории в полноценный теоретико-методологический концепт не только будет способствовать легитимации визуальной социологии в качестве особого направления или отрасли научных исследований. Визуальный опыт — концепт, важный для теоретического осмысливания повседневности, социальных структур и процессов в современном обществе, насыщенном многообразной информацией и мультимедийными коммуникациями.

Литература

1. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник / пер. с польского. М.: Логос, 2007.
2. Баньковская С. Видеосоциология: теоретические и методологические основания. Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 2. С. 129–166.
3. Максимова А. Использование видео для изучения социального взаимодействия. Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3. С. 91–121.

4. От социологии изображений к визуальной социологии. Интернет-источник: URL: <https://wp.unil.ch/unimedia/de-la-sociologie-de-limage-a-la-sociologie-visuelle/> (дата обращения: 01.10.2024).
5. Шмитт К. Понятие политического // Антология мировой политической мысли. Т. II. М.: «Мысль». 1997. С. 290–310.
6. Латур Б. Коперниковский переворот в политической теории // Социология власти. 2012. № 6–7. С. 235–255.
7. Богданова Н. М. «Визуальная социология» — новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 67–79.
8. Сергеева О. В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XI. № 1. С. 136–146.
9. Захарова Н. Ю. Визуальная социология: фотография как объект социологического анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Т. XI. № 1. С. 147–161.
10. Рождественская Е. Ю. Перспективы визуальной социологии // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 70–83.
11. Грибер Ю. Многоцветная открытка как источник изучения колористики города начала XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6. Ч. 3. С. 68–72.
12. Нарская Н. В. Визуальная социология: из истории становления // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 67-й науч. конф. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. С. 736–742.
13. Исаева Е. Ю. Визуальная социология как область научного знания: анализ теоретических основ в трудах западных социологов // Гуманитарий юга России. 2019. Т. 8. № 6. С. 155–170.
14. Запорожец О. Н. Визуальная социология: контуры подхода // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2007. Т. 3. № 4. С. 33–43.
15. Крышталева М. К. Визуальный опыт в аналитике современной культуры: автореферат дисс. кандидата культурологии: 24.00.01. Санкт-Петербург, 2015.
16. Крышталёва М. Визуальный опыт человека в современной культуре // Общество. Среда. Развитие. 2014. № 2. С. 165–168.
17. Орех Е. А. Феномен лукизма и возможности его социологического анализа // Социологический журнал. 2016. Том 22. № 3. С. 67–81.
18. Богданова Н. М. «Визуальная социология» — новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 67–79.
19. Тохтобина О. Л. Публичное пространство учёного совета: опыт визуальной социологии // Социогуманитарный вестник. 2011. № 2. С. 43–45.

E. С. Богомягкова¹

НА ПУТИ К НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ²

Введение

Периоды социальных изменений традиционно характеризуются ростом социальных проблем. Стремительная ситуация не является исключением. В условиях цифровой трансформации наряду с привычными социальными проблемами, такими, как бедность или положение пожилых, активно дискутируются и новые — цифровой разрыв, цифровая зависимость и др. Социальные проблемы выступают рутинным объектом интереса социологии, причем настолько рутинным, что необходимость какой бы то ни было рефлексии о теоретических основаниях их изучения слабо осознается современными учеными. Выполняя социальный заказ на диагностику текущего положения дел и формулирование предложений по решению социальной проблем, социологи нечасто обращают внимание на ту перспективу, из которой осуществляется исследование [6], а используют категории, предложенные государством и / или экономической элитой. Развитие системы понятий и построение теоретических моделей не являются сегодня популярными темами для публикаций.

Стремительную ситуацию в поле изучения социальных проблем можно охарактеризовать как кризис теории. Многочисленные эмпирические исследования опираются либо на концепции, разработанные в XX в., либо вовсе не используют какой-либо внятный концептуальный аппарат. До сих пор большинство из них базируются на объективистских представлениях о социальных проблемах. Социальный конструкционизм — концепция, которой уже более полу века позиционируется как самая современная, а для части российского социологического истеблишмента и вовсе до сих пор предстает как маргинальная. Однако, социальная реальность драматически меняется: сегодня речь идет о формировании гибридной, дополненной реальности, сочетающей различные типы социальных структур [10; 11].

¹ Богомягкова Елена Сергеевна — канд. социол. наук, доцент кафедры теории и истории Санкт-Петербургского государственного университета.

² Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 24-18-00261.

В результате концепции, созданные для объяснения процессов, происходивших в XIX–XX вв., становятся не чувствительными к актуальной ситуации. Несмотря на предпринимающиеся редкие попытки апгрейда теории социальных проблем [3; 32; 33], остро чувствуется дефицит оригинальных разработок. Вопрос о том, что собой представляют социальные проблемы и какую роль сегодня играют социологи в их решении, оказывается отнюдь не праздным, поскольку способность социальной науки диагностировать, объяснять и предлагать решения социальных проблем является маркером ее общественной полезности.

Статья представляет собой попытку обновления теории социальных проблем, учитывающего социальные изменения рубежа XX–XXI вв. Сначала мы кратко опишем историю становления социологии социальных проблем, затем дадим краткую характеристику основным существующим на данный момент концепциям. В заключение предложим свой вариант развития социологии социальных проблем.

Становление социологии социальных проблем

На первый взгляд, кажется очевидным, что социальные проблемы в том виде, как мы их понимаем сейчас, существовали всегда. Однако, это не так или не совсем так. С одной стороны, трудно отрицать, что социальные несчастья — бедность, социальное неравенство, болезни — сопровождали общество на протяжении истории. С другой стороны, они считались следствием естественной природы вещей, человеческой сущности и / или установленного божественного порядка [27] и не рассматривались как социальные проблемы, т. е. как задачи для социального действия [13]. Превращение социальных вопросов, дискутируемых в среде образованной части общества, в цели социального реформирования стало знаковым для науки.

Несмотря на то, что в качестве одной из значимых предпосылок возникновения социологии значится рост социальных проблем вследствие индустриализации, урбанизации, социального расслоения, трансформации политических систем, характеризующих европейские общества эпохи модерна, в то же время можно утверждать и обратное — социальные проблемы сами являются продуктом новой науки. Это может звучать провокационно и парадоксально, но речь идет не только и не столько о появлении новой терминологии, сколько

фактически об открытии нового феномена социальной реальности. Именно социология не только превратила социальный мир в наблюдаемое пространство, но и обосновала возможность и необходимость его изменения согласно идеалам социального прогресса. Не случайно проект О. Конта включал позитивную науку — социологию — и позитивную политику — моделирование социальной эволюции на основе достоверного, эмпирически обоснованного знания. Это означало, что новая наука, находящаяся на вершине иерархии знания, должна не только поставлять данные о современном обществе, но и вносить вклад в обеспечение социального прогресса, т. е. быть полезной [17]. «Знать — чтобы предвидеть, предвидеть — чтобы управлять» — этот лозунг О. Конта был с энтузиазмом воспринят его последователями.

Другой крупнейший мыслитель XIX в. К. Маркс предложил альтернативное видение социальных изменений, а также объяснение сил, лежащих в их основе. Место «умственной эволюции человечества» О. Конта заняла динамика способа производства, детерминирующего все социальные, политические, культурные и т. д. институты. Между тем и у Маркса мы находим обоснование необходимости и возможности преобразования социальной действительности силами человека: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его» (К. Маркс «Тезисы о Фейербахе»). Несмотря на то, что термин «социальная проблема» авторами не использовался, они вели речь о несправедливости существовавшего порядка и необходимости его изменения в сторону различным образом понимаемого социального идеала: союза ученых и промышленников в случае О. Конта и социальной революции и перехода к коммунистическому обществу в ситуации с К. Марксом. Таким образом, «социальное зло» (неравенство, бедность) рассматривалось как производное от общественного порядка, а потому с его изменением сами собой должны исчезнуть и социальные проблемы.

На рубеже XIX–XX вв. изучение социальных проблем развивалось по двум параллельным прямым. С одной стороны, это теоретическое осмысление социальных процессов, реализуемое в форме проектов общественной эволюции, в результате которой социальные проблемы должны быть нивелированы (О. Конт, К. Маркс). С другой стороны, в странах Западной Европы, США, России активно проводились социальные обследования (social surveys) — именно так на-

зывался в XIX в. сбор и анализ статистических и эмпирических данных. Ученых интересовали положение рабочего класса, бедность, неравенство, различные болезни и девиации (алкоголизм, нищета, преступность, проституция), обусловленные разрушением традиционных социальных структур, ростом городов и индустриализацией. В качестве примеров можно отметить исследования Ч. Бута, А. Кетле, Л. Виллерме, А. Дюшатле, В. М. Тарновского, В. В. Берви-Флеровского, У. Дюбуа [13; 18; 20; 21; 24]. В ходе таких обследований отрабатывались методологические и технические аспекты, связанные с формулировкой вопросов для интервью и анкет, построением выборки, обработкой результатов. В некоторых случаях полученные данные были положены в основу разработки и реализации социальных реформ.

Своего наибольшего расцвета изучение социальных проблем достигло в США, где в отличие от Западной Европы, социология возникла, прежде всего, как социология социальных проблем, характеризующаяся либеральной критикой, а также стремлением не к кардинальным изменениям общества в духе идей К. Маркса, а к улучшению отдельных его аспектов, к социальному реформированию. В отсутствие в ранней американской социологии мощных концепций, сравнимых с теориями К. Маркса или Г. Спенсера, социология изначально выступала как прикладная наука, ориентированная на обеспечение и обоснование реализации задач социальной политики. Достаточно вспомнить выдающийся пример ученых Чикагской школы, продемонстрировавших возможности социологии не только в исследовании проблем современного им города, но и во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

Таким образом, в отношении социальных проблем наиболее наглядно проявился изначально позитивистский характер социологии — ориентация не просто на изучение социальных явлений, но и на их активное изменение [4]. Способность помыслить несчастья, случающиеся с людьми, как феномены, имеющие социальные причины и поддающиеся социальному воздействию, стало результатом формирования социологического воображения. Именно поэтому разговор о социальных проблемах требует осмыслиения двух ключевых аспектов: развития теории социальных проблем, которая, в свою очередь, предполагает определенное понимание оснований социального порядка, и размышлений о роли социолога в их изучении.

В отечественной социологии представлены различные варианты систематизации концепций социальных проблем [14; 19; 22], однако, все они могут быть сгруппированы в три основных направления: объективистское, субъективистское и диалектическое. Кратко остановимся на первых двух, поскольку попытки разработки интегративного подхода к социальным проблемам на сегодняшний день нельзя назвать успешными.

Объективистские концепции социальных проблем

Исторически первыми возникли представления о социальных проблемах как о неблагоприятных объективных условиях, нарушающих социальный порядок и препятствующих удовлетворению потребностей и реализации интересов различных социальных групп. Представленный позитивистскими и функционалистскими концепциями объективистский подход был доминирующим в изучении социальных проблем до 1970-х гг., а на страницах отечественных учебников и монографий, в преподавании академических социологических дисциплин до сих пор остается фактически единственным. В его рамках социальные проблемы интерпретируются как патология, дезорганизация (Э. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецкий) или дисфункции (Р. Мerton) социальных институтов. В то время как концепция социальной патологии редко используется сегодня в реальных исследованиях, позиции двух других остаются сильными. Трактовки социальных проблем как объективных условий, выраженных в уровнях и показателях и требующих диагностики и последующего решения, оказываются созвучны обыденным представлениям, а потому находят отклик за пределами академического сообщества. О социальных проблемах говорят, когда появляется значимый разрыв между идеалами общества и его текущим состоянием [29].

Несмотря на некоторую вариативность интерпретаций, концепции, принадлежащие объективистскому подходу, опираются на понимание социальной реальности как институционально организованной, а потому появление социальных проблем связывается, прежде всего, с «неправильной работой» социальных институтов. Такой тип теоретизирования преобладал в социологии в конце XIX — начале XX вв., соответственно, и рассмотрение социальных проблем сквозь эту призму было закономерным. Второй отличительной чертой этого

подхода является обладание социологами исключительной экспертизой в обнаружении, диагностике и объяснении социальных проблем. Именно им принадлежит уникальное, зачастую представляющее как почти сакральное, знание о социальных проблемах. Социологи при таком подходе владеют инструментами измерения меры негативного воздействия «социального зла» на жизнь людей и способны вырабатывать рекомендации по изменению текущей ситуации. От социологов ожидается сохранение нейтральной и «объективной» позиции по отношению к изучаемым феноменам, что дает им право определять идеалы общества — социальную норму в широком смысле слова, — и степень их достижения в данный момент времени.

В последней четверти XX века объективистские концепции были подвергнуты серьезной критике. Во-первых, высказывались сомнения относительно способности социологов выносить непредвзятые суждения о ценностях и идеалах общества, которые могут выступать не только и не столько как итог научной деятельности, сколько как результат личных пристрастий исследователя, его заинтересованности в получении финансирования и поддержки со стороны частных фондов и государства [29]. Во-вторых, объективистски настроенные социологи оказались не способны объяснить, почему в определенный момент времени одни негативные обстоятельства становятся социальной проблемой, а другие, не менее пагубные, нет. Если на протяжении истории мы можем наблюдать всплески борьбы с бедностью (США), наркоманией и алкоголизмом (Россия), то такие феномены, как положение бывших заключенных или распространение ВИЧ-инфекции вызывают значительно меньший интерес. Внимание общественности и академического сообщества к социальным проблемам носит волнообразный характер, несмотря на незначительные колебания статистики [26]. В-третьих, так и не были выработаны единые теоретико-методологические основания изучения различных социальных проблем [2]. В-четвертых, позиция «абсолютного наблюдателя» «подвержена опасности социологической ангажированности в плане преимущественного выражения точки зрения тех институтов, которые обладают наибольшей властью и, тем самым, навязывают собственную точку зрения» [6: 84]. Описывая реальность в категориях, предложенных государством и / или экономической элитой, социолог фактически легитимизирует существующий порядок вещей, а соот-

ветственно, предлагает институционально дозволенные способы их решения.

В ответ на критические замечания, высказанные в адрес объективистских концепций, возник субъективистский подход к социальным проблемам, наиболее ярким представителем которого является социальный конструktionизм.

Социальный конструktionизм

Конструktionистский подход к социальным проблемам, основывающийся на идеях символического интеракционизма и феноменологии, возник в американской социологии в 70-е гг. XX в. Этот период характеризуется угасанием научного интереса к девиантному поведению и всплеском такового к общественным движениям как новым субъектам социальной жизни. Ряд исследователей девиаций, например, Дж. Гасфилд, С. Коэн, сменили поле научного интереса в сторону исследования социальных проблем, привнесли в них идеи и базовые допущения концепции наклеивания ярлыков. А. Месс предложил рассматривать социальные проблемы как общественные движения, а Г. Блумер — как коллективное поведение. Однако, наиболее последовательное воплощение принципов социального конструktionизма в исследовании социальных проблем мы находим в работах М. Спектора и Дж. Китсьюза [1; 8; 23]. По мнению ученых, для существования социальной проблемы ключевое значение имеет не само по себе наличие негативного условия, а его определение в качестве социальной проблемы. Так что все, что объединяет такие разные феномены, как бедность, загрязнение окружающей среды, положение людей с ограниченными возможностями, социальное неравенство, это то, что они вызывают беспокойство и являются предметом интереса для разных социальных субъектов. Это не означает, что негативные обстоятельства перестают существовать. Это означает, что они оказываются иррелевантны социологическому анализу, поскольку социальную проблему проблемой делают не степень их опасности или масштаб, а процессы коллективного определения. Социальные проблемы предстают как деятельность социальных групп по выдвижению утверждений-требований (по-английски: *claims-making activity*) — процесс, в ходе которого группа или индивид обозначает беспокоящие их условия в качестве социальной проблемы и требует их изменения [23].

Группы конкурируют между собой за право предлагать и навязывать свои способы категоризации реальности и варианты интерпретации неблагоприятных условий, стремясь к обладанию различными видами ресурсов. Социологи фокусируют свое внимание на риторике выдвижения утверждений-требований — особенностях трактовки негативных обстоятельств, стратегиях мобилизации ресурсов, а также интересах, которые преследуют акторы в «языковой игре в социальные проблемы». В рамках конструкционизма наиболее последовательно были обоснованы необходимость и возможность изучения социальных проблем в социологии, предложен самостоятельный предмет такого изучения, проведено различие между социальной проблемой и другими социальными явлениями.

В отличие от представителей объективистского подхода для конструкционистов социальность не является объективной данностью, а производится различными социальными субъектами в процессе многочисленных интеракций. Будучи воспринимаемой в качестве объективной на уровне повседневного опыта, онтологически она конструируется в ходе приписывания социальными субъектами смыслов и значений окружающей действительности. Появление и развитие конструкционистского подхода к социальным проблемам в этом смысле оказывается логичным проявлением парадигмального кризиса, развернувшегося в социологии в 1960–1970-х гг. [10].

В рамках этого направления социолог теряет монополию на исключительную экспертизу на производство знания о социальных проблемах. Теперь он выполняет две роли: исследователя и участника процессов проблематизации. С одной стороны, занимаясь изучением социальных проблем, социолог деконструирует дискурс, формируя в результате категории «второго порядка» (А. Шюц). С другой стороны, социологическое знание становится лишь одной из возможных интерпретаций того, что собой представляют социальные проблемы и какие действия в их отношении необходимо предпринять; конкурирует с версиями происходящего, предлагаемыми государством, медиа, активистами и обывателями. Будучи исследователем процесса конструирования социальных проблем, социолог одновременно выступает и одним из его участников, а предлагаемые им трактовки могут рассматриваться как конструкции «первого порядка» и сами становиться предметом социологического анализа. Отметим, что тема

социальных изменений напрямую не дискутируется в рамках этого подхода.

На сегодняшний день социальный конструкционизм является по сути последней попыткой разработки теории социальных проблем. Диалектические и интегративные варианты синтеза объективистских и субъективистских направлений [22] не приводят к оригинальным результатам и не выходят за рамки констатации необходимости одновременного учета объективных и субъективных компонентов социальных проблем.

Кризис теории социальных проблем некоторыми учеными связывается с кризисом социальности. Рассуждая о «постсоциальной» трансформации, К. Кнорр-Цетина приходит к выводу, что сегодня «происходит сокращение социальности во всех смыслах» [16: 106] и нарастает значимость индивидуализации. В результате «именно индивиды, а не государство, будут во все большей мере рассматриваться как отвечающие за благосостояние и социальную защиту личности» [16: 106]. Если в конце XIX века попытки увидеть за индивидуальными ситуациями социальные структуры явились триумфом социологического воображения, то сегодня заметна обратная тенденция — взгляд на социальные проблемы как на имеющие индивидуальные причины. Например, основания коллективности и солидарности «ищутся в сходстве генетической структуры отдельных, не связанных социально, членов популяции» [16: 107; 31; 34].

Однако, на наш взгляд, следует говорить не о кризисе социальности, а о ее трансформации [9; 12], которую и должна учитывать современная теория социальных проблем, если она претендует на адекватное понимание актуальной социальной реальности. Объяснение текущих социальных процессов с помощью категорий, разработанных пятьдесят и сто лет назад, выглядит бесперспективным, а потому социология социальных проблем нуждается в пересмотре традиционных подходов.

От сложной социальной реальности к новой теории социальных проблем

Сегодня в социологии активно идет пересмотр оснований социального порядка. Усилиями современных теоретиков реальность социальных структур и действий дополняется постсоциальной ре-

альностью сетей и потоков [9; 28; 30]. Социальные сети М. Кастельса представляют собой горизонтальные структуры, взаимодействия в которых селективны (свобода входа и выхода) и требуют доверия [28]. Они более гибки и мобильны по сравнению с институтами и в то же не время не сводятся к агентности, а, скорее, составляют промежуточную модель структурности [9]. В рамках акторно-сетевой теории усилиями Б. Латура, М. Каллона и др. [15; 30] были развиты представления о гибридном характере социальной реальности. Социальный мир теперь выступает сборкой, ассамбляжем, сетью, объединяющей разнородных акторов, среди которых «человеки» и «не-человеки». Однако, интерес представляет не столько результат такой сборки, превращающейся, по сути, в «черный ящик», сколько процесс плетения сети («worknet») [30]. Отправной точкой такого плетения становится проблематизация, «указывающая на маршруты и обходные пути, которыми нужно двигаться, а также на альянсы, которые нужно заключать» [15: 209]. В процессе проблематизации описываются система ассоциаций между акторами, их идентичности и цели. Такое описание является не просто приписыванием значений чему-то существовавшему до этого момента, но деятельностью, исполнением (по-английски: *performance*), производством реальности.

«Гибридная реальность», «сети», «потоки», «сборки» и «ассамбляжи», — эти понятия схватывают радикальные изменения социальной реальности, которые должны приниматься в расчет современными исследователями социальных проблем. В этой оптике социальные проблемы могут быть рассмотрены как разрывы в сетях — будь то сети коммуникаций в духе М. Кастельса или сборки, включающие людей и вещи в интерпретации Б. Латура. Проблема запускает и плетение сети, становится ее отправной точкой, — от того, какие акторы будут привлечены, какие идентичности им приписаны, как будет скординирована их деятельность, зависит то, каким будет исполнение реальности. Соответственно, проблемы — это ситуации, когда что-то идет не так во взаимодействиях, сети недостаточно плотные или в них случились «поломки». Решением проблемы будет восстановление утраченных цепочек сети или сборка иного ее варианта — поиск новых союзников, заключение новых альянсов, переопределение идентичностей участников.

Сложность новой социальной реальности осмысляется с помощью концептов «дополненная реальность» и «дополненная современность» [10; 11], акцентирующих внимание на комбинации четырех типов социальных структур: институтов, интеракций, сетей и потоков. Привычные для объективистского подхода институты и предпочитаемые субъективистами интеракции не только не вытесняются набравшими популярность у поборников новых подходов сетями и потоками, но и образуют с ними сложные гибриды, где взаимопроникающие структуры предстают дополненной социальной реальностью. Все это побуждает к пересмотру устоявшихся в науке представлений о роли социолога в изучении социальных проблем и социальных изменениях. В этом случае не только требуется новый «инструментарий, обеспечивающий объединение и гибридизацию разнородной разноуровневой информации в виде обогащенного комплекса — дополненных данных (augmented data)» [10], но и обновление логики исследовательского процесса. Это оказалось возможно в рамках перформативного поворота, представляющего собой «переход от презентации к исполнению в понимании познания и социальной реальности» [5]. Научное знание уже не столько отражает реальность, сколько участвует в ее производстве, а социолог перестает быть лишь наблюдателем-диагностом или интерпретатором, но становится ее соисполнителем. Познание превращается в практическую деятельность, стратегию, включающую вербовку союзников, создание альянсов и выстраивание сетей [5].

В исследовании социальных проблем перформативность означает, что знание не просто воздействует на реальность, но создает (или учреждает) ее в ходе самих практик познания [5]. Процесс изучения вызывает к жизни новые сущности и материальные следствия, а научным результатом является реконфигурация реальности. Итоги исследований перестают иметь лишь прикладной характер — использоватьсь только для обоснования тех или иных вмешательств и реформ. Напротив, само исследование становится способом изменения социальной реальности — решения социальной проблемы. Социолог занимает активную позицию, «прогибает» реальность под себя, выстраивая новые конфигурации и сети отношений, привлекая людей и материальные объекты. Такое понимание роли социолога в решении социальных проблем оказывается близко по духу идеям А. Тура-

на [25], продвигавшего проект социологической интервенции и настаивавшего на необходимости комбинации социологом позиций исследователя и участника процесса социальных изменений.

Мы кратко рассмотрели основные теоретические перспективы, сложившиеся в социологии в отношении изучения социальных проблем, и показали ограничения существующих концепций в объяснении актуальных социальных процессов. Социальная реальность усложняется: наряду с институтами и интеракциями активно развиваются сетевые и потоковые структуры. Если современная социология социальных проблем претендует на адекватное объяснение современной ситуации, ей необходимо включать в свой теоретический арсенал новейшие представления о социальности и опираться на понимание различной природы социальных связей.

Как показал наш анализ, в социологии последовательно возникли два разных подхода к социальным проблемам — объективистский и субъективистский (конструкционистский). С распространением новых форм социальности — сетевых и потоковых структур перспективным становится третий подход, в рамках которого главными проблемами становятся разрывы в сети. Однако с учетом перехода разных форм социальности в режим дополненной социальной реальности, где разные формы социальной жизни не просто сосуществуют, но и смешиваются, взаимно проникают одна в другую, можно рассматривать также новую интегралистскую перспективу в изучении социальных проблем. В рамках такой перспективы в корне всех социальных проблем лежит дезинтеграция, потеря связности внутри и между разными структурами. Дисфункциональность институтов обусловлена тем, что нормы и учреждения отрываются от действий акторов и их субъективных смыслов. Дискурсивная бессвязность в одних сообществах и медийная активность в других создают проблемы как сильные и слабые конструкты, разделяющие группы интересов. «Уход» новых поколений в сетевую реальность и потоки «чуждых» людей и идей разрывают привычную ткань повседневности. Отрыв мегаполисов, где концентрируются сетевая и потоковая жизнь, по уровню и качеству жизни от малых городов и деревень, где в упадок приходят институты и обедняются интеракции, становится проблемой для самых развитых стран. Преодолевать разрывы на стыках структур разных типов, существующих и в чем-то конкурирую-

ших форм социальности в перспективе станет интегральной задачей исследователей в области социальных проблем.

Свой взгляд на перспективы развития теории социальных проблем в свете последних академических дискуссий мы попытались систематизировать, хотя систематизация пока выглядит весьма лаконичной (табл. 1) и требует дальнейшей проработки.

Таблица 1. Теоретические подходы к исследованию социальных проблем

Критерий	Объективистский подход	Субъективистский подход	Сетевой / потоковый подход	Интегральный подход
Тип социальности (онтологические представления)	Социальные институты	Интеракции	Социальные сети и потоки	Дополненная социальная реальность
Социальные проблемы	«Поломки» (дисфункции и дезорганизация социальных институтов)	Процесс конструирования — определения ситуаций как проблемных	Разрыв в сети	Разрывы социальности, потеря структурной связности
Концепции	Социальной дезорганизации (Э. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецкий), Структурный функционализм (Р. Мerton)	Социальный конструкционизм (М. Спектор, Дж. Китсьюз)	Акторно-сетевая теория (Б. Латур), Теория сетевого общества (М. Кастельс)	Теория структурации (Э. Гидденс) Теория полей (П. Бурдье) Теория «дополненной социальности» (Д. В. Иванов)
Роль социолога	Эксперт в объяснении и решении социальных проблем	Участник и исследователь процесса конструирования социальных проблем	Участник / исполнитель социальной реальности	Интегратор экспертических, дискурсивных, перформативных, трансформативных функций / практик

Интегральный подход, апеллирующий к логике теорий, выявляющих взаимосвязанность и взаимообусловленность социальных структур разных типов, выглядит привлекательной перспективой. Чтобы новые призывы к теоретико-методологической интеграции [11] перешли в форму новых решений и не разделили судьбу прежних призывов [22], нужно приложить еще много усилий как в общесоциологической теории, так и в области теории социальных проблем.

Заключение

В результате теоретического анализа были выделены три основных типа теоретизирования в отношении социальных проблем и намечена перспектива для развития четвертого типа. Первый из них опирается на объективистские трактовки социальной реальности, представленные, прежде всего, концепцией социальной дезорганизации и структурным функционализмом. В этой логике социальность мыслится как преимущественно институциональная, в основании которой лежит следование нормативным образцам и предписаниям. «Поломки» в функционировании социальных институтов вызывают социальные проблемы, а социологу принадлежит ключевая роль в диагностике, объяснении и предложении вариантов их решения. Участие социолога в социальных изменениях сводится к использованию результатов исследований лицами, принимающими решения.

Второй тип теоретизирования представляет собой конструкционистский подход, основанный на идеи «производства» реальности путем придания смыслов и значений действиям и ситуациям в многочисленных и многообразных интеракциях. В этом случае социальные проблемы предстают как результат и процесс определения и переопределения обстоятельств, вызывающих беспокойство, как социальных проблем, а социолог теряет свою экспертную позицию как в диагностике и объяснении социальных проблем, так и в предложении способов их решения. Он вынужден совмещать две роли: исследователя и участника процесса проблематизации, а социологическая интерпретация становится только одним из возможных вариантов трактовки социальной проблемы. Вопрос о роли социолога в социальных изменениях, равно как и вопрос о возможности таких в принципе фактически не поднимается в этой исследовательской традиции.

Третий тип теоретизирования в отношении социальных проблем слабо представлен сегодня в академическом поле, однако, полагаем, что является перспективным в понимании актуальной ситуации. Он основывается на представлениях о сложности современной реальности и все более заметной роли в ней сетевых и потоковых структур. В этом случае социальные проблемы могут трактоваться как разрывы в сетях (сети в понимании М. Кастельса или Б. Латура), а их решение предполагает восстановление связей, стабилизацию сети. В рамках этого подхода социолог становится деятелем, активистом, а сами исследования вносят вклад в производство реальности — производство решений социальных проблем. Ученый должен стать специалистом «по плетению сети», тем самым реконфигурируя реальность, а не просто репрезентируя ее. Эта версия является «сильной программой» роли социологического знания в социальных изменениях [6]. Кроме того, полагаем, что на основе развитого третьего подхода можно будет перейти к четвертому, интегративному и адекватно интерпретировать разрывы социальности, включая фундаментальный разрыв между истощенной и дополненной современностями [11; 12]. Социальные проблемы более эффективно решаются там, где сети плотнее и прочнее, а затем решения продвигаются туда, где нужно преодолевать разрывы и восстанавливать связность социальной жизни.

Концептуализация социальных проблем следует за фундаментальными представлениями о социальности, развивамыми в социологии. На сегодняшний день и объективистский, и субъективистский подходы к изучению социальных проблем, исчерпали себя в качестве односторонних, абсолютизируемых доктрин. В статье мы не остановились на теории конфликта, отводящей социологу роль критика действительности, а также на акционистском взгляде на социальные проблемы, предлагающих несколько иные варианты решения обсуждаемых в статье тем. Вместе с тем, отсутствие оригинальных теоретических концепций и актуальность вопроса о роли социолога в процессах познания и социальных изменений способствуют спаду интереса к рассматриваемой области исследований. На сегодняшний день изучение социальных проблем носит преимущественно эмпирический и прикладной характер.

Однако, чтобы предлагать актуальные работающие решения, социологи должны обновить свои представления об основаниях соци-

альности и принимать во внимание гибридность и сложность современного мира. В ревизии также нуждаются традиционные представления о роли социолога в познании и решении социальных проблем: исключительно диагностические и описательные функции сегодня оказываются недостаточными, эти функции должны быть дополнены перформативными и трансформативными, требующими активности и вовлеченности исследователей в социальные практики, в сложную реальность социальной жизни.

Литература

1. *Бест Дж.* Социальные проблемы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия. Казань, 2007. С. 26–54.
2. *Блумер Г.* Социальные проблемы как коллективное поведение // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия. Казань, 2007. С. 11–25.
3. *Богомягкова Е. С.* Потенциал социологии эмоции в исследовании социальных проблем // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2016. № . С. 41–52.
4. *Богомягкова Е. С.* Социология социальных проблем: современное состояние и перспективы развития // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 18. № 3. С. 39–54.
5. *Дудина В. И.* Вымышенный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // Социологические исследования. 2013. № 10. С. 13–21.
6. *Дудина В. И.* Эпистемические матрицы социологического знания. СПб., 2013.
7. *Дудина В. И.* Эпистемологическая реконфигурация социального знания: от репрезентации к перформативности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. 15. № 3. С. 35–50.
8. *Ибарра П., Адорьян М.* Социальный конструкционизм: социальные проблемы как выдвижение требований (часть 1) / пер. с англ. И. Г. Ясавеева // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 2019. № 48. С. 143–182.
9. *Иванов Д. В.* К теории потоковых структур // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 8–16.
10. *Иванов Д. В.* Третья интегративная волна в развитии социологии. Часть 1: Актуальность новой повестки // Социологические исследования. 2024. № 6. С. 3–15.

11. Иванов Д. В. Третья интегративная волна в развитии социологии. Часть 2. Теории и методы для дополненной социальной реальности // Социологические исследования. 2024. № 7. С. 23–36.
12. Иванов Д. В. Критическая теория цифровизации: господство алгоритмической рациональности и бунт аутентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. № 26 (3). С. 7–35.
13. Иванов О. И. Введение в социологию социальных проблем: учеб.-метод. пособие. СПб., 2003.
14. Иванов О. И. Социальные проблемы: теория и методология // Социальные проблемы. Научно-практический журнал. 2008. № 1. С. 7–20.
15. Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: одомашнивание морских гребешков и рыбаков залива Сен-Бриё // Социология власти. 2015. № 1. С. 196–231.
16. Кнорр-Цетина К. Объектная социальность: общественные отношения в постсоциальных обществах знания // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 1. С. 101–124.
17. Конт О. Общий обзор позитивизма / пер. с французского И. А. Шапиро; под ред. Э. Л. Радлова. М., 2012.
18. Лапин Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. пособие. М., 2004.
19. Минина В. Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных концепций // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I. № 3. С. 74–90.
20. Раунтри С. Непосредственные причины бедности в Йорке // Лапин Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе: учеб. пособие. М., 2004. С. 252–269.
21. Симонова Т. М. Социальные проблемы в социологии и социальной работе: определение, анализ, решение. СПб., 2005.
22. Симонова Т. М. Теоретические аспекты изучения социальных проблем // Социологические исследования. 2009. № 8. С. 65–69.
23. Спектор М., Китсьюз Дж. Конструирование социальных проблем // Контексты современности — II. Хрестоматия. Казань, 2001. С. 160–163.
24. Тарновский В. М. Проституция и аболиционизм // Антология социальной работы: в 5 т. Т. 2. Феноменология социальной патологии / сост. Н. В. Фирсов. М., 1995.
25. Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998.
26. Фишинан М. Волны преступности как идеология // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия / сост. И. Г. Ясавеев. Казань, 2007. С. 197–228.

27. Ясавеев И. Г. Социальная проблема в социологическом лексиконе // Социальная реальность. 2006. № 6. С. 101–115.
28. Castells M. The Rise of the Network Society (2nd ed.). Malden, MA, 2010.
29. Coleman J. W., Kerbo H. R. Social Problems. 10th ed. Boston, 2009.
30. Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford, 2005.
31. Lippman A. Led (astray) by genetic maps: The cartography of the human genome and health care // Social science and medicine. 1992. Vol. 35, No. 12. P. 1469–1476.
32. Loseke D. R. Examining Emotion as Discourse: Emotion Codes and Presidential Speeches Justifying War // Sociological Quarterly. 2009. Vol. 50, No. 3. P. 497–524.
33. Loseke D. R. Keynote Address: Empirically Exploring Narrative Productions of Meaning in Public Life // Qualitative Sociology Review. 2013. Vol. IX, No. 3. P. 13–30.
34. Rabinow P. Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality // Essays in the Anthropology of Reason. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 91–111.

CONTENTS

Preface (A. O. Boronoev, D. V. Ivanov).....	5
---	---

Part I (Issue 13)

PROBLEMS OF THEORETICAL SOCIOLOGY AT THE TURN OF THE 20th AND 21st CENTURIES

Boronoev A. O., Golovin N. A., Ivanov D. V. The movement of theory across borders and through epochs (toward 30 th anniversary of the series 'Problems of Theoretical Sociology')	11
Luhmann N. The concept of society.....	27
Sociological reflections: interview with prof. N. Luhmann	46
Shpakova R. P. Max Weber about the problem of values in social knowledge	60
Yadov V. A. Symbolic and primordial solidarities (social identifications of personality) under conditions of fast social changes	69
Watier P. Method of understanding, sociality, and problem of the society organization	86
Beck U. Own life in the unbound World: individualization, globalization, and politics	110
Ivanov D. V. Evolution of the globalization concept	124
Vievorka M. Mutation of social sciences: an introduction	157
Romanovsky N. V. Current sociology — tendencies and the growth potential	174
Zborovsky G. E. The knowledge problem in sociology and sociological education	191
Kravchenko S. A. Development of sociological knowledge: the demand for integralism	216
Toshchenko Zh. T. The life meaning: something new in theory and methodology of sociological knowledge.....	238

Part II (Issue 14)

CURRENT SOCIOLOGY AND PROSPECTS OF ITS THEORETICAL DEVELOPMENT

Ivanov D. V., Asochakov Yu. V., Gulkina K. P. Theoretical sociology in the 21 st century: fragmentation tendencies and an integration potential	255
Titarenko L. G. Problems of theoretical sociology in Russia and in the World	287
Theoretical sociology and challenges of global trends: interview with prof. N. Genov	300

<i>Podvoyskiy, Spirkina A. K.</i> A flower in a meadow, or how does the collective grow in the individual (to sociological portrait of the modern society).....	320
<i>Lomonosova M. V., Bykov A. S.</i> The war as an object of sociological analysis in scientific works by Pitirim Sorokin and Nikolay Golovin: from the history to present time	335
<i>Golovin N. A.</i> Amitology vs. ontology of enmity: ethics by Pitirim Sorokin and theory of the political by Carl Schmitt.....	351
<i>Fedorova S. A.</i> Empirical ontologies by A. N. Whitehead and B. Latour: comparative analysis	362
<i>Deryugin P. P., Lebedintseva L. A., Kamyshina E. A., Kurazhev S. D.</i> Conceptual orientations of mobility researches in Russian social science	388
<i>Orekh E. A.</i> Once again about the subject of visual sociology	402
<i>Bogomyagkova E. S.</i> On the way towards a new theory of social problems	413

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Вып. 13/14

Компьютерная верстка Ю. Ю. Тауриной
Обложка Е. И. Егоровой

Подписано в печать 21.11.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$.
Усл. печ. л. 27. Заказ № 17280.

Издательство и типография ООО «Скифия-принт»
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10

По вопросам реализации обращаться по адресу:
факультет социологии СПбГУ
Тел.: 274-15-62
E-mail: izdat-spbgu@mail.ru